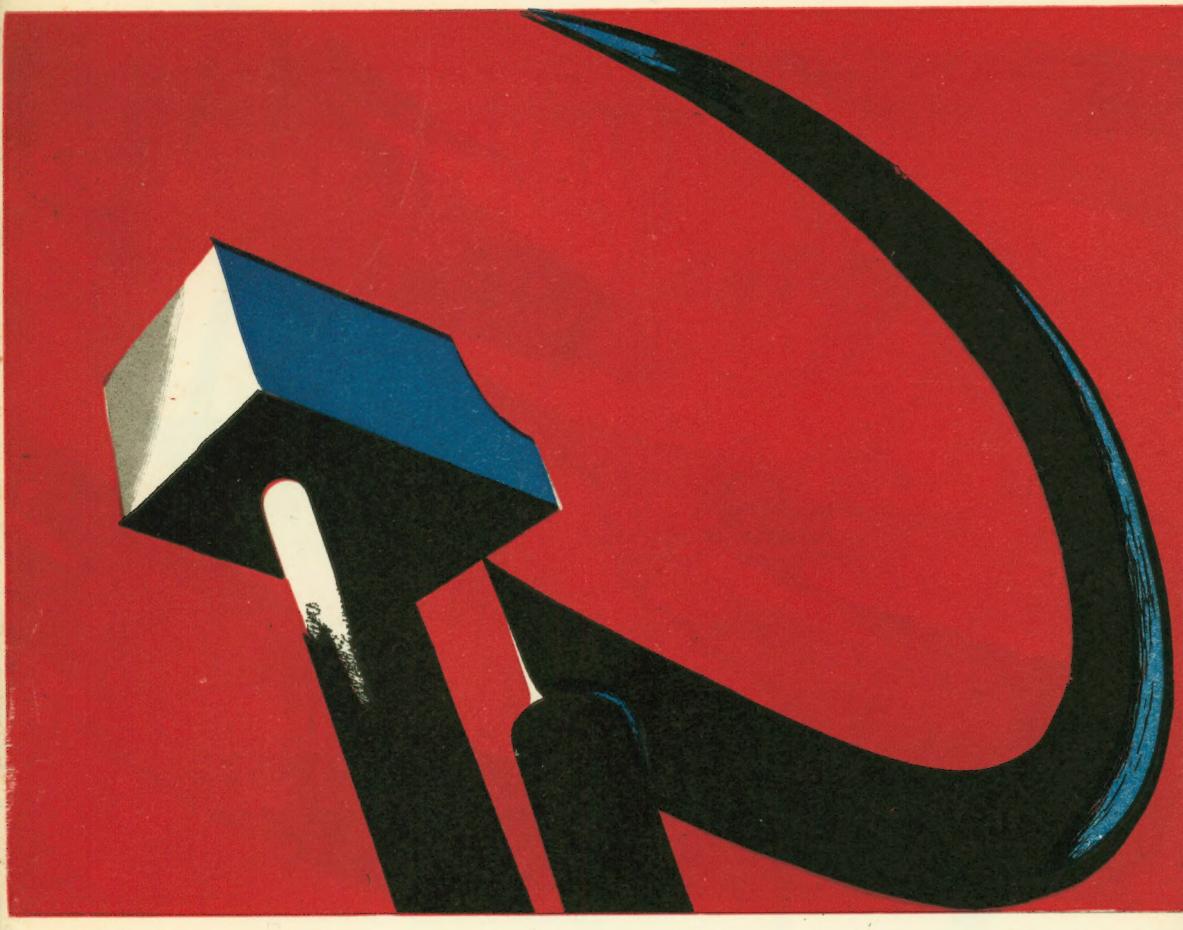


Иностранная литература

1963 7

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА — Валентине Терешковой 3

ЭДМУНДО ДЕСНОЭС — Возвращение (Роман. Вступительная статья Б. Полевого.) . 4

ДИВЛЮСЬ И РАДУЮСЬ НОВИЗНЕ

(Стихи монгольских поэтов)

Б. ЯВУУХУЛАН, Д. ПУРЭВДОРЖ, Ч. ЛХАМСУРЭН, М. ЦЭДЭНДОРЖ, Ч. ЧИМИД . . 101

КАРОЙ САКОНИ — Рассказы 105

АЛАН СИЛЛИТОУ — Ключ от двери (Роман Окончание) 122

НА ПОЗИЦИЯХ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕЙНОСТИ

(К 60-летию II съезда РСДРП) 199

КРИТИКА

Д. ЗАТОНСКИЙ — О внешнем сходстве и принципиальных различиях 208

ПОЛЕМИКА

К. НАУМОВ — Система уравнений господина Поджоли 220

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

РИКАРДО ДОМЕНЕЧ — Эти книги изданы не в Испании 226

7

ИЮЛЬ

1963

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

Москва

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 228

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. В. МАЯКОВСКОГО

АНТАЛ ГИДАШ — Мы перед ним в долгу . . 236
ГУГО ГУППЕРТ — Глашатай коммунистической культуры 239
В. В. Маяковский в Мексике (Редкая фотография) 242

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

Н. ЖУКОВ — Итальянские впечатления . . 243

ПУБЛИЦИСТИКА

ЛОРЕЙН ХЭНСБЕРРИ — Время бросает вам вызов, деятели культуры 252

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

НОЭЛ КУНИХЭН — Почему я реалист . . . 256

НАШИ ГОСТИ

МЕСТО И ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ (Джон Брейн и Алан Силлитоу в редакции «Иностранной литературы») 262

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Ленина Иванова — Огни на сопках ◇
Л. Осповат — Мир индейской сказки ◇
Лев Никулин — Читая турецкие новеллы 266

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

И. Волевич — Книга о героическом феврале ◇ С. Прожогина — Заря рассеивает мрак ◇ С. Рожновский — Важное исследование 270

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 274

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 275

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 288

На обложке плакат польского художника Р. Цеслевича.

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

Валентине Терешковой

Перевод с болгарского **М. АЛИГЕР**

О женщине,
отважном капитане
на китобойном судне в океане,
когда-то написала я в поэме.*
Но не стоит на месте —
мчится время!
И я пишу
о новой Валентине,
о светлоокой русской героине.
Ее лицо в космическом тумане
мы смутно различаем на экране,
но в каждом сердце,
в каждом человеке
отныне
лик ее
запечатлен навеки.

Будь счастлива
в полете над планетой,
твоим безмерным подвигом
согретой.
Все матери,
все сестры —
нет им счета —
следят за трассой гордого полета.
Сквозь слезы счастья,
трепетно и зорко
мы смотрим в небо,
Утренняя Зорька.
Послушай сердце твоего народа.
Он ждет тебя на землю,
как восхода.

16 июня 1963 года

* Имеется в виду поэма Елисаветы Багряны «Далекое плавание», посвященная советской женщине капитану, Герою Социалистического Труда Валентине Орликовой.

ЭДМУНДО ДЕСНОЭС

ВОЗВРАЩЕНИЕ

РОМАН

Перевод с испанского Ю. ПОГОСОВА под редакцией Р. САШИНОЙ

Воздушный лайнер, стартовав с одного из аэропортов штата Флорида в США, набрал высоту и лег на курс. Как это всегда бывает в дальних рейсах, пассажиры быстро освоились, перезнакомились между собой. Трое общительных янки потребовали у стюардессы карты и приготовились к игре. Четвертый их сосед по креслу, белокурый молодой человек, сидел, погруженный в какие-то свои думы, и, не обращая внимания на приготовления к игре, безотрывно смотрел в круглый иллюминатор на голубое небо и синий сверкающий океан. Сосед несколько раз толкнул его локтем, показывая на карты и предлагая скоротать время за игрой в покер. Молодой человек не ответил. «Себастьян вновь прижался к стеклу, ожидая увидеть аэродром среди пальмовых рощ. Его руки гладили нагретую солнцем обивку кресла. Он хотел, чтобы самолет скорее приземлился».

Так заканчивается роман «Возвращение», в котором молодой кубинский писатель Эдмундо Десноэс с большой страстностью рассказывает о жизни, о раздумьях и поисках, о поражениях и надеждах своего сверстника, молодого кубинского интеллигента Себастьяна Солера. Так заканчивается роман, и так же, в самолете, держащем курс из Соединенных Штатов на Кубу, три года назад началась новая биография самого Эдмундо Десноэса. Но в возвращении героя и автора на родной остров, к своему народу есть и существенная разница.

Литературный герой Себастьян Солер, весь еще полный сомнений и колебаний, возвращается на Кубу в последние годы диктатуры Батисты со смутным, еще не оформившимся стремлением принять участие в боях за освобождение. Автор романа Эдмундо Десноэс, уехавший в разгар диктатуры в добровольное изгнание в Соединенные Штаты, возвращается оттуда на родину в 1960 году, возвращается очарованный и вдохновленный идеями и практикой кубинской революции, возвращается с горячим желанием принять участие в тех гигантских работах, которые сейчас ведет там правительство под руководством Фиделя Кастро.

Роман Десноэса — это вклад писателя в культуру новой Кубы, на знамени которой написано «социализм». На пылающем острове, где сейчас все бурно преобразуется, где все лучшее, что еще недавно глохло и подавлялось, идет в рост, это новое произведение еще мало кому известного молодого писателя было сразу замечено и тепло встречено читающей публикой. О романе писали, пишут, говорили, говорят. Видный кубинский критик Лисандро Отеро заявил, что книга эта — «один из самых значительных романов, вышедших на Кубе за последние 20 лет». И он прав, конечно, ибо это увлекательное повествование о судьбе молодого кубинского интеллигента — это, по существу, рассказ о том, как интеллигенция острова под влиянием жестокой действительности медленно, мучительно, на ощупь искала свой путь в революцию.

Для того чтобы постичь секрет успеха этого романа, его свежую притягательную силу, мне думается, нужно познакомиться с биографией автора, который сам рассказал о себе в нескольких строках. «Я родился в 1930 году,— пишет Эдмундо Десноэс.— Мне не хотелось бы снова пережить свое детство. Школу того времени я ненавидел. Меня возмущала в ней безграничная и слепая власть взрослых над детьми. В 14 лет я поступил в семинарию Ла Салье. В 1953 году уехал в Венесуэлу. Я понял, что кроме нашего

острова существует целый континент. Потом, разочарованные жизнью, мы с женой уехали на Багамские острова. Здесь мы пробыли целый год, и здесь я понял, что природа бывает еще более жестокой, чем человек. Вернулся на Кубу, но не мог вынести гнетущей атмосферы режима Батисты, царившей на ней в то время. В 1956 году уехал в США. В 1960 году, вдохновленный революцией, вернулся на родной остров. Мне было тогда 30 лет».

Герой романа Себастьян Солер разве чуть-чуть постарше своего автора. И биографии у них схожи. Это молодой человек из состоятельной буржуазной семьи, человек либеральных убеждений, по-своему честный и порядочный. Он не лгун, ему не чужды благородные порывы, но он избрал своим девизом жить без проблем, в тесном мирке, вдалеке от политики и вообще от всякой борьбы. Он не может не видеть, как народ задыхается, оплетенный паутиной солдафонско-полицейской диктатуры. Он ненавидит Батисту, но убеждает себя, что ненависть эта рождена человеческой неприязнью и ничего общего с политикой не имеет. Без проблем — так лучше, удобней, безопасней.

Но подземные толчки надвигающейся революции ощущаются и в его так тщательно отгороженной от мира келье. Совесть заставляет его выполнить просьбу старого друга, участника Движения 26 июля, и спрятать у себя оружие. И вот в броне, которой Солер отгородил себя от мира, появляются трещины. Жизненные удары обрушиваются на него. Его покидает любимая женщина. По подозрению его арестовывают, бросают в тюрьму, пытают, требуют, чтобы он назвал имена «сообщников Фиделя Кастро». Ему нечего сказать. Он не участвовал в этом благородном освободительном движении.

Выпущенный из тюрьмы, Солер покидает родину. Уезжает в США к своей новой возлюбленной Нэнси — дочери миллионера. Девушка любит его. Мечтает стать его женой. Перспектива богатства, карьеры, обеспеченной жизни открывается перед ним. Ну что же, теперь действительно, кажется, все в порядке. Но вот тут-то проблемы, настоящие проблемы, волнующие, жгучие, окружают молодого кубинца, овладевают его умом, встают на его пути к благополучию и процветанию в мире богатых янки. Он постоянно думает о той борьбе, которая развертывается на родной Кубе, о боях в Сьерра-Маэстре...

И вот он в кабине самолета, летящего на Кубу, где диктатор Батиста, уже предчувствуя конец своего режима, наводит кровавый порядок. У Солера еще очень туманное представление о своем народе, о его нуждах и жизни, но он не может оставаться вдали от родины. Он летит, не зная, что его ждет. Может быть, арест, тюрьма, пытки? И все же, порвав с Нэнси, с возможностью жить без проблем, он летит на родину, где его ждут проблемы острые и беспощадные, летит, чтобы быть со своим народом в трагические и героические часы борьбы за его свободу.

Из самого сопоставления биографий автора и героя ясно, что Эдмундо Десноэс в этой книге говорит о своих поисках, раздумьях и мечтаниях, когда пишет о том, как юноша из мелкобуржуазной семьи в конце концов предпочел жизнь, полную острых и горячих проблем, беспроблемному, бездумному существованию, к которому он так стремился.

История Солера как бы раскрыла те сложные пути, которыми интеллигенты Кубы приходили в революцию, чтобы занять свое место среди борцов и героев, строителей нового, социалистического общества.

Десноэс еще только начинает свою литературную деятельность. Советскому читателю, конечно, бросится в глаза, что в книге нет глубокого изображения жизни народа, изображения тех сил, которые смело и последовательно борются за его счастье и свободу. (Ведь Солер делает только первые шаги к своему народу.) Он отметит эскизность отдельных глав романа, и непрописанность некоторых образов, и натуралистичность отдельных сцен. Но при всем том книга эта, свежая и яркая, открывает нам дверь в мир кубинской интеллигенции, помогает понять, какими сложными, извилистыми путями идет она в славное дело революции, вставая под знамена легендарного Фиделя.

Мы, советские люди, любим Кубу, влюблены в ее народ. Нам интересно все то, что происходит на этом бесконечно далеком от нас и в то же время таком близком нам острове. Вот почему, как мне кажется, роман Эдмундо Десноэса будет принят у нас не менее горячо, чем на родине.

Б. Полевой

ПРОЛОГ

ебастьян Солер-и-Пауэрс пожевал губами и посмотрел в зеркало. Глаза... Нечетко очерченные линии рта... Он потер выбритые щеки. Подумал: «Хоть бы разок эта борода не появилась, каждое утро она вырастает снова». Смочив помазок под струйкой воды, он выдавил на него крем и начал намыливать подбородок, наблюдая, как растет пена...

Вчера, 8 февраля, ему исполнилось двадцать шесть лет. Он родился в тот год, когда знаменитый циклон натворил бед в Гаване. Он не помнил ни урагана, ни наводнения, о которых столько рассказывали. В комнате наверху завывал ветер, дождь хлестал по жалюзи, а малыш спокойно спал или сосал... Себастьян вспомнил тот день рождения, когда впервые надел брюки. Он бежал вниз по лестнице и чувствовал, как брюки обтягивают колени. Пока ему не исполнилось десяти лет, мать отвечала отказом на все его просьбы.

— You have such beautiful legs *, Тиани,— говорила она.— Успеешь еще поносить брюки, когда станешь взрослым.

— Но, мама, в школе уже все ребята ходят в брюках...

Тогда же ему подарили красный велосипед. Орестес, чистильщик обуви, что приходил к ним каждый четверг, попросил прокатиться. То ли из жалости, то ли из страха Себастьян дал ему велосипед. Он долго сидел на тротуаре, а потом встал и пошел за духовым ружьем. Целых два часа бродил он по соседним улицам, но так и не нашел Орестеса. Солнце уже садилось; Себастьян заплакал от злости, и тут появился красный велосипед. Себастьян встал с ружьем посреди мостовой, чтобы остановить чистильщика. Орестес затормозил, но Себастьян все равно выстрелил и всадил четыре дробинки в черные ноги чистильщика. Орестес взвыл, соскочил с велосипеда и убежал, крича на всю улицу:

— Убийца, бандит!

С того дня Тиани ни разу не вытаскивал велосипеда из темного гаража.

Тиани думал, что он всегда останется мальчишкой, только тело его будет расти; в четырнадцать лет оно превратилось в нечто удивительное — он с трудом узнавал себя, когда мылся в ванной. Голос тоже изменился; Тиани стал неуклюжим, раздражительным и строптивым...

Поглощенный воспоминаниями, Себастьян задел помазком кончик носа. Пальцем сбросил пену. Ментоловый крем холодил кожу...

Положив босые ноги на диванную подушку, которую Кристина разрешала выносить в сад, Артуро сидел во дворе и читал «Картинки эпохи» Эладио Секадеса.

Какая-то сила словно подтолкнула Тиани — он подошел к отцу. Прерывисто дыша, сгорая от стыда за свою нерешительность и зависимое положение, он сказал:

— Папа, я не хочу ходить в церковь... Я больше не верю в бога.

Отец только что вернулся с работы и был настроен лирически, полный грустных и в то же время приятных размышлений. Себастьян ошеломил его своей новостью, словно вылил ушат холодной воды. Артуро резко выпрямился.

— Что за чушь, мальчик? Как это ты не будешь ходить в церковь?

— Я не верю в Адама и Еву. Их никогда не было. Мир начинался

---

* У тебя такие красивые ноги *(англ.)*.

не так. Всего этого не было. Я читал в книге. Жизнь началась с каких-то рыбешек, в луже. Это эволюция. Потом появились обезьяны и человек. Я не верю в Адама и Еву.

— Ты и не должен верить всему, что говорят в церкви. История Адама и Евы — лишь небольшой эпизод в Библии.

— Да, конечно, но если это неправда, то и все остальное тоже. Католическая религия утверждает, что она все познала. Говорят, что она непогрешима или что-то в этом роде.

— Я не знаю... А что скажет мать?

— Об этом я как раз и думаю. Что же мне делать, папа, ты хочешь, чтобы я лгал?

— Твою мать хватит удар, когда она узнает... И потом, должен же ты во что-то верить...

— Я никогда не видел бога. Я верю во всякие вещи... в обезьян и во многое другое... Но в бога я не верю.

Артуро не настаивал. Он посидел, рассеянно поглядел по сторонам и снова раскрыл книгу. Вытянул ноги и закряхтел от удовольствия...

Себастьян ослабил немного винт безопасной бритвы, добрил подбородок и принялся за шею...

Равнодушие отца поразило Тиани. Он ожидал трагических событий, которые изменили бы всю его жизнь. А оказалось, что отцу все равно, верит он в бога или нет. Мать расплакалась, когда Тиани заперся в своей комнате. Однако в девять часов вечера она крикнула ему, чтобы он немедленно шел ужинать, а то все остынет...

«Я не должен был столько ждать»,— думал Себастьян, выбривая верхнюю губу.

По воскресеньям родители посещали мессу, над кроватью матери висело священное сердце Иисуса. Впрочем, они все-таки ели мясо по пятницам.

Мать рассердилась на него только раз, когда он ушел из дома к Глории — ему тогда было восемнадцать, а этой женщине тридцать девять. Пять лет назад она развелась со своим мужем, адвокатом, и с тех пор работала продавщицей в универсальном магазине «Эль Энканто».

— It's like robbing the cradle,— кричала мать.— Это все равно, что выкрасть дитя из колыбели.

— Но, мама, я ее люблю.

— Она могла бы быть тебе матерью, не говори мне, что ты ее любишь. Я никогда не думала, что мой сын...

— Мне нужна женщина... Я ведь не женат и вообще... Мне хочется, чтобы ты меня поняла, мама, а то бы я не стал вообще ничего объяснять. Я не хочу, чтобы ты из-за этого разлюбила меня, ведь я люблю тебя по-прежнему...

— Что подумают люди? Скажут, что я родила парня, у которого в голове не все в порядке... Вот что они скажут... Мой сын живет с женщиной, вдвое старше его! Нет, ты не в меня.

— Не повезло тебе, старушка. Хочешь не хочешь, а все-таки я твой сын.

— Подумал бы об отце. Из-за тебя он может потерять место в банке. Ты только о себе заботишься.

— Не говори глупостей. Никто ничего из-за меня не потеряет. Ведь я не указываю тебе, как ты должна себя вести. Мне все равно, если ты даже вздумаешь стать... ну... я не знаю кем...

— А что бы ты сказал, если твоя мать вот так вышла бы на улицу? — И она, смеясь, начала приплясывать, задрав платье чуть ли не до пояса.— Что бы ты сказал, если бы увидел свою мать танцующей на улице? Вот так! Тра-ля-ля! Тра-ля-ля!..

Через полгода Себастьян оставил Глорию.

В тот год президентом был избран Рамон Грау Сан-Мартин. В день, когда Себастьян ушел из дома Глории в Старой Гаване, праздновалась победа Грау. Люди гроздьями висели на автобусах и трамваях. Себастьян хотел голосовать за Грау, но оказалось, что несовершеннолетние не имеют права голоса, и он опечалился. Аутентики * веселились, упоенные победой... Но Грау не повезло. Из тех, кто прежде лобызал ему руки по окончании митингов, одни, дорвавшись до тепленьких местечек в министерствах, теперь помалкивали, а другие — ничего не добившиеся — с ненавистью плевали на его портрет. На тот самый портрет Грау, что висел и в домах богачей и в хижинах, крытых пальмовыми листьями.

После этого у Себастьяна навсегда пропала охота голосовать...

Он развинтил бритву. Струя воды смыла прилипшие волоски.

Мятежный дух, окрылявший его отрочество, быстро испарился. Вокруг царили равнодушие и коррупция. Себастьян все равно был не в силах что-либо изменить. Оставалось одно: продолжать жить. Он зарабатывал достаточно для того, чтобы снимать большую квартиру, иметь автомобиль и изредка ездить в Штаты — проветриться, когда надоедала работа. Три раза в неделю приходила Норма и делила с ним ложе. Был неплохой друг — Луис. И для чтения времени оставалось в избытке. Но всего этого было мало. Он чувствовал, что ему чего-то не хватает.

Себастьян жил журналистикой, хотя его интересовала литература. Но когда он садился писать роман, стремление сгладить противоречия заставляло его без конца сокращать написанное. Поэтому на больших листах его блокнота оставалось иногда всего несколько строк.

Себастьян вычистил бритву щеточкой для ногтей — уже две недели он собирался сделать это. Убрал на место лезвие и вытер прибор. Можно будет еще раз побриться этим лезвием. Бритву положил на крышку белого фарфорового бачка над унитазом.

Он может уехать отсюда, жениться и стать благоразумным, может лечь в кровать и лежать, пока не умрет с голоду... Все в его руках. Если бы только знать, куда себя деть. Он улыбнулся своему отражению в зеркале, повернулся и вышел из ванной.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Никчемные достоинства и силы
во мне беснуются голодной стаей
зверей, выискивая выход; воздух
ловлю губами, о нагую стену
дрожащим телом опираюсь; мысль,
барахтаясь, в пылающем мозгу
плывет и тонет...**

Хосе Марти

ПЕРЕВОРОТ НА ЗАРЕ

На противоположной стороне улицы извивалась колючая проволока военного городка Колумбия. Все было желтым и зеленым. Трава росла и росла, и рекруты развлекались, срезая ее на два дюйма от земли. В лучах солнца здания напоминали картонные крепости, которыми играл в детстве Себастьян Солер. Зубчатые башни и оловянные солдатики в эпоху атомного оружия.

Себастьян спал.

---

* Члены буржуазной «Революционной» партии, существовавшей до 1959 года.

** Перевод стихов М. Самаева.

В подъезде, во дворе и в узком проходе между домом и кирпичной оградой бегали собаки. Теплый ночной воздух был почти недвижен. Себастьян повернулся на бок. Собачий лай мешал ему спать. Себастьян повернулся еще раз, ощутил свежесть простынь и что-то пробормотал, приоткрыв глаза. Правая рука его лежала на подушке. Он удивился, увидев, что, несмотря на неспокойный сон, лежит в той же позе, что вечером. Снова залаяли собаки. Себастьян решил подняться и выяснить, что случилось.

Обычно собаки лаяли из-за ограды, когда кто-нибудь проходил мимо. Иногда испуганные прохожие кидали в них камни. Утром, когда Себастьян выходил во двор и солнце било ему в глаза, он спотыкался об эти камни.

Но сейчас прохожих мало — едва рассветает. Он сел, спустил ноги на холодный кафельный пол, надел домашние туфли и вышел в темный коридор. Споткнувшись, ударился о стену. Лай не умолкал. Безотчетный страх охватил Себастьяна. В гостиной он остановился и медленно открыл окно.

Теплый и чистый ночной воздух ворвался в комнату. В конце улицы против военного городка у поста № 4 стояли два танка. В окнах зданий горел свет. Себастьян никак не мог вспомнить, есть ли в первых числах марта какой-нибудь национальный праздник.

Он открыл дверь и позвал собак. Они окружили его, прыгая и визжа, стали лизать руки. Собачьи лапы стальными когтями скребли по теплой пижаме; Себастьян съежился, кислый запах псины окончательно прогнал сон. Наконец он запер собак в ванной в конце коридора и снова улегся. Иногда все-таки эти собаки надоедают. Норма подобрала их где-то на улице и однажды ночью притащила к нему.

С улицы послышался шум, и Себастьян соскочил с кровати. Что с ним такое? Чего ему бояться? Обычный шум, но сейчас он почему-то раздражал, как надоедливый мотив, от которого трудно отделаться. Себастьян поднял валявшуюся около кровати открытую книгу «Древо познания» Пио Барохи и стал читать. Затем потушил свет, улегся поудобнее... Через десять минут он спал.

■

— Слушаю... Да, я.

— Are you all right, Tiani? * Ты не знаешь, что случилось?

— Нет, моя старушка. Ты меня вытащила из постели.

— Произошел государственный переворот. Никто ничего не понимает. The army has taken over **. У тебя действительно все в порядке? Я очень волнуюсь, ты ведь рядом с Колумбией. Как там, спокойно?

— Ночью меня разбудили собаки. Я думал, что празднуют какую-нибудь годовщину или что-то в этом роде. Выволокли на улицу два танка. Сюда еще не добрались, по крайней мере я никого не вижу.

— Я молю бога, чтоб они не явились к тебе, ведь у тебя столько странных картин, столько всяких книг, они еще подумают, что ты шпион...

— Отличная шутка..

— Конечно, отличная, ты никогда по достоинству не ценил свою мать... Нет, серьезно. Твой отец тоже волнуется. Несколько минут назад солдаты обыскали дом напротив, знаешь, того полковника в отставке. Они были с автоматами. Я испугалась — у них такие страшные физиономии.

— А куда делся Прио?

---

* У тебя все в порядке, Тиани? *(англ.)*

** Армия захватила власть *(англ.)*.

— Не знаю. Радио не работает. Соседи говорят, что он бежал в Мексику или в Майями. Кажется, хозяин положения — Батиста. Во всяком случае, это единственное имя, которое я запомнила. Почему бы тебе не прийти сюда и не побыть с нами, пока все уляжется?

— Спасибо, старушка, не стоит. Я себя хорошо чувствую, ничего со мной не случится.

— Ты же знаешь, какая я нервная, и у меня был очень сильный приступ астмы.

— Хочешь, я приду и сделаю тебе укол?

— Нет, не надо. Дочка соседей уже впрыснула мне эфедрин. На часок-другой это меня успокоит.

— А Прио не сопротивлялся?

— Нет, не думаю. Что он мог сделать?

— Тебе не кажется, что ему следовало бы лучше дать себя убить, чем бежать?

— Я ничего не знаю. Мне не нравится этот государственный переворот.

— Батиста должен быть доволен — он снова у власти. Ведь когда-то он хозяйничал целых десять или пятнадцать лет?

— Поосторожнее...

— Наворовал миллионы, был генералом, президентом и диктатором... Чего ему не хватало. Надо будет послать в журнал телеграмму сегодня после обеда или самое позднее завтра утром.

— Будь осторожнее и в статьях и по телефону — могут подслушать. Говорят, что, когда происходит такое, все телефонные разговоры перехватывают.

— Это просто фарс. Батиста, Прио — все они друг друга стоят. Их интересует только, как бы урвать кусок пожирнее.

— Я ничего не понимаю в политике. Ты знаешь, я никогда не понимала кубинцев. Спроси отца, он регулярно читает газеты...

— Да. А ты читаешь только «Лэдиз хоум джорнел». Когда ты, наконец поймешь, что живешь на Кубе и что твой муж и твой сын кубинцы? А, мам?

— Почему бы тебе не зайти к нам поужинать?

— Сегодня не могу. Я должен хорошенько разобраться в том, что произошло. Приду завтра.

— Я не успокоюсь, пока все это не кончится.

— Завтра я приду, не волнуйся. До свиданья, мама.

— Помни, что я тебе сказала. Не впутывайся ни в какие истории... Гуд бай, Тиани.

Сухо щелкнула трубка. Себастьян сидел неподвижно. Астма была материнским протестом против Кубы. Стоило матери пересечь Гольфстрим и очутиться в Штатах, она сразу переставала задыхаться...

В детстве его называли сыном американки. Он стыдился, когда мать при посторонних говорила с ним по-английски.

■

Внезапно все перевернулось. Перед лицом событий его жизнь казалась незначительной и бесполезной. Действительность всегда врывалась в его интимный мирок и разрушала его. Он не хотел признаться себе в том, как сильно раздражал его этот государственный переворот.

Себастьян включил приемник. Стрелка настройки металась по шкале, но звуков не было. Наконец послышалось: тик-так, тик-так...— радиочасы. Их тиканье только подчеркивало тишину.

Потом стал звонить телефон.

В голосах знакомых слышалось удовлетворение — нарушена монотонность жаркого мартовского утра. Государственный переворот взвол-

новал их даже больше, чем только что закончившийся карнавал. Они были глубоко потрясены. Вашингтон, конечно, немедленно признает генерала...

Телефонные разговоры и встречи помогли уточнить детали: в два часа сорок минут, на рассвете, когда собаки Себастьяна начали лаять, через пост № 4 в Колумбию въехал Батиста. Он был одет в белую спортивную рубашку, на поясе — пистолет 38-го калибра. Стоя в джипе, он крикнул:

— Солдаты! Вы — мои дети!

В его руках оказалось все. Политические деятели кинулись в Колумбию, чтобы предложить себя новому вождю. Мухаль бросил к его ногам профсоюзы. Позднее Батиста рассказывал, что у него был всего один патрон, чтобы в случае провала пустить себе пулю в лоб. Гарнизоны Матансаса и Орьенте в течение часа оставались верными президенту Прио. Студенты пришли во дворец: они ни за что не покорятся Батисте, пусть им дадут оружие. Но брат президента сказал:

— Уйдем отсюда.

И Карлос Прио в серой трикотажной безрукавке покинул дворец.

Себастьян вернулся домой; он решил дать телеграмму в журнал о том, что переворот Батисты задержит развитие страны на двадцать лет.

Из окна соседнего дома кричала женщина:

— Иди домой, негодный мальчишка, ужин на столе! Сейчас же иди, не то всыплю!

■

Себастьян накормил собак отварными легкими, потом сел в машину и, прежде чем направиться к родителям, решил заехать на телеграф. Телеграмма в шестьсот слов была готова, он хотел избавиться от нее. На улице еще стояли танки.

Обстановка в отделении телетайпов показалась ему странной: тревожная тишина — и какой-то незнакомый человек, худой, с длинным болтающимся галстуком.

«Цензура. Придется искать другие пути для отправки материала».

Чтобы не вызвать подозрений, Себастьян взял какое-то безобидное сообщение и начал его редактировать.

Цензор улыбнулся телетайпистке и театральным жестом поставил свои инициалы на прочитанной телеграмме.

— Как дела, Солер? — Один из служащих, подмигнув Себастьяну, кивнул в сторону цензора.

— Порядок! — ответил своим любимым словечком Себастьян.

— Как тебе нравится то, что сделал «этот человек»? — служащий явно хотел выяснить позицию Себастьяна.— Даже вас, журналистов, захватил врасплох.

— Да, Батиста здорово рванул.— Себастьян решил не подвергать себя риску: черт с ним, с этим Батистой!

Нигде Себастьян не чувствовал себя уверенно. Он был кубинец, но его часто путали с янки. Родись он черноглазым и черноволосым, он не чувствовал бы себя таким ненастоящим и ненужным. На Кубе самое главное — быть похожим на кубинца.

Он подписал свою информацию.

Захлопнув дверцу серого «шевроле», Себастьян проехал несколько кварталов и остановился у двухэтажного дома с узким балконом и зарешеченными окнами. Все здесь как прежде, хотя Себастьян ждал чего-то нового. Косые лучи солнца заострили тени. Ветер приносил резкий запах отбросов.

Человек в майке и темных очках открыл ему дверь. Себастьян старался не смотреть ему в лицо. В глубине дома пела женщина. На этот раз пилот был ему нужен не для того, чтобы быстрее доставить статью, а чтобы избежать цензуры. Пилот предложил кофе.

А вдруг он окажется доносчиком? Себастьян мысленно пробежал статью. Цитаты из выступлений членов свергнутого правительства были очень едкими. Он снова прислушался к голосу поющей женщины. Если сейчас уйти, это может вызвать подозрение. Он решил рискнуть. Все покупалось, надо только угадать сумму взятки. Он вложил зелененькую бумажку между листками статьи и распрощался.

«За взятку расплатится журнал»,— подумал он, спускаясь по лестнице и прыгая через две ступеньки.

Узкие улочки вечером были почти безлюдны. Себастьян нередко гулял по Старой Гаване. Здесь много книжных магазинов и маленьких кафе с мраморными столиками, где можно выпить чашечку кофе с молоком и съесть кусок хлеба с маслом. Себастьян любил макать хлеб в кофе с молоком. Но сегодня ему ничего не хотелось. Официант с салфеткой через руку, во вздувшихся на коленях черных брюках лениво следил взглядом за мухами. Себастьян проехал мимо источенных временем стен, которые когда-то защищали город от разбойников и пиратов, и добрался до центра. На Галиано царили стоявшие в витринах магазинов манекены. Он боялся, что его могут задержать, и успокоился только в конце набережной, опоясывающей город извилистой лентой. Промчавшись по небольшому железному мосту через реку Альмендарис, он направил машину в сторону пригорода.

Это дико — не давать человеку возможности отослать статью в журнал. Стоит ли жить, когда все так запуталось? Если бы его стали пытать, он бы не выдержал. Без сомнения.

Себастьян нашел родителей в садике. Отец босиком ходил по газону, а мать поливала растения. Он поцеловал ее.

— Полный контакт с природой! — воскликнул отец, вытирая ноги о траву.

Артуро питал слабость к физическим методам лечения. Быть может, потому, что большую часть дня он проводил в тесной и плохо проветриваемой конторе банка.

— Я сегодня думал о тебе. Удалось отправить телеграмму?

— Нет. Но я послал информацию с одним летчиком. Он летает в Майями через день.

Кристина пошла во дворик поставить лейку. Артуро посмотрел ей вслед: «Ковыляет, как старая курица». Затем схватил Себастьяна за руку.

— Будь осторожен, мой мальчик, хотя бы эти несколько дней. Ты же знаешь свою мать. Не говори, что такова уж твоя работа, это я знаю. Но твоя мать, когда волнуется, изводит меня. Она все время пристает, чтобы я позвонил и узнал, что ты делаешь. У меня и без того много всяких забот по службе, и я не могу вдобавок еще выдерживать натиск твоей матери. Возвращаясь домой, я хочу отдыхать. Осторожнее, она идет... Беспокоиться нечего, все уладится. Это бескровная революция. Во время выборов иногда больше людей погибает... Этого ты не можешь отнять у Батисты. Экономика не пострадала и даже, я думаю, пойдет в гору. Я предложил твоей матери в субботу поужинать в городе, а затем отправиться в кино. Нам надо немного развлечься. Хочешь пойти с нами? Кажется, хорошая картина. Музыкальная комедия с Бобом Хоупом.

— Я не против, но мне нужно повидаться с одним приятелем. Может быть, на следующей неделе?

— У тебя теперь никогда нет времени побыть с нами,— недовольным тоном заметила Кристина.

После ужина все уселись на веранде, и разговор прекратился. Себастьян почти все время глядел на улицу.

Соседи, проходя мимо, кланялись трем молчаливым фигурам на веранде. Мир его родителей, казалось, был чем-то нарушен.

— Надо покрасить дом. Сегодня утром, возвращаясь из магазина, я заметила, что это уже пора сделать. Артуро, ты меня слышишь?

— Да, я слышу. Ты сказала, что пора красить дом. Я подумаю об этом,— Артуро перевернул страницу «Диарио-де-ла-марина».

Себастьян начал терять терпение. Почему, как только он приходит к родителям, ему становится скучно? В детстве он убегал к друзьям и все надеялся найти что-то самое главное в жизни. Дом его родителей был пустыней. Улица жила своей жизнью, где-то далеко-далеко, за пять тысяч километров от дома...

Кристина спросила, не хочет ли он поиграть в карты. Чтобы доставить ей удовольствие, Себастьян согласился, и они перешли в холл.

— Твой отец не любит играть в карты по вечерам, он предпочитает газеты. Но не проходит и пяти минут, как он уже бессовестно храпит. И в кино то же самое. Подожди, я принесу карты.

Себастьян расставил карточный столик — все тот же, что стоял здесь еще в дни его детства. Сейчас он был обтянут новым зеленым сукном. Себастьян медленно провел рукой по ворсистой поверхности.

— Тиани, ты не представляешь, как я за тебя волнуюсь. Когда ты наконец возьмешься за ум? — говорила мать, тасуя карты.

— Ведь я же не занимаюсь контрабандой оружия или чем-то подобным. О чем ты говоришь, мама, не понимаю.

— Ты не похож на своих двоюродных братьев. Ты нигде не служишь, как все. Меня без конца спрашивают, где ты работаешь, а когда я отвечаю, что для одного нью-йоркского журнала, все смотрят на меня, как на лгунью.

— Покажи им журнал, там напечатано мое имя. И потом, я наверняка зарабатываю больше любого из моих братьев.

— Не в этом дело. Я хочу, чтобы ты наконец остепенился, как они. Имел настоящий дом, семью.

— Вполне возможно, что это скоро случится.

Некоторое время они играли молча. Себастьян подумал, что может жениться на Норме. Он обзаведется семьей, как хочет его мать. Но только женой его будет одна из «неприкасаемых», и это вызовет бурю...

Кристина сбросила трех королей и четыре восьмерки. Себастьян подсчитывал. Карты не вязались с этой тихой, скромной обстановкой. Казалось, здесь им не место. Здесь все так чисто и печально. И безжизненно. Он собрал карты.

— Почему бы тебе не стать преподавателем? Ты мог бы давать уроки английского получше любого учителя.

— Зачем мне преподавать английский? Никому твой английский не нужен. Два языка в голове только путают человека. Вот как меня, например... И вообще мне так лучше. Я могу даже по утрам вставать, когда захочу.

— Нельзя же оставаться журналистом всю жизнь. Это опасно. И потом — несолидно. Ты мог бы открыть частную школу английского языка. Работа в журнале так опасна! — воскликнула она, ловко тасуя карты.

— Мама, скажи мне одну вещь. Ты довольна всем этим? — Он обвел взглядом комнату.— Тебе хочется, чтобы у всех была астма? А между тем каждый имеет право ошибаться по-своему.

— Ты думаешь, я не знаю, что ты живешь с цветной?

— Мама, она не цветная, а мулатка. Очень привлекательная девушка. Хочешь, я приведу ее к вам?..

Два года назад Норма была служанкой в их доме. Когда Себастьян приходил обедать к родителям, он не мог оторвать от нее глаз, стоило ей появиться в комнате. Норма была единственным живым существом в пустыне родительского дома.

— И не думай показываться с ней здесь! Ты не должен общаться с людьми не нашего круга. Рано или поздно ты это поймешь. Надеюсь, раньше, чем я умру. Я хочу видеть тебя устроенным до моей смерти.

Вероятно, кто-нибудь видел его с «какой-то» мулаткой, но мать не знала, что эта мулатка — Норма.

— Да, мама, ты права. Но дело в том, что мне очень трудно изменить свою жизнь. Да и не стоит.

— Я молю бога об одном, чтобы ты взялся за ум прежде, чем я умру.

— Не говори глупостей. Ты не настолько стара.

В половине одиннадцатого Себастьян распрощался. Норма звонила утром и предупредила, что придет. Неожиданно ему захотелось видеть ее, говорить с ней, ласкать ее пахнущее дешевыми духами тело.

Себастьян включил третью скорость. Из приемника лилась мелодия мамбо. Музыка заполняла все пространство, глухие непрекращающиеся удары, казалось, раздавались в его груди. Гнусавый голос запел о черной лошади с белым-белым хвостом.

Повернув за угол, Себастьян наткнулся на солдат. Он выключил радио и затормозил. Солдаты подошли к машине.

— Вы думаете, куда едете? Улица перекрыта. Сюда нельзя.

— Я еду домой, я живу вон там.— Он стал искать в карманах какой-нибудь документ.

Солдат отступил на шаг и взял автомат на изготовку. Себастьян ждал, положив обе руки на руль.

Задав несколько вопросов, солдаты пропустили его, но запретили ставить машину напротив дома.

Я НЕ ПРОЗРАЧНЫЙ

— Легко добралась? — спросил Себастьян, захлопнув дверь.

— Ты спрашиваешь про солдат? Да.

— Что они тебе сказали?

— А что они могли мне сказать? Я наврала им, что живу здесь. Они сделали вид, будто не верят ни одному моему слову, но все-таки пропустили. Что мне за дело до всего этого! Моя жизнь — это моя жизнь.

— Не думай, что люди всегда знают, когда ты лжешь. Ты молода и хороша собой. Мужчины всех женщин считают обманщицами. Но я верю тебе.

— Хитрец! Мне нравятся солдаты, но не все. Когда я первый раз увидела Батисту, я сразу поняла, что он далеко пойдет. Вид у него грозный. А знаешь, его родители были беднее моих. Совсем нищие.

— Не морочь себе голову. Мулат всегда пойдет против своих, стоит ему сделать политическую карьеру. Батиста залез так высоко, потому что его поддержали богатые. Он готов на все, лишь бы удержаться у власти. Ради этого он разрешит мне сожрать тебя с рисом и фасолью.

— Не говори таких вещей. Ты что, рехнулся? Мой старик был почтальоном, когда Батиста уже стал президентом. Вот так-то.

— Дорогая, Батиста однажды пытался пролезть в члены Абана Яхт-клаб, но ему показали кукиш, и он вынужден был остаться за дверью. Такое не забывается. Аристократишки ни за что не допустят в свой круг

бывшего сцепщика железнодорожных вагонов. Теперь он ни то ни се — ни рабочий, ни буржуа. Просто паразит.

— Ты думаешь, они поверили, что я живу здесь?

— Разумеется... Но, пожалуй, тебе надо было сказать, что ты вавилонская блудница и пришла посетить гробницу Тутанхамона.

Норма улыбнулась, чтобы скрыть замешательство. Она знала, что Тутанхамон — это марка рома, но...

— Ты не веришь, что я мумия? Ты должна была сказать, что идешь распеленывать мумию. Это не ложь. Иногда я будто превращаюсь в мертвеца, и мне трудно общаться с людьми.

— Хвастунишка! Не говори чепухи!

Себастьян легонько шлепнул ее, и она заворчала. С ней можно было ребячиться, рассказывать всякие небылицы, чего он не позволил бы себе с другими. Норма никогда не обижалась. Иногда он даже пел при ней во весь голос.

— Знаешь, я устала. Не очень, но устала. Ничего не хочется делать. Это у меня с самого утра.

— Значит, ты не останешься у меня?

— Ну, это совсем другое... Знаешь, у меня есть одна подруга, ей нравятся такие блондины, как ты, с голубыми глазами и прочее... А мне нет. Мне нравятся цветные, такие, как я. Ты-то мне нравишься, но не думай, будто все цветные девушки любят белых.

— Почему ты всегда говоришь «цветные»? А разве я прозрачный? У меня тоже есть цвет. Розовый, голубоватый или еще какой другой. Белый — ведь это тоже цвет. Я вовсе не прозрачный...

— Ах, ты же знаешь, что все так говорят: «цветные». Брось! И образованные так говорят.

— Но ведь ты мулатка, не белая и не черная. Да и кожа у тебя такая свежая. У меня вызывает отвращение молочно-белая кожа некоторых женщин. И потом, что ни говори, большинство кубинцев мулаты.

— Но ты-то не мулат.

■

Капелька кофе скользила по подбородку Нормы, Себастьян вытер ее салфеткой. Пока она одевалась, он приготовил завтрак. Ее глаза слегка припухли от сна.

— Почему ты не хочешь быть моей женой?

— Тебя никто не заставляет жениться на мне. Зачем тебе это?

— Чтобы обзавестись семьей и остепениться.

Кофе с молоком был горьковатым, и Себастьян добавил еще ложечку сахару.

— Хватит, перестань морочить мне голову. Я уже не девочка.

— Я говорю серьезно. Вчера вечером я повздорил с матерью. Она очень хочет, чтобы я женился и имел много детей. Я сказал о тебе, но не назвал твоего имени. Она согласилась с тобой познакомиться. Вот ахнет, когда увидит тебя! Из нас получилась бы хорошая парочка, а?

Норма с раздражением щелкнула языком. Она никогда не понимала, когда Себастьян шутит, а когда говорит серьезно.

— Не будь таким жестоким, не смейся надо мной. Я не хочу за тебя замуж, я ни за кого не хочу замуж. Я ведь шлюха.

— А я хочу жениться на шлюхе. Мне все равно, какая ты. Я люблю тебя.

Себастьян надеялся, что она поверит в то, во что он силился поверить сам.

— Ладно, мне надо идти. Пока я еще свободна.

— Если ты выйдешь за меня, я тебя не запру в клетку. Обещай, что подумаешь.

— Подумаю,— сказала Норма и поцеловала его в щеку.

Она шла к автобусной остановке и размышляла о словах Себастьяна. Нет. Он никогда не женится на девушке, которая стряпала и прислуживала в его доме. И Норма забыла о предложении Себастьяна, так как не придала ему значения.

В Поголотти Норма сошла и отправилась дальше пешком. Дома становились все меньше. За ними виднелись пальмы и плантации сахарного тростника.

Она пересекла улицу и увидела вдали высокую трубу сахарного завода «Толедо». Накаленный солнцем воздух, казалось, кипел. Во дворике, согнувшись над корытом, стояла мать. Спина ее равномерно двигалась, а руки скользили по стиральной доске: вверх-вниз, вверх-вниз. Солнечный свет резал глаза. Норма зажмурилась и вошла в комнату. Здесь жила вся семья. Только кровать Нормы была прибрана: две последние ночи она не спала на ней. Трое в одной комнате — это слишком. Через несколько минут появилась мать и принялась за стряпню.

— Зачем ты вышла замуж за отца? Только чтобы содержать его? Я бы никогда не вышла за белого.

— Дочь моя, лучше содержать мужчину, чем жить одной. Ты же знаешь, как я ненавижу этого пьянчугу.

— Он белый, поэтому живет на твой счет. Если бы он был негром, вы работали бы оба.

— Все одинаковы. Вон посмотри на Хосефину... Зато какое у нас потомство. Ты уж получилась что надо. Погляди на свои волосы, чего тебе еще не хватает?

— Вот меня и содержат мужчины. Твоя дочь красотка, и ей не придется стирать чужое белье, чтобы прожить.

— Норма, ты можешь дать мне два песо? Вечером мы поедем в Реглу на танцы.

Норма достала из сумки два песо и трижды пересчитала их.

— Ты знаешь, как мне приходится работать за них?

— Знаю. Вот так.— И мать ритмично задвигала бедрами.— Самое главное — не подохнуть.

Обе рассмеялись.

Прозвучал полуденный гудок на сахарном заводе «Толедо». Пришел отец.

За обедом говорили о Каридад. Она жила за стенкой. Каридад сама себя подожгла: ее бросил любовник. Девушку удалось спасти, однако Норма считала, что лучше ей было умереть, чем жить с обезображенным лицом...

— Я думаю, теперь ты найдешь работу.— Норма вытерла руки, сальные от тарелок, которые она только что мыла.

— Батиста поможет, да только... солдатам,— возразил отец.

— По крайней мере, Батиста настоящий мужчина, и никто не сумеет им командовать,— воскликнула мать.

— Не волнуйся, американцы сумеют. Единственное, что нам нужно, это чтобы воскрес Чибас *.

— Заткнись-ка ты лучше. Единственное, что нас может выручить, это большой выигрыш. Поставил на ту песету, что я тебе дала?

— Да, женщина, да... Послушай, я тебе объясню кое-что: рано или поздно все в стране должно измениться.

---

* Чибас Эдуардо (умер в 1951 г.) — основатель «Партии кубинского народа» (члены этой партии называли себя «ортодоксами»), объединявшей демократические силы страны. Пользовался большой популярностью в народе.

— Если бы ты не влез в эту профсоюзную заваруху, до сих пор бы работал на кирпичном заводе.

— А ты знаешь, почему меня вышвырнули? Потому что я был прав и товарищи меня поддержали. Они были за меня, и я не мог их предать.

— Что же они теперь тебя не кормят, а? У многих профсоюзных вожаков свои дома и автомобили. Все дело в том, что ты просто разиня. Веришь во всякую чепуху, которой пичкают тебя на собраниях. Они просто голову морочат, и больше ничего. Если бы ты взял, что тебе давали, мы бы не жили сейчас в этом клоповнике. Полюбуйся-ка на эту комнату! Она тебе, наверно, по душе. И тебе нравится иметь жену, которая тебя содержит!

— Хватит! — крикнула Норма.— Вечно болтаете без толку.

— Ты не хочешь знать правду,— возразил Андрес.— Рабство кончилось давным-давно.

— Мы, по крайней мере, работаем и зарабатываем себе на жизнь,— процедила Норма сквозь зубы.

— Нахалка! Я-то знаю, как ты зарабатываешь. Можешь мне не рассказывать. Послушай, девочка, я много работал, и работал честно. Я был мастером на кирпичном заводе, а до того почтальоном. Ты была тогда малышкой и всегда пыталась стянуть с меня фуражку. Целыми днями шагал я под этим проклятым солнцем, но не бросил работы, пока не нашел другую, на кирпичном заводе. Если сейчас я безработный, то только потому, что понял, где правда, и не могу терпеть несправедливости.

— Черт побери, я не против того, чтобы содержать тебя, но не мешай мне жить, как я хочу,— проговорила мать, подходя к нему.— Ты всего-навсего сутенер, но что поделаешь, должна же я иметь мужчину в доме. Если бы не я, тебе пришлось бы все-таки работать. Справедливость! Что это еще за чушь! Я знаю только одно: я бедная негритянка, и мне дела нет до какой-то справедливости. А ты... Да у тебя просто мозги набекрень.

— Хватит вам! — вмешалась Норма.

— Провалитесь вы обе ко всем чертям! Пойду приму душ. Жара замучила.

— Ступай, ступай мойся, пусть тебя кондрашка хватит, двух часов не прошло, как мы поели. Только не пропадай никуда. Ведь ты говорил, что сегодня мы пойдем в Реглу на танцы.

Андрес вышел из комнаты, деревянные сандалии его громко застучали по цементному дворику.

■

В окно не было видно неба: только вершина холма да серые стены Кастильо-дель-Принсипе. Норма сидела в баре за столиком и смотрела на солдат, спускавшихся с холма: Мануэля среди них не было. Он сказал, что придет в шесть. Закинув ногу на ногу, Норма покачивала носком туфли.

В десять минут седьмого явился Мануэль. Он скалил зубы, силясь сдержать переполнявшую его радость.

— Проси чего хочешь. Коньяку... Фунт ветчины... Все, что твоей душе угодно.— Он обнял ее за талию.

— Что это с тобой вдруг стряслось? У тебя, наверно, нет денег, так я платить не буду. Ничего не выйдет.

— Не волнуйся, детка, у меня отличная новость. Ты ничего не замечаешь? Погляди-ка на меня хорошенько.

— Что еще?

— Только что пришили.— Он показал на сержантские нашивки на рукаве.— Присвоили. Теперь у меня дела на мази. Мне на сегодня даже дали машину. Сейчас увидишь. Но сначала коньяку выпей. И дай на тебя поглядеть. Ну и аппетитная же ты бабенка! — Он ущипнул ее за щеку.— Вот посмотришь, как мы с тобой заживем. Пошли в номера с кондиционированным воздухом. Помнишь, как я вылил на тебя бутылку холодного пива? Ну и смеялась же ты!

— Знаешь, Мануэль, не морочь мне голову. Второй раз ты меня не проведешь. Лучше не пытайся.

— Клянусь матерью.— Мануэль поцеловал скрещенные пальцы.— Ты для меня все. Ради тебя я могу сделать, что угодно: украсть, даже убить.

— А свою жену ты убил бы?

— Если захочешь, убью.

Норме стало весело. Она глотнула коньяку и почувствовала, что начинает верить его словам. Любовь и желание разрушать смешались в ее душе. Мануэль вдруг вскочил и молодцевато отдал честь.

— Прошу вас, капитан, присаживайтесь к нам. Что вы будете пить?

— Бутылку пива. Кто эта симпатичная сеньорита?

— Норма Эскобар.— Мануэль заказал пиво.— Я объяснял ей, что теперь у нас во дворце сидит настоящий человек и все пойдет по-другому.

— Если бы не он, пришлось бы тебе снова солдатом сделаться,— насмешливо сказал капитан, поглядывая на Норму.

— Ну-ка, Норма, встань. Пусть капитан посмотрит на тебя как следует,— сказал Мануэль, пропустив мимо ушей слова офицера.— Ну что, капитан, правда, она красотка?

Мгновение Норма колебалась, но потом поднялась.

— Пойдем, уже поздно.

Мануэль с трудом втиснулся в кабину. Он не привык сидеть — только стоять или лежать. Тучное тело, широкие ноздри выдавали в нем человека сильного, горячего. Норма посмотрела на его мясистые, но красиво очерченные губы на широком и злом лице. Мануэль гордился своей тучностью. Когда он жил в Сагуа, то был тоньше тростникового стебля.

Прежде чем завести мотор, он закурил и пустил дым Норме прямо в лицо. Она ущипнула его.

— Ну и повеселимся же мы,— Мануэль расхохотался.— Не думай ни о чем. Будешь жить, как королева, будет и квартира, и служанка, и все прочее, чего только захочешь. Посмотри-ка, что я тебе принес.— И он бросил ей на колени маленькие часы, украшенные зелеными камешками.

Он заплатил часовщику пять песо, а остальные обещал отдать в конце месяца. Норме было сейчас безразлично — обманывает ее Мануэль или нет. Рядом с ним она забывала все.

■

Портовый кабачок. Одиннадцать часов ночи. По ту сторону бухты мигают огоньки Реглы и Касабланки. Мануэль и Норма танцуют под оглушительные звуки мамбо. Они плотно поужинали, порядком выпили, повеселились и сейчас чувствуют лишь собственную тяжесть. Вокруг них только несколько дюймов свободного пространства.

Норме кажется, что музыка звучит в ее теле. Руки и ноги сами взлетают в танце. То и дело облизывая пересохшие губы, она покачивает бедрами то мягко, то резко. Мануэль опускается на колени, стараясь зубами поднять ее платок, и замирает, уставившись на ее ноги. Икры у нее тонкие, а бедра тяжелые. Норма кажется пригвожденной к полу и только чуть переступает на месте. Плечи ее дрожат. Рот приоткрыт.

МУЖЧИНЫ, ЗАЙЦЫ, БАБЫ

— Надо что-то делать,— сказал Франсиско Руэда.— Так больше не может продолжаться.

— Всем безразлично. Кто пойдет против Батисты? — возразил Себастьян, сидевший напротив него за мраморным столиком.

— Я не знаю... «Батиста — вот это человек! Батиста — вот это человек!» — только и слышно на улицах. А мы что, бабы или зайцы? — выпуклый лоб Франсиско блестел.

— Просто наша страна прогнила, не успев созреть.

— Как ты можешь так говорить!

Себастьян с трудом выдержал взгляд Франсиско.

— Никто уже не верит, что тут можно что-то изменить. Прежний президент Прио Сокаррас был плох, а Батиста еще хуже — это правда, но, поскольку обстановка пока не изменилась к худшему, все останется как было. Люди всегда так — пальцем не шевельнут, пока их не прижмет.

— Люди тоже переменятся... Я не знаю, как быть, но дела идут из рук вон плохо. И что ни говори, надо что-то предпринять.— Франсиско закусил нижнюю губу.

— Согласен, но я не хочу обманывать себя. Все равно всем суждено проглотить определенное количество дерьма. Батиста — тиран, но я не подумаю бросаться на него, жертвуя жизнью. Фанатики всегда неудачники.

— Ты просто не хочешь ничего делать, тебе лень двигаться.

— Я бы хотел, чтобы на Кубе все стало иначе, сейчас она похожа на открытую рану. Мне стыдно за мою страну, но не потому, что я надеялся на лучшее, а потому, что мы погрязли в гнилье.

Себастьян вдруг представил себе: Франсиско борется против Батисты. Муха, бьющаяся о стену.

— Ты теряешь много времени на рассуждения, а скоро тебе не позволят даже думать. Батиста прикидывается демократом, но, если ему будет выгодно, он наплюет на конституцию и начнет расстреливать, как прежде.

— Может, это потому, что я наполовину буржуа, но только мне все представляется намного сложнее. Дело не в одном Батисте. Так или иначе, мы все ответственны за то, что он наверху.

— А я за Батисту не отвечаю,— раздраженно сказал Франсиско.— Ты так привык к этой системе, что принимаешь любое унижение, как нечто естественное, тебе это даже приятно. Ты — словно пуганая собака: поджал хвост и удираешь.

— Ты прав. Но что, по-твоему, я должен делать? Я не верю в людей. Никто не пойдет за тобой, если ты восстанешь против Батисты. У большинства только одно на уме: жрать да спать с бабами. Пусть кто-нибудь другой первым кинет камень, я подожду.

— В том-то и загвоздка: каждый ждет, чтобы другие все за него сделали.

— Общественные движения нуждаются в людях, которые верят в будущее. Я же потерял веру. Вся жизнь кажется мне отвратительной и уродливой.

— Если бы Чибас был жив, Батисте не удалось бы совершить переворот. Дела на Кубе могут еще измениться к лучшему, нам просто не повезло.

— Да, дела могут измениться, но я не из тех, кто в силах помочь этому. Я мог бы только писать против правительства, но ведь бумажки никого не убивают, как сказал Мачадо.

— Да, но они помогают. Вот будешь писать свою статью о табаке, не забудь рассказать, как Мачадо потопил в крови Сан-Антонио-де-лос-Баньос. Читать я люблю, однако предпочитаю действовать. В этом мы с тобой расходимся.

— Писать — это еще не значит работать для будущего. Писатели и художники говорят о недугах, но они не знают, как их лечить. Франко до сих пор в Испании, несмотря на «Гернику» Пикассо.

Франсиско умолк и подошел к прилавку, где продавали табак. Пока он рассказывал Себастьяну о том, как широкие зеленые листья превращаются в сигары, ему захотелось курить. Сигареты у него были слабые. Он взял сигару и покрутил между пальцами, она хрустела, значит, сухая. Франсиско показал на более дорогую коробку, лежавшую под стеклом. У него был всего один песо, но он решил купить ее, так как аромат табака напомнил ему родные места. До двенадцати лет он жил в Сан-Антонио-де-лос-Баньос, потом семья переехала в Гавану, где отец стал работать в табачной лавочке на улице Беласкоин. Мачадо залил кровью его родной городок за то, что рабочие табачной фабрики отказались приветствовать его традиционным постукиванием ножей для резки листьев. Мачадо правил более двадцати лет назад, и его свергли так же, как сейчас собираются свергнуть Батисту.

— Мачадо удрал, и Батиста тоже побежит без оглядки,— сказал Франсиско, вернувшись к столику.

— А что было после Мачадо?

— Это еще не значит, что будет опять то же самое. Не надо сдаваться. Человек никогда не должен ныть, даже если его избивают до смерти.

— Я вовсе не сдаюсь, просто я вижу вещи такими, какие они есть.

— Когда дела идут неважно, надо что-то предпринимать.

— Но люди плохи по самой своей природе.

— А, к черту все! Посмотри-ка лучше вон на ту брюнетку.

— Хороша,— Себастьян окинул женщину взглядом с головы до ног.

— Хороша! Больше чем хороша. Я думаю, ты бы не отказался провести с ней ночку.

— Я никогда не рисую себе подобных картин. Я люблю быть с женщиной наедине, и никому до этого нет дела. По-моему, глупо болтать об этом.

— У каждого свой вкус.— Франсиско усмехнулся и допил кофе.— Ты не окажешь мне одну услугу?

— Смотря какую.

Франсиско раскурил сигару.

— Не смог бы ты спрятать у себя кое-какое оружие? Всего на несколько дней.— Франсиско разглядывал сигару, зажатую меж пальцев.— Видишь, я тебе доверяю. Ты мог бы выдать меня, но я готов рискнуть, а вот ты нет.

— Ладно, спрячу.— Себастьяну хотелось показать, что его скептицизм вовсе не объясняется трусостью.

Франсиско верил Себастьяну, но сейчас был зол на него за то, что тот отказался обсуждать брюнетку и сделал вид, будто презирает подобные разговоры. Кого он из себя строит? Франсиско смотрел, как росла пепельная шапочка на конце сигары; он не покажет Себастьяну стихи, которые недавно написал. В детстве Франсиско читал, запершись в уборной, чтобы мать не послала его куда-нибудь с поручением. Но все эти книги из серии «Аустраль», с головой козла на обложке, помогли ему стать всего лишь бухгалтером в банке, одним из администраторов которого был отец Себастьяна.

— Кому придет в голову, что какой-то несчастный служащий из банка твоего отца может быть замешан в заговоре против Батисты, не так ли? — спросил Франсиско.

— Банк не принадлежит моему отцу. О, если бы это было так!

— Ну, тут большой разницы нет. Он представитель владельцев.

— Однажды я сказал ему, что банкиры — это паразиты, живущие за счет других людей, и что банки ничего не производят. Он обиделся. Сейчас я раскаиваюсь в этом.

— А что он тебе ответил?

— Помолчал немного, а потом сказал, что в банке работают тридцать семь человек, которые иначе умерли бы с голоду. Он не понял меня. Я не стал с ним спорить.

— Твой отец, Себастьян, хороший человек, не там бы ему работать.

— Мой дом почти напротив Колумбии. Это опасно... Хотя, быть может, именно поэтому лучше места и не найдешь. Они никогда не заподозрят, что под самым их носом...

— Ты прав... Этой ночью я привезу. Возле дома есть солдаты?

— Нет. Всего лишь один на посту.— Себастьяну показалось, что Франсиско злоупотребляет его дружбой.— Только на несколько дней. Запомни.

— Я заберу все в течение недели. Если бы у моей старушки не было сердечных припадков, я бы отвез к себе. И потом, к нам ходит слишком много народу, да и братец мой порядочная свинья. Тебя устроит, если я приеду в девять?

— Да.— Если бы Себастьян отказался, все его доводы разлетелись бы в прах. Через несколько дней все уже будет позади.— Что ты думаешь делать с оружием?

— Еще не знаю, но мы используем его против правительства. Отвезем в один городок близ Матансаса.

— Ты больше не пишешь стихов?

— Нет. Это занятие для кретинов.

■

Себастьян открыл окно позади своего рабочего стола. На ограде ящерица подняла голову и вытянула шею так, что стало видно оранжевое пятнышко на ней. Себастьян сел и, покусав согнутый указательный палец, принялся отстукивать на машинке статью о табаке, которую ему заказал журнал.

Каких волнений ему стоило спрятать оружие в доме!

Предки Франсиско сеяли табак, ухаживали за ним, сортировали. Весь этот сложный процесс заканчивался сигарой. Себастьян писал о чем-то, не имеющем никакого отношения к нему лично, перемежая текст никчемными цифрами и пустыми анекдотами: этого от него и ждали. Обычная журнальная халтура.

Винтовки в двух длинных ящиках лежали под кроватью. Бессмысленно держать их там, но ничего другого он не смог придумать, когда Франсиско постучал в дверь. Всего на пять-шесть дней. Себастьян пребывал в каком-то совершенно новом для него состоянии. Что это — игра или реальная угроза? Можно было закопать ящики во дворе.

Опасность, которой он подвергался, льстила его тщеславию. Если свергнут Батисту, его поступок будет оценен. Себастьян скорчил гримасу и закрыл глаза. Как глупо: его заставили рисковать больше, чем ему бы хотелось.

А пригодятся ли когда-нибудь эти винтовки? Такой вот маленький кусочек свинца — и может убить. Разом покончить со всем.

Если оружие найдут у него в доме, его засадят в тюрьму. Он подумал, что оружие куда эффективнее, чем слова. Старая и бесполезная истина. Нет, слова — это совсем другое. Они тоже действуют, только иначе. Себастьян по-детски зажмурился и мысленно пожелал: пусть оно

исчезнет. Вот он сейчас откроет глаза — и оружия больше нет. Писать о табаке не было настроения. Он встал, чтобы выпить воды, и, проходя мимо спальни, нагнулся: да, ящики видны из коридора. Почему Франсиско не спрятал оружие в каком-нибудь диване или в футлярах для музыкальных инструментов?

Действительность была слишком жестока.

Он выпил полстакана воды из-под крана.

Вот-вот должна позвонить Норма, Себастьяну не хотелось принимать ее у себя. Она тотчас же обнаружит ящики под кроватью. Но видеть ее хотелось: когда она была рядом, все его заботы мигом улетучивались...

— Мы можем провести ночь в гостинице,— подумал он вслух и ударил кулаком по ладони.

Он никогда не бывал с Нормой в гостинице. В незнакомой комнате все было бы, наверно, иначе...

— Я не могла позвонить тебе раньше, я была у одной подруги, которая только что родила.

— Ничего,— ответил Себастьян, успокоенный тем, что она все-таки позвонила.— Не волнуйся, я хочу тебе кое-что сказать и уверен, что тебе это понравится.

— Что ты придумал?

— Скажу, когда увидимся. Не приезжай ко мне. Встретимся в Старой Гаване. Помнишь ресторан на Нептуно, около Прадо?.. Да, тот самый... Я буду там через час.

■

Себастьян вышел из автобуса возле одного из бронзовых львов на Прадо и пошел по центральному бульвару, засаженному деревьями. Когда-то, давным-давно, здесь по воскресеньям прогуливались буржуа. Себастьян вспомнил старинные гравюры. За колясками по Нуэва Аламеда клубилась пыль. В более поздние годы на козлах экипажей, которые, трясясь, катили по мостовой, восседали негры в шляпах и сюртуках. Потом он вспомнил фотографии мужчин в черном и женщин с зонтиками, в длинных платьях, волочившихся по земле. Вокруг памятника «Ла-Индиа» сидели нищие с протянутыми руками.

Сейчас эта улица называлась Пасео-де-Марти. Густая листва аркой нависала над головой. Было еще светло, а на одной из мраморных скамеек уже растянулся нищий. Названия улиц изменились, но все осталось по-прежнему. Буржуа разъезжали теперь в «бьюиках» или «кадиллаках». Прадо их уже не интересовало: у них были дома с бассейнами и клубы в Мирамаре. Себастьяна окликнул чистильщик, потом какой-то лоточник, принявший его за туриста, предложил купить погремушку-мараку. Себастьян ответил по-испански. Лоточник удивился:

— Вот черт, так похож на американца.

Вдруг туча кричащих черных точек закрыла небо и опустилась на вершины тополей. Воробьи и тоти. Себастьян остановился посмотреть, как они облепили деревья... На мраморных скамейках и бронзовых львах остались пятна птичьего помета.

Потом он прошел мимо отеля «Сибоней». Хорошо бы снять здесь номер с окном на улицу. Как было бы приятно, проснувшись утром, спуститься с Нормой позавтракать. Но... все это, конечно, слабость.

Норма уже ждала его, расхаживая у ресторана. Себастьян взял ее руку, и резкий запах духов ошеломил его своей сладостью. На ней было синее платье, отороченное белым кантом.

— Красивое платье,— сказал он, вспомнив, как вызывающе она обычно одевалась.

Теперь легко будет выдать ее за свою жену. Он скажет в гостинице, что они приехали из провинции. Если не поверят, даст на два песо больше.

— Это сшила моя портниха.— Норме показалось, будто кто-то другой говорит ее устами. Она впервые в жизни надела платье от портнихи. Это был подарок Мануэля.

— Хочешь поужинать?

— Да, пойдем... Что ты собирался сказать мне?

— Давай сперва закажем.— Себастьяну не хотелось, чтобы официант прерывал их разговор...— Ты согласна провести ночь в отеле «Сибоней»? Это совсем рядом, за углом. Мы снимем самую лучшую комнату.

— С удовольствием, милый, но сегодня я не могу, честное слово. Подруга осталась одна и ждет меня. В другой раз, ладно?..

— Ты не можешь ей сказать, чтобы она нашла кого-нибудь другого?

— Нет, не могу. Клянусь тебе. Я ей очень нужна. Она одна с девочкой. Только вчера вышла из родильного дома.

— Почему ты не сказала мне этого по телефону?

— Я сказала... Сказала, что не могла позвонить тебе, потому что была у подруги. Но ты меня перебил...

— Неужели, кроме тебя, некому побыть с ней? — Он уже был уверен, что речь идет о другом мужчине.

— Я говорю правду, мы закадычные подруги. Муж ее бросил, у нее нет никого в Гаване. Она из Сагуа-ла-Гранде.

— Ну ладно,— Себастьян попытался скрыть огорчение.— Хоть поужинаем вместе.

— Честное слово, очень хочется остаться с тобой. Это было бы здорово. Если бы я не хотела видеть тебя, я бы не стала звонить... Вот освобожусь пораньше и приеду к тебе.

— Не беспокойся, побудь лучше с подругой.— Те немногие минуты, что оставались до расставания, неожиданно приобрели огромное значение.— Может быть, увидимся завтра?

— Завтра? Очень хорошо. Давай завтра.

— В котором часу ты должна быть у подруги?

— Около десяти. У нас еще много времени...

Мануэль дежурил в тюрьме до одиннадцати.

ОНИ ВСЕГДА ОСТАНУТСЯ КРЕСТЬЯНАМИ

Луис Рейес лежал в трусах и читал газету. Служанка доложила о Себастьяне и провела его в комнату.

— Сейчас оденусь и пойдем.— Кровать трещала, пока Луис неловко поднимался.— Позавтракаем где-нибудь по дороге.

Увидев, что он натягивает майку, Себастьян вспомнил те времена, когда они мальчишечьей ватагой ходили на пляж...

— Как, ты помнишь? Я никогда не думал, что кто-то мог заметить... Мне стыдно за свою грудь... как у бабы... поэтому я всегда надеваю майку, когда иду на пляж. Так ты до сих пор помнишь об этом? Я никогда ничего не помню... Вот, прочитал в газете, как все целуют Батисту в зад. Ты знаешь, мой старик за Батисту. Не понимаю. Они же все одинаковы. Твердят, что Кубе нужен сильный человек, чтобы охранять столицу и держать рабочих в узде. С чего они это взяли?

— Больше всего меня злит в Батисте то, к каким мерам он прибегает, чтобы сохранить власть — власть, поддерживаемую оружием.—

Себастьян вспомнил о винтовках, которые уже неделю лежат под его кроватью.— Чувствуешь себя совершенным ничтожеством...

Пока Луис одевался, Себастьян оглядывал комнату. Она была большая, темная, обставленная мебелью черного дерева, и вызывала неприязнь. Последний раз он был у Луиса больше года назад. Он не помнил, почему они перестали встречаться. Как-то недавно Луис окликнул его из машины. А сейчас они вдруг собрались провести конец недели на сахарном заводе.

Луис открыл шкаф и достал брюки; длинная рубашка навыпуск — гуайябера — уже была на нем. Когда он закрывал зеркальную дверцу, по зеленоватой стене, от одного угла к другому, пробежал солнечный зайчик.

Они уже выходили из дому, когда мать Луиса окликнула их.

— Себастьян, куда же ты запропастился? Приходи к нам почаще. Ты женился? Нет еще? Ну что ж, это ничего. У такого славного молодого человека всегда есть выбор. Сколько кандидаток ждет твоего решения? Будьте осторожней на шоссе. Вы же знаете, какие они ужасные, эти дороги. Хорошо, если Видаль успел распорядиться приготовить дом и сменить постельное белье.

Они заперли калитку в высокой черной ограде, окружавшей сад, и перешли улицу.

— Я не понимаю матери, она живет в другом мире. Всегда просит меня быть приветливым с людьми... А мне надоело быть приветливым. Перед самым твоим приходом она явилась ко мне и сообщила, что один из моих двоюродных братьев женится. Старушка чуть не рехнулась от радости. Ей казалось, что произошло чрезвычайное событие, и она удивилась, почему я не взволнован. А я этих кузенов никогда в жизни не видел — живут-то они в Буэнос-Айресе... И разумеется, я должен написать им... Не пойму, с чего она подняла такую шумиху, увидев тебя. Ведь ей совершенно наплевать, ходишь ты к нам или не ходишь.

— То, что мы обычно не прощаем друг другу, старикам надо прощать.— Себастьян вспомнил, до чего ему тошно бывать у родителей.

На остановках стояли люди, нетерпеливо ожидавшие автобусов. Себастьян не мог найти убедительных оправданий тому, что он вот катит в лимузине, а они стоят под палящим солнцем. Миновали какое-то кафе.

— Давай позавтракаем у Центрального парка, я здорово проголодался.

— Я тоже не прочь... О чем ты пишешь в свой журнал?

— Обо всем понемногу. На днях, например, мне заказали статью о табаке, я в нем ничего не понимаю. В основном же пишу о политике. Самое неприятное то, что всегда надо быть в курсе последних событий. А как в это окунешься, очень скоро начинает казаться, что все происходящее в мире — какая-то дьявольская игра. Иногда я развлекаюсь тем, что выдумываю новости, сидя за машинкой.

— Так можно и влипнуть...

— Никогда. Все равно в Нью-Йорке мои сообщения почти всегда переделывают. Можешь взять любой неодушевленный предмет, камень например, и обвинить его во всех пороках. Все зависит от того, как подойти к вопросу.

— Пожалуй, ты прав. Вот иногда кто-нибудь повторит сказанное мною, и мои же слова кажутся мне ужасными. Никогда бы не подумал, что они могут так звучать.

— Да, это бывает со всеми... Но журнал — единственное место, где над тобой не торчит вечно начальство.

Они уселись у стеклянной стены, отделявшей кафе от парка. Кроме кофе, молока и хлеба Себастьян заказал еще апельсиновый сок. Он никогда не пил за завтраком сок, потому что выжимать его из апельсинов

каждое утро — дело хлопотное. Луис ложкой снял пенку с горячего молока, пролив несколько капель на стол.

Себастьян смотрел на памятник Марти в центре парка. Апостол протянул к морю свою твердую руку, будто указывал на выход из Гаваны. Однажды какой-то американский матрос взобрался на статую и помочился на мраморную голову. Матрос едва спасся от линчевания. Скандал замяли, принеся официальные извинения. Американский посол возложил к подножию памятника венок.

— Может быть, этому матросу надоели памятники, знамена и национальные гимны,— заметил Себастьян.— И статуи — они всегда молчат.

— А ты нисколько не изменился. Посмотрел бы на некоторых из нашего колледжа! Помнишь, я говорил, что никогда не буду работать на сахарном заводе. В прошлом году я познакомился с одной девчонкой, и она спросила, почему я не работаю, как все люди. Тогда я поговорил со стариком, и он сказал, чтобы я на следующий день шел в контору. Я пошел. С того дня все время туда хожу. Ну, а потом эта девчонка начала приставать ко мне насчет зубов: ей захотелось, чтобы я вырвал себе все зубы и вставил новые. Они у меня немного темные. Ты замечал — у некоторых на зубах нет эмали, это от рождения. И что она привязалась? Я перестал с ней встречаться. Каждый раз, когда я высказывал свое мнение о чем-нибудь — о чем угодно,— она говорила, что я сумасшедший.— Луис обломал три спички, пока прикурил сигарету.— Если я женюсь на ней, она будет тратить мои деньги, а я — гнить в конторе. Сейчас наверняка валяется с каким-нибудь богатым хлыщом из Мирамара. Я из тех мужчин, которых женщины всегда обманывают. Но я не хочу быть рогоносцем. Я хочу, чтобы жена понимала меня и чтобы я мог ей верить. Это, пожалуй, слишком старомодно, да? Мой двоюродный брат, например, утверждает, что нежелание жениться на деньгах — признак слабости.

— Бросил бы контору и занялся делом по душе. Что ты теряешь? Если надо, я помогу тебе. Люди должны менять работу каждые два года.

— Мне жаль отца. Не знаю, чего он от меня ждет. И как ему могут нравиться все эти банковские операции, возня с правительственными инспекторами, с рабочими? Компаньон — его копия. Целый день сидят в конторе, как привязанные, и не могут оторваться от телефона. А на меня это тоску нагоняет.

— А почему бы тебе не свалить все на брата? Он ведь старше тебя?

— Бернардо — остолоп, а его жена — чудовище. Болтает без умолку... зубы огромные... Настоящая кобыла... Она и братец уговорили отца построить виллу в самом Кантри-клаб *. Папаша настолько глуп, что согласился. Не понимаю, неужели можно иметь столько денег от одной торговли сахаром?

На столике они оставили чаевые. Официант, прислонившись к стене, чистил зубочисткой ногти. Автомобиль был на стоянке на Прадо. Возле отеля «Сибоней» Себастьян вспомнил о Норме.

— Может быть, тебе следовало бы позвонить твоей девушке? — спросил он Луиса.

— Вот уже несколько дней собираюсь. Но мне ни разу не удавалось сказать ей то, что хочу. Она всегда сбивает меня с толку. И почему это так получается?

— У меня тоже есть девушка. Ты ее знаешь: Норма. Мне хорошо с нею. Я забываю всю пакость, какая приходит мне в голову, когда я один.

— Ну, ты совсем другой. Ты не стремишься делать деньги.— Луис

* Аристократический район в Гаване.

едва не повторил слова отца: тот всегда говорил, что Себастьян никчемный человек.— А чтобы делать деньги, надо выгодно жениться.

Они медленно проехали по Старой Гаване, пристроившись в хвост веренице автомобилей. А когда вырвались на Центральное шоссе и прибавили скорость, все вокруг раздвинулось, стало огромным и зеленым.

— Если устанешь, скажи. Я сяду за руль.

■

За километр до завода над полями сахарного тростника выросла заводская труба. Завод напоминал опрокинувшегося навзничь слона с вытянутым к небу хоботом.

У ворот стоял управляющий.

— Как жизнь, сеньор Луис?

— Хорошо, Видаль. А у тебя?

— Сами знаете, скоро уборка урожая. Как там старик?

— Неважно. У него что-то со спиной.

— Вот еще напасть! Очень жаль.

— Ну, а мы приехали к вам. Я привез кое-какие бумаги, чтобы вы их заполнили и подписали.

— Знаю, ваш отец звонил мне вчера.

— Ну и старик, обо всем успевает подумать! Обходится без помощников. Вот бумаги, лучше возьмите их сейчас, пока я не растерял.

— А вы все такой же, сеньор Луис. Я вижу, вы приехали с другом.

— Да, познакомьтесь, пожалуйста, мой друг Себастьян Солер... Ничего, если мы пойдем немного помоемся? Очень устали и основательно пропотели.

— Конечно, конечно. Идите мойтесь.— Видаль никогда не знал, о чем говорить с приезжими. «Все время в этом аду, отвыкаешь даже разговаривать по-человечески».

Спустя час все сидели за длинным узким столом. Тушеные бананы так пропитались маслом, что Луис даже не притронулся к ним.

Когда принесли кофе, управляющий разоткровенничался. Он сообщил, что копит деньги, мечтает купить доходный дом в Гаване, оставить работу и жить на ренту. На лице его застыло глуповато-мечтательное выражение.

— Только поэтому я и торчу здесь... Не хочу, чтобы моя дочь росла среди крестьян.— Видаль наконец закончил свои излияния.— Завтра вечером документы будут готовы. Утром можете показать завод вашему другу. Если понадоблюсь, найдете меня в конторе.

— Спокойной ночи, Видаль.

— Спокойной ночи, ребятки.

Из-за марлевых пологов голоса Луиса и Себастьяна звучали глухо и отрывисто. Под кроватью трещал сверчок. За окном разлилась необозримая ночь.

— Знаешь,— уже засыпая, пробормотал Луис,— когда я ночую здесь, мне просто не верится, что есть Гавана и в ней живут люди. Я чувствую себя оторванным от всего мира. С тобой случается такое?

Себастьян думал о Норме. Пожалуй, она теперь с другим. Он вспомнил их первую ночь...

Норма под деревом ждала автобуса. Себастьян, увидев ее, остановил автомобиль и предложил подвезти. Она согласилась, но домой они не поехали. Они побывали на пляже в Марианао, а к трем часам ночи оказались в его спальне. Через две недели, не предупредив родителей Себастьяна, Норма оставила работу.

«Эти прислуги становятся невозможными». Его мать так и сказала: «Невозможными»...

Себастьян молча лежал в темноте. Ему было грустно — ведь это по его вине Норма стала проституткой. Да, еще немного, и она снимет комнату на улице Креспо. Она уже давно ходит туда и отдается кому попало, лишь бы заработать. Что ж! Если б не он, нашелся бы другой.

Порывы ветра в гулкой тишине ночи прервали его размышления. Комната приобрела четкие, реальные очертания, словно в противовес его неясным и усталым мыслям. Резче всего выделялась синяя оконная рама, чуть поблескивали какие-то металлические предметы. Он всмотрелся и с трудом различил кровать Луиса, стол, комод и два стула, казавшиеся бесформенными из-за брошенной на спинки одежды... На месте Нормы он поступил бы точно так же: лучше продавать свое тело, чем прислуживать таким людям, как его родители. Последнее, что он увидел, прежде чем сомкнуть глаза, были ботинки Луиса под кроватью у противоположной стены.

Проснулся Себастьян на рассвете. Косые лучи солнца скользили по стене, пение петухов слышалось то близко, то далеко. Когда Себастьян просыпался, его первым ощущением почти всегда бывала тоска. Но сегодня он чувствовал себя прекрасно. Спал он хорошо, несмотря на чужую постель и аромат трав, исходивший от простынь. У каждого дома есть свой запах. Себастьян еще ни разу не встречал двух домов с одинаковым запахом.

Пока они завтракали, к Луису подошел какой-то рабочий и стал рассказывать ему о своей дочери. Она больна, и ему надо отвезти ее в город. Луис дал рабочему двадцать песо, прежде чем тот кончил излагать свои горести.

— Мне наплевать на деньги. Меня раздражает то, как они об этом просят. Думают, что надо непременно нарисовать картину страшной нищеты.— Луис обмакнул в кофе кусочек хлеба и осторожно поднес его ко рту.

— Тебе повезло, что он не убил тебя. Крестьяне должны бы убивать всех богачей.

— Когда отец приезжает сюда, он наслаждается. Ему даже нравится болтать с крестьянами. Он чувствует себя хозяином и творцом всего этого. Думаю, что если бы я захотел, то мог бы поступать так же.

После завтрака они решили пройтись по заводу. К ним подошел Видаль. Чтобы сказать что-нибудь, Луис спросил, когда начнется резка тростника.

— Через две недели,— ответил Видаль. В его тоне чувствовался упрек: Луису следовало бы знать это.

Скоро со всей округи начнут съезжаться рабочие. Обливаясь потом, они будут без устали резать тростник под палящим солнцем. По дорогам вдоль плантаций потянутся повозки с тростником; погонщики будут ругать волов последними словами. Тростник взвесят, вывалят и измелят. Потом его сок будут варить и варить, пока он не превратится в сладкие коричневые кристаллы.

— В котлы попадает много крыс и тараканов,— заметил управляющий.— Знаете, когда я рассказываю об этом, гаванцы всегда ужасаются. Они и не подозревают о таких вещах.

Луис подошел к центрифуге и услышал голоса:

— Не знаю, который Оба, видать, из тех, кто ни разу в жизни не натирал на руках мозолей. Отец — сволочь, а сынок — паскуда.

— Дал двадцать песо этому Ригоберто, который все время вертится около управляющего. Дочку к врачу отвезти. Небось она и не больна.

— Нам бы он ни гроша не дал. Ригоберто — тот всюду пролезет...

Луис подошел, чтобы поговорить с ними. Он хотел им тоже дать денег. Рабочих оказалось двое. Вымазанные в масле, они обливались потом. Так ничего и не сказав им, Луис вернулся к Видалю и Себастьяну.

Управляющий остался на заводе, а оба друга направились к дому. На Луисе были высокие ботинки для верховой езды. Он шел, постукивая по ним сухой веткой. На красной земле валялись ржавые колеса, какие-то части машин..

— Я слышал, как двое рабочих говорили о нас. Они назвали меня паскудой, а моего старика сволочью. Пожалуй, они правы.

— С их точки зрения — да.

— Как я могу что-либо делать, зная, что о нас так думают? Вот в этом разница между отцом и мной. Не понимаю, как он может радоваться своим делам, когда все кругом его ненавидят. Я пытаюсь быть таким же, как он, но у меня не получается. Клянусь тебе, Себастьян, ничего не получается!

Навстречу шла группа крестьян.

— Добрый день,— растягивая последнее слово, поздоровались они.

— Не понимаю, то ли они действительно вежливы, то ли издеваются над нами,— воскликнул Луис.

— Думаю, что и то и другое.— Себастьян поднял камень и, размахнувшись, изо всей силы бросил его.— Много сахара вы реализуете сверх квоты?

— Да, старик много продает сверх квоты. Это запрещено, но он раздает взятки, и инспектора держат язык за зубами. И вот так во всем.

■

Они подошли к автомобилю.

— Нет ничего скучнее сельской жизни: деревья, эти дурацкие коровы, грязь, комары.— Луис чесал искусанный лоб.— И как только комары проникают под сетку?

Он посмотрел на крестьян, резавших тростник. Похоже, что они работали всю ночь.

— Погляди на этих крестьян,— продолжал Луис, усевшись в машину.— В Гаване никому до них дела нет. Не понимаю, как коммунисты собираются улучшать их жизнь. Это невозможно. Они всегда останутся крестьянами. Одно время коммунисты задали моему отцу хлопот. Организовали рабочих, и ему пришлось увеличить им зарплату. Но если бы эти люди зарабатывали даже тысячу песо в месяц, их жизнь все равно не имеет смысла. Живут, как скоты... А если в их жизни и есть какой-то смысл, то я его не понимаю... Я даже не понимаю, почему мы здесь.

Сахарный завод и плантации остались позади, они ехали теперь по шоссе в Гавану.

— Вполне возможно, что крестьяне будут единственными, кто останется в живых после того, как водородная бомба сметет все города на земле. Будущее принадлежит крестьянам. Они унаследуют радиоактивный мир.

Луис даже не улыбнулся, слушая рассуждения Себастьяна.

Несколько минут они ехали в полном молчании. Себастьян, свесив руку в окошко, почувствовал, как начало припекать солнце. Промелькнул километровый столб: 403 до Гаваны.

— Чем кончилась история с коммунистами? — спросил Себастьян.

— Все попрятались. Если руководители рабочих не коммунисты, их легко купить. Мы подкупили многих лидеров, но из коммунистов почти никого. Они принимают все слишком всерьез и верят в то, что делают.

— В этом-то наша беда. Мы не замечаем, что в жизни есть кое-что стоящее. Ты похож на своего старика, а я на моего. Мы воспитаны в обстановке комфорта и лжи. Нас отличает от стариков только одно: мы не верим в систему.

— Не понимаю, о чем ты говоришь.

Стрелка спидометра дрожала у «80». Правил Луис. Себастьян окинул взглядом зеленые поля. Подвинулся, вытянул ноги и положил голову на спинку сиденья.

— В Гаване нечего делать. Зачем мы возвращаемся?

— Ничего, в жизни надо двигаться.

В Матансасе остановились пообедать. Из ресторана был виден весь залив.

— Мне нравится море: всегда в движении, ни деревьев, ни людей, ни сахарных заводов. Черт возьми, мне хотелось бы иметь яхту! Нам надо вместе делать деньги, Себастьян.

— Я уже сказал, что можешь на меня рассчитывать. Но я думаю, в бизнесе ты не найдешь того, что ищешь. Только еще больше испоганишься. Почему ты не пишешь? У тебя есть воображение и достаточно сильный характер. Разумеется, на этом денег не сделаешь, но у тебя их и так хватает. Можешь купить доходный дом, жить на ренту и писать. Ведь в книгах можно даже убивать тех, кто тебе ненавистен. Я пытаюсь писать роман, но у меня не выходит. В голове полная неразбериха.

— Нет-нет. Их надо бить их же оружием! Над писателями и артистами все смеются. Писатель — это неудачник.

— Подумаешь! Рано или поздно все становятся неудачниками. Христос со своим учением о любви к ближнему потерпел величайшую в истории неудачу, а посмотри, какую славу он заслужил. В бизнесе...— Себастьян хотел было еще что-то сказать, но Луис не слушал, машинально ломая зубочистку.

Что ж, так, может быть, и лучше. На заводе он убедился, что все, оставшееся в Гаване, не имеет для него ни малейшего значения. Его жизнь напоминает обломки зубочистки на скатерти. Если он сдует их на пол, то ничего не потеряет.

— У тебя в жилах кровь или розовая водица? Их надо бить их же оружием. Я хочу сделать миллион песо, а потом удалюсь от дел, и никто не скажет, что я неудачник. Тогда, быть может, я и напишу о том, как однажды доказал им, что могу победить. Я напишу все, что думаю о компаньоне моего отца, о банках и обо всех этих субъектах. Если бы ты знал, Себастьян, как я ненавижу их.

Транспортное судно на другой стороне залива казалось неподвижным.

— Знаешь, ты единственный человек, с кем я могу говорить откровенно, но иногда я тебя не понимаю. Мне хотелось бы знать, как бы ты поступил, если бы был дельцом. Представь себя на моем месте.

— Это невозможно. Человек не может так измениться.

— Одно время мой отец был против нашей дружбы. Он всегда винил тебя во всех моих сумасбродствах... Поэтому я не встречался с тобой. Однако ничего не изменилось. Не понимаю, почему я не могу проявить свои способности в конторе? Наверное, мне следует сходить к психиатру... Когда ты говоришь о чем попало, люди принимают тебя всерьез. Но когда я пытаюсь высказаться, мне отвечают, что я еще ребенок, и просто не обращают на меня внимания. Не понимаю, почему меня никто не уважает?

— Потому что ты искреннее меня. Большую часть того, что я говорю, я говорю как бы от другого лица. Если хочешь достичь чего-то, надо лгать и обманывать, а уж тем более, если хочешь добыть миллион. В бизнесе — все обман. Ты должен верить, что крестьяне счастливы, хотя они умирают с голоду.

— Я не знаю, чего хочу и что я должен делать! — воскликнул Луис.

Он переломил зубочистку и, откинув голову, громко расхохотался

КУДА МНЕ ДЕВАТЬСЯ?

— От Эрнеста Боура.— Голос в трубке повторил: — От Эрнеста Боура.

Себастьян не помнил ни одного человека, которого звали бы Эрнест Боур. Он никогда не слыхал такой фамилии. Американка остановилась в отеле «Сурф». Это у моря, недалеко от улицы Галиано. Подходя к набережной, Себастьян начал нервничать. Вероятнее всего, какая-нибудь старая истеричка. Красивая женщина не стала бы звонить ему, ссылаясь на то, что она не знает никого в городе. И все-таки он надеялся встретить женщину привлекательную. Вечером Норма будет стучаться в дверь, и никто ей не откроет. Но нельзя же быть в постоянной зависимости от ее визитов. Как будто Норма — единственное и последнее, что у него осталось... Ее зовут Нэнси, сказала она. Правда, голос бывает обманчив, как и все другое.

Себастьян развалился в качалке и принялся разглядывать оранжевые кафельные плитки, покрытые зелеными арабесками. Чтобы отвлечься, он стал раскачиваться. Парапет набережной заслонял море, только далеко-далеко виднелся маленький огонек: какой-нибудь пароход.

Каждый раз, услышав шаги, Себастьян поворачивал голову.

— I hope, I haven't kept you waiting too long *,— сказала высокая девушка в широкой плиссированной юбке, подходя к нему.

— Нисколько. Мне нравится сидеть и бессмысленно смотреть на прохожих.

— А я ненавижу ждать. И поэтому трачу все деньги на такси. Не потому, что не люблю автобусов. Просто, если я долго жду, мне хочется кричать.

Себастьян успокоился. Легкомысленная болтовня Нэнси развеяла его нервное напряжение.

— Вы не боитесь, что вас примут за сумасшедшую? Сразу так говорить с незнакомым человеком?

— Нет, не боюсь.— Она села в качалку напротив Себастьяна.

Черты ее лица ничем особенным не отличались. Чтобы определить, какие у нее глаза, надо было специально к ним присмотреться. Она положила ногу на ногу. Юбка едва доходила до колен. Себастьян не удержался и взглянул на ее ноги.

— Который час? — спросила Нэнси, перестав качаться.

— Десять минут девятого.

— Да, они уже летят в Нью-Йорк...

— Не понимаю.

— Моя сестра сегодня вышла замуж, и они полетели в Нью-Йорк, где собираются провести медовый месяц. А я отправилась в Гавану...— Она не сказала, что ее сестра вышла замуж за человека, который был возлюбленным ее, Нэнси. Отец спровадил ее из Филадельфии в Гавану, чтобы она не присутствовала на свадьбе.— Не люблю церемоний.

— Дело в том, что я не помню никакого Эрнеста Боура. Он меня знает?

— Я назвала его вашим другом: я не хотела говорить, что это мой отец. Мне надоело, что он всегда устраивает мои дела. Мой отец — акционер журнала «Метрополитэн», он позвонил в Нью-Йорк и узнал фамилию их гаванского корреспондента. Если вам не хочется сопровождать меня, можете уйти и не беспокоиться...

— Даже если вы меня прогоните, я теперь не уйду,— запротестовал Себастьян.— Конечно, всякая опека надоедает, я понимаю... Не стоит больше об этом. Идемте, я поведу вас в кубинские джунгли.

---

* Надеюсь, что не заставила вас долго ждать *(англ.)*.

— Я не всегда такая... через некоторое время я буду лучше.

Когда они приехали в «Тропикану», Нэнси совсем освоилась с Себастьяном, образы сестры и Эндрью улетели далеко-далеко, как тот самолет, что повез их в свадебное путешествие. Сад, через который они проходили, показался ей сказочным, но она не выразила никакого удивления.

Официант усадил их за крайний столик под пальмой. На сцене было темно. Оркестр играл какой-то танец.

— Мне еще ни разу не удавалось получить здесь хороший столик,— сказал Себастьян, оглядывая зал.

— Не верю ни одному твоему слову, все это интеллигентская бравада,— сказала Нэнси, улыбаясь.

— Когда я прихожу в кино, оказывается, что там сменили программу, а если приглашаю кого-нибудь на ужин, оказывается, что ресторан закрыт или свободных мест нет.

— Это бывает со всеми, ты преувеличиваешь...

— Тебе нравится здесь?

— Да, потому что это не похоже на ночной клуб... Я отличаюсь от своих друзей только одним: не люблю пить. Не вижу в этом никакой прелести.

— А зачем же ты заказала мартини? Если хочешь, пойдем в другое место, я тоже не люблю кабаре. Здесь я бываю только для того, чтобы прослыть человеком самостоятельным и светским.

— Нет, нет, останемся. Иногда мне хочется чуть-чуть выпить, чтобы быть уверенной, что я не упускаю ничего хорошего.

Зажглись прожекторы, продефилировали, покачивая красивыми бедрами, затянутые в трико танцовщицы с пышными павлиньими хвостами. После нудных песенок и двусмысленных шуток, которых Нэнси не поняла, сцена вновь погрузилась во мрак. Себастьян спросил:

— На что ты живешь? На ренту и ищешь мужа, или же ты независимая женщина с честолюбивыми мечтами?

— Я не знаю, что я такое. Делаю керамику, чтобы развлечься. Мне нравится работать руками, создавать какие-то вещи. Я тебе кое-что покажу... Когда приеду в следующий раз: с собой я ничего не взяла. Но самое главное — мой отец миллионер. Мне страшно надоело, что у меня такой могущественный отец. Все мои проблемы он всегда решает по-своему.

— Это не должно усложнять твою жизнь. Если богатый человек начинает тяготиться своим богатством, значит, ему конец. Это общая в Соединенных Штатах проблема: богатая страна, которая не знает, как использовать свои богатства. В сущности, ведь это страна пуритан. А сейчас, когда наступает ее закат и люди могли бы развлекаться вовсю, они не умеют делать даже этого...

— Слишком сложно для меня. Не хочется думать... Знаешь, на кого ты похож?

— Нет.

— На Бэт Дэйвис. У тебя такие же глаза.

— Смешно. Я похож на Себастьяна и ни на кого другого.

— Ты танцуешь?

— Если не слишком быстро. Давай попробуем это болеро.

Нэнси прижалась щекой к его щеке.

— Видишь, это не так трудно,— она заглянула ему в лицо.

— Не кажется ли тебе, что танец — только повод для того, чтобы обниматься с мужчиной?

— Замолчи... Неужели ты не понимаешь? Ведь я женщина, мне нравится строить иллюзии и верить, что у людей нет ничего плохого в мыслях.

Себастьян вспомнил, что Норма терпела любой его каприз, даже если ничего не понимала. Он хотел пошутить с Нэнси, как шутил с Нормой, но это оказалось нелегко. Нэнси была намного умнее Нормы и сама могла уколоть его.

Когда они возвратились к столику, Себастьян заметил, что один чулок у Нэнси спустился. Он соскользнул, будто змеиная кожа, а она продолжала танцевать с выражением восторга на лице. Себастьян хотел поцеловать ее, но упавший чулок сбил его с толку.

Усевшись, Нэнси закрыла глаза и протянула над столом руки. Себастьян сжал их, но тут же вспомнил о спустившемся чулке. Ласковое лицо Нэнси, казалось, принадлежало другому телу. Злосчастный чулок напоминал морщинистую кожу старой женщины. Если бы Себастьян был с Нормой, его желание не охладело бы. Норма всегда была зверьком и не претендовала на то, чтобы называться дамой. Он попытался не думать о Норме. Ему нравится Нэнси, и нечего вести себя как неврастеник.

— Ты сказал, что ничего не умеешь делать. Мне кажется, ты говоришь так только для того, чтобы тебя изобличили во лжи. Не ожидала, что ты так хорошо танцуешь. Презираю мужчин, которые стараются покрасоваться во время танца.

В автомобиле они обнялись. Нэнси сказала, что не надо спешить... Потом, когда она вернется в Гавану... Ведь завтра она улетает. Ей было грустно.

Себастьян представил себе, как Норма стучится в дверь. Дом пуст, собаки подняли лай, и никто ей не открывает.

■

В небе застыли три облака.

Норма шла впереди. Себастьян заметил, что она пополнела. Платье обтягивало ее, словно колбасная кожица. «Тем не менее она все еще привлекательна»,— подумал он, беря ее под руку, когда они переходили улицу. Она попросила идти быстрее. Кино было в четырех кварталах отсюда. Проходя мимо университета, они увидели на ступенях знаменитой лестницы, ведущей к Alma Mater, группу студентов. Студенты демонстративно сжигали конституцию. Вокруг саркофага стоял почетный караул...

26 июля около ста человек, возглавляемых адвокатом с печальными и горящими глазами, напали на казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба. Кучка оставшихся в живых ожидала своей участи в тюрьме. Правительство отменило конституционные гарантии на сорок пять дней.

Себастьян уже видел в газетах списки мертвых и арестованных: Франсиско среди них не было. Тем не менее он мог погибнуть. Себастьян позвонил в банк, и ему ответили, что Франсиско сейчас в подвале. Завтра надо будет к нему заехать и пригласить пообедать...

«Они никогда бы не взяли казармы»,— подумал Себастьян.

Студенты разбрасывали листовки, напечатанные на грубой газетной бумаге. Норма подобрала две и одну дала Себастьяну.

Он давно думал написать статью о студентах, о том, как они изучают Платона и забрасывают полицию камнями. Ведь на Кубе еще так много не сделано, и студентам предстояло исправлять ошибки прошлого.

Они поднялись по лестнице. Норма смотрела на женщину, закутанную в национальный флаг, с фригийским колпаком на голове.

Из репродукторов загремел национальный гимн. У Себастьяна сдавило в горле от волнения. В менее сложных обстоятельствах ему удавалось совладать с собой. Испорченная пластинка споткнулась четыре раза на одном и том же слове. Себастьян облегченно вздохнул — спазма прошла.

— Конституция растоптана, и все вы знаете, кто виновник: Батиста, кровожадный сатрап! Генерал думал...— Оратор принялся кричать и размахивать руками.

То и дело слышались слова «свобода», «коррупция», «права народа». Через несколько минут Себастьян потерял терпение и повернулся к Норме:

— Какая самая древняя профессия в мире: проституция или политика?

Она ткнула Себастьяна локтем в бок.

— Пойдем, а то опоздаем в кино.

Спустившись с лестницы, они увидели три машины с полицейскими. Человек пятнадцать из них блокировали улицу. Студенты также увидели машины. Улица Сан-Ласаро кончалась около университета.

Манифестанты стали кричать:

— Даешь голову Батисты! Голову Батисты!

Себастьян представил себе огромную раздувшуюся голову, отделенную от тела. Ее катили пинками по улицам.

Около восьмидесяти студентов кинулись вниз по лестнице, прямо на полицейских. Они кричали, полные гнева и ненависти. По мере того как бегущие приближались к подножию холма, крики становились все громче... Студенты были правы. Они говорили правду.

Себастьян и Норма остановились на тротуаре. Двое юношей, пробегая мимо, взглянули на них и простодушно ухмыльнулись. Спустившись ниже, студенты увидели, что полицейских стало больше: почти столько же, сколько манифестантов. Тогда они вдруг остановились и побежали обратно. Полицейские открыли огонь из автоматов. Себастьян, схватив Норму за руку, втолкнул ее в ближайший подъезд.

Только один студент продолжал бежать на полицейских. Его руки резали воздух, словно лопасти пропеллера. Он хрипло кричал:

— Голо-о-о-ву! Голо-о-о-ву!

Юноша не видел, что давно остался один. Когда он опомнился, было поздно. Прошитый автоматной очередью, он свалился замертво. Себастьян застыл на месте, кругом слышался только треск автоматов.

— Идем,— машинально сказал он Норме.

Люди расходились, протестуя вполголоса, чтобы успокоить свою совесть и чтобы полицейские не слыхали.

— Ты думаешь, он умер? — спросила Норма, когда они оказались в безопасности.

— Разумеется.

Она видела, как тело юноши обмякло, словно тряпичная кукла, и ей захотелось плакать, но что-то непонятное заставило ее обрушиться с упреками на жертву:

— Он сам нашел себе смерть! Не может же полиция допустить, чтобы ругали Батисту!

— А ты убьешь меня, если я тебя обругаю?

— Я никто. Ты ничего не понимаешь. Всегда все переиначиваешь.

— Но ведь у него не было оружия.

— Ну и что? Если он ходит в университет, это еще не значит, что он все знает.

— Конечно нет... Полицейский, который убил его, наверное, не кончил и двух классов, зато у него в руках автомат. Вот в чем разница.

— Если это тебя так взволновало, почему ты не заступился за него?

— Потому что струсил. Я трус. Не всем же быть храбрецами.

— Если бы у этого студента был автомат, он тоже убил бы полицейского.

— Да, но пока у него ничего не было.

— Ладно. Что случилось, то случилось. Идем скорее, мы опаздываем.

Они вошли в темный зал. Сеанс уже начался, но перед глазами Себастьяна еще стояла картина гибели студента. Все произошло с такой быстротой, что он никак не мог опомниться... На экране показался Кантифлас. Себастьян ждал обычных вопросов Нормы, но потом он вспомнил, что она расспрашивала, только когда фильм шел на английском языке — титры она не могла читать. Норма рассмеялась...

Впервые в жизни Себастьян видел, как на его глазах погиб человек, а он, точно трус, дрожал за свою шкуру... Кантифлас разглагольствовал, и публика хохотала без удержу...

Этой ночью Норма, едва улегшись, тотчас заснула. Перед тем как лечь, она пожалела погибшего студента, однако сказала, что студенты дураки, если думают, будто могут свалить Батисту.

Пока Себастьян раздевался, Норма щекотала его плечо поцелуями. Но когда он лег, она уже крепко спала.

Он закрыл глаза и устроился поудобнее. Сон казался чем-то еще более далеким, чем события этого полудня. Желания Себастьяна всегда шли вразрез с обстоятельствами. На какое-то короткое время он мог почувствовать близость с другим человеческим существом, но и эти минуты оказывались чистейшей иллюзией и не приносили удовлетворения. Люди никогда не сближаются, они только встречаются. Откуда-то приходят, а потом куда-то уходят...

Себастьян выглянул в окно... Человек умер на его глазах... Нет, он не хочет стать жертвой политической бессмыслицы. Студент погиб, потому что был сопляком. Сопляк, который прав... Это ужасно. Единственный выход — жить вне политики.

Он услышал шелест пальмы и, вглядевшись, различил ее силуэт. Королевская пальма, пористая и бесполезная. Ее ствол слишком мягок, из него не построишь прочные вещи — только жалкие хижины, в которых еще пятьсот лет назад жили индейцы таино. Семена ее — пальмича — идут на корм свиньям. В общем, не дерево, а декорация. Мягкая древесина вызывала у Себастьяна отвращение. Еще мальчиком он наткнулся однажды на такую пальму, поваленную циклоном. Вытащив ножик, он всадил его в податливую плоть — один раз, второй, третий, пока не убедился, что она не сопротивляется... Его страна была такой же видимостью, как эта пальма,— бесплодной и пустой. Нужны тысячи лет, чтобы какая-нибудь страна стала реальностью. Как Испания или Англия. Даже Соединенные Штаты — пустыня. А Куба — мягкое, бесформенное тело.

Куда ни взглянешь — пальмы. И всюду зло — начиная с Батисты, который правит страной в интересах нескольких толстосумов, и кончая чиновником суда, кормящимся взятками. Пальма украшает национальный герб, тысячи печатей изображают ее на документах и всевозможных бумагах, узаконивая разбой и преступления.

Себастьяну не спалось. Куда деваться? Конечно, главное — это его чувства. Норма превратилась в навязчивую идею... Почему он на ней не женится? С ней он не терял бы времени на бесплодные раздумья. Близость с другими женщинами оставляла у него всегда ощущение чего-то грязного. Норма же — словно упругая капля масла в бесцветной жиже его существования. Он должен владеть ею, чтобы чувствовать себя живым. Теперь при каждой встрече он пытался удержать ее подольше. Он боялся, что Норма покинет его. Она никогда не опустится до согласия на респектабельный буржуазный брак. Норма всегда останется Нормой. Все равно он должен уговорить ее. Должен. А там будь что будет. Она нужна ему, и все.

Себастьян посмотрел на Норму: она тяжело дышала во сне. Он еле сдержался, чтобы ее не разбудить. Дотронулся до ее уха, она приподняла голову и подсунула его ладонь себе под щеку. Себастьян улыбнулся и тихонько вытащил руку.

НЕ ПОДХОДИ КО МНЕ, НЕГР!

Норма ласково теребила курчавые волосы Мануэля. Ее пальцы казались кусочками коричневого дерева среди черной напомаженной шевелюры. Мануэль поцеловал ее.

— Хватит... Последний поцелуй,— сказала Норма, уклоняясь.— Последний!

Мануэль удивился:

— Почему?

— Если хочешь, останемся друзьями. Если хочешь. Но больше я не пойду с тобой ни в одну гостиницу.

— Я куплю тебе еще одни часы. Шикарные, с золотым браслетом и бриллиантами.

Простыни пахли духами Нормы. Кровать еще хранила тепло их тел. Мануэль ничего не понимал.

— Не в этом дело. Не прикидывайся дурачком. Если ты не снимешь мне квартиру, мне придется найти другого. Где твоя совесть? Ведь ты еще год назад обещал мне квартиру. Обвел меня вокруг пальца! Но теперь я больше не намерена ждать. И учти: у меня есть человек, который не хочет, чтобы я ходила по рукам.

— Кто это?

— Ты его не знаешь. Он много учился и пишет разные вещи, он хочет жениться на мне.

— Брешешь! Ты за всю свою паскудную жизнь не встречала такого.

— Представь себе, встретила!

— Я убью тебя, если ты уйдешь к другому! Ты еще не знаешь меня, Норма!

— Ух, как страшно! — Норма расхохоталась и в притворном испуге затрясла руками.— Не запугаешь своим мундиром!

Она была в одном белье. Мануэль совсем потерял голову.

— Ты влюблена в этого типа?

— А ты стал какой-то странный. Я не могу больше так. Мне противны старики. Если ты мне не поможешь, я уйду к нему. И зачем я спуталась с таким бессовестным типом? Трепло ты, и все.— Норма натягивала платье через голову.

Мануэль подумал, что никогда больше не будет сжимать в объятиях эту женщину.

— Я не могу ничего поделать. Ты что, хочешь, чтобы я воровал? Я всего только сержант. Где я возьму денег?

— Значит, ты невезучий. Не подходи ко мне, негр!

Мануэль взял ее за локоть, но она закатила ему оплеуху и вцепилась ногтями в его руку.

— Не смей меня трогать, не смей! Никогда, слышишь? Силой у тебя ничего не выйдет! Свинья! Можешь убить меня.

Мануэль, оторопев, потирал оцарапанную руку.

— Снимешь квартиру — я буду совсем твоя. Вот тогда узнаешь, какая я нежная и страстная, если захочу. Вот тогда узнаешь. Но только, если захочу. Силком меня никто не возьмет!

— Какой черт даст мне денег? — заныл Мануэль, продолжая потирать руку.

— Не мое дело. Я женщина, запомни это. А ты мужчина. Устраивайся, как знаешь. Я должна позаботиться о себе.

Мануэль сидел в трусиках на краю кровати, спустив ноги на пол.

— Надень ботинки,— проворчала Норма,— пол холодный, еще удар хватит.

Мануэль машинально натягивал носки. Он никак не мог взять в толк, что произошло: час назад все было так хорошо, и вдруг все перевернулось. Он поднял с полу ботинок.

— Завтра же выкуплю часы. Достану деньги, хоть из-под земли. Не волнуйся...

— Не надо мне часов. Я уже сказала тебе. Не строй из себя дурачка. Я хочу комнату с четырьмя стенами. Понимаешь? Комнату и шкаф с большим зеркалом. Хочу видеть себя всю, когда одеваюсь... Ты не понимаешь таких вещей.

— Ладно, ладно, не злись. Будут у тебя часы и квартира. Вот увидишь. Через какой-нибудь месяц будешь жить, как королева. Все будет в порядке. Увидишь.

■

Норма ушла, и Мануэль вернулся домой. Среди множества разнообразных звуков, наполнявших дом, выделялся голос жены. Она звала сына. Мальчик каждый раз упрямо отвечал: «Чего?» — и она снова визгливым голосом повторяла его имя.

— Чтоб вы все сдохли,— прошептал Мануэль, поднимаясь по лестнице.— Почему они не оставят меня в покое?

Жена открыла дверь и поцеловала его. Он прикоснулся губами к ее холодной и потной щеке.

— Твой сын становится несносным. Совсем не слушается меня. Весь в отца.

— Замолчи, старуха, я очень устал.

Она подошла к плите и принялась отбивать ступкой три тонких бифштекса. Затем подравняла их и несколько обрезков кинула на красноватый кафель — для кошки.

Мануэль смотрел на жену.

— Если не дашь мне песо, риса на ужин не будет,— сказала она, выжимая кислый апельсин на мясо.— Не могу понять, куда ты швыряешь деньги. Ведь ты зарабатываешь теперь вдвое больше.

Мануэль опять сказал, чтобы она замолчала, и повалился на кровать. Она подошла и стала рыться в его карманах. Вытащила несколько монет.

— И это все, что у тебя есть?

— На сегодня все. Если не заткнешься и не оставишь меня в покое, больше вообще не получишь ни гроша.

— Что-то ты больно зазнался! Двенадцать лет я терплю твои грубости. Это твой дом, Мануэль, и ты должен содержать нас... Мы не можем питаться воздухом. Меня не так уж волнует, есть у тебя другая женщина или нет. Я перестирала немало твоего грязного белья. Пока ты будешь давать деньги семье и твой сын ни в чем не будет нуждаться, можешь иметь любовниц, сколько твоей душе угодно. Но мы — в первую очередь.

Они поженились около десяти лет назад. Мануэль даже не помнил точно, когда именно это случилось. Чтобы чувствовать себя мужчиной, ему нужна была Норма... Здесь все раздражало его. Эта мебель, жена, тяжело передвигавшаяся по комнате, словно глыба мяса...

— Почему ты не оденешься? Причешись, приведи себя в порядок. Ты здесь не одна. Я ведь не нарисован на стене.

— У меня нет времени... Дома я всегда так хожу. Какая муха тебя укусила?

— Ладно, ладно.— Мануэль понял, что будет ненавидеть ее, даже если она разоденется, как мексиканская киноактриса.

В комнату вошел мальчик, казавшийся бледным, несмотря на смуглую кожу. Подойдя к кровати, он уперся кулачками в отцовское плечо.

— Ой-ой-ой! — Мануэль сделал вид, что ему очень больно.

— Я сильный, папа! Правда?

Нет, он не может бросить их. Когда жена начала накрывать на стол, Мануэль рванул дверь и крикнул с порога:

— Дай побольше малышу, он что-то похудел.

Мануэль направился к морю. «Хотеть — значит мочь,— думал он,— хотеть — значит мочь».

Он остановился у кафе и, откинув бамбуковую дверь-занавеску, вошел. За передним столиком сидела парочка. Перед ними стояли две бутылки пива. Мануэль прошел между столиками и уселся в самом углу. Человек пять одновременно разговаривали. Мануэль заказал рюмку рома и принялся барабанить пальцами, оглядываясь по сторонам. Какой-то толстяк подошел к музыкальному автомату и облокотился на хромированный ящик. Послышалась песня:

В нашей комнатушке
Все как при тебе:
Спущены шторы,
Полумрак приятный —
Все как при тебе.

Музыка не помогала. Мануэль задумался. Мысли бились все в том же заколдованном кругу. На что ему Норма? Пошла она к дьяволу! Эх, если бы нашлись деньжата, чтобы снять ей комнату и обставить... Что она о себе вообразила?.. Он проживет и без нее...

Ты здесь бог — цветами
Твой портрет увит;
Здесь алтарь священный
Для моей любви.

Он прислушался к песне. «Женщины, женщины! Они во всем виноваты,— думал он, хрустя пальцами.— Все они проститутки... Почему не заведут что-нибудь веселенькое? Почему все печальны?..» Мысли Мануэля, казалось, витали в пустоте. Он смотрел куда-то в потолок.

К музыкальному автомату снова подошел тот же человек и опустил монету в десять сентаво. Послышалась прежняя мелодия:

И всегда здесь будет
Так, как милый любит...

Мануэль очнулся. Две девушки вошли в кафе. Мануэль пригласил их за свой столик, но они отказались. Подавленное состояние сменилось у него бешенством. Мануэль опрокинул третью рюмку. Прозвучали последние такты песенки, и аппарат умолк. Толстяк поднялся с монетой в руке, собираясь снова включить ту же пластинку. Мануэль следил за ним.

— Приятель! Я хочу дать вам совет: не ставь больше эту пластинку,— сказал Мануэль, покачивая головой.— Хватит.

— Кто вы такой, чтобы приказывать мне? Я распоряжаюсь своими деньгами, как хочу.

— А я вас предупреждаю. Если вы еще раз поставите эту проклятую «Комнатушку», то получите пулю в лоб.

Мануэль был сам поражен, услышав свои слова. Он посмотрел на человека, которому угрожал... Подумал, что ничего ему за это не будет, глубоко вздохнул и вытер руки о штаны. Он армейский сержант, ниче-

го ему не будет. К тому же, толстяк не похож на влиятельного человека — у него глаза неудачника.

Толстяк опустил монету в щель, посмотрел на Мануэля и включил «Комнатушку». Но прежде чем пластинка завертелась, Мануэль вынул револьвер и выстрелил. Низенький толстяк повалился на бок.

■

Норма была уверена, что колдун ответит на все ее вопросы. Она исполнит все-все, что он прикажет. Чудовищный черно-красный глаз смотрел на нее из угла комнаты. Она всегда носила с собой в сумке талисман от дурного глаза. Откуда-то из глубины дома появился человек среднего роста, лысый, с сигарой во рту. За ним вышла женщина в лиловом платье.

— Бесон болен,— сказала сеньора, сидевшая рядом с Нормой.— Но нас он примет. Он многое может, я хорошо знаю. Я два раза была беременна, и каждый раз ребенок оказывался мертвым. Пока я не пришла сюда. Он даже предсказал, что у меня родится девочка. Ей уже два года, и она очень крепенькая. Сегодня я пришла попросить у него амулет. Люди очень завистливы, дочка. Я уже купила ей агатовый браслет, но этого мало. Боюсь, как бы кто-нибудь не накликал на нее беду. Ведь она еще такая маленькая!

— А у меня все из-за одного мужчины, провались он пропадом. Как, по-вашему, Бесон мне поможет?

— Если он захочет, девочка, привяжет к тебе мужчину на всю жизнь, до гроба.

Позади на стене висело деревянное сердце, инкрустированное рогом... С того момента, как Норма села в лодку, чтобы пересечь бухту, она все вспоминала, как колдун гадал ей на ракушках, и смотрела на мутную зеленоватую воду. Море угнетало ее. Купаясь, Норма никогда не заходила глубже чем по пояс...

Деревянный домишко стоял на краю поселка. Норма сидела одна на плетеной софе и слушала шум моря. Сеньора, с которой она разговаривала, уже побывала у колдуна. Норма посмотрела на изображение девы-покровительницы Реглы и стала просить ее свершить чудо.

— Ты такая же женщина, как я,— шептала она,— ты знаешь, что я чувствую.

Издали донесся пароходный гудок.

Норма размечталась о квартире: первым делом она купит гарнитур для спальни. Она станет кокеткой и каждый вечер перед сном будет укладывать волосы. Как в кинофильмах. Мебель будет полированная— мать говорит, что лучше мебели не сыщешь. Каждую неделю она будет протирать ее до блеска. Над кроватью — священное сердце Христа. Себастьян сказал, что вместо священного сердца лучше повесить священную печень. Да он просто свихнулся! Гостиную можно обставить потом. Для начала хватит спальни... Если б только Мануэль не обманул ее! На стене она повесит картину — обнаженная женщина сидит на лебеде. Такая картина висела в гостиной сеньоры Мерседес, у которой Норма целый год работала служанкой.

«Но больше я никогда ни на кого не буду работать,— думала она,— ...даже если придется стать проституткой на улице Креспо. Вроде тех, что зазывают мужчин из дверей и окон своих комнат».

— Счастья вам, сеньорита,— уходя сказала женщина, побывавшая на «консультации».

Во дворе подрались два петуха. Их серые перья и голые красные шеи напоминали Норме, что она в доме колдуна.

Наконец ее позвали. Когда дверь за ней захлопнулась, она увидела зеркало. На нем мелом было написано: Хуан Бесон. Норма читать не умела и, взглянув в зеркало, поправила волосы.

Бесон лежал на кровати, худой, высохший. Черная голова покоилась на трех белых подушках.

— Ты дочь Чангó,— сказал он и протянул ей руку. Длинные ногти на его пальцах напоминали петушиные шпоры.

— Вы, наверно, не помните меня, Хуан Бесон, месяц назад я была у вас. Не помните?

— Конечно помню. Я гадал тебе на раковинах. Я все помню. Весь мир как одна картина в моей голове.

— Погадайте мне еще раз. Я должна знать, снимет ли мне квартиру этот бесстыжий или нет.

— Я болен, дочь моя, и сегодня не гадаю. Но я открою тебе кое-что.— Бесон помолчал несколько минут.— На, держи мою руку.

Норма взяла его правую руку: дряблая кожа будто скользила по костям.

— Ты дрожишь, как голубка.

— Помогите мне, Хуан Бесон, ради вашей матери прошу!

— Двое мужчин думают о тебе.— Он провел ладонью по ее бедрам.— Желания этих мужчин сводят тебя с ума.— Рука скользила по ее груди и плечам.

— Да, Себастьян и Мануэль. Но я люблю Мануэля.

— У тебя много крови, слишком много крови. Твои порывы очень опасны... Не волнуйся, этот бычок Мануэль будет твоим, но ты должна набраться терпения. Мы ему обрежем крылья.

— Я не хочу быть проституткой, я хочу, чтобы Мануэль снял мне квартиру.

— Женщина должна ждать и вершить свои дела втайне. Если послушаешься меня, он будет у твоих ног.

— Я сделаю все, что вы скажете. Все-все!

— Слушай. Возьми зеленую тыкву, вычисти ее внутри как следует. Потом налей в нее пчелиного меду и поставь под кровать. Как только мед начнет просачиваться из тыквы, квартира будет твоя. Но прежде вытащи у своего Мануэля белый платок — только ты должна быть уверена, что он вытирал им пот. Свяжи платок узелком и положи себе между грудей, пусть нагреется... Я приготовлю тебе снадобье — подбросишь ему в кофе. Когда все сделаешь, твой Мануэль потеряет покой: не сможет ни сидеть, ни есть, ни спать. Никто — ни негритянка, ни белая, ни китаянка, ни мулатка — не захочет даже разговаривать с ним. Он побежит за тобой, как бешеный... Приходи на следующей неделе. Я выздоровею и помогу тебе, дочь моя.

ВЫ КОММУНИСТ?

«Мы родились в свободной стране, которую нам завоевали наши отцы, и скорее наш остров опустится в море, чем мы согласимся стать рабами». Треск пишущей машинки был слышен на улице. Себастьян решил напомнить о недавних событиях. Люди ведь так забывчивы. Во главе кучки храбрецов, вооруженных старыми винтовками, Фидель Кастро атаковал казармы Монкада. Сейчас он защищал себя на суде. Себастьян вспомнил Дон-Кихота, который кинулся на стадо баранов, приняв их за рыцарей. Батиста возвел коррупцию в основной закон жизни.

Себастьян попытался представить себе, что переживал обвиняемый на суде.

«На рассвете пленных группами вывозили на грузовиках из казармы в Сибоней, Ламайя, Сонго и другие места; избитых, искалеченных пытками, их высаживали из машин, а потом убивали...»

Себастьян остановился на середине предложения. Франсиско, побледнев, отрицал свое участие в мятеже, и Себастьян сменил тогда тему разговора. Он тоже предпочитал не откровенничать. Общая тайна всегда к чему-то обязывает.

Машинка отстучала последние слова Фиделя Кастро: «Вы можете меня осудить! Это не имеет значения! История меня оправдает!»

Пустота окружала революционеров. Фидель обращался к потомкам, ибо судьи были подкуплены. Оппозиция не осмелилась поддержать вооруженный мятеж. Он был один, окруженный растерявшимися, объятыми страхом людьми.

Его приговорили к девятнадцати годам каторжных работ на острове Пинос. Себастьян написал еще две страницы о суде и начал размышлять о другом; для кубинцев все складывается так сложно.

Себастьян вспомнил печальные события из истории, ему пришлось изучать ее перед поступлением в университет. Он почти видел перед собой Франсиско Висенте Агилеру (чье поместье занимало бóльшую площадь, чем некоторые германские княжества), потерявшего все в Десятилетней войне и одиноко бредущего по улицам зимнего Нью-Йорка. Его борода была, наверное, такой же белой, как снег, по которому он ступал... На картинке в учебнике истории Себастьян тогда зачернил карандашом белую бороду Агилеры.

«Огромно, Кармита, мое счастье. Не строя иллюзий, не обольщаясь на свой счет и не поддаваясь ребяческой радости, могу сказать тебе, что я наконец обрел себя и что благородство и мужество моих соотечественников придает нам уверенности — значит, мы боремся за правое дело, и эта сладостная уверенность меня опьяняет. Только свет может сравниться с моим счастьем». Марти, вынужденный руководить войной, сидя за письменным столом, возвращается на Кубу и погибает на коне в первом же бою. «Мне подарили также белую лошадь. Сейчас девять часов вечера, в лагере протрубили отбой, и я с пером в руках отдыхаю от радостной и тяжелой дневной работы, а Масео, Гомес, Бонне и Борреро лежат в гамаках и рассказывают о сражениях». Всю ночь девятнадцатого мая тело Марти, которое какой-то испанский солдат положил на одеяло, провалялось под дождем.

Генерал Масео после тридцати лет борьбы, получив двадцать две раны, умер накануне рождения республики. «Пока существует несправедливость, революция не может кончиться».

История была слишком несправедлива к Кубе. «Мэн» взлетел на воздух, когда Испания была почти разбита. Соединенные Штаты вступили в войну на стороне Кубы, а кончили тем, что не выводили из страны оккупационные войска до тех пор, пока кубинцы не приняли «поправки Платта», иначе говоря — права Вашингтона вмешиваться в кубинские дела всякий раз, как ему захочется. Мать-Испания была жестока, а друзья оказались предателями. И дух кубинца восстал.

Многие кубинцы отступили, решив, что лучше иметь что-то, чем ничего. Они разрешили международным консорциумам, профессиональным политикам и военным прибрать страну к рукам! Кубинцы веселились, танцевали конгу и румбу, но за внешним весельем скрывалось чувство тоски и боли за родину, лишенную надежды на лучшее будущее.

Если дождь будет ночью, я забудусь и в прошлое
Уведу мою память на десять веков.
Ах, пойми мою жизнь! Ведь порою мне кажется,
Что еще до рожденья я томился под тяжестью
Твоих оков.

Прошлое меркло перед жестокостью настоящего. Все умствования Себастьяна разлетались в прах перед лицом действительности. Настоящее пожирало все, как палящее солнце. Он не мог больше раздумывать: надо действовать, как Фидель Кастро. Но это означало — подвергнуть свою жизнь опасности, Себастьян же предпочитал существовать хотя бы полуживым, а вернее, полумертвым.

Запахло влажной землей. Себастьян выглянул в окно: небо было серым. Собирался дождь. Даль уже заволокло водяной завесой. Он глубоко вздохнул, неясная тревога охватила его. Уже написано десять страниц. Черные буквы похожи на свернувшихся червячков. В Нью-Йорке разделаются с ними, оставив всего четыре абзаца. А прочитав журнал, люди сожгут его вместе с другим накопившимся за неделю мусором. Себастьян вышел во двор и сел в ожидании дождя.

Свежий ветер нес сухие листья. Мусулунго, черно-белый пес, спал неподалеку.

Норма, штурм Монкады, поэма Вальехо, Марти, спящий Мусулунго. Есть ли какая-то связь между всем этим?

Упали первые тяжелые капли. Одна попала прямо на голову Мусулунго, он вскочил и начал обнюхивать землю. Пес не мог понять, откуда берется вода: он внимательно следил за каждой упавшей каплей, слизывал их и снова принюхивался, помахивая хвостом.

Прошлой ночью, выходя из дому, Себастьян ударил пса ногой, когда тот прыгнул на него. Пес, рыча, убежал.

Себастьян смотрел на Мусулунго и на мокрую траву. Животные могут быть либо сильными, либо беспомощными — другого выбора нет. Такими уж они созданы. Им не приходится ни принимать решений, ни менять свои взгляды.

Капли падали все быстрее и чаще.

■

В тот же день, после дождя, два агента из бюро по подавлению коммунистической деятельности задержали Себастьяна. Правительство имело обыкновение всех инакомыслящих обвинять в коммунизме. «У них нет воображения»,— говорил в таких случаях Себастьян. Но на этот раз никакое остроумие не могло спасти его: он сидел в автомобиле между полицейскими агентами. Это была действительность.

Себастьян потерял всякую надежду и не знал, что делать: говорить или молчать. Он посмотрел в окошко. Улицы были еще мокрыми от дождя.

— Очевидно, вы не можете объяснить мне, что́ все это значит.

— Шеф хочет видеть вас,— произнес агент справа, вытаскивая пачку сигарет.

— Не беспокойся,— добавил второй,— мы не съедим тебя, но запомни: заставим сказать все, что захотим.— Он протянул руку за спиной Себастьяна и взял у приятеля сигарету.

Себастьян вдохнул дым и запах пота. Ему предложили закурить. Он не отказался, чтобы не перечить им, хотя никогда не курил. По крайней мере, руки будут чем-то заняты. Через несколько минут они проехали мимо обелиска Финлею. Себастьяну стало стыдно за то, что он взял сигарету. Он задумался. Все вокруг казалось необъятным и враждебным.

Себастьян не мог обратиться к людям, ходившим по коридорам. Его ввели в какое-то помещение. Перешагнув порог, он вдруг почувствовал приступ тошноты.

— Присаживайтесь, сеньор журналист.— Офицер сидел, заложив руки за голову, и улыбался.

Себастьян сел перед блестящим столом из черного дерева. Положил ногу на ногу, чтобы унять дрожь.

— Это вы писали? — спросил офицер, протягивая страницу из «Метрополитен» со статьей Себастьяна о штурме Монкады.

— Да.

— Почему же вы пишете подобные вещи? Неужели вам не ясно, что вы унижаете достоинство своей страны в глазах Соединенных Штатов?

Дружелюбный тон офицера на мгновение успокоил Себастьяна: он ожидал более грубой встречи. Тем не менее атмосфера в комнате была наэлектризованной, и это действовало ему на нервы.

— Мне нужны деньги... Вы же знаете американцев, они все время скучают, и только латиноамериканские революции развлекают их. В особенности когда происходит смена власти, как у нас.— Испугавшись, что его слова покажутся наглыми, Себастьян с волнением ждал ответа.

— Но ведь немало других дел, более важных, о которых вы могли бы писать, чтобы зарабатывать себе на жизнь. И это дела, которые по-настоящему возвеличивают Кубу. А вы сочиняете тут всякую пакость. Извините, что я говорю так, но тот, кто пишет против правительства, не может считаться хорошим кубинцем.

— Я никогда не утверждал, что я хороший кубинец, пусть этим занимаются политики.— Себастьяна охватило чувство неприязни. Он забыл о сигарете.

— Я вижу, вы умеете играть словами. Вы умный парень.

Себастьян не сводил глаз с металлического пресс-папье на столе.

— Нам известно, что у вас по вечерам допоздна сидит много народу. Что за люди приходят на эти сборища?

— Это неправда. У меня бывает не больше одного-двух человек за вечер.

— А вот наши сведения подтверждают обратное. Вы поддерживаете связь с врагами родины.

— Разрешите, я вам все объясню. Я не согласен с политикой Батисты, но это вовсе не значит, что я состою в секретной организации, которая хочет свергнуть его. Это мне не по душе. Я встречаюсь с людьми, потому что нуждаюсь в информации для моих статей.

— Что это за люди? — важно спросил офицер.

— Политические деятели, с которыми и вы смогли бы встречаться, если бы захотели: члены партий аутентиков и ортодоксов, которые находятся в оппозиции, только и всего.— Себастьян был уверен, что это обвинение было лишь поводом для допроса. Ему стало стыдно за свою трусость.— Вы ведь сами знаете, люди они безобидные, единственное, что их интересует,— запустить лапу в государственную казну. Я не занимаюсь никакой подрывной деятельностью, меня не за что арестовывать.

— Хорошо, хорошо. Все же напрасно вы так уверены в себе. Нечего строить из себя героя. Если бы мы захотели... Однако мы ничего против вас не имеем, ничего... Просто предупреждаем на будущее: будьте осторожнее в своих статьях.

— Мне не по душе диктатура, но я слишком труслив, чтобы пытаться изменить положение.

— И я надеюсь, что ради вашего же блага вы останетесь трусом... Вы умный человек. Не забывайте, что писать против правительства — это тоже своего рода... э-э... Какое вы словечко употребили?.. Ах, да — подрывная деятельность...

— Я думал, что существует свобода слова... Хотя кто его знает: может, за последние несколько часов все изменилось.

— Не прикидывайтесь дурачком. Ничего не изменилось,— офицер разгладил усы.— Вы распространяете ложь о правительстве. Мы дол-

жны следить за коммунистами. Только они клевещут на правительство. Вы коммунист? Нет, видно, что нет.

Себастьян решил больше не рисковать. Он промолчал.

— Почему бы вам не написать о новом туннеле под заливом, который строит правительство? Вот о чем нужно знать вашему журналу. Если захотите взять интервью у какого-либо министра, сообщите мне, я устрою. Если вы чем-то недовольны, тоже приходите ко мне. Я к вашим услугам, кубинцы понимают друг друга и всегда могут договориться.

— Я подумаю,— сказал Себастьян. Пальцы его пахли табаком.— Спасибо.

— Подумайте как следует, советую вам.

— Это все? Я могу идти?

— Разумеется, мы вас не арестовываем. Я просто хотел убедиться, что вы не член коммунистической партии. Я был бы вам признателен, если бы вы впредь знакомили меня с подобными статьями перед их отправкой в Соединенные Штаты. Мне хочется оградить вас от всяких осложнений. Мы не желаем причинять вам неприятности. Вы не с нами, но я вижу, что и не с ними.

По пути домой Себастьян кусал губы, вспоминая допрос. Если бы он заранее знал, что его собираются арестовать, то приготовил бы более убедительные ответы. Но человек никогда не знает, откуда на него обрушится удар.

Ни одного волоска не упало с его головы, ему не грозили смертью. До этого не дошло. Себастьян решил никому ничего не рассказывать.

Придя домой, он отыскал статью. Перечитал внимательно, стараясь понять, что́ в ней взбесило шпиков, но не обнаружил ничего такого, за что его могли бы арестовать. Ясно: они хотели только запугать его.

«А ну их к чертям, буду писать все, что захочу». Он понимал, что такое решение — не бог весть какой героизм. Повторить то, что сделал Фидель, у него никогда не хватило бы мужества. Но он ненавидел правительство Батисты, и об этом надо было говорить.

Себастьян взял новую статью, лежавшую на столе (они даже не произвели обыска), и вложил ее в конверт. Если им не понравилось сообщение о штурме Монкады, то отчет о судебном процессе над Фиделем Кастро еще больше разозлит их. Он решил отправить статью почтой. Это будет его местью за мучительные минуты, пережитые во время допроса.

Открыв дверь, Себастьян увидел спящих собак. Они вскочили и подбежали к нему. Себастьян ласково потрепал их. И когда он вышел на улицу, собаки, опершись передними лапами на решетку ограды, проводили его лаем.

По почте статья придет вовремя.

Впервые военный городок стал для Себастьяна чем-то реальным. До сих пор он воспринимал его как некую декорацию — газон, зубчатая башня,— как пейзаж, на который смотришь из окна мчащегося поезда. А теперь знал: военный городок — оплот жестокости и варварства. В зданиях, похожих на картонные игрушки, пытали.

ХУАН БЕСОН И ПАБЛО ПИКАССО

Норма шла быстро: боялась, как бы не увидели, что́ у нее в корзинке... «Положи под пальму»... Пальма стоит во дворе Себастьяна. Тихо-тихо, чтобы не залаяли собаки, Норма открыла калитку.

Себастьян сидел за пишущей машинкой и смотрел на незаконченную статью. На столе в беспорядке лежали вырезки из газет и книги, на стене висела карта острова. Ему надоело видеть ее все время перед со-

бой, и он прикрепил поверх нее кнопками репродукции, вырезанные из журналов и книг по искусству.

Тут были «Герника» Пикассо, «Портрет молодой дамы» Доменико Венециано и фотография Жан-Поля Сартра. Рядом с утонченной красавицей эпохи Возрождения некрасивое лицо французского писателя выглядело забавно.

Себастьян перевел взгляд на ржащую лошадь, затем на сломанный меч, валяющийся на земле... Герника взрывалась на его глазах, перед ним мелькали изувеченные, искромсанные фигуры. И все же картина, изображающая войну, дышала первобытной жизненной силой, и это шло вразрез с жаждой самоистребления, сковывавшей все порывы Себастьяна. В каждой из своих картин Пикассо любил жизнь, даже в черно-белой трагедии Герники. Властен ли он над своими ощущениями, или они непроизвольны — Себастьян не знал. Самонаблюдение — довольно бесплодное дело. Занимаясь им, уподобляешься миллиону зеркал, повторяющих одну и ту же ложь. Себастьян снова принялся печатать, ударяя по клавишам машинки всеми пальцами, кроме мизинцев: ими он никак не мог научиться работать.

Когда Норма вошла во двор, собаки бросились к ней, она притаилась и стала ласкать их. Собаки лизали ей руки и обнюхивали корзинку. Норма остановилась под пальмой, ей казалось, что в груди у нее тикают огромные часы. Высыпав содержимое корзинки на землю возле ствола, Норма почувствовала облегчение: зарезанный петух и бананы, связанные красными лентами, утонули в высокой траве. Теперь Мануэль снимет ей квартиру... У него будет столько же денег, сколько у Себастьяна... «Под пальмой»,— сказал Бесон.

Дверь открылась. Норме все еще казалось, будто у нее ватные ноги. Себастьян попросил ее посидеть в кабинете, пока он кончит писать — завтра ему надо передать это по телеграфу. Он положил ей на колени несколько журналов. Норма принялась листать их, задерживаясь только на иллюстрациях.

— Почему бы нам не поужинать здесь? — нарушила она молчание, увидев в журнале рекламу с розовой сочной ветчиной.— Мне хочется постряпать.

Себастьян удивленно поднял голову: обычно Норма предпочитала ужинать не дома. Ему было приятно, что она хочет для него готовить, но, подумав, он возразил.

— К чему тебе возиться, еще вдруг порежешь палец или обожжешь себе нос маслом.— Себастьян вспомнил о грязных тарелках на кухне.

— Не выдумывай. Правда, мне хочется сегодня постряпать.— Норма чувствовала себя виноватой из-за петуха и бананов под пальмой.— Я никогда еще здесь не готовила. Нет, я не влюблюсь ни в кого! Как только женщина влюбится в мужчину, он сейчас же начинает этим пользоваться. Ну почему ты не хочешь, чтобы я тебе приготовила ужин?

Наконец Себастьян сдался и достал из кармана десять песо.

— Я бы пошел с тобой, но надо кончить это поскорее. Купи ветчины и несколько банок консервов. Хочешь, поедем вечером в Плайитас?

— Если тебе понравится то, что я приготовлю, поедем. А если нет — не поедем.

Неожиданная приветливость Нормы возбудила любопытство Себастьяна: она его любит, по-своему, с причудами, но любит. После ужина он поговорит с ней о женитьбе. Норма еще молода и может измениться.

Идя по улице, Норма разглядывала хрустящую бумажку. Она израсходует не больше трех песо. Себастьян набит деньгами. Неожиданно ей пришла в голову мысль: пусть Себастьян поможет Мануэлю снять квартиру...

Себастьян похвалил рис с кальмарами.

— Очень вкусно, честное слово. Вообще-то я не люблю кальмаров, но твои мне очень понравились. Ты заметила, я съел две тарелки? Даже спать захотел, словно змея, проглотившая курицу.

— Ой, не говори таких вещей, меня дрожь пробирает... Тебе правда понравилось?

— Вкуснее ничего не придумаешь.— Он чуть было не сказал, что Конфуций правильно поступил, разойдясь со своей женой, которая не умела готовить.

— Мне очень нравится ахиако. А тебе?

— Тоже. Как-нибудь приготовишь его в другой раз. Ты где родилась, Норма?

— А тебе что? Наверное, думаешь, что я не из Гаваны. Так ведь? Думаешь, я деревенская?

— Ничего подобного. Я хотел только спросить, в каком районе Гаваны ты родилась.

— Там же, где живу сейчас, в Поголотти. Правда, на другой улице, но в том же районе.

— Это все, что я хотел знать. Завтра же пойду, возьму выписку о твоем рождении, а на будущей неделе мы поженимся...

— Ты что, всерьез? — Норма пристально посмотрела на него.

— Не надо, не говори мне ничего. Завтра рано утром пойду в суд. Ты боишься потому, что ты нуждаешься, и потому, что ты мулатка. А мне это безразлично. Не волнуйся, все будет хорошо, ничто нам не помешает.

— Не понимаю; почему ты вбил себе в голову, что должен жениться на мне. Ведь я и так хожу к тебе. Не мучай себя... Ну ладно, если уж ты так хочешь, поженимся.

Себастьян всегда напоминал ей о неприятных вещах, например, о том, что она неграмотная. А Норма вовсе не стремилась научиться читать и писать. Мир Себастьяна пугал ее.

Мануэль был негодяем, но с ним она забывала все. То, что она сегодня придумала, сразу разрешит все проблемы, и все трое будут довольны. Завтра же она расскажет об этом Мануэлю.

— Если поедем в Плайитас, я должна сменить платье,— сказала она, чтобы избежать новых вопросов.

— Мне нравится платье, которое ты оставила здесь. Почему бы тебе его не надеть? Его только что принесли из прачечной. Хочешь, я помогу тебе?

— Чтобы тебя хватил удар? После еды нельзя даже думать о таких вещах...

— Предрассудки...

Они вернулись пьяные в три часа ночи. Себастьян вошел в дом, неся Норму на руках.

■

Себастьян открыл дверь: на пороге стоял незнакомый мужчина. Мануэль объяснил, что он пришел сюда по просьбе Нормы и хочет поговорить с ним с глазу на глаз.

— Я очень уважаю Норму,— сказал Мануэль.

Себастьян заметил под рубашкой незнакомца пистолет. Он решил, что за ним опять пришли из полиции.

— Норма много рассказывала мне о вас, я вас знаю, как родного брата.— Мануэль расхаживал взад и вперед по комнате, как будто прожил тут всю жизнь.

— А мне она никогда о вас не рассказывала.

— Она боялась, что вы расстроитесь, когда узнаете... Я ведь сержант из «Принсипе», из тюрьмы. Понимаете?.. Дело в том, что я не мо-

гу содержать две квартиры. Эта женщина сводит меня с ума, и, если мы не позаботимся о ней, она кончит уличной девкой. Ты понимаешь меня? Я не могу содержать жену, сына да еще Норму. Это слишком. Я вас очень уважаю. Вы человек, понимающий в жизни. Почему бы нам вдвоем не снять квартиру для Нормы?

Они могли бы поделить и расходы и женщину... Себастьян чувствовал себя униженным. Это было самое наглое предложение, которое ему когда-либо приходилось слышать. Мануэль сказал, что будет встречаться с Нормой не больше двух-трех раз в неделю.

— Выберите дни, которые вас больше устраивают, Норма сказала, что ей все равно. Ты можешь ночевать у нее, например, по понедельникам, средам и пятницам. А я — по вторникам...

Себастьян был уязвлен, ему казалось, что кто-то стоит за его спиной и следит за ним — какие-то невидимки кружились вокруг. Бесформенный, уродливый образ Нормы то возникал перед глазами, то исчезал. Такой он еще никогда не видел ее.

— Приятель, ты даже не представляешь себе, как я забочусь об этой женщине. Вот, к примеру, на днях выкупил часы, которые она заложила...

Себастьян пытался понять, что связывает Норму с Мануэлем. Волосы у Мануэля вились, брюшко заметно выступало. Он представил их обоих в постели... Лицо его исказилось. Злоба, отчаяние, позор душили Себастьяна.

— Вы не верите мне? Я люблю эту женщину и желаю ей только добра, клянусь вам...

Себастьян вытер о брюки вспотевшие ладони.

— Я ничего не имею против тех, кто не за правительство,— сказал Мануэль, опасаясь, что Себастьян встретил его холодно потому, что он военный. С того дня как он убил толстяка в кафе, Мануэль постоянно чувствовал необходимость делать людям приятное.— Вы можете ненавидеть Батисту, если вам так хочется, это ваше дело. Понимаете? Есть люди, которые не способны понять других. Но вы должны войти в мое положение.

— Не думаю, чтобы армия имела больше прав на руководство страной, чем кто-либо другой. Почти все военные хуже политиков, потому что у них есть возможность не только воровать, но и убивать...

— В молодости я был таким же, как вы,— прервал его Мануэль.— Ох, и отчаянным же я был революционером во времена Мачадо. Тогда я жил в провинции. Да если бы я захотел, мог бы даже в университет поступить. И сейчас был бы доктором. Так нет, вместо этого я вбил себе в башку всякие политические глупости. А потом приехал в Гавану. И знаешь, чем все кончилось? Тем, что я стал продавать на улице лотерейные билеты. Не думай, что мне стыдно... При Мачадо я три раза сидел в тюрьме. И неизвестно, куда бы это меня привело... А так я остался жив и служу. Нет, сейчас я за того, кто мне больше подходит. Нужно беречь шкуру, братец. На Кубе ничего не переменится... Ничего... Куба как проститутка, ее надо крепко держать в руках. И Батиста — это самое лучшее, самое подходящее для Кубы.— Мануэль улыбнулся и хлопнул Себастьяна по спине.

— Я думаю, что Куба больше нуждается в дураках, чем в ловкачах,— сказал Себастьян, преодолевая чувство неприязни к собеседнику.— Мне кажется, лучше быть растяпой, чем пройдохой.

— Кто знает, может, вы и правы. На вкус и цвет товарищей нет... Я все равно буду жить по-своему.— Мануэль решил не возражать Себастьяну.— Вот увидишь, мы поладим самым лучшим образом. А Норма не растеряется, свое возьмет. Не правда ли?

Себастьян покраснел. Пусть Мануэль остается с ней навсегда. Он решил дать ему двести песо и соврал, что в будущем месяце уезжает в Соединенные Штаты.

— Когда вернетесь, можете приходить к ней на квартиру.

Себастьян поднялся, чтобы отыскать чековую книжку. У него еще оставалось немного на счету в банке. Внезапно он подумал, что Мануэль может обмануть его, и выписал чек на имя Нормы. Пусть знает, что он умывает руки. Если ей понадобятся еще деньги, может идти на улицу. Себастьян оторвал чек по линии отреза. Хорошо бы вот так же покончить со своими переживаниями.

Мануэль, сложив чек, сунул его в бумажник; после этого он болтал еще минут двадцать.

— Я буду благодарен вам всю жизнь. Вы мой брат. Норма вас очень любит,— сказал он, уходя.

Себастьян проводил его по коридору и, вернувшись, изо всей силы хлопнул дверью.

ЕЩЕ ОДИН ПЕШЕХОД

У Себастьяна было такое ощущение, будто дом вот-вот рухнет и похоронит его под своими обломками. Стены нестерпимо давили, он выскочил на улицу и поехал в «Эль-Пасифико» повидаться с Луисом. Было еще совсем рано, и Себастьян решил ждать в машине. Он мучительно переносил отсутствие Нормы, тоска овладевала им все больше и больше. В какой-то момент ему показалось, что он сможет справиться с собой, но потом он понял, что просто не хочет сбросить с себя ее колдовские чары. Это единственное, что у него осталось. Любое сильное чувство лучше безразличия, которое порой овладевало им. Себастьян попытался думать о будущем, смотрел на пешеходов, но так и не смог отделаться от мыслей о Норме. Она даже ни разу не позвонила ему после визита Мануэля.

Себастьяну хотелось умереть, но у него не хватало мужества покончить с собой. Он жаждал видеть ее и понимал, что это невозможно... Наверное, права она, а не он... Себастьяну захотелось унизить себя. Ведь он не живет, как все люди, как, например, его родители, и он вовсе не так свободен, как ему хотелось бы. Надо забыть ее, чем-то заняться, чем угодно — вертеть в пальцах кусочки бумаги, принимать душ, читать, двигаться — лишь бы заполнить пустоту. Норма никогда не принадлежала ему. Она его бросила ради другого. Себастьяну показалось, что он начинает терять рассудок. Ну кто он такой? Еще один пешеход, безвестный, затерянный среди толпы таких же пешеходов, бредущих по улице... Он погладил блестящую обивку сиденья, открыл дверцу и вылез из машины, недовольно что-то бормоча.

■

— Когда я уходил, все наши сидели у телевизора: спорили, какие волосы должна носить женщина — длинные или короткие... Они доводят меня до белого каления, еще немного, и я не выдержу.

Заказали цыпленка с миндалем, жареный рис и фрукты. Луис жевал сухие галеты. На скатерть сыпались крошки, и Себастьяну казалось, что они образуют какой-то фантастический узор.

— Не понимаю я своего старика. Денег у него более чем достаточно, чтобы уйти на покой, а он продолжает работать, как мул. Вот этого я не понимаю.

— Все имеет свою оборотную сторону, Луис. Твой отец — победитель. Он наслаждается тем, что делает деньги и ходит к мессе.— Себастьян надеялся, что разговор поможет ему отвлечься от мыслей о Норме.— Ты должен либо принять то, что тебя окружает, либо найти что-то другое, имеющее значение именно для тебя. Но и это «другое» не может принадлежать тебе полностью. Твой отец, я уверен, не отдает себе отчета в тех жертвах, на которые он пошел ради того, что он таким образом приобрел.

Себастьяну было противно собственное спокойствие. Никому не удавалось его чем-то увлечь; порой ему хотелось что-то предпринять, но он тут же раздумывал. Что-то всегда заставляло его сравнивать, взвешивать и проверять все с хронологической точностью. Вот и сейчас он никак не мог решиться: сказать Луису, что Норма его бросила, или промолчать.

Официант китаец, улыбаясь, накрыл на стол. Сняли крышки с блюд, потянулся пар, и ночной ветерок унес его. Себастьян попросил воды. Луис с жадностью ел.

— Мой брат городит всякую чушь, а отец внимательно слушает. Не знаю, откуда у старика берется терпение. У него всегда находится время всем интересоваться. Каждое утро, забравшись в уборную, он читает газету. Один его вид действует мне на нервы.

— Ты слишком разборчив, чтобы стать богачом. Я попрошу твоего отца, чтобы он купил тебе доходный дом, будешь сдавать комнаты и жить припеваючи.— Сказав это, Себастьян понял, что обидел Луиса.

Единственное, чего он хотел,— это быть с Нормой. Все остальное казалось бессмысленным и причиняло боль. Он боялся вновь оскорбить Луиса.

— Я никогда не хожу к мессе. Возможно, мне следовало бы посещать ее, тогда я бы набрался терпения и не роптал. В церкви тебе всегда говорят, что надо благодарить бога. Благодарить. За что?

С террасы был виден сверкавший огнями город. Церковь на улице Рейна и Капитолий возвышались над домами. На плоской крыше ближайшего дома покачивался в качалке старый китаец, возле него валялись шлепанцы. В открытых освещенных окнах появлялись и исчезали силуэты. Себастьян смотрел на какое-то окно и думал о Норме. Наверное, они с Мануэлем сейчас наслаждаются в своем любовном гнездышке и смеются над ним. Он вновь ощутил тоску. Что ж, по крайней мере, тоска принадлежит ему, и никто не может отнять ее.

— Прекрасное местечко, вот где приятно провести время с девушкой.

Себастьян решил рассказать о Норме, но Луис перебил его.

— Я говорил тебе, как однажды вздумал нажиться на цыплятах? Каждое утро я вставал в половине седьмого и отправлялся на ферму. Это была паскудная жизнь. Представляешь себе: родиться на свет только для того, чтобы выращивать цыплят? Такое отчаяние брало, что иногда хотелось взорвать все к чертям. Прошло полгода, а я не заработал ни одного сентаво. Теперь я предпочитаю ставить на лошадей. В прошлый раз выиграл более двухсот песо. Вот такое вложение капитала мне по душе! Мне нравится, когда результат видишь сразу... Ждать ведь никому не хочется. Ты знаешь, мой отец работал двадцать лет, прежде чем смог купить плантации и сахарный завод.

— Твоему старику еще повезло, Луис. Большинство людей работает всю жизнь и умирает без гроша в кармане... Надо принимать все таким, как есть,— зло сказал Себастьян,— а ты рассуждаешь, словно ребенок. Мир не переделаешь по своему желанию. Если ты думаешь иначе, то ошибаешься.— Себастьян почувствовал раздражение. Он расправлялся с Луисом за визит Мануэля.

— Но не могу же я измениться!

— Не принимай мои слова слишком всерьез, Луис... Оставайся всегда самим собой. Ты не представляешь, каким бы ты стал нудным типом, если бы превратился в современного делового человека.

Луис засмеялся. Себастьян охотился за миндалиной на блюде. У него еще оставался кусочек цыпленка, и он хотел доесть его с миндалиной.

— Хоть бы коммунисты победили. По крайней мере, показали бы им, что существует иной образ жизни, совсем не похожий на их. Пожалуй, ради одного этого, Себастьян, стоит желать победы коммунистов. Знаешь, что мне все время твердит мой двоюродный братец? Он убеждает меня, что в жизни надо уметь наслаждаться самым малым. Как-то он набил рот бананами и жевал с таким видом, будто делал нечто сверхъестественное. Вот это он и считает «самым малым». В общем, я послал его подальше вместе с его бананами, когда он вздумал угостить меня...

Они спускались в лифте. На каком-то этаже послышалась отрывистая китайская речь.

— У вас, наверное, самый маленький лифт в Гаване? Да? — спросил Себастьян лифтера.

— Может быть, не знаю. Этот очень маленький.

— Задаешь дурацкие вопросы, как американский турист,— сказал Луис, когда они вышли на улицу.

— Да, американцы всегда интересуются подобными вещами...

— Что с тобой? Неприятности?

— Пожалуй, мне следует радоваться: я порвал с Нормой.

— А что у вас произошло? Мне всегда казалось, будто тебе все равно, видишь ты ее или нет.

— Увы, я ошибался. Наверное, я по-настоящему влюблен. А она с другим...

— Не унывай. На свете много женщин.

— Да, на свете много женщин,— повторил Себастьян, не зная, что ответить. Казалось, мозг его стиснуло обручем, голова нестерпимо болела. Но по мере того как он рассказывал, боль рассеивалась.— Все это не так страшно, как выглядит. Мы всегда преувеличиваем свои несчастья. Самое любимое занятие людей — принимать все всерьез.

— Ты прав. Если бы я не принимал всерьез мои отношения с Сильвией, то не сидел бы сейчас в конторе с отцом. Пойдем в кино.

Когда они выходили из китайского квартала, две проститутки окликнули их.

— Иди сюда, американец, комми хир *,— позвала одна из женщин, покачивая бедрами.— Иди сюда, блондинчик, вери гуд.

— Видишь,— сказал Луис,— даже проститутки принимают тебя за американца.

— Это естественно. Я и сам не знаю точно, кто я...

Себастьян снова подумал о том, что Норма станет уличной девкой. Эта мысль доставила ему удовлетворение. Он вспомнил, как впервые увидел Норму: она прислуживала за столом в доме отца. Однажды она рассказала о своей семье — все они жили в одной комнате. Остальное Себастьян забыл. В сущности, он совсем не знал ее.

Был уже десятый час, когда они вошли в кинотеатр.

— Тебе нравится картина? — через некоторое время спросил Луис.

— Не очень.

— Будешь смотреть до конца?

— Если хочешь, уйдем. Мне все равно.

---

* Искаженное come here *(англ.)*.

Они шли по направлению к Малекону. Себастьяна снова охватила тоска. Он ошибался, думая, что сможет легко забыть Норму. Что бы он ни предпринимал, тоска его лишь усиливалась. Он устал от Луиса, но оставаться одному тоже не хотелось. Завтра надо написать Нэнси. Уж месяц как он получил от нее письмо и до сих пор не ответил. Кто знает, может быть, она согласится приехать.

Луис грыз кончик платка. Себастьян старался не смотреть на него, чтобы не злиться. Все вокруг казалось безобразным и бесформенным. Они остановились на углу выпить кофе.

— А я-то думал, чего мне не хватает,— воскликнул Луис.— В том дурацком ресторане подают только чай, идиоты!

Себастьян бросил на прилавок потертую монету в десять сентаво.

— Поехали еще куда-нибудь?

— Поехали.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

О дамы образцовые, о кубки,
наполненные плотью, о служанки
пред тем, кто украшает, чтобы бросить.
Стих, можешь мне поверить — ломит зубы
от этого мясного блюда...

Хосе Марти

ТОЧКИ НАД «i»

Час дня. Себастьян стал искать расписание полетов: он не любил обращаться к кому-либо с вопросами. Неожиданное известие о прилете Нэнси лишило его обычного послеобеденного отдыха. Наконец он нашел доску с расписанием: самолет рейса № 305 прибудет не раньше чем через час.

Себастьян подошел к киоску и купил утренний номер «Боэмии». Отыскав пустующую скамью у витрины «Нэшнл Эрлайнз», он сел с краю.

Все аэропорты одинаковы. Себастьяну казалось, что малейшее движение воздуха оторвет его от земли. Всплывали воспоминания о прошлых полетах. Он перелистывал журнал, вдыхая запах свежей краски.

ШПИОН, ОБМАНУВШИЙ АРМИЮ США.
ВРАГИ.
ЖИЗНЬ ВСЛЕПУЮ В КУБИНСКИХ ПЕЩЕРАХ.
СТО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД КОЛЬТ ИЗОБРЕЛ РЕВОЛЬВЕР.
ТАРЗАН ГОЛУБОГО БЕРЕГА.
ДЕТЕКТОР ЛЖИ ЧУТЬ НЕ УСАДИЛ МЕНЯ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ.
КОНТРАБАНДА ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЖИЗНЯМИ.
ПРОНИКАЯ В ГЛУБЬ СЕРДЦА.

Себастьян внимательно разглядывал снимок. Было тяжело смотреть на вскрытую ланцетом детскую грудь, но он не перевернул страницы.

Голос служащего, объявлявшего ближайшие рейсы, прервал размышления Себастьяна. Две женщины средних лет в шляпах подозвали служащего.

Себастьян пытался воскресить в памяти черты Нэнси. Он забыл ее лицо, но был уверен, что узнает ее, как только она ступит на землю. Себастьян смутно помнил, что, когда она смеялась, глаза ее щурились. Вспомнились какие-то детали: поворот головы, светлые волоски на руках...

У Нэнси были длинные ноги и бронзовая кожа. Она приедет, благоухая незнакомыми синтетическими ароматами... Громкоговоритель объявил посадку на очередной рейс.

Пассажиры сгрудились у выхода. Себастьян поднял глаза и увидел нелепо одетых женщин. В Гаване редко можно встретить женщину в шляпе. Он посмотрел на часы — оставалось еще полчаса — и стал читать раздел «По Кубе». Фидель Кастро писал из Мексики:

«Уже четыре года мы боремся, чтобы восстановить то, что было разрушено в одну ночь. Идет борьба против режима, который страшится неизбежного возмездия. Идет борьба против политических камарилий, которые играют в оппозицию, но на самом деле стремятся не к радикальным изменениям в стране, а хотят проводить все ту же гибельную и бесплодную политику, обеспечивающую баснословные доходы сенаторам и высокопоставленным чиновникам. Доходы, которых хватит не только им, но даже их потомкам. Идет борьба против интриг и махинаций людей, которые говорят от имени народа, но не имеют с народом ничего общего. Идет борьба против подлых проповедей лжепророков, осуждающих революцию якобы во имя мира, но умалчивающих о том, что голодные, запуганные, осиротевшие семьи уже четыре года не видят мира».

Себастьян пропустил несколько абзацев и продолжал читать.

«Я из тех, кто верит, что в революции принципы важнее пушек. Мы штурмовали Монкаду с ружьями 22-го калибра. Мы никогда не считали, сколько оружия у врага. Главное — не оружие, а идеи, как сказал Марти. На Кубе разучились говорить правду. Но в недалеком будущем с ложью и клеветой будет покончено. Мы сдержим слово, которое дали: в 1956 году мы будем свободны или умрем. Я заявляю это уверенно и с полной ответственностью — за сто двадцать шесть дней, до 31 декабря».

Себастьян подумал о препятствиях: коррупция охватила страну. Но кризиса нет, и рабочие, кажется, относительно довольны. Фидель полон энтузиазма. Чем все это кончится?

Радио объявило о прибытии 305-го рейса. Сердце забилось часто-часто, и Себастьян выждал несколько минут, прежде чем подняться.

■

PLEASE FASTEN YOUR SEATBELTS. NO SMOKING.*

Пассажиры, не торопясь, застегивали предохранительные пояса. Волнение, вызванное предстоящей посадкой, незаметно сдавило грудь. Одни оживленно разговаривали, другие были погружены в размышления. Франсиско Руэда потушил сигарету. Его отец наверняка перевернулся бы в гробу, узнав, что он курит сигареты, а не сигары. Правда, Франсиско не сомневался в том, что никогда больше не увидит отца: мертвые мертвы. Эта мысль опечалила его и в то же время придала сил. Отец умер, и кончено — надо жить для будущего. Он взглянул на кресла по ту сторону прохода, какая-то женщина в черном улыбнулась ему. Ее муж умер в Филадельфии, и она возвращалась на Кубу. Она рассказала Франсиско свою историю. Они с мужем работали в Штатах, как проклятые, а когда скопили немного денег, муж скончался от сердечного приступа.

На аэродроме в Майями Франсиско предупредили, что служба военной разведки может его арестовать, как только он выйдет в аэропорту Ранчо Бойерос. Но было уже поздно менять планы. Он не мог остаться. Он вез послание самого Фиделя Кастро руководителям Со-

* Пожалуйста, застегните ремни. Не курить *(англ.)*.

противления в Гаване. Франсиско улыбнулся, и его черные глаза — глаза уроженца Канарских островов — загорелись. Если бы вдова знала, что́ у него в саквояже, она немедленно отправилась бы вслед за супругом...

Перед взвешиванием багажа вдова заметила, что у Франсиско всего один саквояж. Назвав его сыночком, она стала ему объяснять, что у нее много вещей и ей вовсе не хочется платить лишние деньги авиакомпании. Франсиско воспользовался случаем и дал вдове свой саквояж, а сам взял два чемодана, в которых у сеньоры лежали утюг и другие тяжелые вещи. В подкладку саквояжа грубыми стежками было зашито письмо Фиделя и другие компрометирующие документы. Франсиско удивился: зачем вдове экономить, ведь муж все равно умер. Ну что ж, по крайней мере, ее скупость поможет Движению 26 июля.

Когда под ними раскинулась долина, пестревшая королевскими пальмами, у Франсиско сжалось сердце. А вдруг никто и не ждет его в аэропорту? Он посмотрел на посадочную полосу. Ложная тревога. Все это ложная тревога. Он заставил себя преодолеть страх. Рядом сидела высокая американка. Янки были единственными, кто чувствовал себя уверенно на Кубе. Будь проклят Батиста, бросивший страну к ногам американцев, и лишь бы удержаться у власти! Как могли они думать, что Батиста хорош для Кубы? Как они могли верить в демократию и в то же время помогать Батисте? Всколыхнувшееся чувство ненависти к тем, кто продавал, и к тем, кто покупал родной остров, немного развеяло опасения Франсиско. Раз он из Майями, никто не заподозрит в нем посланца Фиделя. У него есть письмо из банка, подтверждающее, что он проводил свой отпуск в Майями. Хотя он и уволился с работы, такое письмо ему все же выдали. Отец Себастьяна порядочный человек...

Отныне вся его жизнь подчинена интересам революции. Придет день, и все кубинские банки будут принадлежать только Кубе.

Нэнси несколько раз поглядывала на Франсиско — больше от нетерпения, чем из любопытства. Франсиско молчал, и она не решалась начать разговор, боясь, что ей в ответ опять порекомендуют врача, делающего аборты, как это было в прошлое путешествие.

Себастьян был похож на многих молодых людей из ее города, и все-таки он жил в другом мире. А вдруг он страдает какой-нибудь извращенностью? «Я рассуждаю, как настоящая дочь буржуа»,— упрекнула она себя. Все будет в порядке. Отныне она станет коллекционировать драгоценные камни и складывать их в коробочку, обитую бархатом. И больше не будет верить ни одному мужчине. Единственное, что она ценит в жизни,— это веселье. В городе, где все кипело и бурлило и люди разговаривали на чужом языке, какой-то мужчина вдруг предложил ей провести несколько дней в его доме. Ей было любопытно и страшно.

Сестра вышла за Эндрью, который был возлюбленным Нэнси. Сестра была на два года моложе и гораздо красивее ее. И вот, чтобы доказать это, она отбила у Нэнси возлюбленного. За день до их свадьбы Нэнси спала с Эндрью. Он настаивал на прощальной встрече, и она согласилась. Нэнси сама не знала, чего ей больше хотелось — проститься с Эндрью или унизить сестру.

Самолет, коснувшись колесами бетона, сделал скачок, словно допотопный зверь. Франсиско закрыл глаза. Он не заговорит, даже если его будут пытать, даже если вырвут глаза.

Улыбнувшись, Франсиско пропустил Нэнси вперед. Он хотел быть как можно дальше от вдовы с его саквояжем, когда начнется таможенный досмотр.

Кубинские граждане прошли сперва проверку у чиновника иммиграционного управления, и Франсиско вздохнул, когда на саквояж повесили ярлык. В эти несколько минут саквояж заслонил от него весь мир.

В вестибюле вдова вернула ему саквояж и взяла свои тяжелые чемоданы.

— Да вознаградит тебя бог, сыночек. Ты не представляешь себе, какую услугу оказал бедной старухе...

Франсиско узнал Себастьяна и подошел к нему.

— Как поживает сеньор международный обозреватель? — весело спросил он.— Разве со мною на самолете прилетела какая-нибудь важная персона?

— Нет, встречаю приятельницу. Я только на днях узнал, что ты на Севере, в Штатах.— Себастьян переменил тему, чтобы не говорить с ним о Нэнси.— Я спрашивал о тебе у отца; старик, между прочим, собирается на пенсию. Он мне сказал, что ты ушел из банка...

— Да, ездил в Майями, поглядел на «Северного колосса».— Франсиско перебил Себастьяна, чтобы тот не спросил, где он теперь работает.— Я рад, что вернулся. Не понимаю я гринго. Бедный Хосе Марти, скверно ему, должно быть, жилось в Нью-Йорке. Сколько же лет он там пробыл?

— Больше десяти... Я тоже не понимаю их, хотя моя мать американка. По правде говоря, мало кто знает, что значит быть кубинцем.

— Да, ты прав. Все мы знаем, что мы кубинцы, но ничего не делаем для своей страны. Всегда думаем, будто все, что делают иностранцы, и есть самое лучшее... Американские женщины очаровательны только на экранах, а встретишь на улице — смотреть противно: до того тощие.

— Где ты собираешься работать?

— У меня есть что порассказать тебе... Но в другой раз... спешу... Когда увидимся?

— Когда хочешь. Если я могу чем-нибудь помочь тебе...

— Дай мне твой телефон, я потерял свою записную книжку.— Франсиско записал номер, зашифровав цифры по секретному коду.— На следующей неделе встретимся.

Он снова забеспокоился. Радость, вызванная тем, что ему удалось обмануть таможенников, прошла. Он боялся за саквояж и поэтому решил как можно скорее убраться из аэропорта. Каждый встречный казался ему тайным агентом.

■

Саквояж упал на белое с выцветшими цветами покрывало. У противоположной стены заворочался на кровати брат Франсиско. На полу валялись туфли, на спинке стула висела рубашка. Повернувшись, Рехино смял раскрытый журнал. Он приподнялся на коленях, вытащил из-под себя журнал и бросил его на стул.

— Хорошо устроился, ничего не скажешь! — воскликнул Франсиско.— Работаешь в министерстве до часу, а потом валяешься и почитываешь бульварные романчики.

— Раз есть возможность, почему бы и не поваляться,— ответил Рехино, еще не совсем очнувшись от сна.— Кроме того, это не бульварный романчик, а журнал «Боэмия».

— Убери сейчас же чемодан с кровати, Франсиско! — закричала мать входя.— Разве ты не знаешь, что на нем полно микробов?

— Не успел приехать, как ты уже бранишься.— Франсиско поставил саквояж на пол.

— Смотри, что ты сделал с покрывалом! Ты не замечаешь таких вещей, а матери приходится стирать все белье.

— Прости, мам, я действительно не подумал. Устал с дороги. А почему ты не заставишь постирать Соню? Она растет у нас словно дочка банкира.

— Тебе нет дела до того, как живет твоя сестра, это касается только меня. Если я не хочу, чтобы она работала, значит, так и будет. Твоя сестра еще девочка, незачем ей портить себе руки. А я уже старая, и мне это безразлично.

— Знаешь, что Соня сегодня вытворяла? — заметил Рехино, обращаясь к брату.— Расхаживала перед зеркалом и гримасничала, будто актриса с телевидения. Говорит, что станет танцовщицей, как Соня Калеро.

— Оставь сестру в покое!

Мать подошла к кровати Франсиско и разгладила покрывало. Франсиско помог ей.

В гостиной Рехино налетел на качалку, в которой сидел дядюшка Рикардо. Телевизор не был включен. Рикардо внимательно разглядывал фарфорового слоника с позолоченными ушами. Соня поставила его хвостом к двери: «Так он приносит удачу».

Громко чертыхнувшись, Рехино упал на стул рядом с телевизором и схватился обеими руками за ногу.

— Здорово стукнулся? — спросил дядя, замедлив движения качалки.

—. Еще бы! Не видишь, что ли? — проворчал Рехино, рассматривая ссадину.— Качаешься целый день: туда-сюда, туда-сюда. Ничего умнее придумать не можешь!

— Мне скучно, когда я не качаюсь,— ответил дядя Рикардо, обмахиваясь веером, на котором были нарисованы два щенка.

— Так тебе и надо, так тебе и надо! — Соня вышла из своей комнаты.— Это бог тебя наказал за то, что ты ко мне пристаешь.

— А вот тебя я накажу,— сказал Рехино и вернулся в комнату, где жил вместе с братом. Мать сидела на кровати и разговаривала с Франсиско.

— Что ты ел там, на Севере? Тебе и сготовить-то было некому...

— Что попало, мам. Есть там и кубинский ресторан, но очень дорогой. Я зашел туда только раз. А так почти всегда перекусывал на улице: горячие сосиски или бутерброд с котлетой.

— Вечером я тебе приготовлю жареную печенку с луком, как ты любишь. А еще у меня есть рис и фасоль.

Рехино схватил саквояж и потащил к своей кровати.

— Посмотрим, что ты купил, может, что-нибудь и мне пригодится. Ты не привез мне рубашку, там продают такие разноцветные?

— Оставь саквояж. Единственное, что я купил — это пару туфель, которые мне были необходимы, и консервный нож для матери.

Одним движением Рехино раздернул «молнию» саквояжа. Франсиско вскочил:

— Кому сказано: оставь саквояж! Не видишь, что ли,— для тебя ничего нет. У меня не было времени на покупки.— «Не следовало так говорить»,— тут же подумал он, опасаясь, как бы родные не догадались о его участии в революционном движении.— А кроме того, все деньги ушли на билеты и гостиницу.

— Посмотрите, как он нервничает! Наверняка купил себе костюм.

— Ладно. Хватит! — Франсиско вырвал из рук брата раскрытый саквояж.— Никогда не ройся в моих вещах, я этого не люблю. Я же не копаюсь в твоих ящиках... Не смей трогать мои вещи без разрешения. Сперва спроси.

— А я не верю, что ты ездил в Майями отдыхать. Мам, он, наверно, заделался революционером. Ясно, у него там подрывная литература или что-нибудь вроде этого. Смотри, как он покраснел.

— Вот-вот, это самое.— Франсиско решил обратить все в шутку.— Если бы ты знал, что я везу! Взрывчатку для очень важного террористического акта!

— Сынок, не вмешивайся в эти дела.— Мать тревожно заглянула Франсиско в лицо.

— Я шучу, мама.

— Врет, ничего он не шутит,— возразил Рехино.— Я уверен, что у него в саквояже документы Движения 26 июля. Разве не видишь, на кого он стал похож?

— Скажи мне правду, сынок.

Франсиско посмотрел на мать, потом на брата. Рехино любил Франсиско, но сейчас явно хотел позлить его.

— Что ты на меня так смотришь? — сказал Рехино.— Не забывай, что я твой брат. Если узнают, меня вышвырнут из министерства. Я не за Батисту, но и не против него.

— Хорошо,— Франсиско, понизил голос.— Пожалуй, лучше поставить точки над «i»; я с Фиделем Кастро.

— Но, Франсиско, ты понимаешь, за какое дело взялся? — испуганно спросила мать.— Ты же еще очень молод. Думай что хочешь, но не лезь в политику. Твой отец всегда был против любителей политики, он их называл политиканами.

— Это так, но он никогда ничего не предпринимал. Сейчас нужно бороться против Батисты с оружием в руках.

— Не говори глупостей, сынок. Ты можешь быть с Фиделем Кастро, но не надо рисковать жизнью.— Мать замахала руками.— Твой отец никогда не совался в политику. Уважай память отца.

— Ты доведешь мать до могилы,— сказал Рехино, глядя в пол.— Если тебе все равно, что будет со мной, подумай хотя бы о матери.

— Вы говорите так, потому что чувствуете свою вину. Все мы виноваты в существовании Батисты.

— Я ни в чем не виноват.— Рехино начал перелистывать журнал, делая вид, что рассматривает иллюстрации.

— Послушайте: если кто-нибудь хоть пальцем тронет мать или тебя, он будет иметь дело со мной. Хоть ты и жалкий трусишка, а все же мой брат. Ни с кем ничего не случится, и никто меня не схватит. Единственное, что от вас требуется,— это молчать.

— Я с тобой, брат,— сказал Рехино. Журнал упал на пол.— Не думай, что я ничего не понимаю. Ты прав, я действительно министерский бездельник. Но что я могу поделать, если министерство — это притон жуликов? Только и остается, что получать жалованье. Иногда по утрам, в кафе, я думаю о том, что попусту трачу время, ничему не учусь, а в один прекрасный день вдруг обнаружу, что уже состарился. Не считай меня дураком, Франсиско, я тоже кое-что понял.

— Прежде всего думайте о том, как бы не угодить в тюрьму и остаться в живых,— твердила мать. Она сидела, закрыв глаза.— Можете нападать на Батисту, только не лезьте на рожон. Все равно потом никто вас не отблагодарит. Одни мы никогда не покинем тебя, сынок.

— Оставь их, Ирен, оставь, пусть делают что хотят,— сказал дядя, входя в комнату.— Я старый человек, но я знаю, что есть вещи поважнее, чем не подохнуть, как теперь выражаются... Я очень люблю свою страну и никогда не выезжал с Кубы. Во времена президента Менокаля...

— Замолчи, старый болтун! Не хватало еще, чтобы ты поддакивал Франсиско. Уходи отсюда! Иди, садись в свою качалку и не лезь, куда тебя не просят. Они мои дети. Я потеряла мужа и не хочу потерять еще и сыновей.

Дядя Рикардо молча стоял посреди комнаты. Потом подошел к свояченице и принялся обмахивать ее веером.

— Не дай бог, соседи слышали наш разговор,— сказал Франсиско.— Если даже полуглухой дядюшка Рикардо услышал, они-то уж наверняка все слыхали.

— Соседей нет дома,— успокоила его Соня, которая уже несколько минут стояла в дверях комнаты.— Эусебия пошла с малышом в больницу. С Татико что-то случилось. У них нет никого.

— Посмотри, мам, какой консервный нож я тебе привез. Вот это вещица! — Франсиско извлек из саквояжа коробку.— Приворачиваешь эту штуку к стене, крутишь ручку — и банка открывается.

— Убери ты свой веер! — заворчала мать на дядюшку Рикардо и, взяв подарок, села на кровать.— Мучители вы мои! Сколько я выстрадала из-за тебя, Франсиско. С самого твоего рождения не переставала волноваться... Когда у тебя был коклюш, я не отходила от твоей кровати.

— Знаю, мам, знаю. Можешь не говорить. Но я уже взрослый и должен...

— Ты еще ребенок.

— Ребенок — наполовину лысый,— заметил Рехино.

— Не надо больше об этом, мам. Я буду осторожен, обещаю. Но не проси меня не делать того, что я считаю необходимым.

— Вот что я тебе скажу. Раз уж на то пошло, ты не можешь запретить и мне рисковать. Я могу помогать тебе и буду с тобой в минуту опасности. Никто не заподозрит такую старуху, как я.

— Только этого еще не хватало.— Франсиско еле сдерживал волнение.— Только этого...

— А что ты мне привез? — спросила Соня.

— Принеси матери стакан воды. Сейчас посмотрим, есть ли что-нибудь для тебя.— Раскрыв саквояж, Франсиско протянул сестре миниатюрную японскую фотокамеру, купленную в Майями.

— Какая прелесть! — воскликнула Соня, открывая футляр.— Это для кукол?

— Она настоящая или просто так? — спросил Рехино.

— Не знаю, мне сказали, что она снимает на эту пленку.— Франсиско передал брату маленькую катушку, завернутую в алюминиевую фольгу.

— Но этот аппарат меньше спичечной коробки! — удивилась мать.

— Конечно, я зря его купил,— признался Франсиско.— Это баловство. Но почему-то он мне очень понравился.

— Завтра поеду на пляж и сфотографируюсь в купальном костюме,— сказала Соня, протягивая руку за пакетиком с пленкой.

— Если будешь продолжать так дальше,— сказал Рехино,— кончишь танцовщицей в кабаре. А уж оттуда до любовницы какого-нибудь пузатого политика всего один шаг...

— Не смей так говорить с сестрой! — сказала мать.— Ты где находишься?

— Женщины всегда тщеславны, в этом нет ничего удивительного,— вмешался Франсиско.— Когда на Кубе все изменится, Соня сможет работать в министерстве и ей не придется ложиться в постель со своим начальником.

— Не говорите такие вещи при сестре. Ведь ей всего шестнадцать лет!

— Ну, насчет того, что все изменится, нечего наперед загадывать,— сказал Рехино.

— Наберись терпения и увидишь.

— Ладно, не будем больше спорить. Хоть я бездельник и дармоед, можешь на меня рассчитывать. Ведь мы все-таки братья. Что бы ни случилось, мы с мамой всегда с тобой.

АПЕЛЬСИН В ЖЕЛУДКЕ

Целлофановый конверт с яркими марками Ньясаленда (крокодилы, Георг V — король Великобритании, жирафы, бегемоты) скользил по сиденью автомобиля. Себастьян высунул в окошко левую руку: пора сворачивать. Последнее время он был так занят работой и Нэнси, что почти не бывал у родителей. Сейчас он решил навестить их, так как отец недавно вышел на пенсию.

— Коллекция марок, вот что меня развлечет,— заявил Артуро несколько месяцев назад и начал выпрашивать заграничные марки у всех знакомых.— Я должен чем-то занять себя, иначе сойду с ума.

Ему исполнилось шестьдесят пять лет, сорок пять из них он провел в банке... Быть может, Себастьян поступил не совсем тактично, купив марки: не стоило напоминать отцу о его возрасте. Себастьян решил отдать их матери: пусть она вручит его подарок вечером, когда он уедет.

Неужели марки какой-то английской колонии в Африке могут что-то значить для обитателей этого благопристойного дома?

Вещи меняли свои места. В глубине души Себастьян верил, что в нужный момент он всегда найдет родителей в этом доме. Но теперь они постарели и медленно уходили из жизни в туманную даль.

Детство Себастьяна отступало все дальше в прошлое. Скоро он останется совсем один.

— Отец только что вышел прогуляться. Ты же знаешь его — он не может усидеть на месте. Наверное, пошел в зоопарк. Говорит, что это самое прохладное место в Гаване.

Кристина лежала на кровати в туфлях и вдыхала дым порошка астмадора.

— А мне ты никогда не разрешала ложиться в ботинках на покрывало,— пошутил Себастьян, усаживаясь в маленькую качалку возле кровати.

— Я слишком стара, чтобы каждый раз снимать туфли, когда хочу на минутку прилечь.

— Не так уж ты стара: тебе просто лень.

— Где ты пропадал? Больше двух недель я тебя не видела.

— Приехала одна приятельница из Майями.

— Последние полгода ты почти перестал ходить к нам... Эта девушка — твоя любовь?

— Вроде того.

— Почему ты не приведешь ее к нам? Мне хочется познакомиться с твоими друзьями, Тиани.

— Она не любит знакомиться направо и налево.

— Но мы все же твои родители.

— Ладно, как-нибудь приведу. А вообще нельзя человека заставить делать то, что ему не по душе.

— Ты прав. Я никогда не могла добиться, чтобы ты и твой отец делали то, что мне хочется.

— Все мы эгоисты, мам. И ты, наверное, тоже делаешь только то, что тебе хочется.

— Конечно. Вот завтра пойду к сеньоре Макнамара играть в бридж. Твой отец может побыть с прислугой... Надеюсь, ты больше не встречаешься с той мулаткой?

— Я оказался слишком белым на ее вкус. Она меня бросила.

— Я рада, что все это кончилось. Тебе следует жениться на порядочной девушке.

— Мне не нравятся порядочные девушки,— сказал Себастьян, вдыхая едкий дым зеленого порошка, который мать жгла на маленьком металлическом подносе.

— Перестань издеваться над матерью, Тиани. И в кого ты такой?

Дым заполнял комнату. Когда входил отец, он разгонял дым газетой, расчищая себе дорогу. Это не нравилось Тиани: дым превращал комнату в убежище вне времени, так ему было легче, в дыму он чувствовал себя уверенно и непринужденно.

— Тиани, будь добр, вынь из шкафа какое-нибудь платье и завесь им зеркало, а то отсвечивает прямо в глаза.

Открыв шкаф, Себастьян вдруг ощутил забытую радость: он с детства любил вторгаться во владения матери... Альбом с фотографиями, золотые косы, рубиновое кольцо и старые очки, принадлежавшие бабушке. Однажды он надел их без спроса и пошел в школу. Вернулся домой со страшной головной болью...

Из груди матери вырвался какой-то свист.

— Как старик воспринял перемену?

— Ты же его знаешь: все время выискивает предлог, чтобы сбежать из дома. Сейчас он впервые в жизни может сколько угодно спать по утрам. Думаю, что это ему нравится. Ну и со мной он бывает побольше... Но ему взбрело в голову продавать по утрам страховые полисы.

— Это уж ни к чему. Ведь пенсия составляет больше двух третей его заработка. С такими деньгами вы можете неплохо жить.

— Четыреста песо. Но не забывай, что ему надо выплачивать за дом по закладной.

— Он мне сказал, что платит из тех денег, которые получает за сданный в аренду верхний этаж.

— Ладно, бог свидетель, я не знаю, когда верить твоему отцу, когда нет.

Себастьян вынес поднос. Выгреб ложкой выгоревший порошок и вымыл поднос. Потом кусочком бумаги протер ложку и поднос. В детстве он проделывал это тысячи раз. Иногда он так оттирал его, что видел в нем свое отражение.

Кристина открыла ящик ночного столика, и поднос с ложкой со звоном полетели в него.

— Тиани, твой отец просил ничего тебе не говорить, но мне кажется, что он очень тяжело болен.

— Не понимаю.

— У него в животе какой-то шар. В самом низу, величиной с апельсин. Он не хочет оперироваться, хотя врач советует.

— Что сказал врач?

— Надо немедленно делать операцию. Правда, он не думает, что это опасно...

— Что значит «опасно»? Рак?

— Врач полагает, что нет. Но вся беда в том, что опухоль может переродиться в злокачественную, если вовремя ею не заняться. Отец уверен, что все обойдется. Он говорит, что знакомый врач — из тех, что называют себя «натуристами»,— вылечит его массажем и диетой. Тиани, ты должен мне помочь, надо что-то предпринять...

— Я до сих пор не знаю, верит ли папа этим «натуристам» или просто боится обычных врачей.

— Если б ты видел, какие глупости вытворяет он перед сном. Обмазывается с головы до ног грязью. «Натурист» посоветовал ему на ночь натирать живот какой-то специальной грязью. Это ужасно, Тиани.

Каждый день приходится менять простыни. Я хочу разоблачить этого шарлатана. У него нет никакого диплома. Он, наверное, изучил свое ремесло по переписке с одним из этих сумасшедших из Нью-Джерси. Я не верю ни одному его слову.

— Но как на самом-то деле себя чувствует отец?

— Пытается уверить меня, что он здоровее самого господа бога.

— Вот ирония судьбы... Именно теперь, когда он может отдохнуть, когда ему не надо работать и можно делать все, что заблагорассудится, именно теперь это случилось.

— Прошлой ночью я не спала, в голову лезли разные глупости. Ведь только твой отец обо мне заботится. Кому еще нужна такая старуха? Ты до сих пор не устроен... На Север я не могу уехать, ведь я не была там тридцать лет. И потом у дяди Джорджа своих забот хватает...

— Не выдумывай, мам.— Себастьян испугался, что мать расплачется, и решил все обратить в шутку.— Папа еще похоронит тебя. Ну, а если случится наоборот, ты получишь огромную страховую премию, станешь богатой и могущественной и все будут наперебой приглашать тебя в гости. Он поправится, не волнуйся. Я хотел бы поговорить с отцом, но не знаю, с чего начать.

— Скажи, что тебе позвонил врач. Его зовут Сотолонго.

■

Упрямый ветерок влетал в столовую.

За окном виднелось агуакате, которое мать посадила, когда купили дом. Начиная с июля, дерево покрывалось плодами. Кристина гордилась тем, что из семени, посаженного ею во дворе, выросло такое дерево, приносившее больше плодов, чем они могли съесть. Прежде чем плоды созревали, она раздавала их соседкам.

Артуро пользовался садом только как средством для подкрепления своих взглядов на медицину. Ветер служил ему некой средой, в которой он «принимал ванну». Раскрыв все окна настежь, Артуро раздевался и ложился на кровать. «Это воздушная ванна»,— объяснял он.

Сейчас отец сидел спиной к окну и чистил апельсины.

— Тиани, прикрой, пожалуйста, половину окна,— попросила мать.— Я боюсь ветра. Ведь я только что дышала астмадором.

Артуро с упреком посмотрел на жену.

— Как ты себя чувствуешь, папа? — спросил Себастьян, прикрыв окно.

— Хорошо. Очень хорошо.

Отец был эгоистом, но никогда ни в чем не отказывал ни жене, ни сыну. Быть может, он делал это, чтобы они не докучали ему. Каждое утро он ходил на службу и вообще поступал всегда так, как полагается: каждый день надевал чистую накрахмаленную рубашку и каждое воскресенье посещал мессу. Много лет подряд он водил сына в цирк «Сантос и Артигас». Если он не дал им больше, то только потому, что ему нечего было дать.

Сидя за столом, Себастьян смотрел на родителей. Неожиданно ему вспомнилось время его мятежной юности. Он отвергал все постулаты, которые общество навязывало ему, все правила, регламентирующие жизнь и диктующие человеку, как одеваться, как говорить, как любить и как мечтать. Жизнь буржуа — ужасная рутина.

— Возьми еще фасоли.— Мать передала ему блюдо.

Служанка унесла тарелки и подала Себастьяну кофе. Он посмотрел на ее руки, сморщенные от воды. Девушка улыбнулась, и он вспомнил, как Норма однажды точно так же улыбнулась ему. Кристина попросила

подать сладкое, а отец начал есть апельсины. Жениться на Норме, чтобы спастись от всего? Чепуха! Норма — это не выход, но и родители тоже.

Ложка, которую они берегли еще с медового месяца в Вашингтоне, торчала из сахарницы. Эта ложка была одним из немногих предметов в доме, с детства привлекавших внимание Себастьяна. Ложку и голубой сервиз китайского фарфора мать держала в горке для особых случаев. На каждой чашке была нарисована женщина, идущая по мосту. Себастьян насыпал в кофе сахару. Он не смотрел на отца.

— В ноябре этой ложке стукнет тридцать пять лет. Мы ее купили во время медового месяца,— сказала Кристина.

— Да, я знаю.

На стертой поверхности ложки еще можно было различить рисунок: с одной стороны были изображены орел, Джордж Вашингтон и женщина в тоге с мечом — символ правосудия; с другой стороны — Капитолий, библиотека конгресса, Маунт-Вернон и Белый дом. Болезнь отца придавала воспоминаниям Себастьяна какой-то новый, странный оттенок. Марсель Пруст прав, говоря о могуществе памяти, но он забыл сказать, что воспоминания о прошлом бессильны перед жестокостью настоящего. Сейчас надо спросить отца об «апельсине», который давит ему на желудок.

Себастьян сказал, что ему звонил врач.

— Будь осторожен, папа... Я не сомневаюсь, что «натуристы» могут лечить желудочные заболевания, нервные расстройства и тому подобные штуки, но не опухоли. Надо ее вырезать, пока она не стала злокачественной... Почему ты уверен, что тебя вылечат в их заведении? Как оно называется? «Про Вита»?

— Да, «Про Вита». Я знаю, что делаю. Я много читал по этому вопросу. Если бы ты знал, сколько людей вылечили «натуристы». Это не сказки. Причем большей частью они вылечивают таких больных, которых врачи считают безнадежными... Да, было много случаев вроде моего... И больные выздоравливали без всякой операции. В журнале «натуристов» есть статья об одной женщине — у нее была фиброма правой груди, и ее вылечили. Эти люди знают многое. Им я вполне доверяю.

— Но, папа, если врачи не могут... то как могут они? Объясни мне...

— Не торопи меня, дай подумать... Во-первых, они держат больного все время на диете, а опухоль постепенно размягчают специальными массажами.

— Они тебя не вылечат, а уморят,— выпалила Кристина, потеряв терпение.— Тиани, на прошлой неделе твой отец целых три дня не брал в рот ни куска. Пил одну воду.

— Ты не понимаешь, что говоришь, Кристина.— Артуро с досадой чмокнул губами.— Ты ничего не понимаешь, глупая. Я же тебе объяснял: это было необходимо для подготовки организма к курсу лечения.

— Сам ты глупый. Подготовка организма! Ну скажите на милость!

— Почему бы и нет? Ты что, знаешь больше всех? Опухоли появляются, когда организм перестает правильно усваивать пищу.— Он пощупал живот.— Эта опухоль — результат желудочного отравления.

— Вполне возможно, что так оно и есть,— сказал Себастьян,— не спорю. Я только сомневаюсь в том, что от массажа опухоль рассосется. Этого я не понимаю. Трение как раз одна из возможных причин рака. Опухоль может осложниться, если повредить ее нежную ткань.

— Эти люди знают, что делают. Я верю в «натуристов». Доктор Агустин очень опытный. Говорят, он вылечивал даже сифилис.

— Что тебе сказал врач, настоящий врач?

— А что он мог сказать? Они ведь зарабатывают на операциях,— ответил Артуро, улыбаясь.— Я уверен, что опухоль рассосется и не потребуется никакого хирурга. Сначала я хочу испробовать мой метод.

— Ну, а если «натуристы» тебя не вылечат, тогда ты согласишься на операцию? —спросил Себастьян.

— Нет, лучше умру, чем позволю зарезать себя, как поросенка. Никто меня не заставит. Я не ребенок и пока еще в здравом уме. Не имеют права заставить меня... Я уже говорил это твоей матери.

НИКТО НИКОГО НЕ ПОНИМАЕТ

Усевшись на кровати, Нэнси красила ногти на ногах. Распущенные волосы прикрывали колени.

— Как твои родители? — спросила она, поднимая глаза на Себастьяна.

— У отца опухоль в животе, в самой нижней части. С апельсин. Не знаю, опасно это или нет.

— Что говорит доктор?

— Отец не хочет оперироваться, даже под угрозой смерти.

— У стариков часто бывают подобные недуги, они не всегда опасны. У моей тетушки была огромная опухоль на груди, а умерла она от болезни сердца.

— Может, ты и права. Пожалуй, если бы он чувствовал себя по-настоящему больным, то моментально забыл бы о всяких диетах и массажах, позвал бы врача и лег в больницу.

— Это так, но сейчас за ним нужно как следует ухаживать.

— Он потерял в весе, но говорит, что чувствует себя лучше. Отец, когда захочет, может убедить себя в чем угодно. Посмотрим... Что будем делать вечером?

— А ты что хотел бы? — спросила она, сдирая белую наклейку с пробки флакона.

— Я первый спросил.

— Ах, не приставай!

— Что с тобой сегодня?

— Я уже несколько месяцев здесь, а ты еще ни разу ничего мне не подарил. Ни разу.

— Это не в моем духе. Я никогда ничего никому не дарю.— Себастьян почувствовал облегчение, так как ожидал худшего.

— В машине лежали марки для твоего отца.

— Потому что он ушел на пенсию и мне его стало жаль. Он может умереть в любой день. Когда ему было лучше, я о нем не заботился и ничего не дарил ему. Я просто не замечал его существования.

— Я сама не знаю, что говорю!.. Если бы я не была так одинока здесь, honey *, это не имело бы никакого значения. Почему ты не познакомишь меня со своими родителями?

— Ты сама сказала, что не хочешь знакомиться с ними, потому что, живя со мною, совершаешь смертный грех.

— Не смейся надо мной... Да, это правда. Мне не хотелось бы знакомиться с ними. Я не люблю встречаться с людьми, предпочитаю ходить по магазинам. Но я все время думаю о том, что ты меня не любишь. Скажи мне правду: я тебе в тягость?

— Вовсе ты мне не в тягость... Просто я не очень люблю выражать свои чувства словами.

— Я хочу, чтобы ты каждый день доказывал мне свою любовь... Мне страшно тоскливо.

— А керамика?

---

* Радость моя *(англ.)*.

— Этого мало... В мастерской у меня дела идут неважно. Они не умеют правильно обжигать, делают все очень примитивно. Кувшины трескаются. Не могу убедить их брать другую глину.

— Хочешь, я с ними поговорю?

— Не стоит, мы пока кое-что наладили... Не знаю, что со мной сегодня. Прости меня, пожалуйста. Я пошла в магазин, а там мужчины начали делать мне какие-то странные намеки. Я всегда забываю, что здешние женщины не выходят на улицу в шортах. Я не поняла ни слова.

— Не обращай на это внимание... Наши мужчины считают своим долгом отпускать женщинам комплименты. Им просто хочется показать свою лихость, в сущности-то они безобидны. Они будут смотреть на тебя и говорить все, что им в голову придет, но никогда пальцем не тронут. Они безопасны. И, может быть, даже боятся тебя.

— А ты не боишься?

Себастьян подошел к кровати и сел рядом с ней. Он надеялся ласками рассеять отчуждение, возникшее во время разговора.

— Если хочешь, чтобы я тебя боялся, я постараюсь.— Он поцеловал ее в шею.

— Тебе хотелось бы иметь ребенка? — спросила Нэнси.

— Почему ты это спрашиваешь?

— Скажи: тебе хочется ребенка?

— Нет... Я не хочу, чтобы по моей вине кто-то появился на свет и страдал. У меня и без того достаточно нерешенных проблем.— Он отодвинулся и прислонился спиной к желтой стене.

Себастьян боялся, что Нэнси оставит его. Женщины всегда уходили от него. Все уходили. Он не мог честно сказать, насколько сильно любит ее, но он хотел ее удержать. Себастьян заглянул ей в глаза. Когда Нэнси смеялась, в глубине ее зрачков вспыхивали чуть заметные искорки.

— Я не хочу брать на себя ответственность.— Себастьян чувствовал себя виноватым и пытался оправдаться.— Дети — это для тех, кто верит в жизнь и в будущее. А для меня мир — средоточие бед, и я не хочу подвергать страданиям еще кого-то.

— Если бы ты обращал на меня больше внимания, я бы не думала о ребенке. Почему ты не купишь мне книг, чтобы разогнать скуку?

— В доме много книг.

— Я прочла все романы. А другие — философия и тому подобное — мне не интересны. Кроме того, многие из них на испанском, а я не умею читать по-испански.

— Поедем сейчас же и купим все книги, какие ты захочешь.

— Не хочу я покупать книги. В этом нет никакого удовольствия. Я хочу, чтобы ты мне их дарил.

— Наверное, трудно жить с таким человеком, как я... Все люди причиняют друг другу только горе...

Нэнси зажала ему рот поцелуем. Себастьян почувствовал тепло ее тела.

— Не принимай мои слова слишком всерьез. Мне надо время от времени излить душу. Разве ты не замечаешь, когда я вот так выговорюсь, нам обоим становится легче? Наверное, родители здорово меня избаловали. Неврастения от сверхизобилия. Так ты, кажется, говоришь?

— Да, но это все-таки лучше, чем голодать... Обещаю тебе: когда мне исполнится сорок лет, я начну делать подарки. Мужчины преподносят подарки женщинам, чтобы как-то компенсировать свою немощь. А не хочу ничего тебе дарить, потому что и так чувствую себя не очень уверенно. Я хочу, чтобы ты меня любила таким, какой я есть.

— Я не понимаю тебя. Иногда ты кажешься по-настоящему влюбленным, а иногда каким-то холодным, расчетливым, будто тебе все равно...

Себастьян почувствовал, что если он произнесет еще хоть слово, то испортит все. Нэнси может дойти до исступления. Лучше промолчать. Он посадил ее себе на колени. На простыне сверкали холодные, раскрытые ножницы. Себастьян столкнул их ногой...

— Почему ты сказала, что не понимаешь меня? — спросил Себастьян.— Я так и не знаю, одинаковы мы или женщина все же отличается от мужчины.

— Я сама не знаю; мне кажется, что женщины всегда ошибаются. Мы обычно верим тому, что говорят мужчины. Это вы составили правила игры.

Себастьян повернулся на другой бок и, прежде чем вытащить из-под подушки пижаму, шлепнул Нэнси. Вспомнил, что когда-то так же шлепал Норму. Расправив пижамные штаны, он запрыгал сперва на одной ноге, потом на другой.

— Тебе неприятно, когда я тебя шлепаю?

— Нет. Мне нравится. Иди сюда, я еще не хочу одеваться... Большинство мужчин убегает от женщин, которые принадлежат им. Однажды я дала себе слово, что никогда больше не подчинюсь мужчине. Но, видно, этого не избежать. Как только я тебя полюбила, я стала постоянно думать о тебе, все мои планы зависят теперь от тебя...

— Я никогда не говорю о своих чувствах. Не потому, что я равнодушен. Просто не могу. Не могу сказать I love you *, мне страшно слышать эти слова. На испанском они звучат намного лучше, потому что у нас есть глагол «хотеть», который означает одновременно «любить» и «желать».

— Я знаю, что нужна тебе. Иначе я давным-давно оставила бы тебя... Если ты не против, побудем сегодня дома? Мне что-то никуда не хочется.

— Пожалуйста... А завтра поедешь со мною в Реглу?

— Что там будет?

— Процессия в честь святой девы-покровительницы Реглы.— Себастьян не сказал, что должен встретиться там с Франсиско.

— Я устала, поспим немного,— ответила Нэнси и повернулась к стене.

Себастьян закрыл глаза и обнял ее. Ему было удобно и спокойно. Он видел только ее затылок и часть шеи.

Нэнси дышала сильно, ровно. Неожиданно он почувствовал, что она стала какой-то чужой, каким-то незнакомым телом, которое лежало и дышало рядом с ним. Он попытался убедить себя, что это Нэнси, его Нэнси, однако все было напрасно. Он понял, что никогда их души не сольются воедино. Он и она так и останутся двумя чужими телами, соединившимися только по воле случая.

Они проснулись через два часа и вместе залезли под душ.

— Не вытирайся,— сказал Себастьян,— так будет прохладнее спать.

■

Полицейские выстроились цепочкой вдоль стены. Изображение пресвятой девы еще не выносили из церкви. Женщины были одеты в фиолетовые, оранжевые и белые платья. Цвета святых. У некоторых мужчин были приколоты к груди маленькие золотые или серебряные мечи — символ святой Барбары, богини огня и войны.

— Как ты думаешь, что-нибудь может случиться? — спросила Нэнси, глядя на смешанную процессию белых и негров.— Здесь полиция.

---

* Я люблю тебя *(англ.)*.

— Это ничего не значит. Полиция всегда там, где собирается много народу.

— Пожалуй, ты прав.— Она проверила рукой, не вылезла ли сзади блузка из юбки.

В нескольких шагах от церкви примостился самодельный киоск, где продавали бусы, изображения святых и ветви райского дерева. В киоске сидел человек в рубашке с короткими рукавами и в соломенной шляпе. На его груди сверкал золотой медальон с изображением пресвятой девы Каридад. Себастьян взял Нэнси под руку, и они перешли улицу.

— Тебе нравятся эти ожерелья? Они намного дешевле жемчужных и, к тому же обладают сверхъестественной силой.

— Вон то очень красивое,— сказала Нэнси, с любопытством разглядывая бусы из желтых и зеленых шариков.

— Ол райт, это Сан-Ласаро,— улыбнулся продавец.

Себастьян взял из черных рук продавца ожерелье и, приподняв волосы Нэнси, надел ей на шею.

— Что это такое? — воскликнула она, рассматривая цементные фигурки с рачьими глазками и клыками кабана.— Что это за чудища?

— Это боги,— ответил Себастьян, и продавец одобрительно закивал головой.— Они охраняют дом. Открывают все двери и устраняют с пути человека все препятствия. Их ставят на тарелку, наливают в нее ром и кладут бананы, чтобы боги их ели.

Себастьян взял в руки божка, у которого было два лица: одно — черное, другое — белое. «Белое против черного — вот она Куба»,— подумал он, вспомнив спор с Нормой. На миг в этой фигурке сосредоточились все противоречия Кубы, столь мучившие Себастьяна. Остров — наполовину испанский, наполовину африканский. Мост или крепость между Соединенными Штатами и Латинской Америкой. Испанец и негр из традиционного народного представления. XX век и примитивная страна... «Однако так можно дойти до абсурда»,— решил он и купил двуликого божка.

— А почему у него на голове два пера?

— Не думай, что он североамериканский индеец. Это не перья, а такие стальные полоски, очень острые. Ими закалывают петухов во время церемонии жертвоприношения.— Себастьян протянул руку, показав ей синие жилки на запястье.— Я тоже могу воспользоваться ими и перерезать себе вены, если ты оставишь меня...

— Кажется, тебе нравятся все эти мрачные штуки?

— Пожалуй, да.

— Я пытаюсь как-то понять тебя, но все эти амулеты и божки мне неприятны. Знаю-знаю, не объясняй мне, они красивы своим безобразием, похожи на произведения модернистского искусства... Но пойми, что я хочу сказать: когда ты смотришь на них, тебе, по-моему, хочется, чтобы все вокруг стало таким же чудовищным и безобразным.

— Вовсе мне не хочется, чтобы ты, например, превратилась в чудовище. Тебе очень идет твое нейлоновое белье и твоя улыбка «Колгейт»*...

— Stop it **. Не издевайся. Я пытаюсь понять тебя. Клянусь.

— I'm sorry ***.— Себастьян поцеловал ей руку.

Пресвятая дева Реглы вышла из темной церкви под палящее солнце. Теперь это была богиня Йемайя; Африка победила, стук трещоток и

---

* Известная американская фирма по производству зубной пасты

** Прекрати это *(англ.)*.

*** Извини меня *(англ.)*.

гул барабанов заглушили католические молитвы. За изображением, которое несли четыре человека, шагали три барабанщика. В воду залива полились пчелиный мед и сахарная патока.

— Давай присоединимся к процессии,— сказал Себастьян и потянул Нэнси за руку.

Шествие двинулось по улице. Себастьян замедлял шаги, чтобы не привлекать к себе внимания. Преглупое положение! Франсиско нигде не видно. То и дело он поглядывал на Нэнси — как бы ее не оскорбил кто-нибудь.

Какой-то худой мужчина самозабвенно приплясывал, на груди его прыгала медаль.

Себастьян старался шагать под музыку. Ему было жарко, капли пота скользили по щекам. Увлеченный звуками болеро, он тоже попытался танцевать, хотя знал только самые элементарные па. Себастьян огляделся. Как будто никто не заметил, как плохо он танцует. Двигаться под полуденным солнцем было мучительно трудно, казалось, будто к ногам подвешены тяжелые гири.

Красные пятна плыли перед глазами. Он старался не выпускать из виду Нэнси, но лицо ее таяло в пестрой толпе...

Нэнси шла с сосредоточенным видом, пытаясь, как советовал Себастьян, отрешиться от всего и полностью отдаться музыке. Но ничего не получалось. Она не могла пересилить себя. «This is terrible» *,— подумала она. Лицо ее горело. Толпа стихийно подчинялась барабанному бою... Нэнси кружилась в каком-то адском водовороте.

Себастьян посмотрел поверх голов на изображение девы Реглы. Пресвятая дева, застывшая в расшитой мантии, зигзагами плыла по улице. Лучи солнца падали сквозь вуаль на ее неподвижное лицо, и на нем дрожали искрящиеся блики. У ног девы, между двумя причудливо изогнувшимися херувимами, покоилась гроздь спелых бананов.

На площади у муниципалитета Нэнси выбралась из толпы и позвала Себастьяна.

— Куда ж они пойдут дальше?

— Ты устала?

— Выпьем воды, я умираю от жажды...

Себастьян огляделся по сторонам: знакомых не было. Он подумал, что Франсиско могли арестовать, и сердце его забилось. Он испугался, как бы Нэнси не заметила его тревоги. Вошли в закусочную, Себастьян попросил две бутылки газированной воды.

— Не думаю, что этим людям приятно наше присутствие здесь,— сказала Нэнси.— Им, наверное, кажется, что мы над ними смеемся.— Она выпила половину бутылки прямо из горлышка.— Какая сладкая!

— Не беспокойся, нас не линчуют. Мы не на Юге Соединенных Штатов.

— Во-первых, нам не следовало вообще идти сюда. Не знаю, что ты находишь интересного во всем этом. Здесь хуже, чем на нью-йоркской Таймз-сквер в новогоднюю ночь.— Нэнси хотелось, чтобы Себастьян думал только о ней. Она устала, все вокруг казалось ей грязным и таило опасность.

— Но это ведь мой народ. Моя бабушка была негритянка. Она верила в Йемайю.

— Хватит, не будь смешным. У тебя нет ничего общего с этими людьми... Они дикари. Ты больше похож на янки, чем я.

— Лучше танцевать, чем делать атомные бомбы. Может быть, в

* Это ужасно *(англ.)*.

эту самую минуту какой-нибудь ученый-атомник в Массачусетсе ломает себе голову над новой проблемой... Подумай об этом.

— Мне все равно. Если тебе хочется, можешь подыхать здесь... Я еду домой. Дай мне, пожалуйста, ключ от автомобиля...

Нэнси оглянулась. Тротуар был пуст. Себастьян не пошел за нею... Она решила подождать несколько минут, прежде чем нажать на стартер. Почему он остался? Нэнси завела мотор и поехала, уверенная, что Себастьян возненавидел ее.

Несколько минут Себастьян сидел на краю тротуара. Он был доволен, что удалось отделаться от Нэнси, ничего не сказав ей о Франсиско. Он не имеет права втягивать ее в это дело. Нэнси и не подозревает о том, что происходит на Кубе.

Почему Франсиско назначил ему свидание в Регле? Вполне возможно, что здесь у него были еще и другие дела. Себастьян поднял с мостовой палочку от мороженого и начал чертить ею по земле.

Франсиско могли арестовать... Себастьяну казалось, что вот-вот нагрянет полиция. Это было неизбежно. Неужели он удерет, ничего не сделав, как последний трус?! Нет! Если его арестуют, он не скажет ни слова о Франсиско. Себастьян решил ждать... Нэнси уехала расстроенная. Он хотел, чтобы она осталась на Кубе. Рядом с ним должна быть женщина, только тогда он чувствует себя живым.

Себастьян нагнал процессию. Серая туча закрыла солнце. Заморосил мелкий дождь. На какое-то мгновение толпа пришла в замешательство. Дождь пошел сильнее, и процессия стала заметно редеть. Пресвятую деву внесли в ближайший дом. Она потеряла под дождем всю свою торжественность и выглядела жалкой. Голова процессии с музыкантами продолжала двигаться к кладбищу.

Себастьян зашагал следом. Когда подошли к ограде кладбища, из-за туч выглянуло солнце, хотя дождь не переставал моросить.

— Дьявол справляет свадьбу,— крикнул кто-то.

Барабаны сменили ритм. Себастьян вскарабкался на мраморное надгробие. Он пришел сюда и останется до конца. Женщина с гладкими, стянутыми в узел волосами произносила какие-то непонятные африканские слова. Она приплясывала и заговаривала злых духов. Руки ее дрожали. Какая-то старуха брызнула на нее водой с мокрой ветки райского дерева. Черные волосы женщины блестели на солнце, она все кружилась, кружилась и кружилась...

Себастьян присел на могилу.

■

Серый автомобиль, стоявший под пурпурными цветами фрамбойяна у выхода с кладбища, казался розовым. Себастьян собирался ехать на автобусе. Нэнси открыла дверцу и позвала его.

— Прости меня. Поверь, я очень сожалею... иди, садись.

— Я рад, что ты вернулась,— сказал Себастьян, влезая в машину.— Придется немного подождать, пока разойдется народ.

— Ничего. Мне здесь нравится. Почему в Гаване так мало деревьев? Казалось бы, на тропическом острове их должно быть видимо-невидимо.

— Многие считают, что без деревьев город выглядит современнее. Гавану строили люди, которые ненавидят природу... Тебя действительно интересует эта тема? Я думал, ты хочешь сказать мне что-то другое.

— Не знаю, не знаю.— Нэнси смотрела на траву, на тротуар, усеянный красными лепестками.— Мне нравится фрамбойян, он скрашивает зеленую монотонность травы и листьев.

— Скажи мне, что с тобой?

— Ах, оставь. Я же вернулась. Чего тебе еще надо? Я боялась, что ты промокнешь. А ты ничего не сказал о моем новом платье... Сколько времени я здесь?

— Ты хочешь сказать — в Регле?

— Нет. С тех пор, как я приехала из Штатов?

— Почти год.

— Мне кажется, будто я никогда не уезжала с Кубы. Понимаешь, я словно застыла на одном месте. Раньше все имело для меня смысл, а теперь — нет. Здешние жители очень провинциальны: видишь, как они на нас смотрят... Я должна съездить домой. У тебя есть работа, друзья, для тебя все имеет смысл, ты родился здесь. А у меня только ты... Хотя в этом я тоже не очень уверена.

— Никто никогда не бывает уверен полностью в чем бы то ни было, Нэнси. Мы говорили об этом тысячу раз. Не тебя одну терзают неразрешимые проблемы, мне тоже тяжело. И ты могла бы помочь мне. Как, по-твоему, должен я об этом говорить или нет? Я люблю тебя, ты нужна мне.

— Ты правда хочешь, чтобы я вернулась?

— Я не хочу, чтобы ты уезжала. Любовь эгоистична. Это эгоизм двоих. Но, кажется, последнее время наши чувства никак не найдут общий язык.

— Мне необходимо уехать, но я вернусь. Я хочу побыть одна и обдумать все хорошенько.

— Тебе нравится страдать.— Себастьян посмотрел ей в глаза.— Так ты себя чувствуешь на высоте. Любовь трагическая и трудная.

— Говорят, настоящая любовь в разлуке разгорается сильнее.

— Иногда ты становишься похожей на школьницу. Выдумываешь трудности там, где их нет. Я не понимаю этого. Если мы оба хотим быть вместе, для чего нам разлучаться?

— Ты ребенок... Я здесь совершенно не устроена. Женщине нужен дом с чистыми простынями и холодильником; тот, что стоит у тебя, не годится: из него капает, и пол вокруг всегда мокрый. Мне противно выливать воду в помойное ведро... Вдобавок, ты еще не женат на мне... Не знаю, я, кажется, схожу с ума...

— Завтра же утром поженимся, если тебя это волнует. Завтра же утром.— Себастьян вспомнил, как Норма отвергла его предложение.— Ну и дурак же я! Мне в голову не приходило, что ты согласишься выйти за меня замуж. Я не просил тебя об этом, так как опасался, что ты откажешь мне.

— Ты это сделаешь, правда? Ты это сделаешь ради меня?

— Разумеется! Хотя с тем же успехом мы могли бы завтра и разойтись...

— Ну вот, ты всегда должен все испортить. Почему ты не можешь без издевательств? Скажи мне: почему?

— Я не издеваюсь. Просто я не люблю сентиментов. Но я действительно хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу, чтобы ты принадлежала мне целиком и полностью. А таким образом ты станешь моей не только душой и телом, но еще и по закону.

— Я должна уехать на днях. В Филадельфии остались мои вещи; кроме того, надо сказать родителям, что я выхожу замуж. Я должна им все объяснить. Я вернусь через месяц, самое позднее. Знаю, тебе не хочется знакомиться с моими родителями, не беспокойся, я придумаю, что им сказать... Но ты еще не спросил, хочу ли я выйти за тебя.

— Ты хочешь выйти за меня?

— Да, ты же знаешь, что да... Поцелуй меня.

Себастьян выключил мотор. Придвинувшись к Нэнси, он поцеловал ее в глаза, потом в губы. Неожиданно все это показалось ему бессмыслицей. Нэнси относилась к этому совершенно иначе. Жениться или не жениться — для него от этого ровно ничего не менялось.

— Не думай, что я тебя заставляю жениться. Вовсе нет. Просто мне приятно знать, что ты способен сделать что-то для меня. И поэтому я счастлива. По-настоящему.

Себастьян устал, ему было все безразлично. Нэнси взяла его под руку. Ей хотелось подурачиться, а он находил, что все это пустая затея. Совсем ни к чему ждать ее возвращения целый месяц. Он ничего не понимал. Все в жизни стоит такого труда, что когда достигнешь желанной цели, она уже не кажется столь заманчивой. Себастьян был подавлен множеством впечатлений. Пусть делает что хочет. Он взглянул на нее, и Нэнси улыбнулась:

— Не волнуйся, я уеду не раньше, чем через неделю. Эти несколько дней я буду привыкать к тому, что нам придется расстаться на некоторое время. Мне не хочется оставлять тебя одного, но это необходимо. Не смотри на меня так, поехали домой. Ты же везешь меня не в аэропорт.

— Хорошо, если бы это было так.

— Что ты хочешь сказать? Я не понимаю.

— Никто никого не понимает.

РОМ И ПРУ

Через десять минут после ухода Себастьяна Нэнси решила сварить себе еще кофе. Крепкий напиток возбуждал ее нервы. «Даже кофе здесь другой»,— подумала она, глядя, как капли падают из кофейника. Она отодвинула полную чашку и подставила пустой стакан.

Нэнси расписала сепией две чашки, скопировав фотографии отца и матери, сделанные в первый год после свадьбы. Эти идеальные родители ничуть не походили на тех, которых она знала. Себастьян сказал, что с удовольствием пьет из их голов. Нэнси посмотрела на чашку: мужчина с пышными усами совершенно не похож на отца. Пусть чашка напоминает Себастьяну о ней, пока ее не будет.

Нэнси положила две ложки сахару и, помешивая кофе, наблюдала за тараканом, ползавшим по краю умывальника. Убить или даровать жизнь? Она не боялась насекомых, хотя частенько делала вид, будто боится, чтобы ее считали женственной. «Себастьяну нравится, как я одеваюсь»,— подумала Нэнси. Она оглядела белые джинсы, плотно обтягивавшие ноги, и накрашенные ногти, видневшиеся из-под ремешков сандалий. Почти все платья уже уложены в чемоданы.

Нэнси взяла чашку, прошла в кабинет и села перед пишущей машинкой. Себастьян опять отправился на свидание с этим человеком, который работает на Кастро. Это был просто предлог, как в тот раз, когда они поссорились в Регле. Ведь никто так и не пришел. Вряд ли Себастьян подвергается опасности: в Гаване все спокойно. Может быть, это уловка, чтобы изменять ей? Нэнси не знала, что думать, она не верила, что политике можно придавать серьезное значение... Как-то вечером она пожалела Эдлая Стивенсона, услыхав по радио, что он потерпел поражение. Нэнси вспомнила, что его оставила жена, и подумала об одиноком и грустном человеке.

Нэнси посмотрела на кипу книг на столе. Потом провела пальцем по кончику носа: не попудриться ли? Все перемешалось в голове, Нэнси была растеряна. Жизнь становилась невыносимой.

Она должна вернуться в Филадельфию, чтобы объявить родителям свое решение выйти замуж. Там в ее шкафу осталось много хороших платьев, которые пригодились бы здесь. Она сама не знала, хочет ли остаться на Кубе. Здесь невозможно выйти на улицу, не привлекая всеобщего внимания. Ничто здесь не принадлежит ей. Когда они поженятся, все станет иначе. Быть может, удастся уговорить Себастьяна переехать в Штаты. Хотя бы в Нью-Йорк. Нэнси постучала по клавишам машинки. Палец, который она обрезала, открывая банку со спаржей, пронзила острая боль. Нэнси тосковала по электрическому консервному ножу в доме родителей и по универсальным магазинам, где не нужно говорить по-испански.

Быть может, когда она вернется, то сможет работать дома. Поставит во дворе печь из огнеупорного кирпича. Так будет гораздо удобнее. Ведь Нэнси часто оставалась дома только потому, что не хотелось тащиться на автобусе в Сантьяго-де-лас-Вегас в керамическую мастерскую. Шоурун в последнем письме просил новых изделий, так как все, что Нэнси прислала, уже продано — правда, добрая половина оказалась перебитой в дороге. А канделябры потрескались. Канделябры, которые она украсила миниатюрными коричневыми и розовыми птичками, фиолетовыми и красными цветами...

Она выдвинула ящик и взяла лист бумаги: надо оставить записку Себастьяну. Так лучше. Проще. Она потому и не уехала на прошлой неделе — чтобы избежать прощания. Нэнси поискала на столе ручку... Она уедет не простившись, чтобы ему казалось, будто она просто вышла на минутку, в магазин... Нэнси остановилась.

Лучше принять душ и пойти в кино. Нет, сначала в магазин «Эль-Энканто». От покупок всегда становится легче. Ей нужна сумка — большая, кожаная. Но в Гаване такую трудно купить. То, что здесь есть, подходит разве что секретаршам или старухам. Сумка будет первым, что она купит в Филадельфии... Нэнси снова взяла ручку.

Ей хотелось знать, думает ли о ней Себастьян, когда они не вместе. Он вернется и не найдет ее дома. Из Филадельфии она прилетит тоже неожиданно. Получится так, будто она и не покидала его.

■

— Теперь я совсем ничего не делаю в конторе. Прихожу утром и провожу там целый день, чертя каракули. Я ненавижу этих людей. Они выводят меня из себя. Вот, к примеру, компаньон отца; он считает себя важной птицей только потому, что занимается животноводством. Он думает, что совершает великое дело,— ведь у него несколько коров. А что тут такого — иметь несколько коров? Он стар, и, кроме всего прочего, его заживо пожирает рак.— Луис уперся ногами в мраморный пол.— Я устал думать, не имея возможности высказаться. Мне всегда хочется спорить с ними, когда они болтают всякие глупости, вроде: «Королева Англии прелестна». Но я не могу. Они превратили меня в истукана. Я целые дни думаю, как бы ответить им, и не нахожу случая. Я полностью в их власти. Вдобавок они смеются надо мной. Однажды я сказал компаньону отца, что, на мой взгляд, лучший способ делать деньги на Кубе — это заняться кинематографией. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего, а отец велел мне заткнуться.

Луис смеялся над самим собой, раскаты его смеха гулко разносились в пустом доме. Семья отправилась на три недели путешествовать—

сначала в Лондон, а потом на остров Менорку, где у них была вилла. Луис отказался ехать с ними. Последний раз, когда они вместе ездили в Европу, они провели большую часть времени в гостиницах и беспрерывно ссорились. От этого путешествия сохранились только фотографии Луиса в костюме мавра, снятые в Севилье, и воспоминания об Анне, вдове из Нью-Йорка, с которой он познакомился на борту «Иль-де-Франса» и провел неделю на Капри. Луис запомнил ее светлые глаза, искусственные ресницы да яркое солнце... Каждый раз, когда дома заходил разговор об этой поездке, отец не упускал случая напомнить, что она обошлась в восемьдесят тысяч долларов...

Луис и Себастьян только что пообедали и поджидали Франсиско.

— Теперь тебе хорошо, все твои уехали,— заметил Себастьян.— Можно стряхивать пепел прямо на пол и валяться со служанкой в кровати родителей.

— Если бы они узнали, что наш дом служит местом свидания с революционером, то на целую неделю лишились бы сна. Как ты думаешь, что было бы, если нас застали бы здесь с твоим приятелем?

— Я мало знаю твоих родных.

— Нет, я имею в виду службу военной разведки.

— Думаю, что нас бросили бы в тюрьму.— Себастьян решил, что говорить сейчас о пытках было бы ребячеством.

— Бьюсь об заклад, что мы с тобой лишились бы кое-каких важных органов. Ты знаешь, что они сделали с одной учительницей, которую недавно арестовали? Ее пытали раскаленным железом.

— Не волнуйся, вероятнее всего, нам не суждено стать мучениками. Франсиско придет и уйдет, и ничего не случится. Если же нагрянет полиция, я скажу, что он работал в банке вместе с моим отцом. Не волнуйся.— Себастьян потер пятнышко сажи на пальце.

— Эти типы из службы никому не верят. Они вырвут у нас ногти.

— Предполагать, конечно, можно всякое, но не стоит так много думать об этом. Мы хотим видеть Франсиско, и мы его увидим. Я, признаться, не храброго десятка, но не собираюсь чуть что бежать сломя голову. Вообще говоря, и на улице можно попасть под автомобиль. Успокойся, старина.

— Если бы я мог чем-нибудь помочь. Я знаю почти всех заправил. Однажды меня даже представили Батисте. Дельцы и политики ошибаются, Себастьян. Не знаю, изменится ли Фидель Кастро в будущем, но до сит пор он сделал все, что обещал. Я боюсь только одного — чтобы мне не выкололи глаза.

— Не думай об этих вещах, иначе ты никогда ничего не сделаешь.— Себастьян почувствовал, как у него замерло сердце.— Время от времени каждому приходится рисковать.

— Когда я жалуюсь двоюродному брату на контору и на родителей, он отвечает, что надо быть терпимым и избегать трений. А как избегать? Все на свете соприкасается и трется. Иногда тебя так трут, что всю кожу сдирают до мяса, как тут не завопить! Надо быть выше этого. Вот почему я хочу стать революционером. Я — владелец сахарных плантаций. Ну и что? Мое семейство одно из ста шестидесяти самых богатых в стране. Ну и что? Ведь мне-то все равно тошно!

— Порой я хотел бы переживать все столь же глубоко, как ты, Луис. Когда ты говоришь с такой злостью, мне кажется, что все это происходит где-то на другой планете. Я всегда чувствую себя посторонним, и это меня окончательно добивает. Я ничему не могу отдаться полностью.

Луис не понял.

— Больше ноги моей не будет в конторе. Если я еще хоть раз появлюсь там, то сойду с ума. Скажу старику, что он тут ни при чем. Мне бы

хотелось, чтобы Фидель вышвырнул Батисту и чтобы все, чем они владеют, лопнуло как мыльный пузырь. Тогда они увидели бы, что возможен и другой образ жизни.

— Человек, с которым я тебя сегодня познакомлю, один из руководителей подпольного движения здесь, в Гаване. Но не жди от него многого. Может быть, он и не захочет воспользоваться твоими услугами. А если захочет, тебе придется быть очень осторожным.

— Понимаю, понимаю...

— Это Кармен? — спросил Себастьян, беря со стола фотографию, с которой улыбался, лежа на животе, голый ребенок.

— Да. Сестра миллион раз просила старика не выставлять здесь это фото, но ведь он все делает по-своему. Однажды он показал эту карточку ее поклоннику.

— А тот?

Требовательно зазвенел звонок.

— Идем со мною,— сказал Луис,— мы ведь не знакомы...

Они неловко пожали друг другу руки. Франсиско держался напряженно. Он только что принял душ и надел накрахмаленную гуайяберу.

Луис удивился тому, что Франсиско спокойно ходит по улицам и никто его не хватает. И потом, он ожидал, что Франсиско выше ростом или, наоборот, ниже и вообще как-то отличается от других людей.

Себастьян представил Луиса Франсиско.

— Мой друг, Луис Рейес, он хочет вам помогать.

— Ладно, поговорим об этом позже. Я принес новости с гор. Фелипе Пасос и Рауль Чибас объединились с Фиделем Кастро. Уже неделя, как они прибыли в Сьерра-Маэстру.

— Я слышал, что Чибас в горах,— сказал Себастьян,— но вот о Фелипе Пасосе ничего не знал. Это, кажется, добрая весть. Фиделю нужен серьезный помощник, понимающий кое-что в экономике.

— Пасос ведь был президентом Национального банка? — спросил Луис.

— Да, его назначил Прио,— ответил Франсиско.

Наступило молчание.

Луис задвигался, скрип стула только подчеркивал тишину. Франсиско разглядывал книги в красных кожаных переплетах, выстроившиеся на полке. Себастьян кусал губы. Наконец он решился нарушить гнетущее молчание:

— Это первые из известных политических деятелей, я имею в виду оппозицию, присоединившиеся к Фиделю. До сих пор только студенты и молодежь были за него... Быть может, потому, что они единственные на Кубе, кто еще верит в возможность перемен...

— Да, в каком-то смысле ты прав. Но мы хотим покончить с оппортунистами и не желаем связываться с профессиональными политиками. Рауль Чибас примкнул к Фиделю не как лидер «ортодоксов», а как частное лицо. Любой компромисс или соглашение с традиционными политиками только ослабят наше движение. Мы не пойдем на сделки. Если они хотят присоединиться к Движению 26 июля и помочь нам, прекрасно, но при этом они должны принять наши условия.— Франсиско рубанул рукой воздух.

— Вы правы,— воскликнул Луис.— Дельцы и правительство — одна шайка. Я только что говорил об этом Себастьяну. С ними никогда не столкуешься. Даже если им предлагаешь выгодное дело, они и то не хотят понять. Я уговаривал своего отца вложить деньги в кинокартину с Пампанини...

— Я знаю,— перебил его Себастьян,— что эти люди невежественны и трусливы, поэтому я не пошел в банк по стопам отца. Но не это сейчас главное. Главное — вопрос политической тактики. Фиделю в одиночку

не свалить Батисту. Ему нужна помощь трудового люда и средних слоев; последние уже помогают, они разбираются кое в чем... И примите во внимание, что рабочие еще не верят в революцию, их профсоюзные лидеры подкуплены и забастовки сейчас невозможны. Чтобы вырваться из этого заколдованного круга, надо заручиться поддержкой интеллигенции и мелкой буржуазии, которые еще верят в идеалы справедливости.

— В какой-то степени это так,— вмешался Франсиско.— Но не будь ребенком, неужели ты думаешь, что эти люди помогут изменить жизнь на Кубе? Я не верю таким, как Аграмонте или Рауль Чибас, они погрязли в прошлом, они прижились в этой системе. Они протестуют, но не хотят радикальных перемен. Революция им ни к чему. А наша революция должна быть народной.

Себастьян вдруг остро почувствовал, сколь реальна для них опасность угодить в тюрьму и сколь отвлеченна тема их спора. Он посмотрел в окно: небо было чистым, голубым, и листья тополей шелестели на ветру.

— Буржуазия слишком малодушна,— продолжал Франсиско.— Мы не думаем экспроприировать частную собственность, но, если будет необходимо, мы это сделаем. Мы проведем аграрную реформу. Ты видел, как живут крестьяне? Хочется перебить всю эту сволочь, которая сосет из них кровь. Надо покончить с латифундиями, построить школы и дома для крестьян. Чего бы это ни стоило — мы доведем дело до конца. Мы не из трусливых.

— Я ни на минуту не сомневаюсь в справедливости твоих слов, Франсиско, я только сомневаюсь в успехе вашего дела,— возразил Себастьян.— Мы попытались освободиться от Испании и попали в лапы Соединенных Штатов. Мы стремились в 1933 к социальной революции, а породили Батисту. Во всей Латинской Америке то же самое: у власти реакционные силы. Они уничтожили революцию в Мексике. Нас они также раздавят. У них — все, у нас — ничего. Сейчас нет экономического кризиса, и у них есть оружие. Дело не в том, на чьей стороне справедливость — она на вашей стороне,— а в реальности успеха. Надо иметь оружие, чтобы победить.

— Нет-нет, ты ошибаешься, оружие тут ни при чем. «Оружье — это нашей мысли свет», как сказал Марти. Если ты борешься за справедливое дело, рано или поздно у тебя будет оружие. Фидель сказал об этом на судебном процессе после Монкады. Здесь решается нравственная проблема — хватит с нас унижений.

— Ты прав: если нет энергии, нет страсти, лучше совсем не браться за дело. Если бы ты был расчетливым человеком, то считал бы, что у нас ничего нельзя изменить, и мирился бы со всей этой гадостью. Очевидно, смотреть на вещи трезво, как я, это значит оправдывать собственное бездействие.

— Вот это я и хочу сказать...

— Да, но я не могу преодолеть свой пессимизм. Я понимаю, что ты прав, но не могу ни чувствовать, ни действовать, как ты.

— Неплохо бы выпить чего-нибудь,— предложил Луис, поднимаясь.— «Куба либре» *, например? Впрочем, это единственный коктейль, который я умею готовить. К тому же в холодильнике кроме кока-колы ничего нет.

— Что ж, это неплохо,— ответил Франсиско.

— Даже здесь противоречие,— сказал Себастьян, когда Луис поставил на стол серебряный поднос с четырьмя бутылками и тремя стаканами.— Коктейль «Куба либре» делается из кока-колы. Мы пользуемся американским напитком, чтобы приготовить свой коктейль.

---

* Игра слов — коктейль из кока-колы и рома называется «Куба либре», что означает «свободная Куба».

— Да, кока-кола — это «поправка Платта»,— заметил Франсиско, и все трое улыбнулись.

Пока Луис смешивал коктейль, Франсиско закурил сигарету и стал рассматривать фотографию девочки. Когда он был мальчишкой, отец брал его с собой на табачные плантации. Высокие строения для ферментации табака господствовали над полями. На мгновение дым и кондиционированный воздух в комнате напомнили ему темные помещения, где на длинных деревянных шестах висели табачные листья. Вспомнился день, когда отец застал его курящим и вместо того, чтобы рассердиться, как он ожидал, рассмеялся.

— Выпьем за свободную Кубу без кока-колы,— сказал Франсиско, поднимая стакан.

— Верно, кока-кола хуже опиума,— прибавил Себастьян.— Незаметно затуманивает мозг, а когда опомнишься, уже поздно.

— Ром надо смешивать с пру *,— сказал Франсиско, ставя стакан на мраморный пол,— вот это было бы здорово... Все должно круто измениться, а если нет — уж тогда пусть совсем ничего не меняется. Нужна совершенно новая система. Слишком много несправедливости. Мы должны выйти из этого тупика.

— Капиталовложения — вот основная проблема слаборазвитых стран. Революционерам всегда не хватает денег. Откуда правительство возьмет средства на проведение реформ? — спросил Себастьян, глядя на каштановую жидкость в стакане.

— А налоги? Если понадобится, мы извлечем деньги из банковских подвалов... Будем продавать сахар всем странам. Используем все возможности. Что мы теряем? Хуже, чем сейчас, не будет.

— Это верно, сейчас у нас нет ничего. Кубинцам нечего терять. Фидель несгибаемый человек.— Себастьян пытался сгладить противоречия.— Несомненно, для него самое главное — интересы родины. Он из тех немногих политиков, которым не свойственны ни эгоизм, ни примиренчество. Фидель решит все проблемы. Но сколько их, этих проблем!

— Ты думаешь, что Соединенные Штаты вторгнутся к нам, если мы совершим социальную революцию? — спросил Франсиско.

— Не думаю, что они осмелятся на вооруженное вторжение, ты это имеешь в виду? Мир изменился. Существует Советский Союз... Но они будут чинить национальному правительству всяческие препятствия. Я не верю в возможность решения наших проблем с помощью Соединенных Штатов. То, что мы делаем, мы должны делать сами. До тех пор пока в политическом и экономическом отношении мы слабее их, они и будут обращаться с нами, как со слабыми. Чтобы добиться свободы, надо стать сильными. Но мы ведь в нескольких десятках миль от Флориды, и я боюсь, что нам не дадут поднять голову.

— Так рассуждают старые реакционеры, Себастьян, а ведь ты на них не похож. Не бойся, все кончится благополучно. Ты напоминаешь мне моего брата. Тебя надо хорошенько встряхнуть, чтобы ты во всем разобрался. И я говорю тебе то же самое, что ему: одни мы ничего не стоим.

— Я восхищаюсь тобой, честное слово,— сказал Себастьян.— Но я не могу чувствовать так, как ты. Я, например, никогда не испытывал голода. Полицейские никогда меня не избивали. Я знаю, что еда и здоровье очень важны, но это еще не все для меня. Люди хотят чего-то большего. Я не человек действия... Далеко не все проявляют глубокий интерес к социальным вопросам. Многие стремятся только вкусно поесть,

* Безалкогольный напиток, настоенный на кореньях и травах. Распространен на востоке Кубы.

Освальдо Кабрера. Демонстрация.

КУБИНСКАЯ

Освальдо Кабрера. Демонстрация.

ГРАФИКА

Мигель Анхель Пеньяте. Город.

Сесар Масола.
Портрет молодой женщины.

Хосе Агилера. На страже Кубы.

Армандо Поссе. Народная милиция.

Армандо Поссе. Армия революции.

потанцевать, сходить в кино, улечься в кровать с женщиной или нарисовать картину...

— Это будет после, а сначала надо свергнуть правительство. Нельзя ходить в кино или рисовать картину, когда на улицах убивают людей. Тебе жаль бедняков, но сам ты никогда не был бедным. Ты помогаешь революции, чтобы успокоить свою совесть, чтобы чувствовать себя чистым. Но жизнь не такая уж чистая штука, она грязней дерьма. И если бы мне пришлось убивать и обманывать ради того, чтобы люди не голодали и их не избивали полицейские, я без колебаний пошел бы на это... Сейчас надо только одно — покончить с Батистой.

— Ты прав, я действительно хочу успокоить себя... но разве это такое уж преступление? Самосознание — вот чего не хватает Кубе. У тебя оно есть. Не будь философов и писателей, которые поняли многое гораздо раньше тебя, ты не мог бы и думать о восстании против Батисты. Чтобы совершить революцию и уничтожить все наше свинство, надо быть вооруженным определенными идеями.

— Ты знаешь, поговорив с тобой обо всех этих вещах, я чувствую себя намного лучше,— сказал Франсиско, хлопнув Себастьяна по колену.— Быть может, ты и прав кое в чем, но ты теряешь много времени на разговоры. А сейчас наступил момент решительных действий. Нужно идти на улицы. Народ ждет.

— Если Куба выйдет из состояния отсталости, возникнет необходимость не только в действии, но и в развитии мысли. Чтобы разрешить все наши проблемы, мы должны будем чудовищно много работать. Никто за нас этого не сделает. Разумеется, нам могут помочь, но освободиться от зависимости и создать нацию должны мы сами, только мы сами. Для чего гнать Батисту, если затем не изменять сознание людей, не открывать им глаза, если не учить их мыслить и жить разумно?

— Как только мы победим, мы научим их мыслить. Когда не будет Батисты, на все хватит времени.

— Искренность и сердечная чистота — величайшее ваше достоинство и величайшее несчастье. Вы как будто совсем не знаете истории, всех ее ужасов.

— Да, может, ты и прав,— сказал Франсиско.

Себастьян улыбнулся и посмотрел на другую фотографию, стоявшую на столе: сеньора в жемчужном ожерелье на белой шее. Если революция победит, ей не придется больше покупать драгоценности на средства, выжатые из крестьян. Луис беспокойно ерзал на стуле. Себастьян вспомнил о его просьбе.

— Луис хочет чем-нибудь помочь вам.

— Помоги ввозить оружие в страну. Это сейчас задача номер один. Ты знаешь кого-нибудь, кто согласится ввозить оружие контрабандой, или, может, у тебя есть яхта?

— Нет. Все деньги у моего старика. Я не хочу у него просить. Я хочу делать все сам.

— Люди нам пока не нужны. Оружие — другое дело. Но я буду иметь тебя в виду. Можно ли спрятать у тебя кое-кого из наших товарищей? Или оборудовать в гараже типографию? На несколько дней...

— Очень сожалею, но здесь я ничего не могу спрятать. Это дом моих родителей. Сейчас они в Европе, но почти все время живут здесь.

— Ты хочешь доказать своему отцу, что можешь кое-что делать самостоятельно, не так ли?

— Да. Он всегда говорит, что я ни к чему не пригоден. Я хочу доказать ему, что могу кое-что сделать... для своей страны.

— Не обижайся, приятель, но мы предпочитаем не иметь дела с людьми, которые хотят показать своим родным и друзьям, что они

герои. Такие люди, как правило, очень капризны и не раз проваливали хорошие планы. Мы должны быть осторожными.

— Может быть, вы и правы.— Луис рассмеялся, закинув голову.— Я кончил бы тем, что поджег бы сахарные плантации и завод отца.

Себастьян почувствовал облегчение, увидев, что Луис не обиделся.

— Нет-нет, к вам мои слова не относятся,— сказал Франсиско, поняв, что перестарался. — Я не хотел вас обидеть. Дело в том, что в таких делах необходимо иногда быть жестоким. Многие ведь рискуют жизнью. Мы должны действовать решительно.

— Я понимаю, не беспокойтесь,— сказал Луис, перестав смеяться. — Со мной всегда так.

— Если мы сможем использовать вас, я сообщу Себастьяну.— Франсиско поднялся.— Встретимся на следующей неделе,— сказал он Себастьяну. — Я позвоню тебе.

— Хорошо, на следующей неделе я хочу послать в журнал материал о жизни в Сьерра-Маэстре. Ты сумеешь достать мне какие-нибудь фотографии?

— Посмотрим.

Себастьяну хотелось скорее распрощаться, чтобы избежать неприятного для Луиса разговора.

— Я провожу тебя до дверей.

— Ладно, пока. Очень приятно было познакомиться. — Франсиско пожал руку Луису. — Нет ли здесь другого выхода?

— Есть, через кухню.

— Идем, проводи меня,— сказал Франсиско Себастьяну. — Не следует рассчитывать на таких людей,— он кивнул на дверь комнаты, где остался Луис. — Эти люди бесполезны. Они опасны.

— Луис по-своему умен, он понимает, что дела идут неважно.

— Этого недостаточно.

— Может, ты и прав.

Себастьян вернулся в комнату. Вместе с Франсиско что-то ушло от него. Он вспомнил о Нэнси.

— Не придавай значения его словам,— сказал он Луису.— Одни люди способны действовать, а другие нет. Я тоже никогда не смог бы стать хорошим революционером. Во многом Франсиско прав.

— Я знал, что он меня не примет. Он прав: я ничего не могу предложить ему. Но что делать, если никто никогда не принимает меня всерьез? С чего же начать?

Себастьян поспешно распрощался. Вернувшись домой, он окликнул Нэнси, но никто не ответил: ее уже здесь не было. Она была в аэропорту.

ПЛЕТЬ ЛЕЙТЕНАНТА

— Все костюмы ему стали велики,— сказала Кристина, облокотившись на ручки качалки.— Висят на нем, как на вешалке. Двое таких, как твой отец, влезли бы сейчас в его брюки.

— Не понимаю. Только что ты говорила, будто ему лучше. Что же делать? — спросил Себастьян, поворачиваясь к матери.

— Не знаю... Говорит, что ему лучше, но твоему отцу никогда нельзя верить. Цвет лица у него действительно стал лучше, теперь он не такой желтый. Я не знаю, может быть, вегетарианская пища идет ему на пользу. Но он так мало ест!

— Сколько он еще должен сидеть на диете?

— Этот «натурист» сказал, что всю жизнь, если не хочет снова заболеть.

— Опухоль уменьшилась?

— Не знаю, что и сказать, Тиани. То ли она стала мягче, то ли так кажется, потому что он похудел. Я много раз прощупывала опухоль и просто не знаю, что думать. Попроси его вечером, чтобы он разрешил тебе потрогать ее.

— Я совсем не разбираюсь в этом, мам, но поговорю с ним.

Себастьян предпочитал не дотрагиваться до опухоли. Он был озабочен. Отъезд Нэнси беспокоил его больше, чем болезнь отца.

— Ты можешь оказать мне услугу, Тиани? — спросила Кристина.

— Что я должен сделать?

— Мне трудно дышать. Не можешь ли ты полить клумбы и цветы в горшках, прежде чем стемнеет? Шланг во дворе, под мойкой. Я пойду прилягу.

Себастьян прошелся по веранде вокруг дома. Мать беспокоится о своих цветах в то время, как отец так тяжело болен. Почему? Хочет отвлечься от страшных мыслей или боится, что, если она перестанет смотреть за домом, все развалится? Каждый день надо есть, ходить в лавку, поливать цветы...

Он открыл кран. Прозрачная струя полилась из шланга, запахло мокрой землей. Гвоздика кое-где уже раскрыла свои бутоны, а другие цветы у забора, только что подстриженные, еще не распустились. Себастьян поворачивал шланг во все стороны, нарушая царившее вокруг спокойствие. С улицы донесся звон колокольчика. Захотелось, как в детстве, выбежать за калитку — купить шоколадные пароходики и лопаточки мороженого из мамея. Мороженщик тряс бронзовым колокольчиком, лошадь медленно тянула по улице его тележку.

Себастьян направил шланг вниз, под ногами образовалась лужа. По улице с треском промчался мотоцикл. И все-таки кругом царил покой. Ветер шевелил верхушки деревьев, вдалеке чей-то голос звал кого-то. Начинало темнеть. Себастьяну стало грустно: со дня отъезда Нэнси в душе притаилась тоска.

Он свернул шланг.

Артуро вошел в дом с газетой под мышкой и кульком в руке. Себастьян отложил журнал и поцеловал отца.

— А где старая? — спросил Артуро.

— Кажется, на кухне, разговаривает с прислугой.

Через несколько минут Артуро вернулся в гостиную с блюдом орехов, тарелкой и щипцами.

— Белки,— объявил он.— Сейчас я ем очень много орехов. Вместо мяса.

— Неблагодарная работа — колоть целый день орехи.

— Я это делаю три раза в день... Кроме того, никакая жертва не может быть слишком большой, если речь идет о здоровье.

— Как ты себя чувствуешь?

— Очень хорошо,— сказал он, раскалывая орех. — Намного лучше с тех пор, как сел на диету. И теперь мне делают массаж два раза в неделю, а не один, как раньше. Массажист приходит по вторникам и четвергам. Я убавил в весе на несколько фунтов, но ведь я всегда хотел похудеть и никак не мог. Таким образом, я одним выстрелом убиваю двух зайцев.

Себастьян внимательно посмотрел на отца. Скоро он расколется, как его орехи. О чем он думает сейчас, больной и старый, прожив на свете шестьдесят пять лет?

— Как твоя коллекция марок? — спросил Себастьян, начиная издалека. Он не мог заставить себя разговаривать с отцом прямо и искренне. Это была своего рода церемония; он всегда останавливался, дойдя до какого-то предела, за которым разговор должен был принять

интимный характер. В последнее время Себастьян стал думать, что неспособность высказывать свои чувства он унаследовал от отца.

— Нет, марки не занимают все мое время... Я много работал в банке... Кроме того, они очень маленькие, у меня начинают болеть глаза, когда я долго их разглядываю. Я решил купить проигрыватель и приучиться слушать хорошую музыку. Она успокаивает нервы и поддерживает дух. Мне всегда нравилась классическая музыка, но никогда не было времени наслаждаться ею.

— Конечно, гораздо удобней иметь проигрыватель, чем одеваться и ехать в театр. Дома тебе лучше.

— Я ходил по книжным магазинам. Хотел найти книгу, чтобы научиться выбирать произведения классической музыки, но единственное, что у них есть, это книги по истории музыки или сугубо специальные. А в магазине «Боэмия» нет ничего, даже на английском. Я искал чего-нибудь попроще. Для начала.

— Удивительно... Я уверен, что на английском есть много таких книг, — сказал Себастьян, тронутый усилиями отца заполнить пустоту своих последних лет.— Такие книги популярны на Севере... Я могу тебе достать. Нэнси, одна моя приятельница, через несколько недель приедет в Гавану. Я попрошу ее привезти. Завтра же напишу.

— А это не затруднит ее? Такие просьбы всегда неприятно выполнять.

— Нет, не беспокойся, это нисколько не затруднит ее. К тому же ей хочется быть в хороших отношениях с... людьми.— Он чуть было не сказал «со своим будущим свекром», но сдержался: а вдруг она не приедет?

Он скажет родителям о своей женитьбе, когда Нэнси вернется в Гавану.

■

Задребезжал звонок. Себастьян никого не ждал. А вдруг это Нэнси? Он оторвался от письма и пошел к двери.

Перед ним стояли двое мужчин. Один из них дважды спросил, дома ли Себастьян Солер.

— Это я,— ответил Себастьян.

Полицейские вошли в дом.

— Нам сообщили, что вы прячете у себя оружие,— сказал тот, что был повыше ростом, и бросил на лежавшие на столе журналы плеть из коричневой кожи.— Здесь, в этом доме.

— Что я должен ответить? — Себастьян кашлянул.— Да или нет?

— Заткните глотку! — крикнул высокий.

Оба стояли перед Себастьяном. Одно мгновение они колебались.

Себастьян ожидал визита полиции, тем не менее их появление ошеломило его. Он слышал глухие удары в груди.

— Почему вы работаете на Фиделя Кастро? — спросил высокий. На нем была белая рубашка навыпуск, с короткими рукавами.

— Я никогда не сотрудничал с Кастро.— Себастьяна охватил страх, но голова работала четко.

— Генерал Батиста — это лучшее из всего того, что имела Куба. Лучшее! Никто не смеет думать иначе — на то мы и поставлены. Нравится вам или нет, а Батиста — настоящий человек. Фидель Кастро — никто. Понимаете, приятель, никто! — Полицейский в белой рубашке взглянул на коллегу, как бы ожидая подтверждения.— Мы обыщем сейчас дом. Ну-ка, иди вперед!

Себастьян попытался представить себе, что они могут сделать с ним, но мысль отказывалась проникать в будущее. Вспомнил, что только

вчера кончил статью, направленную против правительства. Она лежала на столе.

Каждое их прикосновение к его вещам он ощущал, как пощечину. Они нашли шприц, которым он делал себе уколы пенициллина, когда сильно простуживался.

— А это что? Для чего это вам? Вы наркоман?.. Да?

— Нет, я ипохондрик,— ответил Себастьян, переминаясь с ноги на ногу.

— Ипакандрок... Я вижу, вы парень ученый. Ишь ты, ипакандрок?

Полицейский помоложе отложил шприц и спросил:

— Вы педераст?

Вопрос был неожиданным. Полицейские посмеивались. Себастьян сдержался, чтобы не выругаться, и сказал улыбаясь:

— Педераст я или нет, вам не это хочется знать.— Он сунул руки в карманы.— Это дешевый трюк. Вам хочется знать совсем другое.

— Это уже наше дело. А ну-ка, поднимите руки. Обыщи его, Анхел.

— Сию минуту, лейтенант.— Полицейский заколебался, прежде чем подойти к Себастьяну.

— Не бойся, проверь как следует. Не видишь, что ли, это всего-навсего педераст!

Чужие руки шарили в его карманах. Себастьян стоял, как оплеванный. Ему было мучительно стыдно. Он кусал губы. Полицейский вытащил связку ключей и банкнот в двадцать песо.

— Откуда у тебя столько денег? Тебе их дают за твои красивые глазки?

— Возможно,— сказал Себастьян.— Но вы приехали сюда не затем, чтобы интересоваться моей частной жизнью. Этак вы даром теряете время. Ищите оружие, может быть, и найдете.

Они вывели Себастьяна в коридор и втолкнули в кабинет. Молодой полицейский начал перебирать бумаги, разбросанные на столе, с показным вниманием пробегая глазами некоторые из них. Потом подошел к стулу, на котором высокой стопкой лежали книги, и начал просматривать их.

— Где ты достал деньги на машину? Ваша журналистская братия не так уж здорово зарабатывает, чтобы держать машину. Я еще понимаю, если бы ты писал хорошие вещи о правительстве, а не всякое дерьмо, тогда у тебя были бы деньги. А твои статьи гроша ломаного не стоят. Я уверен, что из денег, которые ты собираешь для Движения 26 июля, тебе перепадает изрядный куш...

— Не говорите глупостей,— сказал Себастьян, испытывая стыд за то, что вынужден оправдываться перед этими людьми, которых он уже ненавидел.

— У тебя комплекс неполноценности. Ну как? Я тоже знаю всякие ученые словечки.

— Да, разумеется, вычитанные в дайджестах.

Себастьяну захотелось позлить полицейского; он бессознательно стремился приблизить развязку. Но полицейский только улыбнулся.

— Вот это мы и искали,— сказал лейтенант.— Откуда ты узнал, сколько людей у Фиделя Кастро в Сьерра-Маэстре? Здесь говорится пятьсот. Откуда у тебя эта цифра?

— Придумал. Вы же не поверите, что все, что я написал, правда.

Анхел улыбнулся, показав золотой зуб. Лейтенант кинул на него злобный взгляд.

— Я знаю английский. Послушайте-ка это, послушайте,— сказал он и начал читать напыщенным голосом.

Себастьян ничего не понимал: он слышал только исковерканные английские слова, но не мог уловить их смысл; он боялся, что полицей-

ские подложат в его вещи гранату или антиправительственную листовку, и не спускал с них глаз. При мысли о том, что его будут пытать, Себастьян оцепенел. А что, если сунуть им взятку? Может быть, они оставят его в покое? Нет. Позвонить по телефону? Бессмысленно.

— Ai liveed in di Ounited Estates *,— сказал полицейский в рубашке с короткими рукавами.

— Как долго? — спросил Себастьян, чтобы задобрить его.

— Много лет, mani yeers in Washington... — он посмотрел на репродукцию «Герники» Пикассо.— Вы редкий тип.

Это замечание ободрило Себастьяна, ему захотелось блеснуть остроумием. Но слова не приходили: он слишком нервничал. Себастьян молчал, проклиная свое тщеславие.

— Мне все равно, что вы обо мне думаете,— сказал он, желая показать, что безразличен к лести.— Это не интересует меня.

— Не строй из себя храбреца. У нас в управлении запоешь по-другому.

Анхел принялся просматривать книги.

— «О страхе» Сёрен Кьеркегор. Наверное, этот тип от страха в штаны наделал... «Древо познания» Пио Бароха... «Зрелый возраст» Жан-Поль Сартр. О, здесь даже сатир.

Себастьян вспомнил свой прошлый арест... Только бы не схватили Франсиско с записной книжкой, где есть и его имя! Он был уверен, что на этот раз ему не поздоровится. На мгновение он пожелал, чтобы все это оказалось ошибкой. Пусть полицейские уйдут и оставят его в покое.

— Я знаю английский,— повторил лейтенант,— я жил много лет в самом большом городе Соединенных Штатов, в Вашингтоне. Там зарабатывают хорошие деньги...

Он зарабатывал там хорошие деньги: мыл посуду в кафе. Официантка итальянка ушла от него к повару, который целые дни распевал оперные арии.

— Самый большой город Соединенных Штатов — Нью-Йорк или Лос-Анжелес, но уж никак не Вашингтон.— Себастьян решил покончить с этим. Ему надоели идиотские разговоры.— Даже Чикаго больше Вашингтона.

Лейтенант покраснел. Он медленно поднял лежавшую на столе плеть и ударил Себастьяна по голове. Второй раз нацелился в лицо, но попал ниже, по шее. Себастьян почувствовал, как шея задрожала, словно желе. Удар разрядил его напряжение. «Это не так страшно, как я ожидал». Он ощутил жгучую боль — ага, значит, все-таки он еще живой! Он перестал думать.

Увидев, что Себастьян стоит, не двигаясь, лейтенант подошел к машинке и вытащил из нее недописанное письмо.

— Кто такая Нэнси?

— Не ваше дело,— ответил Себастьян. Ему хотелось вырвать письмо из его рук.— Это не ваше дело.

— Хорошо, очень хорошо,— лейтенант кивнул.— Я видел, как плакали люди, которые были в двадцать раз сильнее тебя. Посмотрим, как тебе поможет все это дерьмо, все твои бумаги и книги, когда мы возьмем тебя за горлышко. Анхел, захвати бумаги со стола.

СТАНУТ ПРАХОМ

У дверей, прислонясь к косяку, стоял вооруженный полицейский. Себастьян сидел на скамье у стены. Полицейский скучал. Он был в синей форме, даже широкополая шляпа его была синей. Винтовка и

* Я жил в Соединенных Штатах *(исковерк. англ.)*.

подсумки были так тяжелы, что полицейский все время переминался с ноги на ногу. Костюм его показался Себастьяну театральным, но винтовка и патроны не были бутафорией.

Себастьяна ввели в кабинет; те двое, что арестовали его, уже сидели там. За столом в стиле испанского Ренессанса покачивался на вращающемся кресле полковник.

Себастьян остановился посреди кабинета и подтянул брюки: его пояс отобрали при обыске.

— У тебя дьявольски тупая башка, парень. Бюро по подавлению коммунистической деятельности уже один раз предупреждало тебя. Но ты пропустил это мимо ушей и решил не подчиняться нашим приказаниям.— Полковник участливо поглядывал на Себастьяна: иногда такая отеческая заботливость подкупала допрашиваемых.— Ты тянешь пустой номер. Всему есть предел, имей в виду. Мы дали тебе полезный совет, но ты не послушался. Ты просто упрямый осел. Как это ты выразился в своей паскудной статье? — полковник поискал на столе журнал.

Себастьян проглотил слюну.

На стене за полковником висели две фотографии: улыбающийся Батиста и Марти на фоне лиан, на Ямайке. Апостол рядом с диктатором. На какой-то миг оба изображения слились, и Себастьян не в силах был отличить одно от другого.

Прочитав вслух абзац, который особенно разозлил его, полковник воскликнул:

— Я понимаю, что ты молод, хочешь показать свою храбрость и так далее, но на этот раз твоя песенка спета.

— Молодость тут ни при чем. Я знал, что делал.

— И, по-твоему, правительство — это паразит?

— Так я написал,— сказал Себастьян дрогнувшим голосом.

— Мы поможем тебе правильно смотреть на вещи. А ну-ка,— полковник кивнул, и один из его полицейских ударил Себастьяна.

Себастьян, как и прежде, дома, подавил желание уклониться от удара — это разрядило накопившееся в нем напряжение.

— Как в кино,— сказал он, вытирая лицо. Руки его дрожали.

— Мне нравятся умные люди. В университете я писал стихи. Амадо Нерво, это да! Вы любите Амадо Нерво? — спросил доверительным голосом полковник.

— Это мексиканский поэт.— Себастьян ассоциировал имя Нерво со своими первыми неудачными литературными опытами. Он не хотел показывать, что ему больно, и продолжал: — Много лет прошло с тех пор, как я читал «Неподвижную возлюбленную»... «Но таким прекрасным цветам долго не прожить...»

— А мне нравится вот это: «Кто ее видел, никогда ее не забудет». Это правда — когда увидишь красивую бабенку, долго не можешь выкинуть ее из головы... Зачем вы связались с бунтовщиками? Чего вы этим добьетесь, скажите мне? Студенты и всякие голодранцы пошли за Фиделем Кастро, потому что надеются поживиться, но вы-то образованный молодой человек из хорошей семьи, у вас есть все, что вы хотите. Зачем вы спутались с ними? Люди Фиделя борются за то, чтобы ухватить кусок пожирнее. Почти каждый из них уже знает, какую должность в правительстве и какое денежное вознаграждение он получит. А что обещали вам?

— Вы выдаете желаемое за действительное.

— Что?

— Фидель ничего не знает о моем существовании. Я не знаком ни с одним революционером.— Себастьяна снова обуял страх.— Впрочем, может быть, вы и правы.— Он крепко стиснул зубы, чтобы не стучали.

— Конечно, я прав. Единственное, чего хочет Фидель Кастро, это выкинуть нас и сесть на наше место. Политика на Кубе всегда делалась таким образом. И всегда будет так делаться.

— Вы не разрешили мне позвонить родителям. Можно мне теперь позвонить им и сказать, что меня забрали?

— Арестовали, а не забрали.

— Хорошо. Но если я не позвоню, они будут считать, что забрали. Вы разрешите?

— Нет. Родители здесь ни при чем. Ты уже не маленький, парень. Когда будет нужно, мы сами позвоним твоим родителям.

— Фидель прав...

Полковник встал из-за стола, и Себастьян спрятал лицо в ладони. Полковник стал бить его кулаками, костяшки пальцев с хрустом стучали по его голове. Себастьян согнулся, пытаясь спрятать голову. Казалось, череп сейчас треснет, как яичная скорлупа.

Полковник схватил стеклянное пресс-папье и ударил Себастьяна по спине. Послышался гулкий звук, будто стукнули по пустому ящику. Полковник сел за стол и закурил сигару.

— Вот так с тобой и будет, если не прекратишь свою идиотскую писанину.— Полковник смахнул статьи и журналы с настольного стекла

Бумаги пролетели перед самым носом Себастьяна и ударились о стену. Лучше бы он никогда их не писал! Несколько листков упало возле ножки стола — львиной лапы на земном шаре.

— Если будешь писать о хороших и полезных делах, которые осуществляет правительство, то я смогу тебе помочь... Не обещаю, но надеюсь, что все еще можно уладить. Слушай, парень, зачем показывать янки некрасивые стороны нашей жизни? Думаешь, я не прав? Мы сможем дать тебе стипендию и послать в Париж или устроить в одно из наших консульств. Работенка стоящая. Писатели ведь любят путешествовать. Разве тебе не по душе прогулочка в Париж? Это же шик! Много женщин и много культуры! Совсем другая жизнь. Подумай, не каждый день на тебя сваливается такая удача.

— Не успею я добраться до Парижа, как окажусь безработным. Батисте недолго осталось властвовать.

— Ты еще пожалеешь о том, что сказал. Ты сам вырыл себе могилу. Можешь считать себя уже мертвым. За нами — армия и американцы. Нас никто не сбросит... Уберите его!

Два часа Себастьян просидел в камере. Он готов был разрыдаться. На допросе он держался сколько мог, сделал все, чтобы выстоять. Теперь силы оставили его. Что с ним будет? Об этом Себастьян боялся думать; он гнал от себя мысль о пытках. На лице его застыла гримаса боли и ужаса. Никто даже не знает об его аресте.

Он мысленно представил себе улицу перед полицейским участком: равнодушные люди идут по тротуарам. В нескольких шагах отсюда несет свои зеленые воды Альмендарис. Если бы его родители знали, они попытались бы спасти его; отыскали бы какого-нибудь знакомого, тот еще кого-нибудь и, глядишь, что-нибудь для него и сделали бы. Впрочем, для его родителей все это слишком страшно и сложно. «Хоть бы покончили со мной сразу». Глупо было надеяться на что-то. Надежда только усиливала боль в груди и в голове. Он повалился на пол и уставился на стену с выщербленной от сырости штукатуркой.

Себастьян чувствовал себя совершенно разбитым. Какое ему дело до идеалов Фиделя и коррупции Батисты? И то, и другое одинаково далеко от его жизни... И все-таки он сидит в тюрьме за «участие» в революционном движении. И Батиста и Фидель исчезнут с его смертью. Все исчезнет. А если так, какая разница — на его стороне правда или нет,

умно он поступает или глупо? Ведь он ничего не увидит, ничего не услышит и ни о чем не узнает. Смерть сотрет все.

В коридоре раздались голоса, но он даже и не попытался прислушаться. С того момента, как его бросили в камеру, он почти не шевельнулся.

■

Когда Себастьян открыл глаза, было уже совсем светло. Очертания предметов проступали яснее. Тысячи опасностей, таившихся в углах камеры, исчезли вместе с темнотой. Он подумал, что, если его не будут пытать, он привыкнет к своей камере-клетке. Услышал приближающиеся голоса. Полицейские и заключенные проходили мимо решетчатой двери. Слева от него были еще две камеры, а справа — кухня. Он не понимал, почему его посадили одного — в соседней камере сидело трое или четверо. Они говорили тихими голосами, оглядываясь по сторонам.

Себастьян чувствовал себя беззащитным: он не мог нигде скрыться. Железные брусья двери отгораживали его от всего мира, но не спасали от незнакомцев. Впервые в жизни он видел людей в клетках. Бывая в зоопарке, он всегда мысленно ставил себя на место зверей. Здесь в этом не было необходимости. Зато именно здесь он станет настоящим человеком.

Полицейский с аккуратно подстриженными усами принес ему консервную банку, наполненную кофе с молоком, и две черствые галеты. Себастьяну хотелось есть, но он боялся, что в кофе подмешали какое-нибудь лекарство, чтобы сломить его волю. Впрочем, он тут же отбросил свои опасения: все это было навеяно кино и литературой. Он ведь никто. Его схватили только потому, что те, главные, недосягаемы для полиции. Все это сплошной фарс. Он был просто козлом отпущения.

Принесли ведро воды и тряпку — убрать камеру. От воды исходил резкий запах сосны. Несколько часов спустя руки Себастьяна все еще пахли дезинфекцией.

Пришли те двое, что арестовали его вчера. Надзиратель, открывая дверь, назвал высокого сержантом. «Значит, он не лейтенант»,— подумал Себастьян, довольный тем, что обнаружил слабую сторону врага. Сержант постукивал себя плетью по ноге. Он был в штатском, как и вчера.

Себастьяна вывели на улицу и втолкнули в синий лимузин, стоявший у подъезда.

— Многие вот так выходят отсюда и больше не возвращаются. Все, твоя песенка спета.

Себастьян сидел между полицейскими. Он думал, что его хотят запугать. Увидев в зеркале над ветровым стеклом свое лицо, вспомнил, что не причесывался два дня. В тот вечер, когда эти двое ворвались в его дом, он отдыхал после обеда и недавно встал. Во рту был неприятный привкус. Люди, сидевшие рядом с ним, только что побрились, на них было чистое белье. Себастьян посмотрел на себя: синяя рубашка с короткими рукавами, мятые белые брюки. На босу ногу — туфли-мокасины.

Куда его везут? Внезапно Себастьян понял, что нарушен привычный порядок его жизни. Его вырвали из нее, не дав опомниться. Он не успел даже надеть носки или взять с собой книгу. Себастьян с отвращением провел языком по нечищеным зубам.

Подъехав к устью Альмендарис, они вышли из автомобиля. У башни стояли на посту два моряка. Полицейские прорычали им что-то вместо приветствия. Себастьяна отвели к причалу и приказали сесть в лодку. Завели подвесной мотор.

Когда река осталась за кормой и вокруг раскинулась синева моря, Себастьяна охватили тяжелые предчувствия. Он был подавлен и вместе с тем ощущал какой-то подъем. Может быть, Франсиско выдал его под воздействием наркотиков? Однако его имени не упоминали. Вряд ли все это произошло только из-за статьи. Должна существовать какая-то другая причина. Не может быть, чтобы его вот так просто вывезли в море и выбросили за борт.

Себастьян взглянул на Анхела. Верхняя его губа была так коротка, что казалось, вот-вот коснется носа. Неровно подстриженные усы, большие уши... Себастьян подумал, что эта физиономия просто неприлична.

Мотор заглох. Себастьян посмотрел на высокие здания Гаваны и подсчитал, что они отъехали от берега больше чем на милю. Горизонт вытянулся голубой полосой, над ней безжизненными гроздьями повисли облака. Солнце в небе и бесконечный простор воды угнетали Себастьяна. Все вокруг равнодушно к нему.

Оба полицейских, пока работал мотор, не произнесли ни слова.

Сержант поднял ржавый якорь и приказал Себастьяну привязать его к ноге. Себастьян отказался. Сержант, размахнувшись, что есть силы хлестнул его веревкой. Себастьян смотрел на дно лодки. Между досками плескалась вода, она поднялась на несколько дюймов... Удары по спине и шее прекратились.

— Ладно, давайте ваш якорь. Если хотите, привяжу его к шее.— Себастьян обмотал веревку вокруг левой щиколотки. Анхел сделал еще один узел и подергал веревку.

У Себастьяна вдруг появилось желание заплакать, просить их, умолять о прощении. Но он не мог. Он разозлился на себя за свою слабость.

— А теперь что? — спросил он, чувствуя, как лодка мягко качается на воде.

— Прыгай.

— Это глупо.— Себастьян попытался улыбнуться.— Могли бы придумать что-нибудь попроще, чтобы отделаться от меня. Это какая-то чушь!

— Прыгай, будет болтать! Прыгай в воду!

Себастьян встал. Вряд ли он сможет отвязать якорь в воде и продержаться, пока его подберет кто-нибудь. Море вокруг пустынно. Мысль об акулах заставила его на мгновение задержаться.

Он прыгнул.

Полицейские держали другой конец веревки.

Себастьян почувствовал весь ужас и нелепость своего положения. Он сразу задвигал ногами, чтобы удержаться на поверхности. Затем подплыл к лодке и инстинктивно вцепился в борт. Один из полицейских ударил ногой по его руке, другой надавил на голову.

Якорь тянул вниз, и Себастьян забарахтался в воде.

— Посмотрите-ка на него, посмотрите... Думаешь, наверное, что ты герой? Из тех, что показывают в кино. А ты всего только рыба.— Полицейские захохотали.— Животное без лап! Если скажешь, что Батиста настоящий человек, а ты — рыба, вытащим.

Себастьян задыхался, но молчал. Он почти не слышал, что говорили ему с лодки.

Полицейские схватили весла и пригрозили разбить ему голову, если он не нырнет. Себастьян набрал воздуха и нырнул. Он погрузился почти на самое дно. В ушах загудело, свет померк. Себастьян заколебался. На мгновение животный страх охватил его. Было единственное желание — всплыть. Он сделал резкий рывок, но якорь держал его. Себастьян отчаянно боролся...

Сперва он вдохнул воздух, потом увидел солнце. Отыскал глазами лодку. Страшно болело нёбо. Полицейские смотрели на него, и Себастьян тотчас же вновь погрузился.

Он долго не появлялся, и сержант забеспокоился. «Напугай его, и только,— сказал полковник,— его нужно хорошенько напугать». Себастьян надоел сержанту, и ему очень хотелось утопить его. Но он вспомнил, что однажды таким же образом чуть не утопил племянника министра финансов. Полковник свалил тогда всю вину на сержанта и пообещал выкинуть его из полиции, если повторится что-либо подобное. Сержант начал тянуть за веревку. Кто знает, а вдруг этот тоже чей-нибудь племянник.

Себастьяна вытащили из воды. Он был без сознания. Небо кружилось над ним: красное небо с черными звездами.

■

Четыре часа спустя Себастьян все еще дрожал от холода. Растянувшись на полу, он тщетно пытался согреться.

— Мерзавцы, сволочи...

В глубине сознания теплилась радость: жив. Он никогда и не подозревал, насколько дорога ему жизнь.

Временами его охватывал страх, но он отбрасывал его, убеждая себя, что теперь выживет. Он истерзан и унижен, но он не сдался.

— «Мое пламя выстоит против холодной воды»,— пробормотал Себастьян, вспомнив сонет знаменитого испанца Кеведо.

Он оказался не таким слабым, как предполагал. Они пытались физически сломить его, но он выдержал, и ему не за что презирать себя. Себастьян напряг мускулы. Он вспомнил о матери и отце, они были так далеки от него... Ничего не хотелось делать, только дышать.

Ощущая невероятную слабость, он пытался повторять последние строки стихотворения Кеведо:

Станут пеплом, в этом больше будет смысла.
Станут прахом, но прахом влюбленным...

Он не мог думать, не прибегая к литературным образам.

— Сволочи...— пожалуй, ругательства больше успокаивали, чем стихи.

Все чувства атрофировались. Грязь и запах испражнений уже не вызывали отвращения. В другой обстановке он не успокоился бы, пока не отмылся. А сейчас и пальцем не шевельнул. К зловонию примешивался запах дезинфекции.

Единственное, что у него, кажется, сохранилось, это — слух. Он узнавал голоса в коридоре, отличал шаги полицейских от шагов арестованных.

Тараканы ползали по Себастьяну, но он даже не пошевелился, чтобы отогнать их.

УБИРАЙСЯ, ПРОВАЛИВАЙ!

— Освободите его, и чтоб в сорок восемь часов он убрался из страны. Если ты еще раз попадешься нам на Кубе, тебе не миновать ссылки на остров Пинос.

Себастьян слушал полковника; ему казалось, будто эти слова обращены к кому-то другому. Он смотрел на сигарету, дымящуюся в пепельнице.

— Все. Убирайтесь отсюда. Чего вы ждете? Хотите, чтобы вам выкололи глаза? Убирайся, проваливай! — полковник вспомнил, что он должен сегодня ужинать с матерью. Придется послать полицейского

предупредить Мигдалию, чтобы не ждала. Старушка все же важнее, Мигдалия потерпит.

— Можешь позвонить своим старикам и сказать, что их сыночек жив-здоров,— сказал полковник, разглядывая ногти.— Когда выпроводишь его,— продолжал он, обращаясь к полицейскому, который привел Себастьяна,— зайди ко мне, я хочу попросить тебя об одной услуге. Снесешь записку.

Надежда вернулась к Себастьяну, и вместе с надеждой вернулся страх. Он не верил, что его освободили, до тех пор пока не очутился на улице. Как можно скорее домой! Остаться одному! Никого не видеть!

Еще два квартала. Корпуса казарм росли все выше и выше по мере того, как он приближался к ним. Колумбия уже не была картонной крепостью с оловянными солдатиками.

Солнце быстро опускалось к горизонту. Решетки оград казались изломанными. Себастьян чувствовал себя свободным, но ему было грустно.

■

На полу под дверью лежали три конверта. На одном — почерк Нэнси. Он бросил конверты на стол, не вскрывая, и улыбнулся: в его отсутствие ничего не изменилось. Нэнси ему написала, и почтальон подсунул письмо под дверь. Она ничего не знала о случившемся. Себастьян почти не вспоминал о ней в эти дни. После тюремного одиночества он искал утешения в знакомой домашней обстановке, но даже мебель казалась ему чужой. Он открыл банку с консервированными грушами и, съев половину, пошел в ванную. От горячей воды Себастьян ощутил прилив сладостной истомы. Он думал о Нэнси. Ему захотелось жить страстно, полнокровно; две недели назад подобная мысль вызвала бы у него отвращение. Он лежал в теплой воде и чувствовал, как пульсирует кровь в выздоравливающем теле. Теперь самое главное — уехать с Кубы. Он улетит во Флориду, к Нэнси. А там будет видно.

Себастьян вылез из ванны и начал выгираться. Скоро он навсегда распрощается с Кубой, смерть и грязь останутся позади. А вдруг Нэнси возвращается завтра? Он схватил письмо и разорвал конверт.

«My dear * Себастьян!

Я не думала писать, но так я решила тогда, когда была там. А сейчас я здесь, и все изменилось.

Мне очень плохо, я не должна была покидать тебя ни на минуту: теперь я понимаю, что ты был прав. Мои родители пытаются быть ласковыми, но они неврастеники и невыносимы. Я им рассказала, какой ты хороший. Для отца это было ударом, но теперь он, кажется, привыкает к мысли, что я выйду за тебя замуж. Вначале отец пригрозил лишить меня наследства и сказал, что на Кубе я смогу только торговать марихуаной или своим телом. Но теперь он понял, что я говорила всерьез, и хочет познакомиться с тобой.

Если бы я не знала, что скоро мы вновь будем вместе, я лишилась бы рассудка. Я читала Джозефа Конрада, и Хейст из его «Победы» похож на тебя. Мир ужасен, и надо драться за то, что любишь. Остальное не имеет значения.

В конце письма я предложу тебе кое-что, а пока не решаюсь.

Я была у зубного врача. Он вырвал мне зуб, который всегда болел, когда я сосала лед. Ты не заметишь разницы, врач вставил мне новый, точь-в-точь как прежний. Я боялась, что, если вырву зуб, ты разлюбишь меня. Я так разволновалась, что налетела на стеклянную дверь в универ-

* Мой дорогой *(англ.)*.

сальном магазине. Думала, что сломала нос — так много было крови. Но все обошлось благополучно.

Ты меня теперь не узнал бы. Я постриглась и переменила прическу — ненавижу гладкие волосы, а пучок или косы старят. Теперь волосы спадают на плечи волнами. Очень эффектно! Все это я делаю для тебя. Я словно готовлюсь к какому-то таинственному обряду. Отец ведет себя очень хорошо, дал мне денег на приданое. Я купила много разных вещей, чтобы запастись надолго.

Я не могу больше здесь жить. Вчера вечером смотрела телепередачу. Вошла мать и выключила телевизор, сказав, что уже поздно и что мне нужно побольше отдыхать. А было всего одиннадцать часов. Она даже дошла до того, что приказала мне идти спать. Она обращается со мной, как с больным ребенком. Уверена, что с сестрой она держит себя иначе. Моя мать — чудовище, которое прячет когти в бархатные перчатки.

Я понимаю, что написала кучу глупостей, но ты единственный человек, которому я могу все рассказать. Если б ты знал, как ты мне нужен, Себастьян! Думай обо мне, я хочу, чтобы ты все время думал обо мне. I love you, and I miss you, and I want you *. Нэнси.

P. S. Вот что я хотела предложить. Наш дом в Коукэнет Гроу пустует. Там никого нет. Мы можем провести в нем несколько дней после свадьбы. У нас там собственный пляж и все прочее. Я знаю, что тебе не нравятся подобные вещи, но ведь это вовсе не будет похоже на медовый месяц, потому что я стала твоей уже давно. Наши не собираются в этом году ехать во Флориду, и мы славно проведем время. Это было бы приятно, тебе не кажется?»

Себастьян рассеянно поднес письмо к носу — духи Нэнси. Бумага была голубой. Он попытался представить себе Нэнси там, за Гольфстримом. Мысленно перенесся по карте на полуостров Флориду, затем выше, в Филадельфию... Образ Нэнси стоял перед глазами.

Себастьян быстро прошел в кабинет и среди старых квитанций и бумаг отыскал свой заграничный паспорт. Виза еще имела силу и на следующий год. Скорее заказать билет! Сорока восьми часов более чем достаточно для приведения в порядок всех дел. Он может лететь в любой момент, махнув на все рукой.

В «Кубана-де-Авиасьон» ответили, что билеты есть только на завтра, на пять вечера. В «Нэшнл» и в «Истэрн» — то же самое. Он решил лететь на самолете кубинской авиакомпании и телеграфировал Нэнси, чтобы она встречала его в Майями.

Впереди было почти двадцать четыре часа. Себастьян позвонил матери.

— Где ты пропадал? — спросила Кристина.— Я беспокоюсь. Звоню и звоню, но тебя никогда нет дома. Вчера звонила даже ночью.

— Я два дня провел на море, в Варадеро... Конечно, надо было позвонить тебе, но я забыл. Я просто хочу заставить тебя страдать за то, что ты меня родила.

— I think so **. Вчера я думала о тебе. Я читаю прекрасный рассказ. И все хочу догадаться, на ком в конце концов женится доктор. Прекрасный рассказ! О молодом враче, который не знает, на ком ему жениться: на женщине, которую он любит, или на богатой вдове, которая обещала выстроить для него больницу. Когда ты придешь, я расскажу тебе, чем кончится.

— Завтра я улетаю в Соединенные Штаты. Меня вызвал журнал...

— Сколько времени ты пробудешь там?

— Еще не знаю.

---

* Люблю, скучаю, хочу к тебе *(англ.)*.

** Наверное, так оно и есть *(англ.)*.

— Отчасти я рада, что ты уезжаешь. Не удивляйся, там ты будешь в безопасности. Каждый раз, как я вижу в газетах новые списки арестованных, я думаю о тебе... Когда ты придешь попрощаться?

— Завтра я улетаю.

— Я буду дома целый день... Твои письма никогда ничего не говорят. Они хуже телеграмм. Я понимаю, что я всего только выжившая из ума старуха, но мне все-таки хочется знать, что ты делаешь, хорошо ли питаешься... А ты всегда пишешь, что ничего нового нет...

— На этот раз я буду писать обо всем подробно, обещаю. Скажи папе, что перед отъездом у меня страшно много всяких дел, но я постараюсь завтра пообедать вместе с вами. Самолет уходит в пять вечера.

Повесив трубку, Себастьян принялся ходить из комнаты в комнату. Он чего-то искал, сам не зная чего, и никак не мог привести в порядок свои мысли. Чемодан можно уложить и завтра. Себастьян позвонил Луису.

■

— У меня роковое имя,— сказал Луис.— Я не знаю ни одного выдающегося человека, которого звали бы Луисом. Разве что Людовик XVI, но ему отрубили голову на гильотине. Я хочу сменить имя. Звонил тебе, но никто не отвегил. Хочу назваться Леоном *, это звучит воинственнее...

— Превосходная мысль. Наверное, и я переменю имя.— Себастьян потер шею.— Говорят, что Атилла остановился перед Римом, потому что папу римского звали Леоном. Я хочу назваться Никто, и тогда меня, может быть, оставят в покое.

Себастьян пытался говорить иронически, но с досадой почувствовал искусственность своей интонации. Все его прежние утверждения казались теперь непоследовательными. Хотелось забыть все...

Они сидели на парапете набережной. Море грозно бурлило и пенилось у их ног.

— Как ты думаешь,— спросил Луис,— где бы мне купить льва? Я притащу его в контору отца... Лев в конторе. Разумеется, я бы его хорошенько выдрессировал... А может быть, лучше выучиться на чревовещателя? Вот было бы здорово! Ты представляешь, я ругал бы их как только мне вздумается, а они не могли бы меня поймать. Я бы сваливал все на льва. Чтобы не обижать старика. Если б я был чревовещателем, я звал бы льва Луисом, а он меня — Леоном.

— Ты смешон и трагичен. И уж, наверное, сам не понимаешь, что говоришь. В контору ходишь?

— И не думаю. Вот если бы со львом... Я больше не собираюсь продавать сахар или разводить скот, чтобы стать миллионером. Я займусь кинематографией.— Луис вынул из кармана темные очки и надел их.— Купил, чтобы походить на кинопродюсера, они всегда путешествуют инкогнито. Я стану кубинским Карло Понти и женюсь на Софи Лорен.

— Это вполне осуществимо, если захотеть. Гавана может сделаться кинематографической столицей стран, говорящих на испанском языке. Куба ведь в центре Карибского бассейна. У тебя будут самые красивые женщины континента, и ты без конца будешь смотреть кино. Мне кажется, для этого дела ты больше подходишь, чем для торговли сахаром.

Луис рассмеялся, уличный фонарь осветил его гнилые зубы. Себастьян посмотрел на море: лунная дорожка исчезала где-то далеко за горизонтом. Казалось, кто-то другой, а не он сидит на парапете рядом с Луисом. Гавана отодвинулась далеко-далеко в прошлое.

---

* Леон по-испански «лев»

— Завтра лечу на Север.

— Уезжаешь? Ты тоже не выдержал в этом аду?

— Нет. Я еду по журнальным делам.

— Когда же вернешься? — Луис посмотрел Себастьяну в глаза.— Останешься там?

— Пока не знаю. Отдохну несколько месяцев. Никогда нельзя знать заранее, что с тобой случится. Если захочешь, приезжай ко мне. Стоит только переплыть эту лужу.— Себастьян махнул рукой в сторону моря.

— Не знаю, как ты, а я совершенно не могу представить себе что-либо находящееся вдали от меня. Не способен. В данный момент для меня реально существует только вот этот парапет и ты, потому что я вижу тебя здесь, рядом. Вода и то кажется мне чертовски далекой. Я сомневаюсь даже в реальности предметов, удаленных отсюда всего на несколько кварталов. Когда я ночью возвращаюсь домой, меня охватывает странное ощущение: всегда оказывается, что дом стоит на том же месте.

— Ладно, давай погуляем немного. Кто знает, может, и вправду что-нибудь сдвинулось с места.

— Пойдем пожуем что-нибудь. Я проголодался.

По краю тротуара высились тополя. Себастьян сорвал листок и сунул в рот. Было душно. Из распахнутых в ожидании свежего ветерка дверей и окон доносились обрывки слов.

— У меня есть тайна,— сообщил Луис, поднося ко рту сандвич с сыром и ветчиной.— Если старик пронюхает — убьет. Я... Я купил скаковую лошадь... Уже месяц, как она участвует в воскресных бегах на ипподроме в Марианао. И всегда на втором месте. Уже три раза. Если бы она приходила последней, я бы так не злился... Такое случается только со мной. Ты веришь в судьбу?

— Конечно верю. Потому и еду на Север. Прошлой ночью я видел сон, будто меня пытают в полиции, вот я и хочу уехать прежде, чем этот сон станет явью.— Себастьян выбросил соломинку и начал пить фруктовый коктейль прямо из стакана.

— Ты прав, здесь больше невозможно жить, поэтому я и хочу стать кинопродюсером. Когда ты вернешься?

— Я уже сказал тебе — когда вышвырнут Батисту.— «Несмотря ни на что, жить все-таки стоит»,— подумал Себастьян, наслаждаясь коктейлем.— Батиста свалится. Рано или поздно он свалится.

— Ты думаешь, в один прекрасный день он смоется?

— Конечно. Это вопрос времени, и только.

— А я уверен, что он останется у нас навеки... Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Купи мне лошадь, когда приедешь в Майями. На Севере есть приличные скакуны. Комиссионные я тебе выплачу. Если она окажется хорошей, ее можно опробовать во Флориде, а затем повезти в Кентукки.

— Сколько ты можешь истратить?

— Пожалуй, не больше трех тысяч долларов. Это все, что у меня осталось на счету.

Себастьяну вдруг захотелось как можно скорее покинуть остров. В эту минуту он ощутил себя еще более разбитым, чем после пытки. Луиса не пытали, но он искалечен.

— А может, ты лучше выяснишь цены на оборудование для киностудии? Во сколько, по-твоему, обойдется постройка киностудии в Гаване? Сумеешь навести справки? Лошадь тогда не покупай.

— Разумеется,— согласился Себастьян. Луис все еще не снял темных очков, и глаза его были видны, только когда он отворачивался от света.— Но надо подходить к делу практически, Луис. Что ты знаешь о кино?

— Ты, как и мои родичи, думаешь, что я свихнулся, не правда ли?

— Весь мир свихнулся, Луис, все мы безумцы. Не знаю, с чего началось безумие.— Себастьян вспомнил свой нелепый арест.— Я, наверное, родился дураком. Но, кажется, в мире как раз не хватает дураков, слишком уж много пройдох развелось.

За темными стеклами очков Себастьян никак не мог разглядеть выражение глаз Луиса.

■

Себастьян вскочил с кровати. Снова раздался стук в дверь. «На этот раз мне не выкрутиться»,— подумал он. В кухне задребезжал звонок. Себастьян натянул брюки поверх пижамы и, сунув ноги в туфли, выбежал во двор. Удивился, почему не лают собаки, вспомнил, что за несколько дней до приезда Нэнси раздарил их. Вокруг было тихо, стрекот кузнечиков лишь подчеркивал беспредельную тишину ночи.

Издали доносилось дребезжание звонка. Себастьян перелез через ограду и оказался во дворе соседнего дома. Окна и двери были закрыты, света не было. Все спали. Он никогда не разговаривал с соседями, не обменялся с ними даже двумя словами. И сейчас пожалел об этом. Вдруг они откажутся укрыть его. Подождав еще минут пять, Себастьян стал пробираться между домом и оградой. Улица была пустынна. Он оглядел свою пижамную куртку — ночью она вполне сойдет за рубашку.

Дойдя до угла, Себастьян стал прислушиваться. Наверное, полицейские пошли по авениде, и все-таки не мешает быть осторожным. Он завернул за угол и увидел какую-то женщину. Она шла ему навстречу.

— Себастьян! — воскликнула Норма.— Что ты делаешь здесь? Так поздно, в пижаме? Хорошо, что мы встретились. Эти дни я много думала о тебе.

— Это ты стучала в дверь?

— Откуда ты знаешь?

— Я так предположил.— Себастьян вспомнил, что Мануэль служит в армии.— Надеюсь, ты не разбудила всех соседей... Я ходил в дежурную аптеку. Разболелась голова, а у меня кончился аспирин.

— Нет, меня никто не слышал. Я вела себя прилично,— сказала она, пряча улыбку.

— Пойдем домой, не стоять же здесь.

— Если бы ты знал, как я тосковала по тебе.— Едва они вошли в дом, Норма бросилась Себастьяну на шею.— Я так мучилась, совсем голову потеряла. Мануэль уехал, я очень рада. Пусть Фидель убьет его там, в горах.

— Твоего мужа послали в Сьерра-Маэстру? Этого урода, который приходил ко мне?

— Да, и я рада, что избавилась от него. Меня огорчает только то, что он уехал, не расплатившись за мебель. Мне наплевать на квартиру, но мебель — это просто прелесть, жалко ее отдавать. Сеньоры из мебельного магазина сказали, что, если завтра утром я не внесу деньги, после обеда они приедут и заберут ее.

— На этот раз я не могу помочь тебе, Норма,— сказал Себастьян, высвобождаясь из ее объятий.— Завтра я улетаю на Север, и у меня нет ни одного лишнего сентаво.

— Почему ты не возьмешь меня с собой? Мануэль мне ничего не оставил, ни гроша. Я буду делать все, что ты скажешь. Если хочешь, я выйду за тебя замуж. Или ты уже раздумал на мне жениться?

— Норма, не пытайся обмануть меня. Ведь ты пришла ко мне только потому, что попала в затруднительное положение.

— Но что же мне делать? Меня выкинут из квартиры через две или три недели. Мануэль уехал два месяца назад и за все это время не

прислал ни одного сентаво. Ты ведь знаешь, я не могу ложиться в постель с первым попавшимся. Ради всего святого, возьми меня с собой. У меня в Майями подруга. Я не буду надоедать тебе. Она мне писала несколько раз, но я ей не отвечала — ты же знаешь, я не умею писать. Даже писать не умею!

Норма стала чужой. Казалось, холодный нож хирурга перерезал живые нити, связывавшие Себастьяна с ней.

— Обещаешь оставить меня в покое, если я тебе помогу? — спросил он, радуясь тому, что перед ним Норма, а не полицейские.

— Клянусь своей матерью, не буду приставать, только увези меня. Я буду жить у этой подруги. Она пишет, что там можно хорошо заработать. У американцев много денег, и они не скупятся.

— Сколько тебе нужно?

— Сто песо.

— Пожалуй, ты права... Если уж становиться проституткой, так лучше там, где за это хорошо платят. А может быть, найти тебе работу здесь? Я мог бы дать тебе рекомендательное письмо к одному знакомому. Он служит в магазине «Тенсен»...

— Не могу я работать в магазине, я тебе говорила миллион раз. Я не умею писать. И не хочу! Я уже работала служанкой, и мне не понравилось. Оставь меня в покое, я хочу жить так, как жила. Единственное, о чем тебя прошу, возьми меня с собой в Майями...

— Ладно, я помогу тебе... Ты упрямая. Только будь осторожней. В Майями ты сможешь заработать долларов пятьдесят за ночь, переспав с каким-нибудь богатым шалопаем из тех, кто приезжает туда на зиму. Это нисколько не хуже, чем...— Себастьян сдержался, он хотел сказать: чем спать с Мануэлем. Зачем обижать ее? Ему от этого вовсе не станет легче.— Но как только мы приедем в Майями, я больше не смогу с тобой встречаться. Изворачивайся сама как знаешь.

— Я так и думала, что ты меня выручишь. Я знала...

Норма сидела на краю стула, упершись локтями в колени и зажав голову ладонями. Себастьян закрыл дверь на задвижку.

— У тебя есть заграничный паспорт? — спросил он, заранее предвидя ответ.

— Нет.— Норма нахмурилась.

— Без паспорта ты не можешь уехать. Вот в чем беда. Визу можно получить в тот же день, но паспорт придется ждать больше недели... А я уезжаю завтра. Времени нет. Ничего не выйдет.— Себастьян понимал, что везти ее с собой было бы безумием.

— Ты можешь вызвать меня оттуда. Не оставляй меня, я не знаю, куда податься.

— Нет, это будет еще труднее... Вот что. Завтра утром пойдем к частному нотариусу, и он оформит паспорт.— У Себастьяна не хватило бы духу обмануть ее.— Кажется, у меня есть свидетельство о твоем рождении, я получил его еще тогда.

— Это когда ты хотел жениться на мне?.. Но не забывай, что я не умею писать.

— Не беспокойся, я научу тебя расписываться, больше от тебя ничего не нужно.

Они прошли в его кабинет, и он несколько раз четко написал на листе линованной бумаги «Норма Эскобар».

Норма крепко сжала карандаш. Все ее мускулы напряглись. Себастьян вел ее руку по строке. Каждое ее движение, казалось, свидетельствовало о борьбе с невидимой, но реальной опасностью. Вскоре несколько страниц были покрыты каракулями.

Норма покраснела от напряжения. Она ежеминутно вытирала о платье вспотевшую ладонь, карандаш скользил меж пальцев.

— Не волнуйся. Подписи почти всегда неразборчивы. Все врачи и инженеры так подписываются,— сказал Себастьян, разглядывая страницу, на которой можно было разобрать только букву «н».

Себастьян предложил ей поспать, она отдохнет, и утром ей будет легче писать. Норма держалась строго.

Он дал ей чистую пижаму: не хотел видеть ее в белье.

■

Не успел Себастьян захлопнуть крышку чемодана, как Норма вернулась, чтобы идти к нотариусу. Она надела старое вышитое платье. Надо было спешить. Себастьян вспомнил, что обещал пообедать с родителями.

Нотариальная контора находилась на узкой улочке Старой Гаваны, в высоком доме со стеклянными дверями.

Норма уселась на диван с продавленным плетеным сиденьем. Она была бледна. Себастьян взял ее руку, вялую, почти безжизненную.

Старая черная пишущая машинка издавала громкий звон, когда каретка доходила до ограничителя. Секретарь снял отпечатки пальцев Нормы и сказал ей, что она может помыть руки в умывальнике во дворе. Когда она мыла руки, ей вдруг захотелось бросить все и бежать отсюда.

Затем секретарь предложил ей расписаться там, где он поставил крестик. Первые три буквы имени вышли отчетливо. Вдруг Норма протянула секретарю ручку и, опустив голову, сказала, что у нее свело пальцы...

Когда они вышли из старинного здания на улице Куба, Себастьян снова взял ее руку. Теперь рука была холодная и напряженная.

— Не волнуйся, уметь писать вовсе не обязательно. Некрасивым женщинам надо уметь писать, а ты красивая, с тебя этого вполне достаточно.

— Ты очень хороший, я думала, что никогда не выберусь с Кубы. Для таких, как я, перемен не бывает. Так до конца жизни и останусь проституткой. Я это знала.

— Зря ты так думаешь... Вот тебе деньги на билет. Из Майями вышлю еще пятьдесят, сейчас у меня нет больше.— Себастьян смотрел на ее опухшее лицо, на темные круги вокруг глаз. Платье было измято, в прорехе под мышкой виднелось тело.

— Я очень плохая. Правда?

— Это не твоя вина. Вот мой адрес в Майями. Напиши мне, если дела пойдут скверно. Попросишь кого-нибудь написать за тебя. Когда вернусь в Гавану, я тебя отыщу. Обязательно.

Себастьяну хотелось обнять Норму, но он повернулся к ней спиной и пошел к машине... На том месте, где он когда-то впервые встретился с Нормой, Себастьян, сам не зная почему, выключил мотор и остановился...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Лишь сейбы родины оберегают от солнца; по чужой земле, как туча бродячая, блуждаешь; каждый взгляд похож на оскорбленье; даже солнце не жаром благостным пылает — гневом.

Хосе Марти

ПРИЗЕМЛЕНИЕ

Когда Себастьян открыл глаза, все было спокойно вокруг. По крайней мере, так казалось. Даже треск мотороллера почтальона, который несколько минут назад разбудил его, умолк вдали. Себастьян открыл жалюзи, и свет солнца ворвался в окно, словно сверкающий шар. Себа-

стьян протер глаза и увидал зелень по обе стороны посыпанной гравием дорожки, ведущей к гаражу. Чистота красок и ощущение свежести привели его на несколько минут в замешательство. Потом в глубине комнаты он услышал урчание аппарата для кондиционирования воздуха.

Нэнси спала рядом. Себастьян осторожно поднялся и босиком пошел в ванную. Посмотрел на зубы в зеркало и умылся. Затем решил принять ванну, чтобы окончательно прогнать сон. Пока наполнялась ванна, он открыл окно: птичьи трели звенели в утренней тишине. У дальнего дома за кокосовыми пальмами какой-то человек подстригал газон. Все вокруг напоминало воскресенье, но была среда... К его услугам были две электробритвы — европейская и американская. Нэнси советовала в шутку бриться сразу обеими — для быстроты. Себастьян залез в ванну, решив побриться в ней, пока она наполняется.

Опершись затылком о край ванны, он начал водить бритвой по щекам и подбородку...

На днях он получил из журнала чек и предложение работать в Нью-Йорке. Послав обещанные деньги Норме, он забыл о Кубе. Но оставаться долго в доме отца Нэнси он не мог... Себастьян водил бритвой по одному и тому же месту до тех пор, пока она не нагрелась. Было приятно бриться вот так: лежа, а не стоя перед зеркалом...

Насыпав тальк в черные мокасины, он надел их и, пройдя за бамбуковую занавеску, сел напротив Нэнси. Она листала журнал. Себастьян поцеловал ее колени.

— Я не целую тебя в губы, ведь зубы ты еще не чистила.

— Ну и противный же ты! — сказала Нэнси, улыбаясь.

— Позавтракаем? — предложил Себастьян и растянулся на кровати.

— I was waiting for you *. Это очень нудное занятие — готовить завтрак. Приготовь-ка лучше ты...

— Я не нашел сахар,— сказал Себастьян, ставя две чашки на плетеный столик.

— Не беспокойся, я сейчас принесу,— Нэнси наконец встала, швырнув журнал под стол.— Он в холодильнике, спрятан от муравьев.

— Заодно неси и хлеб.

Себастьян огляделся. Стены были окрашены в белый цвет: ни священного сердца Иисуса, ничего, что могло бы напомнить ему жизнь кубинских буржуа. Картина Дюбюффе занимала почти всю стену: пурпурные и серые тона и сплющенная женщина с крохотными руками. Картина напомнила Себастьяну рисунки на стенах общественных уборных. Отец Нэнси в прошлом году решил, что в современное искусство стоит вкладывать капитал. Кроме того, это было по-светски. У Нилса, главного редактора «Метрополитен», была картина Поллака.

Из окна виднелся узкий и длинный газон, за ним песчаный пляж, причал и, наконец, море...

— Тебе не кажется, что вон там, на горизонте, море выходит из берегов? — спросила Нэнси, надевая купальный костюм.

— Древние были правы, считая, что там, где кончается горизонт, море сливается с небом,— ответил Себастьян.

■

— Почему ты не хочешь поехать в Филадельфию и познакомиться с моими родителями? — Нэнси приподнялась на локтях.

Себастьян лежал с закрытыми глазами — солнце слепило.

---

* Я ждала тебя *(англ.)*.

— Не знаю, не спрашивай. Может быть, когда-нибудь потом, а сейчас у меня нет никакого желания. Надеюсь, ты не сообщила им, что я здесь? — Себастьян открыл глаза.

— Нет, не сообщила. Сказала, что мне хочется побыть одной на пляже, что не хочу никого видеть. Не волнуйся, никто нам не помешает.

— Ну что ж, тогда все в порядке.— Он снова закрыл глаза.— Эта волнистая прическа тебе очень идет.

Нэнси легла головой на оранжевое полотенце, разостланное на досках причала.

— Тебе здесь не нравится?

— Конечно нравится. Здесь тихо. Можно отдохнуть.— Он повернулся к Нэнси и шутливо укусил ее горячее плечо.

— Почему же ты не хочешь остаться здесь? Тебе ведь нельзя возвращаться в Гавану после всего, что с тобой произошло. Мы можем пожениться здесь.

— Пойдем поплаваем, —Себастьян сел и стал глядеть на море.

— Почему ты избегаешь разговора об этом? Я уже надоела тебе?

— Я не знаю, что будет, и не хочу сейчас думать об этом. Я даже не уверен, что мне нравится работа, которую мне предложили в Нью-Йорке, и, поскольку я знаю, что твой отец акционер журнала, она нравится мне еще меньше. Мне не по душе роль мужа — нахлебника дочери миллионера.

— Ты опять за свое...

— Я не хочу думать. Я хочу отдыхать. Неделю ни о чем не думать.

— Даже обо мне? — спросила Нэнси, поправляя сползшую бретельку.

— Я приехал сюда, чтобы быть с тобой. Разве не так? Ты была единственным человеком, которого мне хотелось видеть после освобождения.

— Я очень хочу, чтобы ты остался! Можно найти другую работу, где ты не будешь связан с моим отцом. Это легко. Я бы занималась керамикой, а ты бы писал. Мы даже могли бы остаться здесь жить. Отец никогда не приезжает сюда, он вечно работает и наслаждается своими делами. Ты теперь в моей стране, и я тебя не отпущу! — Чтобы оставить за собой последнее слово, Нэнси бросилась в воду.

Вынырнув, она принялась брызгать на Себастьяна. Он колебался: нырять или нет. Что-то мелькнуло под водой, а может быть, это ему показалось.

Себастьян прыгнул с причала. Он почти ощущал невидимый якорь, привязанный к его ноге. В воде предметы дробились, казались то далекими, то совсем близкими. Он вынырнул и поцеловал Нэнси. На ее ресницах блестели капельки воды. Себастьян провел по ним языком.

— Мне хочется съесть твои глаза, всю тебя.

— Это правда?

— Наполовину правда, наполовину фраза.— Себастьян скрылся под водой. На этот раз он был уверен, что его ноги не отягощает никакой груз.

Когда они вышли из воды, Нэнси спросила:

— Хочешь есть?

— Да,— ответил Себастьян, потирая нос тыльной стороной ладони.— По крайней мере, будет чем заняться. Все-таки — развлечение. Я уже устал от воды. Заодно купим книгу по музыке для моего отца. Ему приспичило научиться понимать музыку, и это сейчас, когда ему около семидесяти и он только что ушел на пенсию. И потом мне надо купить шорты и несколько рубашек. Раз уж я здесь, имеет смысл воспользоваться сверхизобилием вашего капитализма.

— Разреши мне самой выбрать эти вещи,— сказала Нэнси, вытирая волосы.— Мы можем пойти в новый магазин, там на верхнем этаже кафе. В одном здании мы получим все, что нам надо. Я ненавижу разъезжать по Майями. Давай одеваться. Пошли!

■

— Ты знаешь,— сказал Себастьян, входя в магазин вслед за Нэнси,— самое приятное в кондиционированном воздухе — это когда ты попадаешь в него. А потом тебе хочется снова на жару.

— Хватит болтать,— Нэнси потянула его за руку,— пойдем в отдел мужской одежды.

— Тебе нравится? — Нэнси взяла с прилавка синюю рубашку с красными рыбами.

— Очень уж яркая, я предпочитаю одноцветную,— сказал Себастьян, беря рубашку цвета морской волны.

— Купи еще белую, тебе очень идет белое... Ужасно интересно делать покупки. Правда? Зайдем после в отдел керамики. Я хочу посмотреть, что у них есть.

— Я еще ничего не купил, а мне уже надоело здесь.

— Да, надо время, чтобы к этому привыкнуть. Соединенные Штаты могут научить весь мир, как получать удовольствие, покупая ежедневно новые вещи. Мы умеем придумывать, будто нам что-то необходимо, и получаем от этого удовольствие.

В кафе они положили свертки на свободный стул и сели за столик.

— Закажи мне что-нибудь. В меню так много всякой всячины, я всегда путаюсь и не знаю, что заказывать.

— Мне кажется, что в вашей стране все уже давно сделано.— Себастьян положил сахар в чашку с холодным кофе.— Когда приезжаешь из страны, где все еще предстоит сделать, чувствуешь облегчение. Американцам остается только повернуть вспять, чтобы насладиться упадком.

■

Себастьян спал неспокойно.

...Он хотел выйти из комнаты и не мог шевельнуться. Все двери должны вот-вот захлопнуться. Ноги у него вдруг увеличились — как у циркового клоуна. Он был в Нью-Йорке...

Себастьян открыл глаза и потянулся. Во рту был противный привкус. Стоило ему заснуть после обеда, весь остаток дня шел насмарку.

Прямоугольник света, падавший на пол через окно, увеличился всего лишь на несколько дюймов. «Дюйма на три, не больше»,— подумал Себастьян. Неожиданно в памяти возникли образы полицейских, пытавших его. Захотелось мстить: он заставил бы их ходить по горячим углям, не дал бы им пикнуть! Если бы пришлось опять встретиться с ними... Себастьян не знал, что стал бы делать, но был уверен, что больше не будет сидеть сложа руки.

В окно он увидел Нэнси: она вымыла голову и сидела на солнышке во дворе. Он вернется на Кубу. Сейчас же!

■

Себастьян сел у стойки, на которой лежали «Нью-Йорк таймс» и «Лайф». На первых страницах о Кубе ничего не было. Себастьян заказал кофе с двойной порцией сливок. Листая «Лайф», он наткнулся на фотоочерк о повстанцах в Сьерра-Маэстре. Капля кофе упала на страницу, и Себастьян вытер ее бумажной салфеткой. В группе бородачей на

фотографии Себастьян увидел чей-то лоб, чьи-то черные глаза... Позади Фиделя Кастро стоял бородатый Франсиско. Себастьян был уверен, что это Франсиско. Он узнал его. Узнал лоб Франсиско.

■

— Где ты пропадал? — спросила Нэнси, выходя из ванной со щеткой в руке.

— Вышел купить газету,— ответил Себастьян, целуя уголки ее губ.

— Я думала, ты ничем не будешь интересоваться. Ты сам так сказал вчера.

— Да, это правда. Но мне вдруг захотелось узнать что-нибудь о Кубе. Что поделаешь!

— Политика больше не в моде. Надо быть идиотом, чтобы поддаться на удочку политиков. В Соединенных Штатах это никого не беспокоит уже двадцать лет. Решишь остаться здесь, можешь записаться в демократическую партию. Если бы Фидель Кастро жил в Соединенных Штатах, он был бы демократом.

— Ты живешь в другом мире. Для тебя Фидель — лишь тема для разговора, а для многих людей — это возможность изменить жизнь.

— Но для этого в наше время не нужны политики. Вычислительные машины заменят сенаторов и президентов.

— Теперь я понимаю кое-что. Я сам себя стерилизовал, полагая, что ничто не может измениться. Я отстаивал свою личную свободу и думал, что она превыше всего. А эта свобода не что иное, как одиночество и изолированность. Какая у меня здесь свобода? В чем она заключается? В том, чтобы жить, замкнувшись в своих собственных противоречиях, в том, чтобы иметь право говорить всякую чушь, которая никого не волнует. В том, чтобы видеть вокруг дерьмо и не иметь никакой возможности что-либо изменить.

— Почему ты все время говоришь о политике? Думаешь вернуться на Кубу? Если это так, то ты просто сумасшедший.

— А ты не поехала бы со мной? — Себастьян улыбнулся, чтобы скрыть волнение.

— I knew it, я так и знала. Ты хочешь вернуться на Кубу на зло мне. Ты ведь знаешь, что я останусь здесь. Себастьян, ты это серьезно решил?

— Все, что произошло со мной в полиции, было унизительным, и сейчас я не собираюсь возвращаться. Но я не хочу больше обманывать себя.— Себастьян положил руки на голову Нэнси.

— Зачем ты гладишь меня по голове?

— Не знаю, наверное потому, что не могу, как твой отец, дать тебе крышу над головой и только своей рукой могу защитить тебя.

— Если останешься, даю тебе слово, что ты не увидишь моих родителей до нашей женитьбы. Я обещаю тебе это.

■

Себастьяну не хотелось больше бриться электробритвой. Кожа потеряла чувствительность, и он вспоминал о ментоловом креме. Только что он закончил тридцать страниц романа. Наконец у него стало получаться. Себастьян включил бритву: от теплой машинки кожа потела...

«Я слишком старомоден»,— подумал он, выдувая из электробритвы волосяную пыль. Он начал уставать от всех этих удобств. Лучше рискнуть порезаться безопасной бритвой.

— Мне кажется, надо впустить сюда хоть комаров,— сказал Себастьян, остановившись посреди гостиной,— слишком уж все здесь спокойно и антисептично.

— Комары меня сводят с ума... Ночью я мучилась от бессонницы.— Нэнси провела ладонью по руке.— Ты, конечно, даже не заметил. Всю ночь ловила комара, не представляю, как он к нам пробрался.

Зазвонил телефон.

— Это тебя...

— Умер отец,— сказал Себастьян. Он повесил трубку и неподвижно уставился на аппарат.

— Умер твой отец? Когда?

— Час назад.

— Сколько ему было? — Нэнси с тревогой подумала, что эта смерть может помешать ее счастью.

— Я не помню... Умер от кровоизлияния,— рассеянно ответил Себастьян.

— Хочешь побыть один?

— Нет.

— Смерть это обычная вещь, но она всегда ужасна.

— Не знаю, что делать... Вернусь в Гавану.

— Не советую.

— Я должен вернуться.

— Тебе сейчас тяжело, потому что умер отец. Я была еще девочкой, и вот со мной было так же, когда умерла моя собака... Я понимаю, это не одно и то же, но все-таки... Ведь собака для ребенка...

— Собака?..

— Я тебе о ней рассказывала. Она сдохла, когда меня отослали в колледж... Подожди несколько дней. Придешь в себя...

— Нет, не могу. Надо сейчас же что-то делать. Сейчас, пока мне все ясно... Потом мне, может быть, опять все покажется глупым и бессмысленным. Я не могу больше быть одним человеком в двух лицах. Я должен стать или тем, или другим.

— Ты же не превратишься в дядюшку Сэма, если останешься здесь.

— Мой родной язык — испанский. Неужели ты не понимаешь — умер мой отец! Он тоже говорил по-испански, как всякий кубинец. Работал в банке, но разговаривал, как простой кубинец.

— Хорошо... Но ты же не можешь воскресить его... Я сейчас вернусь.— Нэнси открыла дверь и вышла, не ожидая ответа.

Себастьян остался один. Он почувствовал непривычную слабость. Перед глазами стоял туманный образ отца, истекающего кровью. «Кровоизлияние»,— сказали по телефону.

Если он вернется, его могут арестовать. Смерть отца рассеяла теплые воспоминания детства.

Нэнси ходила по гаражу из угла в угол, не зная, что предпринять. Она не хотела, чтобы Себастьян уезжал, но не могла придумать, как отговорить его... Смерть отца железной стеной стала между ними... Рванув металлическую сетчатую дверь, она быстро вошла в дом.

— I'm terribly sorry *, Себастьян, правда, мне очень жаль,— сказала она, входя в комнату.— I'm a bitch **; моя мать права, я ни на что не гожусь. Я никогда не видала твоего отца, но если бы умер мой, я не знаю, что бы сделала.

У Себастьяна потемнели глаза. Он отвернулся.

— Я понимаю, как тебе тяжело, но ты не должен уезжать. Он уже умер. Умер и... ты ничего не поправишь.

— Я не прошу тебя ехать со мной, Нэнси.

— Почему ты хочешь вернуться?

— Не знаю. Знаю только, что должен вернуться.— Усилием воли он

---

* Я очень сожалею *(англ.)*.

** Я стерва *(англ.)*.

подавил дрожь в голосе.— Этот дом твой, твоего отца. Я не хочу ничего из того, что принадлежит твоим родителям.

— Мой отец очень влиятельный человек, денег у него больше чем надо — он сможет помочь нам.

— Не говори мне об этом.

— Пожалуйста, не уезжай.— У Нэнси забилось сердце.— Умоляю, не уезжай, тебя могут убить.

— Я не хочу убегать ни от опасности, ни от ответственности. Я думал, что стою выше событий, происходящих в моей стране, а оказалось, что они сильнее меня.

— Ты ни за что не отвечаешь, ты сделал все, что мог. Тебя убьют там.

— Я должен что-то сделать, пусть даже это окажется глупостью. Я не могу оставаться в бездействии. Я думал, что мне будет хорошо, но это не так. Мой отец всегда был безразличен ко всему, он ни разу и пальцем не пошевельнул, чтобы изменить жизнь на Кубе... Мне все противно там, но я должен вернуться. Я хочу жить на Кубе.

— Ты просто вообразил себя героем и хочешь отправиться в Сьерра-Маэстру. Это для тебя важнее, чем я? Скажи мне правду!

— Я не собираюсь в горы. Я возвращаюсь в Гавану, и все.— Себастьян стал укладывать чемодан.

— Что это ты вдруг принял так близко к сердцу смерть отца? Ты же бесчувственный! Если бы у тебя была хоть капля человеческого чувства, ты подумал бы обо мне и не бросал бы меня одну. Твой отец мертвый, а я живая.

— Что же, по-твоему, я должен делать? Я не могу иначе поступить.

— Отец для тебя ничего не значит. Ты просто делаешь это мне на зло.

— Ты права, мне всё и все безразличны. Я уезжаю на Кубу просто потому, что мне так хочется.

— Ты ошибаешься, если думаешь, что я побегу за тобой. Женщина должна быть уверена, что она для мужчины важнее всего в жизни.

Себастьян хотел, чтобы она поехала с ним, но чувствовал болезненное удовлетворение от того, что не отвечал на ее нападки.

— Во мне нет испанской крови, я не умею хитрить. Я американка и люблю, чтобы все было ясно. Надо быть практичным. Не понимаю, зачем тебе все это. Тебя убьют. Что я буду делать, если тебя убьют?

Себастьяну хотелось крикнуть: «Эгоистка!» Но он вспомнил, что отец его умер. Умер.

— Продолжай. Говори все что хочется, если тебе от этого легче.

— Почему ты всегда так обращаешься с людьми? Если бы ты был другим, все было бы иначе.

Пара чулок, плавно извиваясь, упала к ногам Нэнси. Она схватила их и швырнула ему в лицо.

Себастьян невольно улыбнулся. Нэнси бросилась на него и начала царапать ему руки.

Он не шелохнулся, и она остановилась в бессилии.

— Почему ты молчишь? Ты мертв? Мертв и сам не знаешь этого. Почему ты не кричишь на меня? Ну, кричи же! Кричи!

— Если ты поедешь со мной, у нас будет ребенок,— сказал Себастьян, запихивая чулки в чемодан.

— Я хочу, чтобы ты остался здесь, я не хочу детей.

— Но раньше ты хотела.

— Я ничего не хочу от тебя. Не увертывайся! Скажи прямо — ты едешь или остаешься?

— И не думаю оставаться. А мы могли бы иметь ребенка.

— Дело не в этом.

— Нет в этом. Просто мы говорим о разных вещах.

— В последний раз спрашиваю: остаешься?

— Нет.

— Я не поеду с тобой. Ни за что на свете я не вернусь в Гавану... Если останешься, можешь и не жениться на мне, но если уедешь, между нами все кончено.— Нэнси посмотрела на него с надеждой.— Подумай, ведь я умру, если ты уедешь, умру...— Она разрыдалась.

— Good bye, Nancy *,— сказал Себастьян. Надо было порвать последнюю нить, которая еще связывала их. Покончить все разом.

— Наплевать, пусть тебя убьют! Я буду только рада! — кричала она, пытаясь сдержать слезы.— Ты никогда не любил меня! Ты хочешь своей погибели, я не пойду вместе с тобой на самоубийство!

Нэнси выбежала из комнаты, и он услышал стук двери. Себастьян пошел в ванную. Он мыл лицо и плакал.

■

Они повернули кресло, стоявшее перед Себастьяном, устроив импровизированный карточный столик, затем позвали стюардессу и попросили ее принести поднос. Один из трех был в синей рубашке с красными рыбами; они ехали на две недели в Гавану отдохнуть.

— We have a business together, the three of us, up in Jacksonville **, мы продаем подержанные авто.

Себастьян отвечал коротко. Ему не хотелось говорить. Стюардесса, приятно улыбаясь, принесла поднос.

«Почему она не теряет равновесие?» — подумал Себастьян, глядя вслед девушке, двигавшейся по проходу.

Начали раздавать карты.

Себастьян воспользовался этим и закрыл глаза. Играли в покер. Голоса игроков отдавались гулом в его ушах. Самолет не повернет назад. Себастьян притворился спящим. Его сосед справа несколько раз толкнул его локтем в бок.

Себастьян открыл глаза и увидел на подносе карты. Он посмотрел в иллюминатор. Почему говорят, что небо прекрасно? Оно уныло и всегда пустынно. Себастьян попытался думать об отце, но мысли невольно возвращались к Норме. Самое печальное, что было в его жизни до отъезда с Кубы,— это Норма. Пусть с ним опять что-нибудь случится — он готов на все. Себастьян вновь прижался к стеклу, ожидая увидеть аэродром среди пальмовых рощ. Его руки гладили нагретую солнцем обивку кресла.

Он хотел, чтобы самолет скорее приземлился.

---

* Прощай, Нэнси *(англ.)*.

** У нас троих бизнес в Джексонвилле *(англ.)*

Дивлюсь и радуюсь новизне

Б. ЯВУУХУЛАН

Огонь

Столетняя сосна, как девушка, стройна,
Стрелою к небу устремила ветви.
Стою под ней, на ствол литой смотрю,
Смущен, подавлен красотой нетленной.

Прекрасно утро, синий воздух чист,
Простор земной открыт ветрам и солнцу.
Огнем восхода вспыхнула сосна —
Огромная свеча во славу неба.

Все выше солнце, все синее день,
Вершины чистым золотом облиты.
Лес Вечных Сосен * тысячью лампад
Легко и окрыленно загорелся.

При виде этих солнечных огней
Пред взором мысленным проходят снова
Картины нашей славы партизанской —
Костры ночные возле Вечных Сосен.

Он был для счастья родины зажжен,
Огонь тех лет, огонь неугасимый.
Горячим искрам тех ночей тревожных
Гореть и рдеть в степях страны моей!

Табун коней артельных в степь пригнав,
Товарищ мой, простой монгол, табунщик,
Играючи, шутя, снег разгребет умело,
И чиркнет спичкой, и добудет пламя.

Потом, спокойно оглядев табун,
Положит коробок монгольских спичек
За пазуху. Огонь займется с треском,
Запахнет дымом ветерок степной.

В ночной степи пылающий огонь —
Ведь он зажжен из искры партизанской,
Ведь на просторе вспыхнувшая спичка —
Частичка леса, Леса Вечных Сосен!

* Лес, где в 1921 году, в период монгольской революции, было расположение партизан.

Д. ПУРЭВДОРЖ

На вокзальной площади

Пробирается в шумной толпе, безнадежно сигналя, машина.
Привокзальная площадь веселой полна суеты.
Пряча смущенно глаза, идет-торопится девушка,
Прижимает к груди цветы.

В этом букете красных цветов весенних
Верой, мечтой, любовью светятся лепестки...
Каждое в жизни мгновенье то разлукой, то встречей отмечено,
Катятся друг за другом дни веселья и дни тоски...

Медленно скорость сбавляя, подходит к платформе поезд.
Мечутся люди счастливые. Гулкий прибой голосов.
Кого же, кого встречать ты прибежала, девушка?
Кого одарить хотела охапкой красных цветов?

Пусто вокруг становится, гул голосов стихает.
Пурпур цветов душистых — пятнами на мостовой.
— Где же ты, где, любимый? Почему, почему не приехал?..
Горем убитая девушка тихо бредет домой.

Ради кого ты, девушка, рвалась-торопилась к поезду,
Радостно билось сердце, не чуяли ноги земли?
Почему к тебе подойти, спросить, утешить не смею,
Почему подобрать не решаюсь цветы, что лежат в пыли?

В этом букете красных цветов весенних
Верой, мечтой, любовью светятся лепестки...
Каждое в жизни мгновенье то разлукой, то встречей отмечено,
Катятся друг за другом дни веселья и дни тоски...

Перевод с монгольского М. ВАКСМАХЕРА

Ч. ЛХАМСУРЭН

Дети наши

Дети наши — вот они какие:
Души чуткие, весенние ростки,
Игры, песни, смех веселый у реки,
Эхо звонкое, в степи огонь костра,
Первых радостей и замыслов пора.

Дети наши — вот они какие:
Смена свежая науки и труда,
Путь держащая в грядущие года,
Мастера, творцы, хозяева земли
И разведчики в космической дали.

Дети наши — вот они какие:
Человечества счастливая весна,
Семьи крепкие, героев имена,
Труд, и дружба, и крылатые мечты —
Мира будущего зримые черты!

М. ЦЭДЭНДОРЖ

Сергею Есенину

Если б ожил ты, о мой брат Сергей,
Ты дороже мне был бы любых гостей,
Закипели бы чаши пеной хмельной,
Огласился бы песней наш край степной.

Я не видел тебя, не входил в твой дом,
На рязанских лугах не срывал цветов,
Но знаком я с каждым твоим стихом
И тебя, как родного, обнять готов.

Если б ожил ты, о мой брат Сергей,
Я на встречу созвал бы лучших друзей,
Я б кумысом душистым тебя угостил
И заздравную песнь тебе посвятил.

А услышал бы ты у костра в степи,
Как звучит морин-хур * в ночной тишине,
Вдохновенней «Персидских мотивов» ты
Написать захотел бы о нашей стране.

В целом мире чудесней нет скакунов,
Словно иноходь, четок размер стихов,
А какие стада, а простор какой,
Так и льются кумыс и тараг ** рекой!

И проехав по щедрой моей земле,
Ты бы звонкие создал о ней стихи,
Как из белого молока в котле
Получается огненная архи ***.

Но в могиле забылся ты вечным сном,
Не пробудишь тебя никаким колдовством,
И лишь песня твоя до сих пор слышна,
Как волна Орхона, свежа, ясна...

Да, того, что ушло, не вернуть, друзья,
Из архи молоко получить нельзя,
Но бессмертна песня: звучит вдали
И летит над степями моей земли.

---

* Монгольский струнный инструмент с грифом в виде лошадиной головы. По звучанию напоминает виолончель.
** Вид простокваши.
*** Молочная водка.

Ч. ЧИМИД

Я — молодой!

В моих волосах седину заметив,
Ехидно шутить не надо,
О том, что меняюсь и я с годами,
Мне говорить не надо.
Знаю: не просто пустяк, случайность
Эта прожилка
Пряди седой.

И все-таки
Я — молодой!

Не потому, что на жизнь ни разу
Я не обиделся до сих пор,
Не потому, что весной цветущей
Я не насытился до сих пор,—
А ритмом сердца, горячим взором,
Вперед стремящимся, как стрела,
Вечным желаньем доставить людям
Побольше радости и тепла,
Судьбою, что хочет луны достичь,
Мечтою, что солнцу бросает клич,
Я — молодой.

Морщинки вокруг моих глаз заметив,
С участием глядеть не надо,
О том, что старость не за горами,
Вздыхать и жалеть не надо.
Знаю: морщины — не украшенье,
То время врезается
Бороздой.

И все-таки
Я — молодой!

Не потому, что, прожив немало,
Я мало еще повидать успел,
Не потому, что в огромном мире
Не всюду еще побывать успел,—
А потому, что, куда ни гляну,
Дивлюсь и радуюсь новизне,
И каждое утро яркое солнце
Чудесной находкой кажется мне,
И потому, что своими считаю
Чужие радости и печали,
И в жизни такое могу подметить,
Чего другие не замечали,
Я — молодой.

Гладкий лоб без единой складки,
Упругая поступь, румянец щек,
Волосы черные и густые,
На подбородке — первый пушок,
Сердце, влюбленное в жизнь
и в солнце,
Беспечные, радужные мечты —
Вот каковы, по общему мнению,
Молодости черты.

Но разве работы жгучая жажда,
Упрямые поиски новизны,
Думы бессонные, тысячи мыслей,
Неукротимых, как всходы весны,
В сердце тревожное чувство полета
И нарастающей высоты —
Разве и это, разве и это
Не молодости черты?

Молодость —
Это не возраст в анкете:
Летящим годам не подвластна она.
Не спорьте:
Морщины ее не портят,
И не мешает ей седина.
Молодость —
Вечное нетерпенье,
Что ненасытным огнем горит,
Души предельное напряженье,
Что ненавидит, любит, творит.
Молодость —
Это твоя готовность
Тяжесть любую принять на плечи,
Это стремленье не плыть по теченью,
А волнам идти навстречу.
Разум, что смело берется за дело,
Воля, что спорит
С любой бедой,—
Вот что такое молодость.

А значит, и я —
Молодой!

Перевод с монгольского СЕРГЕЯ СЕВЕРЦЕВА

КАРОЙ САКОНИ

Рассказы

НОЧНАЯ СМЕНА

Перевод с венгерского Е. БОЧАРНИКОВОЙ

У площади Бошняк они сошли с трамвая и зашагали вдоль рынка. Спустились синеватые сумерки; на крышах ларьков лежал снег, покрывшийся коркой льда; словно упавшие звезды, рассыпали свой желтый свет уличные фонари. Было холодно. Женщина подняла меховой воротник пальто; на голове у нее был платок с завязанными сзади концами — как при езде на мотоцикле.

— Четверть десятого,— сказала она, взглянув на электрические часы, минутная стрелка как раз перескочила на одно деление.— Зайдем, выпьем кофе.

Муж молча кивнул. Они перешли улицу. В эспрессо было жарко, дымно, в воздухе носился аромат горячего душистого кофе. Прилипший к подметкам снег таял, образуя на полу грязные лужицы. Муж расстегнул подбитую мехом кожаную куртку и подошел к кассе за чеком. Став за его спиной, жена рассматривала отражение знакомого лица в зеркале над кассой. Она всегда считала мужа красивым, ей нравились его густые черные брови, тонкий нос с небольшой горбинкой, чуть выдающиеся скулы, узкие волевые губы. Но тогда она еще не знала, как может изменить это лицо выражение упрямства и злобы, каким чужим становится муж с этим прыгающим на щеке живчиком, с глубокой морщиной, бегущей от носа к подбородку.

— Два кофе! — сказал он девушке, стоящей у машины для варки кофе.

Девушка молча взяла чек, щелкнул рычаг, тонко засвистел пар. Облокотившись о стойку, муж вынул сигарету.

— Так ты не забудь утром!..— напомнил он жене и щелкнул зажигалкой. Огня не было, он подошел к одному из посетителей, попросил прикурить.

Жена молча, остановившимся взглядом смотрела перед собой. В памяти всплыла давнишняя полузабытая сцена: она еще совсем девочка, подросток, и ей очень хочется пойти на танцы. Суббота. День клонится к вечеру, а мать дает ей все новые и новые поручения. Она спешит, надеясь поскорей освободиться, но едва закончит одно дело, как надо приниматься за другое. Ей хочется попросить мать отпустить ее, но почему-то просьба застревает в горле. И вот наступает вечер, идти на танцы поздно, и ее охватывает чувство ужасающей пустоты...

— Утром отдашь! — Муж глубоко затянулся, потом выпустил через ноздри еле видимый дым.— А ты его не забыла? Покажи-ка!

— Нет. Не забыла,— равнодушно ответила жена.

— Покажи! — И он протянул руку.

Жена открыла сумочку, порылась в ней, вытащила листок бумаги.

— Вот!

Муж развернул бумагу, пробежал ее глазами.

— Я думаю, этого будет достаточно,— сказал он.— Они, безусловно, отпустят тебя. Нам давно надо было это сделать.

Жена молча смотрела на мужа. Он взял со стойки стаканчики с дымящимся кофе, развернул сахар.

— Тебе один или два? — спросил он и опустил сахар в стаканчик.— Увидишь, нам будет гораздо лучше. А денег ничуть не меньше! Я уж столько раз прикидывал. Семьсот форинтов мы даем маме на содержание ребенка. На трамваи у тебя форинтов пятьдесят в месяц уходит, на столовую, на то, на другое, считай, примерно двести. Да еще холодные ужины, колбаса, ветчина, они ведь тоже немало стоят... Твоя зарплата уходит целиком, а если ты останешься дома, то и расходов этих не будет. Мы и не заметим, что ты перестанешь приносить получку.

— Что ж, увидим...

Муж, собиравшийся уже отхлебнуть кофе, снова поставил стаканчик на стойку.

— Опять мудришь? Ведь теперь, когда мне прибавили зарплату, почему бы нам наконец не позволить себе эту роскошь — ты можешь сидеть дома. Подумай сама: тебе никуда не надо будет спешить, спокойно занимайся хозяйством — и постирать успеешь вовремя, и погладить...

— А когда ты придешь домой, все будет в идеальном порядке, надевай себе шлепанцы и садись у печки, закрывшись газетой.

Муж посмотрел на нее испытующе. Тень от полей шляпы скрывала выражение его глаз.

— Ты напрасно язвишь! Я прав!

Жена молча помешивала кофе, глядя, как по стенке стаканчика поднимаются коричневые пузырьки и лопаются на поверхности.

— Да и этими твоими ночными сменами я сыт по горло! — немного помолчав, продолжал муж.— Каждую третью неделю куковать в одиночку! Благодарю покорно... Я просто не понимаю, как тебе самой это не надоело?

Жена продолжала размешивать кофе; со дна по-прежнему взлетали пузырьки. Она никак не могла отвести взгляда от маленького темного омута в стаканчике.

— Почему мне должно было надоесть?

— Если б я не настаивал, ты и теперь не ушла бы с работы?

— Нет.

Муж поставил стаканчик на стойку.

— Скажи еще, что я тебя заставил! Только этого не хватало!..

Жена легонько встряхнула головой, и это вывело ее из оцепенения. Она положила наконец ложку на блюдечко и отхлебнула глоток кофе.

— Тебе и в голову не приходит, что речь идет не только о моей зарплате,— проговорила она.— Согласна, это нас не разорит. А думал ли ты о том, что я люблю свою работу?

Муж рассмеялся. Над левой бровью по лбу побежали морщинки. «Совсем чужой человек!» — испуганно подумала жена.

— Не понимаю, что тут интересного — вставлять шпульки, смотреть, как вертятся станки, словно это не машины, а карусель. По-моему, это просто скучно.

— Ты ничего не понимаешь! — тихо ответила жена.

— Послушай, дорогая! Когда я говорю, что люблю работу,— это ведь совсем другое. Во-первых, я — мужчина, во-вторых, сама работа... я же электротехник... то есть почти инженер... У меня призвание. А ты пошла работать из-за денег... вязальщицей! Ну, будь ты учительницей, или врачом, или еще кем-нибудь в этом роде!.. А так? Ты, пожалуйста, не сердись, но это смешно!..

— Половина десятого! — сказала жена.

Лицо ее словно окаменело, глаза, казалось, выцвели. Она поправила на шее шарф.

— Половина десятого...— повторил муж.— Ну вот, ты опять обиделась.

— Я не обиделась...— ответила она и, вскинув голову, улыбнулась мужу, безрадостно, одними губами.— Обо всем этом мы давно уже переговорили... Вот оно, заявление об уходе. Все будет, как ты хочешь... хотя я все-таки люблю свою работу.

И она снова вымученно улыбнулась. Муж молча вышел вслед за ней из эспрессо.

На улице их охватило холодом. Ночь стояла ясная, морозная, где-то в бесконечной высоте сверкали звезды. Витрины закрытых магазинов были ярко освещены. Муж взял жену под руку.

— Послушай! — упрямо и настойчиво вновь заговорил он.— Ведь женщина в конце концов...

— Оставим это! Хорошо?..

— Что ты за человек? Тебе добра желают... Недаром говорят, что самое неблагодарное занятие — делать людям добро,— попробовал он перейти на шутливый тон.

Жена молчала. Фабрика была уже недалеко, осталось только перейти через площадь и свернуть в темную улочку. Сквозь матовые окна фабрики на улицу ложились яркие пятна белого света, доносился монотонный шум машин. Они остановились у входа.

— А что, если б я сказала тебе: оставь работу, сиди дома на кухне! Ты согласился бы?

— Глупости! — засмеялся он.— При чем тут я? Спокон веков заведено, что мужчина для того и женится, чтоб жена заботилась о нем, занималась хозяйством, растила детей, словом...

«Словом, была прислугой!» — хотела она сказать, но смолчала. Мимо прошла высокая блондинка, обернулась, посмотрела на них и скрылась в подъезде.

— Уже поздно,— тихо сказала жена.

— Ну, прощай!

Он нагнулся и поцеловал ее в губы. Она не ответила на поцелуй.

— Не забудь, утром отдай! — крикнул он ей вслед.— Увидишь, так будет лучше!..

Жена коротко кивнула и исчезла за дверью.

Пробив карточку, она направилась в раздевалку. Там было по-летнему тепло и приятно, как, впрочем, и во всех цехах фабрики.

— Послушай, Ферович! Это ты с мужем прощалась у входа? — спросила высокая блондинка, переодевавшаяся у соседнего шкафчика.

Та утвердительно кивнула.

— Представительный мужчина! Высокий, брюнет...

Стрелка приближалась к десяти. Женщины торопливо надели синие халаты и, усевшись на длинную скамью у стены, зашнуровывали высокие ботинки.

— А теперь куда он пойдет, твой-то? — спросила Такач, маленькая, похожая на птицу женщина. Она очень гордилась тем, что муж, хоть

и изменяет ей, развода не требует. «Видать, я все-таки для него настоящая»,— постоянно твердила она.

— Домой пойдет спать.

Кругом засмеялись.

— Красивый мужчина! — сказала блондинка.— Раз провожает, значит, у вас с ним любовь.

Ирен Ферович поспешила уйти, но проходя мимо скамьи, все еще слышала их смех. Она проверила карманы: щипчики и отвертка на месте — и вошла в цех.

Пробило десять. Большие крутящиеся машины со свистом остановились. У ее шести машин суетилась Вера, костлявая молодая девушка, работавшая в вечернюю смену. Она проверяла показания счетчиков, записывала цифры в тетрадочку.

— Ну как работалось, Вера? — спросила Ирен Ферович у девушки, продевая ловкими пальцами под Вериной красной контрольной нитью свою, синюю.

— Девятая ломает иголки,— ответила Вера.— Доску видела?

Нет, Ирен не посмотрела на доску с показателями. Она взглянула на стену. Там под электрическими часами на черной доске белым мелком были выведены имена. Первым стояло «Ирен Ферович — 152%».

— О! — воскликнула она, чувствуя, как в груди поднимается горячая волна.— Ничего, Верочка, ты еще догонишь меня... да и перегонишь!

— Кто? Я? — засмеялась Вера, и непривычно тихий цех с остановившимися машинами вторил ей эхом.— Мне даже по количеству не догнать тебя, а о качестве уж и говорить нечего! Из последней получки двадцать пять форинтов вычли за брак. Узлы, спущенные петли... Ничего не поделаешь, люблю читать! А сейчас мне такой роман попался, все на свете забудешь!

В пять минут одиннадцатого между машинами показался старый мастер Куглер. Прихрамывая, обходил он работниц и каждую спрашивал:

— Готовы? Все готовы? Внимание, пускаю!

Ремень главной трансмиссии заскользил по валу, машины одна за другой пришли в движение. Каждой из них надо сначала дать небольшой толчок, сдвинуть с места, чтоб от внезапного рывка не сломались иглы. Шум усиливался и постепенно перешел в равномерный, монотонный гул, наполняющий все помещение.

Ирен Ферович осмотрела каждую машину, поправила ремни, потом остановилась у последней в ряду, облокотилась о стену. Цех был ярко освещен неоновыми трубками под длинными стеклянными абажурами. В воздухе стоял привычный запах и носилась неуловимо тонкая пыль, оседающая на станки, на синие халаты, на волосы. К этому надо привыкнуть, а привыкнешь, кажется даже приятным.

Шесть машин, и у каждой свой характер. Надо хорошо знать их. Она отлично знает свои машины. Маленькая в углу часто рвет нить. С ней надо обращаться очень бережно. Это была ее первая машина. Муж зарабатывал мало, и она пошла работать. В их доме жил Юршич, счетовод с трикотажной фабрики. Он-то и сказал, что на фабрику набирают работниц, помог ей устроиться. Сначала все здесь внушало ей страх: она чувствовала себя такой неловкой. На фабрике работали сдельно, работницы не любили отрываться, объяснять новенькой, как надо менять иглы, поднимать спустившиеся петли. Сменщицы сердились, когда надо было исправлять ее огрехи. При работе в три смены машины почти не останавливаются. Но прошло три месяца, и она научилась. Тогда ей дали вот ту, маленькую. Капризная штучка! Сколько раз плакала Ирен в бессильной злобе: вечные неполадки, бесконечная воз-

ня. Но зато она изучила все фокусы старой капризули. Зарабатывала сначала совсем мало, но к рождеству у нее — как и у остальных — было уже шесть машин. В январе она заработала тысячу триста форинтов.

— Ферович, восьмая стоит,— сказал, проходя мимо, Куглер, постоянный начальник вечерней смены.— Девятую я исправил. Пластинка согнулась, я переменил ее. Теперь ухожу, уже половина одиннадцатого. Всего хорошего!

«Вот и его я никогда больше не увижу!» — подумала Ирен.

Мастеру Куглеру было уже под семьдесят, но он не хотел уходить на пенсию. Он большой специалист: пришел на фабрику еще в ту пору, когда привезли первые машины из Германии. С тех пор минуло лет пятьдесят. «Многому он меня научил, а теперь мне это не нужно...» Ирен вздрогнула, подошла к восьмой машине, запустила ее. Девятая работала исправно, с легким шумом вращался цилиндр. «Когда гнется пластинка, иглы ломаются... Зачем мне это теперь? Мне ничего больше не надо знать о них...»

Это было так странно, что она никак не могла понять происходящего.

Все шесть машин крутились равномерно, без перебоев. Приятно смотреть, когда они работают вот так безотказно. Трикотажное полотно мягкими волнами спускается с крутящейся машины в прикрепленные к ней собиратели. «Утром отдам Мезеи заявление об уходе, и больше никакого мне дела до них не будет. Стану домашней хозяйкой, буду варить и жарить, гладить и стирать. И по вечерам, ложась рядом с мужем, не буду чувствовать себя усталой. А по субботам начнутся визиты к Рожике, где вечно собирается компания. Кому там интересно, что согнутая пластинка ломает иглы! Там нужно знать совсем другое: «А персики, душечка, можно сохранить и без сахара. Только для этого, дорогая, надо мешать их полтора часа не останавливаясь, и на всю зиму они останутся совершенно свежими, как будто их только что сорвали с дерева. Мой муж их очень любит!» Или еще: «Представь, я видела в парижском журнале чудный фасончик!.. Я не оставлю мужа в покое, пока у меня не будет такого платья». Согнувшаяся пластинка ломает иглы! Ха-ха!.. Да они решат, что я выпила слишком много ликера...»

— Ферович! Ферович! — послышался крик маленькой, похожей на птицу вязальщицы.

В шуме машин Ирен не сразу поняла, в чем дело. Такач уже подошла совсем близко и испуганно тараторила:

— Подумай только! Просто не понимаю, что могло случиться с этой проклятущей, с двадцать пятой... Господи Иисусе, я боюсь к ней притронуться!..

— А ну, покажи!

Оторвавшись от стены, Ферович пошла за маленькой работницей. По дороге взглянула на часы — оказалось, что уже начало первого. Она и не заметила, как прошло время.

Из двадцать пятой — большой вязальной машины — висел почти наполовину оборванный кусок полотна, торчали поломанные иглы.

— Что ты тут натворила? — воскликнула Ферович.

— Я и сама не знаю! Сначала одна игла сломалась, я заменила. Потом вижу: идет полоса... Еще две иглы сломались. Вот ведь чертова мельница!... Заменила и эти две. Запускаю машину, и вдруг — трах!.. Я думала, мне плохо станет.

— И хоть бы это случилось, когда Куглер еще был тут!

— О боже! Что ж мне теперь делать?

— Ничего не делать! — вмешалась толстая белокожая Анна, третья работница их участка в этой смене.— Оставь, как есть, утром исправят.

— И подумать только: лучшая из моих машин! Мезеи так взъестся — света божьего не взвидишь!

— Ничего! А ты перемени иглы, может, в них-то все и дело.

Ферович так и подмывало помочь ей, но мысли вертелись все вокруг того же: «А мне-то что? В кармане заявление об уходе...» Стоило ей посмотреть на двадцать пятую машину, как тотчас возникло горячее желание повозиться с ней, исправить, а потом смотреть, как она заработает снова, четко и ритмично. Но Ирен подавляла в себе это чувство. «Надо забыть все, что знала, выбросить из головы, не думать о том, что и я умела делать такое, чего другие не умеют».

— Если ничего не выйдет, завтра исправит мастер.

— Пропал весь заработок ночной смены! — жаловалась Такач.— Двадцатая еле тянет, двадцать вторая на техпроверке... А Мезеи-то как разозлится! Да ты хоть посмотри, Иренка! Что тебе стоит?

— А почему ты сама не посмотришь?

— Боюсь, еще хуже напорчу. Знаешь ведь, какая я нескладная.

Ферович заметила, что одна из ее машин остановилась, и пошла на свое место. Такач поплелась за ней.

— Что с тобой? Сердишься? Я ведь пошутила там, в раздевалке...

— О чем ты? Ах, вот что! Да я уж и забыла... И не сержусь вовсе... Просто кофе не выпила перед сменой, спать хочется,— покривила она душой.

— А уж я бы и за твоими и за моими машинами последила, ты только исправь двадцать пятую! Если она простоит до утра, до прихода Мезеи... Даже подумать страшно.

Ирен вздохнула.

— Подожди, вот запущу эти два одра!

— Не в настроении ты сегодня,— сообразила Такач.— Что-нибудь дома стряслось?

— Нет. Ничего.

— И не поёшь сегодня... Я ведь слышу.

— В этом шуме? — удивилась Ирен и даже слегка улыбнулась.

— Иногда шум чуть стихает, тогда и слышу. Я тоже пою. Стук машин помогает. Своего голоса не слышно, горлом чувствуешь песню... Так я послежу за твоими, а ты мне помоги. Поможешь ведь, правда? Ты же такая хорошая!

Ирен подошла к двадцать пятой, внимательно осмотрела ее. В одном месте скопился комок пуха, какая-то нить, очевидно, потянула его за собой, предохранитель сдвинулся с места и поломал штук триста игл. Немалый труд заменить их, выровнять, а не то все три смены подряд будут ломаться. Но Ирен не боялась трудной работы.

— Уговорила тебя? — спросила толстая Анна.

— Да.

— Раз нет мастера, можно и не чинить. Испортилась машина? Работать на ней нельзя? Значит, должны засчитать время простоя.

— Зачем же без нужды ей простаивать?

— А я так считаю, что и работать без нужды ни к чему. Ненавижу менять иглы! Адское терпение надо иметь.

— Это правда.

— Уж лучше я сяду да помечтаю.

— О чем?

— Чего только ночью не приходит в голову!

Ферович отвинтила крышку и начала вынимать сломанные иглы.

— О чем же ты все-таки мечтаешь?

— Я и сама не знаю. Вот так сижу, да и придумываю всякое. Был у меня когда-то жених, так он говорил мне: ты, Анна, философ.

— Шутил, должно быть.

— Нет, серьезно. Потому и не женился. Ты, мол, и работать не станешь, сядешь на табуретку посреди кухни и просидишь до вечера. Так и сказал.

— А больше никто не сватался?

— Слишком я разборчивой была. В молодости все мы вот так выбираем, а потом оказывается, что никому ты больше и не нужна.

— Да оно и лучше одной.

— Лучше? Гм... Бес его знает!

— Не надо применяться к другому. Ни от кого ты не зависишь, делаешь, что тебе вздумается.

— Как сказать. Я всегда думаю, что замужним лучше... Холостякам, может быть, и легче... я так думаю. Ну, а женщине! Наговаривают на нас, пристают... Понимаешь?

Ферович вскинула голову.

— Какие глупости!

Анна пожала плечами. У нее было круглое, как у монашенки, пухлое лицо, молочно-белая кожа, на толстых щеках — сетка лиловатых прожилок.

— И потом — всегда одна. Одна в четырех стенах. Что тут хорошего?

— Зато ты свободна!

— Это так, свободна... А потом придет воскресенье, у родственников свои дела, в кино уже среди недели все пересмотришь. Завалишься спать в восемь часов, а спать не хочется. Вот и начинаешь думать о пережитом, исправлять в уме, что не так сделано, латки на прошлое ставить... Потом откроешь глаза, и все то же, только часы тикают...

— Нитка кончается! — прервала ее Ирен.— Вон там, у тебя за спиной.

Ферович быстро и ловко ставила иглы — левой рукой придерживала снизу, правой, вооруженной плоскогубцами, укрепляла их на одном уровне. «Если бы не я, простояла бы ты до утра». Представила себе, как то же самое случится через неделю, когда ее здесь не будет. Утром придет мастер, раскричится на весь цех: «Ну, конечно! Ферович нет — и во всей смене никто не может наладить машину!..» И вдруг ей страстно захотелось, чтобы муж был тут и увидел, как она работает. Увидел бы, что она умеет делать такое, что и ему не по силам. Конечно, она тоже ничего не смыслит в мужней работе. Но ведь могут же они быть равноправными?

С иглами возня большая. Стрелка часов шагнула уже на второй час ночи. Но зато Ирен ни капельки не хотелось спать, глаза ее не слипались, как это часто бывает ночью. От часу до трех — самое тяжелое время, очень спать хочется. Но сегодня все шло иначе. Движения ее были точны. Покончив с иглами, она взялась за петли — даже закусила губу, как всегда, когда дело требовало усиленного внимания. Трикотаж тянется, его надо очень внимательно распределить по иглам, чтобы в конце он не собрался складками, не морщился. Но вот, наконец, и с этим было покончено. Осторожно, вручную начала она крутить машину, связывая порванные нитки. Конечно, несколько игл снова сломалось, так всегда бывает, когда исправляешь большую аварию. Она опять заменила сломанные иглы и опять рукой покрутила машину. Потом вновь выправляла, заменяла иглы внимательно и терпеливо.

Было уже почти пять часов. Ночь прошла быстро. Когда занята, времени не замечаешь. В конце концов двадцать пятая заработала равномерно — то с наплывающим, то с вновь затихающим гулом. Уродливый шрам на полотне спускался все ниже.

Вернувшись к своим машинам, Ирен увидела, что Такач дремлет, сидя на ящике.

— Так-то ты следишь за моими машинами?

— О боже! Я ведь только на минутку присела!

— Ступай к двадцать пятой, все в исправности! Скоро шесть часов!

Такач бросилась к своему месту.

— Молодчина ты! — донесся ее голос.— Спасибо, подружка!

Ирен устало улыбнулась ей. Работая, она забыла обо всем, но сейчас снова вспомнилось лежащее в кармане заявление... В шесть часов придет Мезеи. И заявление надо будет отдать ему.

В пять часов утра всегда кажется, что вечер отодвинулся куда-то далеко-далеко. Вечер бывает наполнен людьми и звуками, тяжелыми, густыми красками. А к утру все как бы расплывается. Трудности уходят. Заря встает свежая, в легкой дымке, и уже не хочется верить тому, что произошло вчера. И знаешь, что это было, а верить все равно не хочется.

Ирен подошла к окну, распахнула форточку. На улице еще было темно, но звезды уже исчезли. Оконное стекло заиндевело. Холодный воздух освежил Ирен. Отсюда, от окна, видна была двадцать пятая машина. Она шла хорошо, ровно, без огрехов. И это было делом ее рук. Как приятно! Да и что может быть приятнее сознания, что исправленное тобой действует отлично. От этого сознания разглаживаются морщинки, а внутри подымаются горячие волны. И чувствуешь тогда, что имеешь право на жизнь...

К половине шестого работницы принялись обрезать концы. Ящики, куда спускается полотно, были полны доверху. Работницы помогали друг другу свертывать трикотаж, переносить куски. Складывали все в одну кучу, поближе к выходу. Это тоже хорошо — работать вот так, всем вместе. Дома такого не бывает.

Без четверти шесть Ирен вдруг заволновалась. Вот-вот явится Мезеи, и придется вручить ему заявление... «Не забудь отдать утром!» — словно наяву услышала она голос мужа. Ирен на минуту отошла в сторону: у нее закружилась голова. «Если не наткнусь на Мезеи, то и заявления ему не отдам,— решила она.— Не видела, и дело с концом!»

Постепенно машины одна за другой остановились. Ирен торопливо вдела в иголку синюю нитку и стала проставлять на концах свою отметку. Она работала, не поднимая глаз, чтоб не увидеть Мезеи.

— Все в порядке? — подошла к ней сменщица Пинтер, как всегда с набитой сумкой.

— Да, все в порядке.

Списав со счетчиков цифры, Ирен бросилась в раздевалку. Там стоял страшный шум и толкотня. Торопливо входили запоздавшие, неся с собой запах мороза и свежести, с серебристым инеем в волосах.

Ирен поспешно оделась и даже не стала причесываться — лишь кое-как заправила волосы под платок.

— Куда торопишься? — спросила ее высокая блондинка.— Или муж с вечера так и ждет на улице?

Ирен улыбнулась и что-то ответила ей на бегу. Мимо конторки мастера она проскользнула с замирающим сердцем. Но не успела дойти до конца коридора, как дверь конторки со скрипом отворилась и Ирен услышала резкий голос Мезеи. Она не обернулась. «Может, это был не он! — сказала она себе.— Я же его не видела!»

На улице ее охватило утренним холодом. Дребезжа на поворотах, бежали первые трамваи. Она не села в трамвай, пошла пешком. Она любила вот так пройтись после ночной смены. Рано утром снег синевато-белый и блестящий, как в сказке. Внезапно охватывает усталость, немеют руки и ноги. Стук шагов и кашель возвращающихся с работы людей далеко разносится в морозном воздухе.

В окнах домов зажигается электричество, люди просыпаются, встают, иные уже выходят на улицу. А навстречу им всем идет человек, и он полон удивительной детской гордости: «Я — из ночной смены!» Ребячество? Пожалуй... Но оно очень нужно, такое ребячество, оно просто необходимо. Людям часто очень нужна вот такая детская гордость. Она — чистая. Чистая и свежая, как раннее утро.

В ЧУЖОМ ДОМЕ

Перевод с венгерского Г. АФАНАСЬЕВА

Такие дома показывают в английских кинофильмах — массивные, крепкие, с коринфскими колоннами по обе стороны от подъезда, с номером на фронтоне: по вечерам нарисованная на стекле восьмерка, освещенная уличным фонарем, горит, словно кошачий глаз. Маленький грузовик ловко подкатил к дому и остановился так, что задний борт пришелся как раз у двери подъезда. Из кабины тотчас выпрыгнул шофер, спросил:

— Помочь?

Но не успел я и рта раскрыть, как ребята уже отказались от его услуг.

— Согласись, так потом сотню заломит на вино, — сквозь зубы процедил Нанди.

Мы спрыгнули на тротуар. Регина выбралась из кабины и пошла в дом предупредить хозяев, что мы уже приехали.

Было раннее утро, понедельник. На этой узенькой улочке осеннее солнце попадало лишь в окна самого верхнего этажа. Погода стояла уже довольно холодная. Мы открыли задний борт. Марер и Нанди, стоявшие в кузове, начали толкать к борту тяжелый резной шкаф и продавленный диван. Я помогал им с земли. Затем на тротуар спрыгнул Марер. Сперва мы спустили шкаф и занесли его в темное парадное, по которому гулял сквозняк, потом перетащили диван. Других громоздких вещей у нас не было. Осталось снять несколько корзин, набитых до отказа картонных коробок, ломберный столик на тонких ножках, чемодан и постель, увязанную в серый плед.

Марер и Нанди старались вовсю, будто это они переезжали или работали сдельно — чтобы перевозка обошлась подешевле.

— Иди расплатись с ним,— сказал мне Нанди, когда все вещи были уже на земле.

Шофер, положив на баранку алюминиевую пластинку, долго возился с копиркой, потом стал заполнять путевой лист. Он был явно недоволен, что не удалось подработать. Я дал ему тридцать форинтов на вино.

— Мало,— процедил он.

Спорить с ним я не стал, но мне было досадно. Шофер взял деньги и, мрачно буркнув «спасибо», уехал. Я от чистого сердца дал ему тридцатку, да и что мне было за дело до него, но настроение он мне чуть-чуть подпортил.

— С ними нужно держать ухо востро,— заметил Нанди,— а то оберут человека за милую душу. — Затем, ткнув большим пальцем в сторону дома, спросил: — Ну, что скажешь, хорош дворец, а? В центре, и место что надо.

— Небось немало побегали, пока нашли? — спросил я и окинул взглядом высокое серое здание.

— Немножко побегали,— ответил Нанди. Это был невысокий кре-

пыш, мой одногодок, с короткими светлыми волосами. Бессменный центр нападения нашей заводской футбольной команды. Всегда живой и подвижный, он и в цеху работал так, будто гонял мяч по полю.

Вернулась Регина: в темном подъезде показался ее новый бирюзово-синий плащ, по-модному перехваченный ниже талии поясом. Волосы еще сохранили строгость свадебной прически, лишь кое-где выбились непослушные локоны, но такой она мне нравилась еще больше. На шее у нее вился легкий розовый шарф, из-под плаща видна была короткая юбка: словом, Регина была чудо как хороша.

— Ну, понесли барахло, — сказала она.

Я обнял ее за плечи и поцеловал прямо на глазах у друзей. Нанди и Марер засмеялись. Марер тоже смеялся — отрывисто, как обычно, и вокруг глаз у него по-прежнему лежала паутинка добродушных морщин. Я обрадовался, что он тоже смеется и смотрит на Регину ласково. Раньше он иначе смотрел. Когда я впервые познакомил их с Региной — было это после смены, в эспрессо «Кишкоцка»,— Марер смерил ее с ног до головы изучающим взглядом и едва выдавил из себя несколько слов. Другое дело Нанди, тот сразу же разговорился с Региной, чуть ли не ухаживать начал за ней, но ревновать, конечно, мне и в голову не приходило — ведь у нас была настоящая, крепкая дружба. Я был рад, что Нанди нравится девушка, которую я люблю, молчание же Марера сердило меня. На другой день в цехе я спросил, что с ним стряслось, спросил раз, другой, наконец в третий раз прокричал свой вопрос ему в самое ухо — впрочем, у нас только так и можно разговаривать, иначе из-за строгальных, шлифовальных и других станков ничего не услышишь. Марер ответил мне неохотно: «Знаешь, Шаньо, не по тебе эта девица». Я был поражен, но сказать ему — не твое, мол, дело или что-нибудь в этом роде — не мог. Ведь он был для меня все равно что отец. Он и Нанди научили меня работать на различных станках, подружились со мной. Вот уже три года, как мы жили словно одна семья. Работали бригадой, когда в цехе, когда на строительстве павильонов на выставке в городском саду или на старом ипподроме. Я ничего не сказал тогда Мареру, но крепко обиделся. «И что ему не понравилось в Регине? Красивая, славная, и к тому же мы так любим друг друга!» Наверно, Нанди сказал ему об этом, так как спустя некоторое время, разумеется не в тот же день, Марер подошел и шутя натянул мне на глаза берет.

— Ну, Шаньо,— сказал он,— любовь — это дело самих влюбленных, так что ты меня не слушай.

Но и после этого разговора я еще долго не мог забыть его слов о том, что Регина не по мне. И почему он решил так? Марер старался, чтобы я забыл этот неприятный разговор, при встречах был любезен с Региной, разве что мало говорил. А я, как ни рассматривал Регину, все больше убеждался, что мы просто созданы друг для друга: во всем ладим, часами можем целоваться или просто, прижавшись друг к другу, сидеть где-нибудь на скамейке в укромном месте и думать об одном и том же. Позже, когда дело приняло серьезный оборот и мы обручились, Нанди и Марер подарили Регине модный зонтик с длинной ручкой. Марер торжественно вручил его Регине в эспрессо и тут же заказал всем мороженое со взбитыми сливками.

Сейчас я снова внимательно наблюдал за ним, стараясь понять, нравится ли ему Регина. Похоже было на то, что он смотрит на нас обоих с симпатией.

— Хорошие вы ребята,— вымолвил я и чуть было не прослезился.— Регина, правда, ведь они молодцы? И эту квартирку нашли нам да еще переехать помогли...

В смущении Нанди поддал ногой комок бумаги. Марер проворчал что то, потом сказал:

— Хорошо, хорошо, возьми-ка лучше вещички да понесем их наверх, а то уже и полдень не за горами.

Марер был старше меня и Нанди, у него было двое детей, но разница в годах не мешала нашей дружбе. Худой, с седеющими волосами, он постоянно носил клетчатую фуражку и не выпускал изо рта мундштук вишневого дерева, в который обычно вставлял по полсигареты.

— В самом деле, ребята,— начал я,— вы тут вдвоем надрываетесь, а мы... Бросайте все, остальное мы сами с Региной сделаем. Вы и так устали до смерти.

— Вы с Региной?! — рассмеялся Нанди.— Ну и шутник! Ну как, сначала шкаф потащим, что ли? Командуй, теперь ты хозяин.

Регина осталась внизу сторожить вещи, а мы взялись за шкаф.

— Эй, старина, а ведь для чего-то существуют и ремни! — воскликнул Марер, вытаскивая из широкого кармана пальто скрученный трубочкой ремень для переноски мебели.

Мне нести шкаф они так и не дали, до самого четвертого этажа я только поддерживал его. Это был старый-престарый резной шкаф с зеркалом. Когда мы поднялись на первую площадку, Нанди вздохнул и крикнул Регине:

— Жаль, что ваш папаша не высек эту махину из мрамора!

Нанди любил пошутить. Он сказал это просто так, ради шутки. Мебель нам дали родители Регины, и ребята знали это. Я видел, что Регина поджала губки. Но Нанди уже снова тащил шкаф и ничего не заметил.

— Разбогатеем, другой купим,— ответил я ему.

— Нам-то все равно,— кряхтя бросил Нанди, когда шкаф втащили на четвертый этаж.

Все мы порядком взмокли от пота. Хозяйка квартиры, пожилая женщина, накинув на плечи платок, вышла в прихожую и стояла перед распахнутой настежь двустворчатой дверью.

— Стену! — волновалась она. — Ах, пожалуйста, осторожнее! Только летом ремонт сделали...

Она важно, словно городская голубка, расхаживала взад и вперед, напоминая ее своим серовато-голубым платьем, пышной грудью и маленькими поминутно моргающими глазками.

Путь в нашу комнату — бывшую комнату для прислуги — шел через кухню. Я еще не был здесь ни разу и знал о ней только по рассказам друзей, которые во время свадебного ужина объявили, что нашли нам маленькую комнатку и это будет их свадебным подарком. Комната была несколько тесновата, но показалась мне вполне симпатичной: пол покрашен темно-коричневой краской, единственное окно выходит во двор. Поставив шкаф на место, Нанди встал посреди комнаты, вытер пот, отдышался и со счастливой улыбкой человека, довольного своим подарком, спросил:

— Нравится, старик?

В эту минуту, как и в течение всего того дня, даже во время свадьбы, я думал о своей тайне — тайне, о которой изо всех сил старался не думать. Когда же мысль о ней настигала меня, я снова твердил себе: «Но ведь еще ничего не случилось, как-нибудь все улажу». А ведь и тогда уже прекрасно понимал, что ничего не улажу, потому и гнал эту мысль прочь из головы. Вот как сейчас вижу: стоит передо мной Нанди, уставший, потный, веселый,— и какой же чепухой кажутся мне все мои тревоги!

— Вы самые лучшие друзья на свете,— сказал я.— Никогда мне не отблагодарить вас как следует...

Нанди сразу стал серьезным.

— Поной, поной мне! Вот как двину по заду... Конечно, это вам не двухкомнатная квартира с холлом,— развел он руками.

— Двухкомнатная с холлом? — повторил я. — А есть и такие?

Мы рассмеялись. Нанди обнял меня за плечи, и мы пошли вниз за оставшимися вещами. А я опять подумал о том, как хорошо мы дружили и как многим я обязан Нанди и Мареру: ведь это они дали мне в руки ремесло. А потом — как-никак три года вместе!.. Это Марер повел меня впервые к хорошему портному, это у них я праздновал свое первое в городе рождество... по воскресеньям мы с Марером болели за Нанди на футбольном поле, потом вместе пили пиво... А теперь вот эта комната! Мы с грохотом мчались вниз по лестнице, и мне так хотелось рассказать обо всем этом друзьям! Но тут мне снова вспомнилось то, что уже не один день лежало на душе камнем, то, что два дня назад стало уже неизбежным,— и сердце у меня сжалось. Я сразу помрачнел.

— Ну, что с тобой, старик? — спросил Нанди, вдруг остановившись и глядя на меня снизу.

Вот тогда бы мне и рассказать все, по крайней мере ему. Да и Мареру тоже. С каждой минутой, с каждым часом совесть все больше и больше мучила меня. Но, увидев улыбающуюся физиономию Нанди, я ничего не сказал. Таким он обычно выходил из раздевалки после очередного футбольного матча. Мы с Марером, как обычно, ожидали его у калитки возле плаката, намалеванного от руки. «Ну и показал же ты сегодня класс, Нанди!»— говорили мы. Мы всегда так встречали Нанди, независимо от того, хорошо он играл или неважно. И это был не обман, не лицемерие, просто мы действительно считали его превосходным игроком. А Нанди только рукой махнет да скажет: «Не мелите чепуху!» А через несколько минут, уже в заводском клубе, спросит: «А что, и вправду хорошо было, нет?»

— Ничего,— ответил я, глядя на расплывшееся в улыбке лицо Нанди,— ничего не случилось, просто мне показалось, что кто-то позвал меня сверху. — И я внезапно замолчал. Испугался и замолчал. «И зачем я сейчас вру? Зачем? Вместо того чтобы все откровенно рассказать, еще и вру!» Я не смел взглянуть Нанди в глаза и, обогнав его, помчался вниз; помню, я громко болтал всякую ерунду, что сначала, мол, не стулья нужно нести, а разную мелочь; что, когда у нас не будет топлива, мы сожжем ножки от ломберного столика... Говорил я очень громко и быстро, размахивая руками. Но ни один из друзей не заметил моей растерянности — я-то ведь следил за выражением их лиц. Мне и хотелось, чтобы кто-нибудь из них спросил, что со мной, и добился бы от меня ответа, но в то же время я очень боялся этого. Я все время как бы видел себя со стороны.

Наконец все вещи были перенесены. Нанди подошел к хозяйке.

— Ну, тетушка, вот мы вам и привели выпавших из гнезда воробышков,— проговорил он, закуривая, и, неудачно затянувшись, закашлялся. — Вы, наверно, именно такими их представляли? Хлопот вам с ними не будет. Ну что ж, все в порядке?

Хозяйка улыбнулась, посмотрела на меня, потом на Регину; ее взгляд на миг задержался на коротком плаще Регины, не прикрывавшем колен. Поправив на плечах платок, она кивнула:

— Все в порядке. Комната оплачена на три месяца вперед.

— То есть как? — удивился я.— Я вам ни филлера не давал.

— Вот он заплатил,— ответила старуха, показывая на Нанди.

— Не я. Бригада. Это входит в наш свадебный подарок,— пояснил Нанди, смахивая пепел с сигареты в спичечную коробку.

— Ну что ж, пошли! Или будем стоять здесь всю смену? — спросил Марер у Нанди.

— Пойдемте,— заторопился я,— выпьем где-нибудь по бокалу фрёча *. Пошли, Регина.

---

* Вино, разбавленное содовой водой.

— Ты иди,— ответила она.— Идите выпейте, а я приведу здесь все в порядок. — Лицо ее сразу стало каким-то деревянным.

Такое выражение в обществе моих друзей бывало у Регины и раньше, и я очень сердился на нее за это.

— Потом наведешь порядок,— сказал я и взял ее за руку. Я видел, как Марер повернулся, вышел на лестницу и прислонился к перилам.

— Нет, я не пойду,— сказала Регина.

В такие моменты она просто раздражала меня. Но в то же время я был в отчаянии от того, что она сердится; глаза у нее стали большими, лицо словно осунулось, нижняя губка выпятилась: упрямство даже красило ее.

— Мальчики, правда же, вы не обидитесь, если я останусь дома?

— Ну, что вы! — успокоил ее Нанди.

Однако я видел, что он отнюдь не возражал бы, если бы и Регина пошла с нами. Он всегда старался сдружиться с ней, но Регина держалась с ним высокомерно. Как-то я упрекнул ее за это, а она высмеяла меня: «О, с Нанди только так и нужно обращаться!..»

Я не стал возражать, хотя прекрасно понимал, что Нанди терпит ее высокомерие только ради меня; вообще же он был очень чувствителен к подобным вещам.

Сейчас он слегка склонился перед Региной.

— Целую ручки! — сказал он. И, рассмеявшись, добавил: — Целую ваши лапки!

Такой уж он был — без шутки ни шагу. Марер, дожидавшийся нас на лестнице, оттолкнулся от перил, степенно попрощался с Региной и надел шапку. Я поцеловал Регину.

— Скоро вернусь, маленькая!

Регина кивнула мне в ответ. Мы медленно стали спускаться. На третьем этаже Марер остановился.

— Тебе тоже лучше бы остаться.

— Больше ничего не придумал? — перебил я.— И у меня в горле совсем пересохло.

Чувствовал я себя, по правде говоря, прескверно. Пока мы спускались по лестнице, пока вышли на улицу, я твердо решил признаться во всем. И самое позднее — в корчме. Да, самое позднее. Если я и сегодня не сделаю этого, то завтра-послезавтра между нами, может статься, все будет кончено. Если я не расскажу им всего сам, то это будет похуже, чем совратить жену Марера или, скажем, украсть из кармана у Нанди бумажник. Я понимал, что пора начинать, и потому не мог сказать ни слова; друзья разговаривали о чем-то, а я только кивал головой да откашливался, не слушая и ни слова не понимая из их разговора.

Поблизости нашли какую-то корчмушку. Я подошел к кассе и заплатил за три бокала фрёча. В ценнике значилось «мори эзейро» *, но фрёч показался мне кислым, будто рассол квашеной капусты. Помещение было неприютным, старым; прислонившись к изразцовой стене, со стаканом в руке стоял какой-то человек на костылях. У стойки несколько маляров в спецовках пили пиво. Мы подошли к круглому столику. Чокнулись.

— Ну что же,— проговорил Марер,— еще раз желаю счастья!

Мы уже хотели выпить, как вдруг Марер отнял бокал ото рта.

— Ты знаешь, Шаньо, я не люблю читать мораль,— начал он,— но кое-что в жизни я повидал. С Региной все будет по-другому, не так, как раньше.

У меня даже дыхание перехватило: показалось, будто Марер угадал

---

* Сорт виноградного вина.

все, да оно было бы и не удивительно — за три года мы хорошо изучили друг друга. Я быстро поднял стакан повыше и, заслонившись им, сказал:

— Я знаю, о чем ты. Но друзьями мы останемся навсегда.

— За дружбу! — поднял Нанди бокал. Он отхлебнул из него, но тут же сморщился.— А я уже привык к «вита-кола».

Марер отпил немного и ладонью обтер запотевший стакан.

— Друзья,— проговорил он. — Ну конечно.— Он снова отпил, достал из кармана смятую пачку «кошута» и угостил нас сигаретами. Свою он разломил надвое и вставил половину в мундштук. Я зажег спичку и поднес ее Мареру, но он прикурил не сразу.

— Видишь ли, Шаньо, самое главное сейчас, это чтобы вы с Региной поняли друг друга.

Я забыл о спичке и обжег себе кончики пальцев; охнув, опустил их в винную лужицу. Вино зашипело, а пальцы почернели. Марер подождал, пока я зажгу новую спичку, прикурил, затянулся, затем посмотрел по сторонам.

— А не съесть ли нам по соленому рожку? Это дрянное вино так и жжет желудок.

Я подошел к стойке и попросил пять рожков. Стоя спиной к друзьям, вдруг подумал, что они разговаривают сейчас обо мне. Тогда я неожиданно повернулся к ним, но мне тут же стало стыдно: Марер безучастно глядел на улицу, а Нанди не сводил глаз с человека на костылях.

«Если я сейчас же не расскажу им, потом будет поздно»,— подумал я. Поставив корзиночку с рожками на стол, я подождал, пока Марер возьмет рожок. Он откусил и стал жевать.

«Сейчас,— думал я,— сию же минуту скажу». Сердце в груди бешено колотилось.

— Марер! — заговорил я, но тот даже не взглянул на меня. Тогда я понял, что беззвучно шевелил губами, не произнося ни звука.— Марер!— начал было я снова, но Нанди, обмакнув свой рожок в вино, засмеялся и повернулся ко мне:

— Теща твоя нас не честила, когда гости разошлись?

— Теща? А почему она должна вас честить?

— Уж больно громко мы горланили на свадьбе.

— О, — начал я.— Нет, теща ничего не говорила.

Я не понимал, почему он вдруг заговорил о моей теще, и даже не мог вслушаться как следует в его слова. В уме у меня сидела одна мысль: «Если я сейчас не скажу, они заведут какой-нибудь разговор, потом мы отправимся по домам, а тогда у меня и вовсе не хватит духу признаться. Но ведь не пройдет и недели, как все выяснится, и что тогда скажут друзья? Скажут: свинство. Да так оно и есть!»

— А ты заливался, что твой солист! — бросил Марер Нанди и рассмеялся.— Все пытался спеть «Аванти, пополо!..»

Нанди ухмыльнулся, постучал кулаком по лбу.

— Такое уж настроение у меня было. Старики что-нибудь обо мне говорили, когда мы ушли?

— Ничего,— ответил я.— Ничего,— повторил я еще раз, даже не понимая, о чем он, собственно, спрашивает. «Почему же я-то молчу?»— задавал я себе один и тот же вопрос.

— А Марер? — спросил Нанди.

— Что?

— Марер, спрашиваю, прилично себя вел?

— Конечно.

— «Аванти, пополо!..» — хихикнул Нанди. Ему очень нравилось, когда он делал что-нибудь такое, в чем не очень-то отдавал себе отчет. — И так всю ночь?

— Со всякими другими маршами вперемежку,— засмеялся Марер.

— С какими маршами?

— С разными. Даже марш артиллеристов пел.

— И марш артиллеристов?! — громко рассмеялся Нанди, хватаясь за живот.

Марер тоже засмеялся. Мне казалось, что я смотрю на них через толстую стеклянную стену — вижу, как они двигаются, разговаривают, смеются, но звуки их голосов почти не доходили до меня. Словно я уже и не был с ними. «Вот два хороших друга,— думал я,— и нет у них никаких тайн. Такими они были и тогда, когда я познакомился с ними впервые; потом они и меня приняли к себе. Но что же мне было делать? Что оставалось мне делать, когда после свадьбы тесть впервые рассказал мне о своих планах относительно меня?»

— Шаньо,— ткнул мне в грудь большим пальцем Нанди,— куда ты уставился? Это правда, что я марш...— ха-ха-ха — и марш артиллеристов пел?

— Пел,— ответил я.

На миг мне вспомнился свадебный ужин: большая семья Регины — семья бывшего частника; их столовая, похожая на музей, обставленная громоздкой мебелью вишневого цвета; отец Регины — представительный мужчина с седеющей головой, ее мать, жеманно расставляющая приборы, и среди всего этого — Нанди, то и дело запевающий революционные песни.

— А теща-то, видать, не очень тебя любит,— проговорил Нанди.

— Не очень. Но Регина не обращает на это внимания.

— А тесть? — спросил Нанди.

«Сейчас,— подумал я,— сейчас скажу». В горле у меня пересохло. Я пожал плечами.

— Тот, пожалуй, любит,— сказал Марер. Он поднял стакан, обхватил его обеими руками, словно стараясь согреть вино. — Правда, что он берет тебя в свою артель?

Я посмотрел на Марера, потом на Нанди. Тот еще ничего не понимал, он даже не смотрел на меня. Но, поймав взгляд Марера, я испугался.

— У тестя есть один план...— робко сказал я.

Но Марер перебил меня:

— Словом, это правда.

Я молчал.

— А я-то думал, что старик после ужина заговариваться стал, — промолвил Марер. — Думал, если это правда, так ты бы сам сказал.

— Видите ли...— начал я и умолк. Почувствовал, что говорить бесполезно.

В голову не приходило ни одного довода. Я крутил свой стакан в винной лужице, время от времени приподнимал его и переставлял на другое место; на столе оставались маленькие мокрые кольца. Потом заметил вдруг, что друзья ждут от меня хоть каких-то объяснений.

— Видите,— продолжал я, стараясь собраться с мыслями.— Однажды, когда мы с Региной уже все окончательно решили, сидели мы со стариком на кухне и он сказал: «Раз так все у вас повернулось, есть у меня один план...» Чтобы я, значит, бросил завод и перешел на работу к ним в артель. У них, мол, тоже есть лесопилка. Оплата — девять форинтов пятьдесят филлеров в час, плюс премии. Все, говорит, будет в порядке... «Хорошо,— подумал я тогда,— сейчас с ним не стоит спорить, все равно из этого ничего не получится, да он и забудет». У меня и мысли не было к ним переходить. Позже, правда, и Регина несколько раз заговаривала об этом. А в субботу, когда мы собирались идти в совет расписываться, тесть сказал, что все уже улажено и меня ждут в артели... Да и Регина очень хотела, чтобы я перешел туда.

— Куда перешел? — удивленно переспросил Нанди, еще не совсем понимая, о чем мы говорим.

— Видишь ли,— пробормотал я,— собственно говоря...

— Уходит он,— сказал Марер,— с завода уходит.

— То есть как это? — спросил Нанди, не веря своим ушам.

— Уходит, и все,— повторил Марер.

Я посмотрел на Марера. Он казался спокойным, лицо у него было такое же, как всегда.

— Ни слова никому не говорил — и вдруг на тебе,— в недоумении произнес Нанди.

— Собственно, я и не собирался уходить.

— Все равно,— бросил Марер.— Не важно, чего хочет человек, важно, что он делает.

— Я не хотел вас обманывать.— Вид у меня, наверно, был жалкий. Я понимал, что поступаю не так, как следовало бы, и все же шел на это.— Не подумайте, что я...

— Об этом я и не думал,— перебил меня Марер.— В конце концов я тебя понимаю. Разумеется, так тебе лучше. Девять форинтов пятьдесят филлеров за час больше, чем семь двадцать.

— Нет, я не верю,— упрямо повторил Нанди.— Шаньо! Ты не будешь ходить вместе с нами на работу?

— Дружба-то останется,— пробормотал я. Сейчас, когда мы наконец заговорили об этом, все показалось мне не таким уж страшным. Собственно, ничего особенного и не случилось. Ведь вот мы все так же стоим вместе и разговариваем в буфете. Я несколько успокоился. — Уйду в артель или нет, а дружба наша останется.

— Оно, конечно,— буркнул Марер,— дружба так просто не забывается.

— Черт возьми,— пробормотал Нанди.— Вот так неожиданность...

— Как и раньше, будем встречаться,— начал я,— по воскресеньям ходить на стадион, смотреть, как играет Нанди. Вы будете заходить к нам.

— Черт возьми, — все еще бормотал Нанди.

Он посмотрел на меня, но я отвел глаза.

— Все останется по-прежнему, только что работать будем в разных местах,— упрямо повторял я. Теперь мне стало полегче. Я очень боялся этого разговора и вот увидел, что ничего страшного не произошло.

— Ну,— бросил Марер,— нам пора.

— Разумеется, все останется по-старому. Мне пришлось согласиться на то, чтобы все было тихо-мирно. Может, у нас скоро ребенок будет... Сами понимаете. Но верьте, ничего особенного не случилось...

Мы вышли на улицу. На углу остановились, повернулись друг к другу.

— Я ведь хотел вам рассказать,— тихо произнес я.

— Ладно, чего там,— ответил Марер.

— Черт возьми,— все еще бормотал Нанди. Настроение у него явно испортилось.

— Сердитесь небось на меня?

— Эх! — махнул рукой Нанди.

— Что ж, понятно,— продолжал я. Здесь на улице все приобрело совсем иную окраску и выглядело как-то неправдоподобно. Мне опять стало не по себе.

— Нет,— ответил Марер,— мы не можем на тебя сердиться. Ты же это не ради себя делаешь. Если так посмотреть, выходит, что ты вроде прав.

— Говоришь, я прав? — спросил я с признательностью.

— Я сказал — выходит так, что ты вроде прав. Ну, мы пойдем...

— Когда встретимся? — спросил я.

— В воскресенье у меня игра,— сказал Нанди и, протянув мне руку, печально улыбнулся.— В три часа на малом поле.

— В три,— повторил Марер. Мы пожали друг другу руки.

Они уже пошли было, но я вдруг закричал им вслед:

— Подождите!

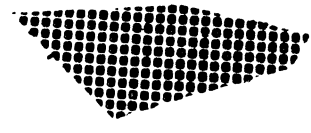
Они остановились, обернулись ко мне.

— Скажите, вы сейчас обо мне очень плохо думаете? — спросил я.

— Дурень ты! — ответил Нанди.

— Ничего плохого мы не думаем. Если б думали, сказали бы,— поддержал его Марер.

Я помахал им вслед и пошел домой. Возле дома остановился. «Вот и все,— подумал я.— И ничего особенного не произошло». Окинул взглядом огромное серое здание. Такие показывают в английских кинофильмах. С колоннами по бокам, на фронтоне табличка с номером. Восьмерка, выведенная на стекле, вечером ярко светится... Было прохладно. Из соседней пекарни ветер доносил запах свежего хлеба. «С нынешнего дня мы здесь живем, мы — Регина и я. Дом номер восемь». Я постоял немного, ожидая, что сейчас успокоюсь. «Ведь ничего особенного не случилось»,— подумал я и вошел в подъезд. Стал подниматься по лестнице. Она была мне совсем чужая. Весь дом был для меня чужим. «Привыкну. Еще будет казаться, будто всю жизнь только здесь и жил». Но пока еще не очень верилось в это.



АЛАН СИЛЛИТОУ

Ключ от двери

РОМАН

Перевод с английского
Н. ДЕХТЕРЕВОЙ, Б. РОСТОКИНА,
В. СМИРНОВА

Часть 4

ДЖУНГЛИ

17

Июньским утром в девять часов открытый грузовик отъехал от лагерных ворот и тяжело покатил на север по прибрежному шоссе. Кроме Брайна, в машине было еще пятеро. Встречный ветер скоро высушил капли пота на его лице; он облокотился на борт машины, снял панаму и с облегчением почувствовал, как ветерок шевелит его короткие светлые волосы. С пяти утра он был на ногах — сверил карты, уложил вещевой мешок, надежно спрятал компас, чтобы он не разбился и не подмок. Как только они поели и вышли во двор, длинное помещение кухни, окруженное пальмами, снова погрузилось в сон.

Брайн думал, что этот день так и не настанет, но сейчас, когда мощный мотор грузовика с ревом нес их к Гунонг-Барат, он весь как-то расслабился и уже почти не испытывал волнения. Напротив, как ни странно, когда синие, пестреющие тенями облаков рисовые поля развернулись перед ним, убегая на восток, на него нахлынули мысли и воспоминания о Ноттингеме, которые совсем успокоили его. Он был немного озадачен этим, нахмурился, пригнулся, чтобы ветер не задул огонь, и закурил сигарету. Ему вспомнилась Полин: высокая и какая-то задумчивая, она шла по тротуару широкой улицы; после родов она похудела, и от этого лицо ее стало еще выразительней. Четыре долгих года после школы он работал и ухаживал за Полин, а потом женился на ней, и теперь ему пришла в голову мысль: я связан, хоть никогда не ощущал этого по-настоящему, потому что даже тогда, когда я спал с ней, приезжая в отпуск, мне казалось, будто я урвал украдкой что-то недозволенное. Даже когда родился ребенок, немногое для меня изменилось; отчего же я все-таки женился на ней? Не нужно было, наверно, этого делать, да я ведь и не прожил с ней столько, чтобы самому понять, рад я или нет тому, что женился на ней. Во всяком случае, рад ли я этому так, как должен бы радоваться.

Жаркие лучи солнца, несмотря на прохладный ветерок, словно пронзавшие череп насквозь, прогнали его видения, и он стал любоваться кра-

Окончание. Начало в №№ 5, 6.

сочными пейзажами Малайи, разворачивавшимися вокруг как кадры волшебного фонаря. Они доехали до взлетной дорожки, и, после того как сел какой-то самолет, грузовик резко рванулся вперед. Бейкер упал на мешки.

— Эй ты, подонок! — заорал он.— Думает, что везет каких-нибудь летчиков. И на черта ему понадобилось поднимать нас в такую рань? А мне такой замечательный сон снился — еду я на мотоцикле по Кенту с красивой девчонкой. А здесь никакой цивилизации.

— Брось,— проворчал Керкби.— На нервы действуешь. И на кой хрен ты тогда поехал, если не хотел?

— На земле и на небе порой случаются вещи настолько странные, что они необъяснимы с помощью вашей философии, Керкби.

Бейкер вовсе не хотел насмехаться над Керкби, но он так щурился (на самом деле это объяснялось просто-напросто плохим зрением) и говорил таким тоном, что люди, которые не знали его и не могли разобраться в его настроениях, часто злились.

— Послушай, ты,— отозвался Керкби,— помолчи, а не то как ткну штыком прямо в твою вонючую философию...

— Скажи спасибо, что ты здесь,— отозвался Брайн.— Нам всем ведь пришлось из-за тебя наврать с три короба.

Бейкера накануне отвели в дежурку, его обвинили в неповиновении сержанту, который сказал, что им нельзя будет везти домой чемоданы. Тогда полказармы связистов пошли за ним и поклялись, будто видели, как сержант ударил Бейкера. Только после этого его отпустили.

Серебристые деревья на каучуковой плантации, росшие в строгом геометрическом порядке, тянулись на целые мили по обеим сторонам дороги, и, когда грузовик снова вырвался на открытую равнину, в нос им ударил гнилой запах ила с берегов широкой, мелководной, почти неподвижной реки. Грузовик прогромыхал по расшатанному понтонному мосту, и валлиец Джек шутливо крикнул «ура», когда они выбрались на шоссе. Темные, крытые пальмовыми листьями лачуги малайской деревушки стояли в стороне от дороги, каждый новый изгиб которой приближал их к Гунонг-Барат; в лучах полуденного солнца темно-зеленые уступы карабкались вверх к острой вершине, упершейся в массу белобрюхих облаков.

— А красиво,— сказал Брайн Нотмэну.— Никогда бы мне не видать этого, если б я не уехал из Ноттингема.

— Все относительно,— сказал Нотмэн,— когда мы стояли под Лондоном, я, бывало, любил бродить в Ист-Энде по Уайтчепелу и Бетнал Грину — и назад вдоль Кейбл-стрит. Почему-то они волновали меня, эти улицы. А видел ты рынок Петтикоут-лейн? Он тоже красивый. Надо тебе пожить в Лондоне, когда вернешься. Найти там работу.

— Я бы и сам не прочь. Никогда не любил долго на одном месте сидеть. Там, наверно, много разных машиностроительных фирм, вроде той, где я работал.

— Конечно. Ты ведь молодой. А жена твоя не будет против такой перемены?

— Нет, раз я так захочу,— сказал Брайн.

Они, точно сквозь туннель, проскользнули по широкой главной улице Калик-Кубонг и снова выехали на дорогу. Свернув влево к Пенунджоку, грузовик чуть не наскочил на бензоколонку.

— Надо бы проверить этого мерзавца, имеет ли он право машину водить,— сказал Керкби.

Заросли каучуковых деревьев стали гуще, потом грузовик повернул к северу по немощеной дороге, и слева от них осталась маленькая речушка — они определили по карте, что это Сунгей-Паван. Дорога

оборвалась у края джунглей, как будто ее строители вдруг бросили свои инструменты и отказались идти дальше в непролазную чащу. Брайну так не терпелось спрыгнуть на землю, что он чуть не вывалился из кузова.

— А все-таки он живьем нас довез.

Грузовик развернулся и скрылся за деревьями, где было шоссе, еще до того, как громкие проклятия солдат достигли ушей мрачного водителя. Брайн поднял свой вещевой мешок, поправил его на спине. Все они были в рубашках защитного цвета, в брюках, заправленных в высокие ботинки, в панамах. У каждого за плечами мешок, одеяло и плащ, а поверх мешка, как на рождественской елке, висели фляжка, сверток с едой, нож и винтовка. Брайн с минуту молча смотрел на джунгли, словно недоумевая, что он здесь делает и зачем ему понадобилось входить под эти деревья, откуда доносился лишь звук падающей воды, точно злобный призыв к мщению. Так вот они, джунгли. Он усмехнулся. А где же все эти тропические растения из цветных фильмов, где попугаи, перелетающие с ветки на ветку? И как насчет Тарзана, Мартина Рэтлера, Алана Куотермэна и Джима из джунглей? Не то, чтоб я очень верил всему этому, особенно, когда вышел из школы. Джунгли были темно-зеленые, однообразные, полные мрака и негостеприимных, застывших в неподвижности деревьев.

Они продвигались по руслу ручья гуськом. Брели медленно, пошатываясь под тяжестью ноши. Часто, наступив на скользкий подводный камень, теряли равновесие, и каждому в этот первый день довелось искупаться в ледяной воде. Уступы поменьше, примыкавшие к главной вершине, были высотой до двух тысяч футов, и на склонах виднелись заросли, казавшиеся непролазными.

— Я бы не прочь оказаться сейчас в Кью-Гарденз,— сказал Бейкер и, как бы в подтверждение своих слов, поскользнулся и шлепнулся в воду; он был похож на плот, на котором плавали его тюк, винтовка и панама. Брайн помог ему выкарабкаться.

Предполагалось, что за старшего будет Оджесон, высокий, худой, светловолосый человек, недавно выучившийся на зубного врача и выглядевший немного солиднее, чем остальные, которым было лет по двадцать. Но на первом же привале Нотмэн довольно твердо, хотя и уважительно, сказал:

— Если вы не возражаете, сэр, теперь я вас поведу. Мне уже приходилось ползать по джунглям. Так нам будет легче.

Оджесон согласился:

— Я и сам собирался предложить это.

Он снял с погонов оба колечка — знаки отличия — и засунул их в пачку с сигаретами. Они продолжали идти, меняясь время от времени местами и осторожно ощупывая ногами дно ручья. Склон медленно поднимался, ветви деревьев были не слишком густые, и сквозь листву проникали лучи солнца, так что снизу до пояса их сковывал холод, а рубахи прилипали к потному телу.

Брайна радовали эти трудности, он двигался осторожно, твердо ставя сначала одну ногу и только потом отрывая от земли вторую. Мешок натирал ему спину, паек выдали консервами, и банки больно упирались в спину. Разговор шел оживленно, время от времени по ущелью разносился смех, даже Бейкер в конце концов стал ступать уверенней и развеселился. В первые часы это было похоже на обыкновенную прогулку по лесу, а когда ручеек превратился в большой прозрачный водоем, они разделись и полезли в воду.

Им пришлось осторожно пробираться меж деревьями, обходя крутое ущелье глубиной в сотни футов — серповидную впадину, похожую на узкую ножевую рану в боку у горы. Нотмэн, шедший впереди, взял

винтовку на ремень и вытащил нож — порой ему приходилось прорубать дорогу в зарослях.

— Прогулочка кончилась,— сказал валлиец Джек, шедший за ним.

Увязая в сырой земле, они продирались сквозь низкую поросль все выше в прохладный полумрак. Над ними и вокруг них по крутым склонам высились деревья и густые заросли кустарника. Ни Брайн, ни другие — никто за исключением Нотмэна никогда не видел такой чащи и понятия не имели, как пробираться сквозь нее. Ползучие растения стлались по земле и вились вверх по стволам, обросшим мхами, длинные цепкие травы оплетали папоротники и преграждали дорогу, похожие на проволочную паутину, будто какой-то нетерпеливый великан взялся сплести их, а потом, отчаявшись, бросил эту тяжкую работу. Высокие стволы деревьев нависали над ними, и густая тяжелая листва, казалось, скрывала небо вот уже тысячи лет.

— Эй, почему свет не включаете?— крикнул Керкби.

Шел дождь, ровные, незаметные струйки пропитывали влагой их ношу. Они медленно прорубали себе дорогу. Нагружены они были как вьючные мулы, и подниматься было так тяжело, что через каждые несколько сот футов они садились на траву отдохнуть. Брайн соскабливал комья красной глины со своих намокших ботинок.

— Пошли,— подгонял их Нотмэн.— Скоро стемнеет.

Со смехом они двинулись дальше, стараясь держаться вдоль речки, но на деле они шли вслепую, потому что ничего не было видно, и даже компас не мог им тут помочь. Брайн теперь шел чуть впереди, разрубая ножом ползучие стебли, один из которых едва не задушил его, прежде чем Брайн его заметил. Руки у Брайна сразу отяжелели, стали неловкими, словно были привязаны к телу.

— Иди теперь ты вперед,— сказал он Керкби.

Бейкер яростно ругался, выпутываясь из лиан. «Они словно зуб на него имеют»,— думал Брайн и помогал ему, хватая вещевой мешок, винтовку, руку или ногу. Бейкер поскользнулся и покатился вниз, но какая-то лиана выручила его, на этот раз он успел уцепиться за нее и держался на склоне. Оджесон и Брайн помогли ему встать.

— Все равно как втаскивать на коня рыцаря в доспехах,— сказал Брайн.— Для такой чертовской работы полиспаст нужен.

Еще один трудный переход — и они снова присели отдохнуть. Дождь все шел и шел. Брайн вытащил пачку сигарет и угостил остальных. Сырость пробирала его до костей, целый поток воды, скопившейся на каком-то огромном листе у самой верхушки дерева, вдруг пролился ему на панаму. Ну и местечко! Еще в детстве (да и потом тоже) он часто рисовал себе жизнь без крова над головой, борьбу с капризами и причудами природы и при этом в своих мечтах всегда бывал спокоен, сохранял самообладание в своем гордом одиночестве. Долгие ночи в радиорубке научили его любить такую отшельническую жизнь, но теперь, в джунглях, когда он промок, измучился, стер себе шею и ноги, очутился вдали от жилья и постели, борьба с природой представлялась ему уже куда более реально. Вместе с тем, несмотря на все лишения, это познание мира освещало уголки его отшельнической души новым светом, он больше чувствовал себя самим собой, чем раньше; дым сигареты согревал легкие, а голубые колечки, срываясь с губ, некоторое время сохраняли свои очертания в тяжелом влажном воздухе. Он сел поодаль от остальных. Говорили они совсем мало и тихо, будто попали в какой-то мрачный, сырой, бесконечно длинный собор. Брайн был потрясен, и теперь, когда он ощутил, как измучился, ему трудно было поверить, что еще вчера он жил вольготной жизнью в армейском лагере.

Они спустились к реке и в половине шестого разбили лагерь на плоском скалистом берегу, в том месте, где река, словно изливаясь через

воронку, вдруг водопадом обрушивалась вниз, а расстояние между берегами не превышало нескольких ярдов. У Брайна ломило спину, кожа горела, он снял рубашку и обнаружил большую красную ссадину. Две коробки промокших насквозь сигарет пришлось выбросить в воду, и они, подпрыгивая и ныряя, поплыли к водопаду.

— Все-таки меньше груза,— сказал Брайн, вновь ощутив боль в спине, словно у него выгрызли кусок мяса.

— Без нее легче будет,— сказал Нотмэн, прижигая сигаретой толстую пиявку, присосавшуюся к плечу Бейкера.

Развесив на кустах штаны и рубахи, они нашли еще несколько пиявок, иногда их не удавалось оторвать, они лопались, оставляя пятно крови. Нотмэн сказал, что нужно натаскать на ночь дров для костра, и, когда стемнело, возле бивака запылал огонь.

— Черт, этак мы не скоро доберемся до вершины,— сказал Бейкер. Он стоял у реки, вглядываясь в густые тенистые джунгли на том берегу.

— А ты что тут думал найти? — спросил Нотмэн.— Пирожные?

— Нет,— отозвался тот,— канатную дорогу.

— Ты не в Швейцарии,— усмехнулся Оджесон.

— Не думаю, чтоб мы и завтра до вершины добрались,— сказал Нотмэн.— При такой скорости на это уйдет дня три или четыре.

Джек поужинал, вычистил винтовку, выгряхнул из ствола набившуюся туда землю.

— Да я скорей туннель под этой горой проложу, чем мы на нее взберемся.

— Здесь вот что нужно сделать,— сказал Брайн.— Сжечь все огнеметами и выращивать салат. Или построить дороги, чтоб машины могли тут мчать со скоростью шестьдесят миль в час.

Они поужинали, подвесили к ветвям противомоскитные сетки и устроили под ними постели — на двоих каждая. Брайн не понимал, зачем нужно дежурить ночью по двое, но так решил Нотмэн, и никто не стал спорить.

— По двое в постели,— сказал Бейкер.— Просто рай.

— Хоть какое-то удовольствие получишь от этого путешествия!

— Не трепи языком, Ситон! — крикнул Бейкер.

Брайн дежурил с Нотмэном после полуночи; они сидели в нескольких шагах друг от друга на камнях, притихшие, в тяжелой истоме прерванного сна. Брайн держал на коленях винтовку. Медленно склоняя голову, он забылся. На том берегу треснул сучок — в темноте этот звук раздался угрожающе близко. Он мгновенно проснулся. Нотмэн еще раньше услышал хруст и увидел огромную кошку, появившуюся в отсветах низкого пламени. Они прицелились одновременно. Брайн с восторгом выпустил пять пуль, радуясь возможности наполнить грохотом гнетущий мрак, оживляемый только плеском воды, обреченно падавшей вниз. Выстрелы отозвались эхом на горных склонах, как удары бича, разгоняющие тьму, и зверь скрылся во мраке. Спящие даже не пошевелились, и в наступившем безмолвии Брайн вспомнил, хоть и неточно, несколько строк из дантева «Ада», книги, которую он стащил из лагерной библиотеки несколько месяцев назад и читал урывками у себя в радиорубке:

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу...
И вот внизу крутого косогора —
Проворная и вьющаяся рысь.

Вся в ярких пятнах пестрого узора,
Она кружа мне преграждала высь.*

«Как будто он на Гунонг-Барат это писал»,— подумал Брайн, заметив при этом с радостью, что Керкби выполз из-под сетки; Керкби подошел и сказал ему, чтобы он шел спать.

После завтрака Керкби стал определять местоположение.

— Эй! — крикнул он со скалистого выступа.— Знаете, сколько мы прошли? — Никто не мог угадать.— Жалких тысячу триста ярдов. Со вчерашнего дня мы поднялись всего на тысячу футов.

— Еще дня три прошагаем. Похоже, ты был прав,— сказал Оджесон Нотмэну, который только кивнул в ответ и вскинул на плечи мешок, готовый снова вести их вверх по реке.

Впереди показался водопад — две бледные струи на фоне зеленоватой известковой скалы,— это значило, что придется идти в обход, снова продираться сквозь джунгли. У некоторых ручьев русло петляло, как петляют иногда полосы снега на склоне горы, кое-где можно было пролезть на четвереньках, но большинство крутых скалистых обрывов опасно было переходить с тяжелым грузом на плечах. Ссадины на спине у Брайна порой причиняли невыносимую боль, вынуждая его отставать и ждать, пока плечи отдохнут, боль уляжется и он сможет снова взвалить на себя груз. К концу дня он уже притерпелся к боли и знал, что теперь все это только вопрос времени — нужно выдержать, пока огрубеет кожа, и тогда перестанешь замечать боль — совсем как на фабрике, когда он пришел туда в первый раз с еще не огрубевшей кожей на ладонях. Пот катил у него с лица, он шагал последним, и все его тело — ноги, руки, живот, пах, лопатки — покрылось коркой соли.

— В чем дело? — спросил его Нотмэн, заметив, что он все время передвигает на спине мешок.

— Да вот заели сингапурские блохи,— сказал Брайн,— так и скачут, гадюки.

— А-а, у меня тоже есть, только рангунские.

Они присели покурить, и каждый стал рассказывать о своих невзгодах. Джек заявил, что по нему скачут гонконгские блошки, и Оджесону их выдумка показалась забавной.

— А у меня кровавые струпья на спине,— злобно сказал Керкби.— Хотел бы я, чтоб они тоже ускакали, да поскорей.

Они закусили галетами и шоколадом, запивая водой из жестяных кружек. Сидели они среди камней. Маленькая зеленая птичка уселась на сучке у них на виду. Вероятно, ни один человек не бывал здесь долгие годы — тут не было дорог и не росли плодовые деревья. Даже слоны отсюда исчезли. Джек спокойно поднял винтовку, прицелился и выстрелил, расколов грохотом воздух. Птичка упала на камни, и красное смешалось с зеленым.

— «Стрелой своею сбил я альбатроса»**,— усмехнулся Брайн.

— К счастью, это всего-навсего какой-то здешний воробей,— сказал Бейкер.— А не то дрянь было бы дело.

Нотмэн глядел на птичку, поглаживая щетину на подбородке.

— Лучше бы поберег патроны,— сказал он, подразумевая: «Эй, ты, скотина, зачем в нее стрелял?»

— Чем больше патронов расстреляем, тем легче нести,— сказал Джек, снова вскакивая с места.— От этого мешка мне жизни нет.

— А зачем мы вообще винтовки тащим? — подумал вслух Брайн.— Весь этот хлам добрую тонну весит.

Оджесон улыбнулся:

---

* Данте, «Божественная комедия», перевод М. Лозинского.

** Строка из стихотворения Колриджа.

— Инстинкт. Никто ведь даже не спросил зачем.

— Никто вообще ни черта не спрашивает. Я бы не взял винтовку в Шервудский лес, а здесь ничуть не опаснее.

— А как насчет тигра, которого ты прошлой ночью видел? — спросил Джек.

— Да это вовсе не тигр был,— насмешливо сказал Керкби.— Просто от страха почудилось, нервы у вас стали никуда.

— Нет, это была какая-то здоровенная тварь,— сказал Нотмэн.— Я видел, да и Брайн тоже.

Теперь, с мешком за плечами, который показался ему еще тяжелее, Брайн уже сомневался, что действительно видел тигра. Хруст веток и какая-то тень, чуть чернее окружающего мрака, потом град пуль вдогонку этой тени. Неотвязные страхи и игра воображения — только и всего, тигра могло и не быть. «А может, я и в самом деле что-то видел, хотя трудно поверить, что и Нотмэн видел то же самое. Пока я не выстрелил, он тоже не стрелял — не было нужды».

Брайн сидел ночью у одного из двух костров, и в нескольких шагах от него за бурлящим потоком светились два малюсеньких огонька, они то вырастали, похожие на зеленые горящие глаза, то снова таяли. Шум воды, весь день стоявший в ушах, стал таким привычным, что он больше не замечал этого шума (как не замечал шума на фабрике возле железнодорожной станции в Рэдфорде). Только по временам, как вот сейчас, когда мысли его заняты зелеными огоньками за рекой, он снова слышал этот шум. Среди одеял, покрытых сеткой, кто-то всхрапнул: вот счастливец — сейчас во сне он небось сидит где-нибудь в задних рядах кино со своей девчонкой. Мне бы тоже поспать, свалившись без задних ног, и тоже витать где-нибудь далеко. Глаза за рекой все еще светились. «Это, конечно, не тигр»,— подумал Брайн и готов был рассмеяться над своими страхами, но вместо этого поднял винтовку, чтобы успеть выстрелить, пока рука не дрожит. Огоньки глаз уплыли, и он долго высматривал их в темноте, потом зажмурился. «Вот если б они узнали, как я перепугался каких-то светлячков,— усмехнулся он.— Хватаюсь за винтовку, даже когда в этом нужды нет, почти как Джек. А ведь от пуль добра не жди. Скоро, наверно, начну собственной тени пугаться».

— Что нового? — спросил Бейкер, сидевший у второго костра.

— Ничего.— Он подбросил дров на тлеющие угли и вдруг вздрогнул, потому что Бейкер подпрыгнул и его ружье неожиданно грохнуло, заглушая поток проклятий.— Что там? — крикнул Брайн.

— Да змея. У самой ноги ползла.

— Тебе нужно сходить к психиатру.

— Не мне одному,— отозвался Бейкер.

Хотя поклажи каждое утро становилось все меньше, потому что часть продовольствия они съедали, запихнуть все в мешки было по-прежнему нелегко; одеяла, плащи, противомоскитные сетки, оставшееся продовольствие и патроны, разбросанные вокруг,— словно кто-то мусорную корзину вывернул.

Настал третий день пути. Они проходили теперь не больше, чем прежде, но зато меньше ворчали и меньше тратили сил. Один раз они увидели вершину с белым шарфом облаков на шее.

— Завтра вечером,— сказал Нотмэн,— мы уже будем стоять там и смотреть сверху на то самое место, где стоим сейчас.

Ему ответили смехом, кто-то стал доказывать, что они доберутся до вершины еще сегодня, а может, завтра поутру. Нотмэн вскинул на плечи мешок и, насвистывая, пошел дальше, опередив всех на добрых пятьдесят шагов.

Но к холмному приблизившись подножью.
Которым замыкался этот дол,

Мне сжавший сердце ужасом и дрожью,
Я увидал, едва глаза возвел,
Что свет планеты, всюду путеводной,
Уже на плечи горные сошел.*

— Это что? — спросил Джек, догоняя его.

— Стихи.

— Я так и думал. Так ты стихи любишь, друг?

Бейкер и Оджесон нагнали их; Брайн глотнул воды из фляги.

— А как же.

Он был измучен и радостно возбужден: здесь, среди джунглей, сердце словно все время омывала свежая вода. Они продолжали шагать, гремя ботинками по гальке и осторожно переступая через зеленоватые обломки скал. Вершины теперь не было видно. Миновав излучину речки, они вышли к новому водопаду. Они сгрудились на одном месте, а потом, убедившись, что лезть по скалам здесь невозможно, снова растянулись гуськом и вошли в джунгли.

Брайн подтянулся, ухватившись за куст, не сводя глаз с грязных башмаков, неуверенно двигавшихся впереди него. Тысяча шестьсот ярдов — таков был их средний дневной переход. «Да, на такой сдельной работе, скажем, по шесть пенсов за сотню ярдов, можно с голоду помереть. Даже по шиллингу за сотню, и то много не заработаешь. Обратно мы в десять раз быстрее пойдем, и все же, если я еще решусь на такую вылазку, то уж столько вещей с собой не потащу. По восемьдесят фунтов на каждого, а эти жестянки со жратвой всю спину натерли, хотя всего-то нам и нужно немножко галет да чай с сахаром. Как япошки: мешок рису — и пошел».

Заросли кончились, и речка стала поуже: все чаще попадались большие деревья, лежавшие поперек русла, приходилось перелезать через них или проползать под ними. В одном месте вода, казалось, падала прямо с неба. Она низвергалась вниз белыми потоками, собиралась в заводи среди зубчатых скал, а потом медленно и размеренно стекала в водоем, чистый и прозрачный, с зеленоватым отливом.

— Может, скоро уже вершина,— с надеждой сказал Оджесон, но оказалось, что это еще не так. Вода больше не грохотала в ущелье: чем выше они взбирались, тем тоньше становился поток и ритмичнее шум.

Им снова пришлось пробираться через заросли. Тропки не было, и они инстинктивно держались поближе к руслу реки. Брайн размахивал ножом, прорубая дорогу, пока мускулы у него не одеревенели и не стали такими же бесчувственными, как сучья, что валялись под ногами. Поваленные деревья, скрытые кустарником, давно уже сгнили, лишь кора сохранилась, и, наступая на такое дерево, он увязал в мягкой красноватой трухе. Вокруг не было никаких признаков жизни, только муравьи деловито сновали по листьям да одна или две пиявки болтались на сучьях, точно ожившие ботиночные шнурки.

— Ну и воняет же тут, как в сортире,— сказал Керкби.

Он обменялся с Брайном местами и пошел впереди. Когда они останавливались, вокруг воцарялась тишина, нарушаемая лишь далеким бормотанием воды да пением птиц в ветвях. А когда трогались в путь, снова слышались лишь удары шести ножей, разрубавших сучья,— шестеро людей вторгались в древесную чащу. Только в долине эти звуки смолкали. Неожиданно они вышли к реке. Лучи солнца вдруг пробились сквозь листву, и они увидели, как игуана метнулась прочь и спряталась в своем убежище.

На уступе, нависшем над долиной, они нарубили веток для костра и расчистили место для ночевки. Джек нашел огромного красивого куз-

* Данте. «Божественная комедия».

нечика с длинными, как антенна, усами. Брайн ногой отшвырнул его, а Джек ткнул прикладом, но кузнечик все еще шевелился. Тогда Бейкер выстрелил, и от насекомого мокрое место осталось. Целая батарея жестянок шипела на огне: консервы, мясные и овощные, пудинг, рядом лежал сыр и галеты. В семь часов все, кроме часовых, легли спать.

Нотмэн и Брайн, дежурившие первые два часа, тихо переговаривались.

— А ты что будешь делать, когда тебя отпустят?

— Искать работу, наверно,— сказал Брайн.— Впрочем, еще не знаю, какую именно. Я на станке работал, когда меня взяли: всего-то два года прошло, а кажется — целая вечность. И все же, ей-ей, я рад буду вернуться к Полин.

Последние слова вырвались у него невольно, прежде чем он это успел осознать, словно вопль души, удививший его самого настолько, что он даже замолчал на время.

— А ты совсем скоро уедешь,— проговорил он наконец, просто чтобы сказать что-нибудь.

Нотмэн потянулся к костру за огоньком.

— На рождество — за несколько месяцев до тебя. Пусть они кого другого наймут караулить свою отжившую империю. И найдут: такие дураки каждую минуту рождаются. На мне тут семь лет ездили, и теперь уж я пошлю их подальше да набедокурю напоследок. И вовсе не из мести, а так, по привычке, она — вторая натура.

Он говорил спокойно, но устало, таким тоном, будто и впрямь можно вот так один на один сломить мощь Британской империи.

— Да, конечно, я добровольно остался в военно-воздушных силах,— сказал он, предвидя возражения Брайна,— вот и оказался в дураках, сам это признаю. Я думал, немцев нужно будет еще несколько лет удерживать, а теперь вместо того, чтоб бороться с фашизмом, я помогаю здесь фашистам. Единственное, чего мне теперь хочется, это поработать как следует для разнообразия, и если кто-нибудь из моих новых друзей при мне скажет, что верит в Британскую империю, то уж я сумею растолковать им кое-что. Горячиться, конечно, не стану, если мне не поверят. Нет, я просто прекращу этот разговор, как разумный человек, который знает, о чем говорит.

— Ты рассуждаешь совсем как участник Сопротивления,— улыбнулся Брайн.

— Да нет, все это только слова. Тут, в джунглях, тихо, никого нет.

— Это вам только кажется,— вдруг произнес из-под своей сетки Бейкер,— но разве вы, два большевика, не знаете, что все к лучшему в этом лучшем из миров?

Уже серел рассвет, ознаменованный мелкой неторопливой изморосью и выстрелами — это палил Бейкер, посылавший в долину пулю за пулей, пока Нотмэн готовил им на завтрак горячий пудинг с молоком. Они решили встать пораньше и теперь наполняли фляжки из узкого ручейка, в который превратилась Сунгей-Паван; воды могло не оказаться до тех пор, пока они не доберутся до другого склона горы.

Над водой влажные кустарники становились ломкими и колючими, они оставляли неглубокие, но жгучие царапины, начинавшие гноиться прямо на глазах. Теперь все думали не о том, чтоб покорить вершину и с чувством гордости глядеть вниз, а только о том, чтобы карабкаться все выше, терпеливо и упорно, выполняя задуманное в часы безделья, еще тогда, когда они даже не представляли себе, что затевают. «Какой нам от этого толк? — размышлял Брайн.— К черту!» Трах! Нож его врезался в колючий куст, который упал на землю, и Брайн быстро наступил на него, чтобы Керкби, шедший следом за ним, не оцарапался. Они собирались достичь вершины к вечеру и развести там большой костер, тогда

огонь будет виден у них в лагере, за двадцать пять миль отсюда. Мысль об этой грандиозной затее волновала Брайна много недель, но теперь, когда они были близки к цели, его энтузиазм, загнанный бесконечно долгим подъемом в какой-то укромный уголок души, почти пропал.

Заросли редели, и целых пять часов они шли, даже не останавливаясь, чтобы перекинуться словечком или покурить. Брайн весь исходил потом под палящими лучами солнца, стоявшего высоко в небе; после полудня они вошли в сырую чащу, покрывавшую крутой скалистый уступ, и в первый раз обрадовались прохладе, зная, что скоро снова будет палить солнце. Местами зелень сменялась серыми каменистыми скалами, и все по совету Нотмэна стали их обходить.

— Не много от тебя останется, если сорвешься и пролетишь вниз несколько тысяч футов,— сказал он Бейкеру, который предлагал подниматься ползком по этим гладким скалам.

Они потратили еще час, продираясь через полосу колючих кустарников, оказавшуюся лишь каким-то странным преддверием к сырой чаще, и двинулись дальше, цепляясь за стебли и лианы, подбадривая себя ругательствами, напрягая всю силу усталых рук и сгибая натруженные спины, чтобы пролезть под поваленными деревьями, увязая в грязи. Брайну хотелось теперь достичь вершины вовсе не потому, что оттуда откроется потрясающий вид (с такой высоты он еще не смотрел на здешние места), а потому, что тогда экспедиция будет завершена, они наконец перестанут карабкаться вверх. Этого одного было достаточно, чтобы заставить его двигаться вперед. «Что за смысл лезть на гору, если у тебя нет какой-нибудь цели: скажем, снять карту, или добыть еды, или собрать дров, или отыскать место для жилья?»— думал он, запертый в этой тюрьме из листьев, стеблей и веток, которые все еще сжимали их со всех сторон, хотя они давно уже шли не останавливаясь.

К концу дня вершина горы, наконец, нависла у них над самой головой — голый склон без тропок и без уступов, на которых они могли бы удержаться со своим тяжелым грузом.

— Здесь слишком круто,— сказал Оджесон, и Брайн вслед за ним скользнул взглядом вверх, туда, где серело небо.

Они скинули мешки и устало присели под деревьями, упершись в стволы ногами, чтобы не скатиться по крутому склону. Нотмэн, совершенно измученный, курил сигарету.

— На обход этой скалы придется еще часов шесть потратить. Но даже после этого нельзя быть уверенным в успехе,— сказал он.— Мы можем без конца кружить здесь и всякий раз натыкаться на неприступные склоны.

Брайн развернул карту.

— Придется пройти мили две или три к юго-востоку. Там есть проход.

— Не пойду,— сказал Бейкер,— на это еще не один день потребуется.

— С меня хватит,— сказал Керкби.

— И с меня,— сказал Джек.

— А может, и здесь удастся пройти,— упорствовал Брайн.

Ему уже снова казалось важным достичь вершины, теперь, когда на это было мало надежды. До чего же глупо — не суметь добраться до вершины, после того как они столько намучились. Он знал, что все измотаны, но, может, еще одно, последнее усилие, всего какой-нибудь час пути — и они будут на вершине, разобьют там лагерь. Он поднял с земли нож Нотмэна. У него было такое чувство, словно оба они его подвели, и Нотмэн и Оджесон,— ведь это они должны были командовать. Но оба сидели, словно в забытьи, окутанные дымом сигарет.

— Пойду посмотрю, что там,— сказал Брайн.

Нотмэн протянул ему сигарету.

— На, покури сперва.

— После, когда вернусь.

— Как хочешь.

— Только зря время потратишь.— Бейкер вонзил нож в дерево. Острое лезвие с размаху вошло в ствол со злобным и бессильным звуком, словно признаваясь в неудаче.

— Не твое же время я буду тратить,— огрызнулся Брайн.— Глупо — столько пройти и теперь назад поворачивать.

Нотмэн слушал, не вмешиваясь. Он привел их к самой вершине, а теперь пусть решают, идти дальше или нет. Если они все вместе решат идти, то постараются отыскать дорогу, хотя, по совести говоря, он не стал бы рисковать; сделать крюк в три мили казалось ему невозможным, пришлось бы, вероятно, два дня идти без воды.

— Я совсем испекся,— сказал Керкби.

Джек предложил остановиться здесь на ночлег, а утром двинуться дальше.

— Пройдем вершину, воды будет до черта.

— Я думаю, можно на этом покончить,— сказал Оджесон, и его тут же поддержал Бейкер:

— Правильно. Мне этот пикник с самого начала не понравился.

— Зачем же ты пошел?

— Хотел обогатить свой жизненный опыт.

Брайн ничего не мог возразить, ему не хотелось доказывать, что его мотивы были глубже, хотя, может быть, и туманнее.

Рассмотрев вдалеке очертания скалы, он двинулся вверх сквозь густые заросли, точно шахтер, прокладывающий штрек, перелезая через преграждавшие путь поваленные деревья по пяти футов в обхвате. Вокруг стояла тишина, и он намеренно громко вонзал свой кривой нож в твердые, словно металлические, стволы, чтобы хоть как-нибудь нарушить ее. Эта лесная глушь пугала его, и время от времени он останавливался на прорубленной им тропке, как бы стараясь вслушаться в эту тишину, ему хотелось увидеть хоть муравья, хоть пиявку или даже змею, но вокруг не было видно ничего живого, кроме его собственной мелькавшей на ходу руки. От лагеря в Кота-Либис его, казалось, отделяли долгие годы жизни, Англия же стала бесконечно далекой мечтой тех времен, когда его еще на свете не было. Полин, спешившая в магазин на Эпсли-лейн, казалась каким-то призрачным видением. «А может, с тех пор, как мы здесь, весь мир успел превратиться в джунгли, и нам незачем возвращаться?»

Он карабкался к вершине, минуя скалистый склон, преграждавший им путь. Среди враждебного одиночества джунглей он думал о водопадах и водоемах в нескольких милях отсюда, на пути в долину, о шуме реки, который им раньше казался таким мучительным и о котором он вспоминал сейчас как о благодати. Все смешалось в его воображении. Он прислонился к стволу и закурил.

Несколько деревьев нависли над самой вершиной, и кроны их приветливо манили его. «Может, если пойду дальше, найду какую-нибудь расщелину, и по ней доберусь туда за десять минут». Над деревьями висели серые дождевые облака, приютившиеся тут на ночь. Он решил во что бы то ни стало дойти до вершины и, окинув взглядом остаток пути, вдруг увидел питона, свернувшегося клубком в каких-нибудь десяти футах от него.

Волна страха накрыла его, и, барахтаясь в ней, он пошарил рукой у себя за плечами — винтовки не было. Он попятился. Полосы и квадратики пришли в движение, переливаясь различными цветами на земле и

выше, над поваленными стволами, над корнями деревьев; такой большой змеи Брайн не видел ни в храмах Пулау-Тимур, ни на рисовом поле у Кота-Либис. Он стал спускаться вниз от дерева к дереву, не сводя глаз со змеи, которая теперь, когда Брайн уже отошел далеко, снова свернулась вялыми кольцами. И страх вдруг прошел: все равно винтовки у него нет и незачем ему спешить и впадать в панику; потом в тенистом сумраке Брайн совсем потерял змею из виду. И тогда он опять испугался и побежал к товарищам, уже не чувствуя себя одиноким в джунглях. Он ничего не сказал им о питоне.

— Я не нашел обходного пути,— пробормотал он, опускаясь на землю, и был рад, что никто не сказал торжествующе: «А я что тебе говорил?»

Нотмэн взвалил на спину мешок и винтовку, остальные последовали его примеру, и все снова двинулись в путь, продираясь сквозь ветви и кустарник. На спуске мускулы напрягаются не так, как при подъеме, и Брайн, едва удерживаясь, чтобы не налететь с размаху на какое-нибудь толстое дерево, чувствовал сильную боль в ногах. Медленно капал дождь, и, когда наступили сумерки, Брайн и Керкби, растянув между кустами одеяла, уселись в них, точно в люльки, и стали жевать галеты. Джек вскрыл штыком банку с джемом и пустил ее по кругу, так как ни у кого не было сил искать какой-нибудь еды поплотнее, впрочем, не было и сухих дров, чтобы приготовить ужин.

— Чем скорее мы вернемся в лагерь, тем лучше,— сказал Керкби.

— Может, там на кухне что-нибудь приличное состряпают, пока вернемся,— улыбнулся Нотмэн.— Скажем, поджаренного колибри с гренками или что-нибудь в этом роде.

Здесь, на холодной и темной скале, на высоте четырех тысяч футов, Брайну вдруг показалось, что их стало как будто меньше — такие они были одинокие и подавленные. Он пересчитал всех шестерых, но он не удивился бы, если бы сейчас их оказалось только двое или трое; и он подумал: «Будь у нас костер, могло бы показаться, что нас больше». Здесь, высоко в горах, во влажном воздухе, среди густой зелени, за много миль от ближайшего огонька, он не находил в себе сил бороться с железной рукой усталости, которая влекла его ко сну, и он боялся, что, заснув, скатится со скалы и расшибется.

Он пролежал всю ночь со странным ощущением, будто бродит с закрытыми глазами по какой-то дремотной пустыне, и его измученный ум и тело ищут чего-то недостижимого и страдают от того, что этого не найти и за тысячи часов сна. Он лежал на твердых камнях, прикрытых лишь одеялом, но сырой туман беспокоил его еще больше. В тревожном сне его царила мертвая тишина, иногда разрываемая выстрелами и страшным грохотом и треском, отчего он то и дело наполовину просыпался, словно какая-то не подвластная ему и непреодолимая сила заставляла его надсадно кашлять, пока, наконец, этот кашель не разбудил Брайна окончательно. Керкби что-то пробормотал и пошевелился, разбудив еще кого-то, а тот сразу начал ругаться — даже выспаться не дают толком. Ощущая боль во всем теле, Брайн открыл глаза, надеясь, что когда он снова решительно закроет их, то опять погрузится в сон, но тут же обнаружил, что ему вовсе и не хочется закрывать глаза, и он лежал, как ему казалось, очень долго, вглядываясь в листву и в бугры спящих тел.

Часто ему казалось, что вот-вот начнет светать: когда очертания листьев на кустах неуловимо менялись, он закрывал глаза и не открывал их сколько хватало терпения, воображая, что, когда откроет, листья уже станут не серыми, а зелеными, и надеясь, что в ту минуту, как он сможет увидеть это чудо, никто не завопит: «Пора вставать»,— и Бейкер не выпалит из своего ружья, вскрывая, словно острым консервным ножом, темное небо, чтобы впустить солнечные лучи. Но он так и не мог заснуть

больше чем на несколько минут (которые, правда, показались ему часами), и листья все маячили перед ним темными пятнышками.

Но день все-таки настал, подкрался бесшумно, как мысль, неведомо откуда. Серый рассвет выползал украдкой из каждого стебля и каждой ветви, по тонким прожилкам листьев, чтобы осветить спящих людей и стволы деревьев, отбрасывавших еще расплывчатые, но уже явственно видные тени. Измученные и промокшие, они молча скатывали одеяла, и лица их хранили следы изнурительной борьбы с бессонницей. Бейкер роздал галеты, густо намазанные джемом, но они с трудом лезли в горло даже после глотка воды.

Пока все собирали вещи, туман рассеялся, словно кто-то поднял занавес над просторами северной Малайи. Далеко внизу длинные полосы белого тумана еще окутывали скалы, но по мере того как солнце грело все сильнее, они все редели над рисовыми полями и прибрежными болотами. Низкие отроги Гунонг-Барат виднелись на той стороне долины, и река, протекавшая на сотни футов под ними, была скрыта зелеными волнами джунглей.

Отроги повыше, лежавшие далеко на юге, образовали на горизонте низкую расплывчатую линию голубоватых холмов. Маленькие деревушки были разбросаны по берегу в излучинах серебряных рек, которые, извиваясь, стекали с гор на густую зелень равнины, сливались там с мангровыми болотами и, наконец, достигали едва видимого морского побережья.

— Вот вам и пейзаж, любуйтесь сколько душе угодно,— сказал Джек.— Жаль только, что жажду им не утолишь.

Бейкер заявил, что после четырехдневного подъема можно было ожидать большего. Брайн ничего не сказал, но когда они гуськом стали углубляться в лес, он ушел последним. Все тут было слишком грандиозно, чтобы объять взглядом за несколько минут, и уж никак невозможно было унести с собой. Ему хотелось побыть здесь еще, до тех пор пока зрелище не сделается знакомым, не перестанет его притягивать, хотелось присесть, не спеша покурить, спокойно любуясь страной, которая развернулась под ним, более живая и красочная, чем самая великолепная карта. «Лезли сюда так долго,— думал он, прислушиваясь, как другие с треском пробираются сквозь чащу,— и вот нужно уходить. Я, быть может, никогда больше не взберусь сюда или на другую гору». И эта мысль опечалила его, а уже через минуту он, вынув нож, стал пробираться сквозь прохладный сумрак и знакомые сырые запахи леса.

Они подошли к краю тысячефутовой пропасти, где серая каменная стена преграждала воде путь на запад, вернулись назад футов на триста и натолкнулись на узкий выступ, вдававшийся в ущелье и поросший редким кустарником. Бейкер сунул Брайну свою солдатскую расчетную книжку.

— Завещание там внутри.

Брайн пожал плечами и положил книжку в карман рубашки.

— Если я ее потеряю, пеняй на себя.

Нотмэн, похожий в своей грязной одежде на разбойника, сбросил мешок и теперь нащупывал ногами дорогу, небритый, с винтовкой, торчащей из-за широких плеч. Он сделал первый шаг, ноги его должны были очертить круг в пустоте, руки крепко вцепились в скалу над головой. Внизу на сотни футов была пустота, и на скале росло лишь несколько ненадежных кустиков. Брайн смотрел вниз, зачарованный опасностью, и думал: «А что, если б они сейчас разговаривали и не обращали внимания на Нотмэна — может, тогда это не было бы так опасно?» Джек, отбросив сигарету, рванулся вперед еще раньше, чем башмаки Нотмэна перестали скользить по скале.

Нотмэн висел на руках, и ноги его мерно раскачивались в поисках опоры.

— Не двигайтесь! — крикнул он хрипло.— Я сам удержусь.

А Брайн уже думал о том, как они спустятся вниз в долину, и, если Нотмэн сейчас размозжит себе голову или просто покалечится, они найдут его там, где торчат верхушки деревьев. Нотмэн нащупал в скале выемку для ноги, медленно откинул назад свое увесистое тело; дуло его винтовки, словно палец, указывающий спасение, было направлено на выступ скалы. С минуту он висел неподвижно, будто обессилев и не зная, стоит ли ему вообще спасаться. Все молчали, боясь нарушить таинство этой минуты борьбы со смертью; потом он собрал силы для отчаянного рывка и выбрался на уступ, с которого только что сорвался.

Он построил их цепочкой, чтобы переправить вещи. Брайн, расставив ноги, стоял над расщелиной, не испытывая при этом страха только потому, что не смотрел ни вверх, ни вниз, беря мешки и винтовки и передавая их через плечо дальше.

Перебравшись через пропасть, они присели покурить, и Брайн открыл флягу.

— Я бы поберег воду,— сказал Нотмэн.

Брайн развернул карту.

— Скоро дойдем до реки.

— Я этому поверю, когда увижу ее,— сказал Нотмэн.

Брайн не стал пить, хотя в глотке у него совсем пересохло.

Они шли гуськом под сплетавшимися над головой ветвями, мокрые листья хлестали их по рукам, когда они хватались за лианы, скользя по корням деревьев, на которые время от времени натыкались, если вдруг ускоряли спуск, ослабев или поддавшись тяжести ноши. Брайн был вымотан вконец и предпочитал теперь проползать под лианами, а не рубить их ножом, напрягая усталые руки. Темный, похожий на бич, хвост змеи мелькнул в листве, и это, обострив его зрение, вернуло ему силы. Меньше всего он хотел бы сейчас получить порцию яду под кожу. Он встряхнулся и зашагал дальше. Брайн по-прежнему шел впереди, предпочитая сам задавать темп, а не тащиться в хвосте, потому что чем больше он уставал, тем больше ускорял шаг, но при этом ни разу не отрывался от шедших сзади. Усталость наложила на них свое клеймо: они шли, опустив ножи, их мешки потеряли свою форму. Рубашки потемнели от пота и грязи, штаны и рукава были разодраны, лица, посуровевшие от усталости, неделю не бритые, насупленно смотрели из-под полей панам — так они шли, продираясь сквозь заросли, выдохнувшись на подъеме, бессильные, как букашки.

Брайн резким ударом разрубил лиану, почувствовав внезапный прилив сил. Он радовался каждой расщелине и шел вдоль нее. Наконец одна расщелина привела его к долине с коричневыми склонами, дно которой было пересохшим руслом речушки. Они пошли по этому руслу, переступая через обомшелые камни, и вскоре увидели родник — здесь начинался ручей, настолько глубокий, что они даже могли погрузить в него кружки.

— А я уж думал, что загнусь здесь, в этой глуши,— сказал Бейкер.— Завещание мое у Брайна, так что все в порядке.

«Счастье наше, что мы быстро нашли воду»,— подумал Оджесон.

— А все потому, что я так здорово вел вас,— заявил Брайн.— Я ориентировался по солнцу и все время поглядывал на карту.

— Не мог ты видеть солнца! — заорал Бейкер, стягивая ботинки.— И карта, которую ты начертил, ни к черту не годится.

— Если ботинки намокнут, ты их потом не наденешь,— сказал ему Нотмэн.

Бейкер не обратил на его слова никакого внимания.

Чем дальше вниз, тем больше ручейков впадало в речку, выныривая откуда-то прямо у них под боком. Добравшись до какого-то островка,

они начали готовиться к ночлегу. Бейкер в одном нижнем белье уселся на скалу и стал зашивать штаны, а Брайн с Джеком взобрались на высокий берег и с шумом и треском рубили ветки для костра.

Стемнело. В темноте вода двумя протоками текла вниз к глубокому водоему у подножия скалы. Тени от костра плясали на стене окружавшего их леса всего в нескольких шагах от них, и они ели горячий ужин под знакомый шум воды, текущей никуда из ниоткуда, под эту веселую болтовню ручья, который спешил мимо шестерых людей, запертых среди лесных теней, и как бы посмеивался над бесцельностью их похода.

Брайн закурил и лег на спину, глядя на звезды, похожие на рыбьи глаза, они светились между черными силуэтами деревьев у него над головой. На миг извечный шум воды отступил куда-то в дальний уголок его сознания. Потом этот шум вернулся, и он услышал голос Бейкера.

— Похоже, что Ситон уснул.

Тогда Брайн, сняв рубашку, окунулся в ледяную воду, но и после злых укусов воды сразу же погрузился снова в глубокий, как беспамятство, сон.

Проснувшись рано утром, он с радостью подумал: «Скоро выйдем из леса». Теперь, когда неотвязная мысль — достичь вершины горы — больше не преследовала его, лес действовал на него угнетающе, джунгли представлялись ему пустыней, унылой пустыней, потому что ни одно существо из плоти и крови не могло здесь жить. Единственное, что можно сделать,— это сжечь их, впустить сюда свет дня и людей; а так они останутся сказочными только в книжках, увлекательных для тех, кто никогда не увидит их своими глазами. И все же теперь у него есть право говорить, что он-то был в джунглях, теперь можно сказать любому, кто спросит его, что самое лучшее — держаться от них подальше, но если тебе все же придется увидеть джунгли, то нужно подняться вверх на несколько тысяч футов и взглянуть на них сверху. И ему нетрудно было вообразить, как джунгли могут свести человека с ума, если он вынужден оставаться там долго; сожрут тебя, как могучий лесной дух, злобно ухмыляясь. Брайн швырнул окурок в ручей и глядел, как он помчался вперед, увлекаемый течением туда, куда шли и они.

Они спустились вниз по извилистой лощине и в полдень снова вошли в джунгли, чтобы обойти скалистое ущелье с водопадом. И вдруг будто крохотные жестяные башмачки быстро застучали по кровле листвы, предваряя тяжелую поступь крупных капель, а потом дождевые потоки обрушились на них всей своей громадой, затекая под панамы, добираясь до тела. Земля и листья прилипали к отяжелевшим башмакам, когда они заспешили назад к реке. Брайн крикнул сквозь дождь:

— За одну минуту до нитки вымокли!

Бейкер ничего не услышал, хотя был почти рядом.

— Ну и ливень,— сказал Нотмэн, когда они подошли к реке.

Облака рассеивались, выглянуло солнце. От их рубашек, висевших на кустах, шел пар. «Авро-19» серебряной рыбкой проплыл у них над головами в сторону Бирмы, и Брайн помахал ему панамой. Когда они помаленьку начали спуск, ноги их по щиколотку утопали в бурлящей темной воде. Солнце грело все сильней, рубашка у Брайна прилипла к лопаткам, и от этой примочки спина болела еще сильнее. Судя по карте и компасу, они были уже недалеко от того места, куда их почти неделю назад доставил грузовик. Осталось еще два десятка банок с консервами, которые они зря таскали по горам.

— Давайте их выбросим,— предложил Керкби.

Но Нотмэн был против:

— Ведь у вас, в вашей бедненькой Англии, еще карточки не отменены.

Они вышли из джунглей. Небритый, усталый, надвинув на глаза панаму, Брайн подумал, что мог бы идти так еще много недель, однако это чувство сохранялось лишь до тех пор, пока он не дошел до плотины через реку — он повалился на бетонную площадку, целую минуту промучившись в приступе жестокого кашля, чуть не задушившего его, а потом он еще долго сидел неподвижно, пока и лес, и небо не перестали расплываться у него перед глазами. Он увидел, как из джунглей выходят остальные: Джек с высоко закатанными рукавами; прихрамывающий Нотмэн, который уже несколько дней не разувался; бледный как мел Оджесон, ступавший так осторожно, будто боялся упасть, и Керкби с Бейкером, выглядевшие по сравнению с остальными довольно бодро.

Оджесон отправился к дому плантатора и позвонил оттуда в часть, чтобы за ними прислали грузовик. Потом они пошли ему навстречу к шоссе, до которого было четыре мили,— измученные, едва волоча ноги. Силы Брайна были на исходе, кожа зудела в тех местах, где сидели пиявки. «Мне и самому-то крови не хватает, еле бреду, а тут еще эти жадные паразиты. Я вымотался вконец. А как хотелось бы сейчас очутиться в Ноттингеме, подальше от этого чудовищного солнца, — там прохладно, и голова снова стала бы ясной, и я принялся бы думать, собирая по кусочкам разбросанные мысли. Мне ведь на будущий год двадцать один исполнится, не заметишь, как состаришься».

Мешки, точно трупы, свалили в кузов грузовика. Им помогал сержант, который приехал за ними, тот самый, из-за которого у Бейкера были неприятности на прошлой неделе около штабного корпуса.

— Война идет,— сказал он.— Началась, когда вас не было. Мы думали, вы попали в оборот.

— Какая война?

— Коммунисты хотят вышвырнуть нас отсюда и захватить страну. Много народу уже перебили.

Грузовик мчался по шоссе на юг, через деревни и каучуковые плантации; справа чистой синевой сияло море, а над головой раскинулось небо, такое же синее и пустынное. Дул прохладный ветерок, унося прочь запахи земли и пота. Все молчали. Брайн привалился спиной к борту и закрыл глаза, размышляя над словами сержанта о том, что в Малайе идет война с коммунистами.

18

Всю свою жизнь Брайн чуть не каждый день слышал от матери, что она соберет вещи и уйдет от Хэролда Ситона. Она так и не сделала этого, но в те дни, когда не представлялось повода произнести эту фразу, она раздувала угольки предыдущей ссоры. В то утро перед уходом на работу у Брайна была серьезная стычка с отцом. Дом их всю прошлую неделю был ареной жестоких схваток, потому что какой-то сосед видел, как Ситон выпивал в пивной Лентона с женщиной, с которой он путался до того, как встретил Веру: это была загадочная темноволосая Милли с Траверз-роу. Она и сама-то давно уже была замужем. Но разве такой пустяк может остановить эту нахальную и бесстыжую вертихвостку? Вера рвала и метала, когда Ситон явился домой какой-то суматошный и очень довольный собой, не зная, что сосед уже полчаса назад красочно описал домашним все его проделки. Раньше, в дни, когда жена бывала сыта им по горло и даже выше головы, все семейство слышало, как она говорила ему, чтоб он убирался и нашел себе другую бабу, ей, мол, наплевать, но теперь, когда появились основания опасаться этого всерьез, дом их превратился в поле битвы, по сравнению с которой все

мелкие ссоры из-за денег, когда они жили на пособие, казались просто незлобивой перебранкой, какой часто тешатся влюбленные.

Так что у Брайна было о чем подумать в те долгие часы, когда он стоял у своего фрезерного станка, наблюдая за его неторопливым ходом. Закрепив в зажиме алюминиевый угольник, он включал подачу, предварительно убедившись, что струя мыльной эмульсии направлена на деталь — иначе непременно заест и горячей стружкой обожжет руку. Мать изо дня в день твердила одно и то же, хотя отец клялся, что больше никогда не увидит Милли. Брайн просил мать прекратить это — какой смысл тянуть без конца ту же волынку, отравляя жизнь всем в доме, но она ответила ему:

— А с какой стати? Он всегда вел себя как мерзавец, но уж этого я ему прощать не собираюсь, особенно теперь, когда вы подросли.

И она продолжала пилить Ситона, который на редкость долго сдерживался и молчал, чувствуя свою вину; но в это утро наконец мать довела его до одного из самых мрачных и страшных припадков ярости, какие только мог припомнить Брайн, и муж пригрозил избить ее до смерти. И тогда Брайн встал между ними, готовый избить его самого, если только он прикоснется к матери пальцем.

— Он думает, что ты все еще ребенок и не можешь постоять за меня,— жаловалась Вера, переходя от бешенства к слезам. Она торжествовала.— Я всегда говорила, что ему придется быть поосторожней, когда вы подрастете. Вот теперь-то он понял, о чем я говорила.

Брайн растерялся, он был в отчаянии — ведь он знал, что вряд ли чем-нибудь сможет ей помочь, если обезумевший от ярости отец пустит в ход свои здоровенные кулаки.

— Господи! — крикнул он, и голос его сорвался. — Да неужели ж вы оба не можете держать себя в руках? Ведь давно пора взяться за ум.

Вероятно, они почувствовали, что он готов взорваться; во всяком случае, у всех троих мало-помалу улеглись жестокие чувства, владевшие ими в это холодное утро. Мать вскипятила чай и стала разливать его. Все молчали, но минут через двадцать, когда Ситон, выкурив сигарету, уходил на работу, он почти весело попрощался с матерью. Она ему не ответила.

Брайн рад был уйти из дому; он бешено мчался на велосипеде вдоль бульвара Касл, проскакивая между машинами, чтобы только не думать сейчас ни о чем. От быстрой езды слезы текли у него по щекам; весенний воздух был холоден и свеж, и это было хорошо, потому что весь мир пробуждался вместе с набухающими почками и синим небом. Высоко над ним на известняковой скале маячил старинный замок Касл — памятник архитектуры, служивший тюрьмой для дезертиров. Он распластался там, как паук, зажав в зубах измученную душу города, и над ним полоскался национальный английский флаг. Вокруг Брайна бурлила толпа, люди спешили, как и он, на работу, они заполняли всю широкую улицу, и Брайн был рад, что проехал уже изрядный кусок, оставалось только миновать Кэнэл-стрит. Казалось, война скоро кончится и мир раскроется для путешественника, как жемчужина южного моря. Он накопит денег и поедет во Францию, в Италию, будет свободен, потому что, когда прекратятся военные действия, прекратится и мобилизация. Но, вероятно, это будет не так здорово, как он себе представляет: Эджуорт потеряет военные заказы, а его, Брайна, вышвырнут с фабрики, придется жить на пособие, как жил когда-то отец, работы тогда не найти, и деваться ему будет некуда, придется всю жизнь стоять в очереди по вторникам и четвергам за горстью шиллингов и перебиваться на них кое-как, влача голодное существование. Голодовка для всех и каждого, вот что тогда будет. «Ну, ничего, все образуется». Грохот транспорта по

булыжной мостовой позволял ему ораторствовать вслух, как будто перед ним была большая аудитория. «Вот солдаты вернутся с фронта, они не потерпят очередей за жалким пособием, независимо от того, будут ли тогда правительственные заказы или нет. Они откроют дорогу красным, и тогда у нас будет много работы. Увидите. И сколько бы ни болтал Толстопузый о старой доброй Англии и всякой такой чепухе, их это не остановит».

Ему нравилось проезжать по бесконечным улицам Снейнтона, и настроение у него всегда поднималось, даже когда он проезжал мимо того дома, где дрался с мужем этой шлюхи Эдны, которую подцепил в «Лэнгхэме» прошлой осенью. Ну и вечерок выдался! Синяк у него не сходил тогда две недели, и утешался он только надеждой, что у того малого синяки тоже остались надолго. Когда Берт вернулся домой через три месяца, Брайн узнал продолжение этой истории: Рейчел взяла Берта к себе, и он испил чашу блаженства до конца, включая завтрак на подносе поутру, когда проснулся. Да, Берту повезло, и все же Брайн не мог сейчас удержаться от смеха, въезжая на улицу, где находилась машиностроительная фирма «Эджуорт энжиниринг компани».

Это была маленькая фирма — в одном длинном здании помещались шестьдесят рабочих да еще контора из двух комнат, где по пятницам выдавали получку. Брайн прошел через стеклянную дверь в цех, заставленный станками и освещенный неоновыми лампами. Приводные ремни вертелись, словно стремясь обогнать друг друга, постукивали шестерни. Тед Эджуорт, хозяин, работал за станком как рядовой рабочий — высокий, унылого вида человек с длинными седыми волосами, в комбинезоне, отличавшийся от других только тем, что менял спецовку каждый день, а не раз в неделю. Его часто навещала жена, она приезжала в роскошном автомобиле с дачи, расположенной в живописных местах близ Тергартона. Не помочь, а просто так постоять около него, пока он возится с чертежом или какой-нибудь деталью на своей скамеечке в конце цеха. Они стояли спиной к рабочим, из-за жужжания и грохота нельзя было расслышать слов, но было ясно, что она пилит его по пустякам, потому что его тонкая шея все время была богровой, пока жена не уезжала. Может, она несколько лет назад поймала его с шикарной дамочкой, хотя едва ли — его как будто больше интересовали мужчины, он все норовил положить руку на плечо рабочему, когда объяснял новое задание. А может, и впрямь что-нибудь было, разве узнаешь, что творится в душе человека, если у него такая жена с кошачьей мордочкой и кудрявая как овца, а два сына в армии, и оба не хотят продолжать его дело?

Когда миссис Эджуорт не было, его терзал Бертон, правительственный инспектор из Бирмингема. Бедняга Тед! Этот Бертон форменный Гитлер, он все напирал на то, что, мол, Тед — старый и тихий мерзавец, хоть он и хозяин и с него нельзя слишком многого требовать, потому что он наживает тысячи на жирных правительственных заказах, выполнение которых Бертон время от времени проверяет. Бертон был выше Теда ростом, плотного сложения, горластый, и, когда работу делали не очень хорошо, он орал, что Тед пытается всучить всякую дрянь правительству, которое и так с 1939 года израсходовало все, что имело, и едва не обанкротилось. Как-то в Бирмингем на оружейную фабрику отправили две тысячи прицелов, и у всех прорези были такие кривые, что ружья эти перебили бы вместо фрицев наших собственных солдат. Бертон специально приехал на машине и увидел целые ящики этих прицелов, которые преспокойно продолжали изготовлять. Он оттолкнул смущенного Теда, встал на ящик, закрепил прицел в тисках и, измерив его, показал Теду. Несмотря на шум станков, слышно было, как он орет, а кончилось все тем, что он опрокинул — может, случайно, этого никто не знал — целый ящик с прицелами на пол. Потом он гордо вышел и укатил, а Тед начал

кричать на наладчиков и контролеров, но это не помогло ему восстановить свой авторитет.

Шум и ссоры везде и всюду, но Брайн надеялся все же, что дома после утренней вспышки станет потише. Слишком тесно у них, вот что, да и на фабрике тоже. Часто Брайн клал на багажник велосипеда корзиночку с бутербродами, бутылку молока и карту и отправлялся на север, через поля и через опушку Шервудского леса. Весенний запах древесной коры напоминал ему дни, проведенные когда-то в Ноуке, и совсем уже недавние прогулки с Полин по Вишневому саду. С ней он тоже иногда ссорился, хотя в последнее время дело пошло на лад. Как-то в воскресный вечер через несколько месяцев после того, как они расстались, он вместе с Альбертом Ломаксом проходил мимо муниципалитета, возле самых львов, и вдруг увидел Полин, которая разговаривала на ступеньках с подружками. Все они были нарядно одеты, как всегда по воскресеньям, и прогуливались по Слэб-сквер, взад и вперед, чтобы на людей посмотреть и себя показать; как раз в это время они остановились, то ли выслушать увещание представителей Армии спасения, то ли послушать здравый совет оратора-коммуниста, то ли поспорить с каким-нибудь понаторевшим в Библии старым пророком в треугольной шляпе, таким худым, что можно было подумать, будто у него сперли продовольственные карточки.

Когда Брайн улыбнулся ей, Полин помахала в ответ рукой — наверно, она рада была его видеть. Раньше он никогда не замечал, какая она бледная. Как будто у нее желтуха. Он подошел к ней вместе с Альбертом.

— Привет, детка. Как живешь?

— Хорошо.

— Не стой здесь на ветру, а то простудишься.

Хотя они давно были в ссоре, он все еще испытывал к ней нежность. Подружки ее стояли чуть поодаль, задорно отвечая на шуточки проходивших мимо парней. Он ощутил муки ревности, подумав о том, что могло произойти за время их долгой разлуки — огромное скопище чуждых, безвозвратно потерянных дней. А в чем дело, что, собственно, случилось? Им следовало лучше относиться друг к другу, и ее вина, что это не так.

— Я совсем здорова,— сказала она. — И не простужалась уже много-много недель. Ты куда идешь?

— Прогуляться. А ты?

— Тоже.

«Поклонников ты тут ищешь,— подумал он.— И ты, и твои подружки, вон они там болтают с какими-то ребятами». И он разозлился на себя за эти невысказанные слова, потому что Полин, как ему показалось, погрустнела и даже как-то съежилась со времени их последней встречи.

— Ты еще ходишь по субботам в «Капитолий»?

— Нет.

Она смотрела на гуляющих с таким видом, словно ей хотелось затеряться среди людей и избежать этой встречи, которую она, поддавшись доброму чувству, так опрометчиво допустила.

— Я так и думал,— произнес он. У него появилась надежда, что она снова будет гулять с ним.— Я туда часто ходил, все надеялся встретить тебя.

Она на это не клюнула, как он ожидал; наступило неловкое молчание. Он и вправду ходил в последнее время в «Капитолий», надеясь, что она придет на семи- или десятичасовой сеанс и медленно подойдет к очереди, в которой будет стоять и он,— хоть и знал, что подобные встречи обычно не случаются, когда их ждешь или ищешь: они бывают только тогда, когда мысль об этом запрятана где-то глубоко-глубоко, вот

как теперь. Ее подружки уже расстались с ребятами, и даже Альберту не терпелось прогуляться до Трента.

— А как твой отец? — спросил Брайн, протягивая ей сигарету.

— Он умер,— ответила она, отказавшись от сигареты.

Брайн уже готов был улыбнуться и сказать, что его не проведешь, и тогда все было бы кончено между ними, если б он вовремя не удержался, сказав только:

— Да что ты...

— Умер полтора месяца назад,— сказала она, не заметив, что он ей не поверил. И сомнения Брайна рассеялись, потому что он, как ему показалось, увидел на ее бледном лице следы горя, а в чуть поблескивавших глазах — боль раненой души. Он помнил, как это поразило его — чувства в нем смешались, он взял ее за руку. Она подумала, что он хочет выразить свое сочувствие, но он крикнул со злобой:

— А почему ты мне не сообщила?

Она вздрогнула.

— Я ведь не могла тебе позвонить, правда?

— Но ты же знаешь, где я живу, знаешь?

— Ну и что же! — воскликнула она. Альберт остолбенел, пораженный неожиданно вспыхнувшей ссорой. — Ты ведь тоже знаешь, где я живу, правда?

Сознавая ее правоту, он помолчал, потом сказал уже тише:

— Мне жаль твоего отца, детка. Я очень любил его.

— Знаю,— сказала она, все еще сердясь на него за то, что он затеял ссору здесь, при людях.— Но не доводи же меня до слез.

— Ну, ладно, ладно, я просто хотел сказать, что мне его жалко.

Они стояли на сильном ветру, и он все думал, отчего это она и ее подружки выбрали такое странное место для флирта. Она отвернулась от него, чем-то глубоко уязвленная, и он никак не мог понять, чем именно.

— Мог бы зайти ко мне,— сказала она. — Ты что, думал, я за тобой бегать буду?

Он стал оправдываться, говорил, что ему это и в голову не приходило, хоть он знал, как это просто — постучать в дверь и спросить, дома ли Полин; но он предпочитал околачиваться возле кино в надежде встретиться с ней случайно; и вообще он нередко выпивал и шатался с Альбертом, да и она, наверно, бегала за мальчиками со своими подружками. Это уж как поглядеть на дело. Но он не хотел говорить ей сейчас этого— еще расстроится вконец. Когда он узнал о смерти Маллиндера, словно какая-то пустота возникла вокруг него и в нем самом, и ему как будто нечем стало дышать.

— Пойдем на той неделе в клуб,— предложил он, ожидая, что она отвернется и прогонит его. — Там можно повеселиться,— добавил он.— Альберт приведет свою девушку.

Она повернулась к нему с улыбкой.

— Пойдем, если хочешь. Только не в среду, а то я по средам голову мою.

— В четверг,— сказал он, снова поверив в счастье. — У тебя усталый вид, детка, давай выпьем где-нибудь чашку чаю.

Она оставила своих подружек и ушла с ним и с тех пор каждую неделю приходила в клуб. Все пошло по-старому, но вместе с тем и как-то по-другому. Он думал об этом, пуская свой фрезерный станок, невидимые стальные зубья которого мягко, как в масло, впивались в алюминиевое литье, прорезая канавки с такой точностью, что даже Бертон не мог бы придраться. Облитые эмульсией стружки скапливались на зажиме и столе, и он время от времени сметал их щеточкой. Полин привыкла к клубу, как утка к воде, и хотя ссоры у них все еще быва-

ли, обычно они успевали помириться до прощального поцелуя. Теперь ссоры эти стали не такими грубыми, оба боялись прорвать тоненькую нить самообладания и поссориться всерьез. Брайн стал нежнее и заботливее, он понял, что ее прежние ребяческие выходки были вызваны всего-навсего желанием быть такой же, как другие. Она даже злилась иногда на его постоянную заботливость и все же ни за что не захотела бы, чтобы он вспылил и чтобы снова начались пререкания. Любовные ласки были теперь естественным продолжением их спокойных и долгих совместных прогулок, а это значило, что нежность их стала теперь иной.

Дедушка Мертон видел, как они однажды вечером рука об руку гуляли, и рассказывал Вере, что Брайн и его девушка совсем как настоящие влюбленные, когда гуляют вот так весенними вечерами. Мертону уже перевалило за семьдесят, у него было худое насмешливое лицо, некогда казавшееся Брайну похожим то на лицо огрубевшего Дон-Кихота, то на профиль Георга V, отчеканенный на монетах; только лицо этого кузнеца, гладко выбритое, было как бы сочетанием обоих лиц,— высокий прямой старик, все еще крепкий, по-прежнему выпивавший каждый вечер свои семь или восемь пинт пива к большому недовольству Лидии, которая считала, что уже пора кончать с этим, но даже теперь не решалась сказать ему это прямо. Было время, она побаивалась палки, которой он бил своих собак, и теперь, в сорок пять лет, все еще испытывала страх, когда он замахивался палкой. Лидия была не замужем, жила дома и много раз говорила Вере и Аде:

— Старик все такой же стервец, закатывает бедной маме концерты, невольно думаешь, когда же он наконец помрет.

Но старик всегда был скандалистом и умирать не собирался.

— Буду пить, черт подери, то, что мне нравится,— сказал он, когда Мери стала его убеждать.— И покуда ты сама сыта, не смей указывать, что я должен делать, а чего не должен.

Зная, что он очень любит пиво и всегда настоит на своем, она больше не заговаривала об этом. Но он никогда не напивался до бесчувствия.

Когда Хэролд Ситон еще ладил с тестем и тещей, он раз заглянул к ним в воскресенье днем и пошел с Мертоном выпить. Приехали они на автобусе в «Адмирал Родни» в Уоллатон-виллидж, потом прошлись назад по солнцепеку до «Короны», потом до «Мидленда», потом до «Белой лошади», а потом и до «Веселых разносчиков» — расстояние между кабаками уменьшалось по мере приближения к Рэдфорду — и кончили в «Грегори», причем Хэролд шел пошатываясь, одурманенный пивом и куревом, с трудом борясь с земным притяжением и нетвердо держась на ослабевших ногах, и Мертон шагал прямо и еще пропускал время от времени пинту, во время разговора окликая то одного, то другого своего дружка. И если вспомнить, думал Ситон, как этот старик бывал жесток со своими родными, то просто удивительно, почему это его все вокруг так любят. А все ж Мертон временами бывал совсем неплохим, и работал он здорово, тут уж ничего не скажешь. Ситон любил встречаться с ним, но не очень часто. Даже теперь, когда ему самому было уже за сорок, он чувствовал себя как бы его сыном, и, так как родной его отец уже двадцать лет как умер, ему не нравилась привычка старика командовать.

Ситон любил пиво не меньше других, и это несколько сближало его с тестем. Он получал пять фунтов в неделю и по вечерам в субботу и воскресенье обычно ходил вместе с Верой в пивную и распевал там во все горло свои любимые старинные песни. В такие дни его темные глаза, широкое желтоватое лицо и круглую черную голову можно было увидеть в излюбленном его кабаке «Маркиз Лорн». Впервые за все время супружеской жизни он купил себе костюм — конечно подержанный,

с чужого плеча, но все же это был костюм, в котором он чувствовал себя солидно, чувствовал, что сам себе хозяин, когда приходит домой с работы. У него водились теперь деньги, он мог купить материал, и краску, и гвозди, и запасные части для велосипеда, и радиоприемник, но все эти вещи, с которыми жить веселее, трудно было найти, потому что шла война. Он делал для семьи все, что мог, хотя и считал жену и пятерых детей неблагодарными. Что это за жизнь? Человек не вправе даже со своей хозяйкой повздорить — сразу встает сын и грозится размозжить ему голову. Ну ничего, когда-нибудь все переменится. Ему было горько видеть от них так мало любви, хотя он для них много сделал за эти последние двадцать лет, даже два месяца отсидел в тюрьме за то, что стащил жратву, а это тоже ведь был не пикничок; а на каких он только работах не побывал, как ему приходилось хитрить, когда являлся агент, обследовавший их материальное положение.

«Я все-таки думаю, Брайн меня уважает, хотя мы тут с ним немножко и повздорили, вот ведь купил он мне в прошлом году новые вставные зубы за девять фунтов, это после того, как я по пьянке свои потерял в уборной. Ему ведь долго пришлось копить со своих получек, так что я не думаю, чтоб мы с ним друг друга ненавидели, хотя и случается иногда повздорить. Ей-богу, не может же все быть гладко, никак не может. Хорошо, что есть работа, и голодными мы не сидим, и нас не разнесло на куски бомбой». Ситон весь день орудовал своей лопатой во дворе велосипедного завода, нагружая кучи медных стружек на грузовики, которые отвозили их к вагонам с металлоломом. Ему едва перевалило за сорок, это был плотный здоровяк, обладавший железной силой, и он знал, что в то утро он мог бы стереть Брайна в порошок за десять секунд, если бы стал его бить, но, в отличие от Мертона, ему почему-то легче было ударить жену, чем кого-нибудь из детей: самая мысль о том, что он будет драться с разумным и работящим Брайном, казалась ему страшной и невозможной. А Мертон, колотивший своих детей, никогда не трогал Мэри.

Брайн ничего не имел против встречи со своим дедом, когда гулял с Полин по Уоллатон-роуд, и заметил, как тот лукаво подмигнул ему.

— Привет, пострел, ты куда это собрался?

— Гуляем.

Мертон поглядел на Полин.

— Крутим любовь помаленьку, а? Вы, наверно, в Вишневый сад?

«Господи,— подумал Брайн,— сейчас что-нибудь ляпнет».

— А хоть бы и так,— ухмыльнулся он.

— Как тебя зовут, детка?

Полин назвала свое имя. «Сейчас к ней привяжется, надо держать ухо востро,— подумал Брайн.— Ну, я тогда пожалуюсь бабушке».

— А я думал, вы идете в Эфиопию,— улыбнулся Мертон, глядя на Полин.— Этот вот молодой поганец так говорил обычно, когда был ребенком. Ежели я нажму на него, бывало, и заставлю слишком много работать, он встает и кричит: «Чтоб вы все сгнили, я пошел». «А куда ты пошел?» — спросит его, бывало, тетка. «В Эфиопию»,— говорит и как дунет в Рэдфорд. Ох и поганец же он был, ох и стервец.

Брайн удивлялся, как Мертон ловко сочиняет не сходя с места, но потом вдруг понял, что все это было на самом деле, хотя сейчас все уже похоронено глубоко в его душе, и если бы он вспомнил про это когда-нибудь, ему показалось бы, что с тех пор прошла целая вечность, а на самом-то деле все было совсем недавно, какой-нибудь год или два назад, и теперь он мог вспомнить это так же ясно, как помнил двери дедовского дома. «Интересно, что он еще скажет?» — подумал Брайн.

Полин улыбнулась:

— Что ж, по-моему, он и теперь такой же поганец.

— Я всегда знал, что он таким останется,— сказал Мертон, собираясь продолжать свой путь. — Ну, пока, Брайн. Глядите в оба.

— Симпатичный он, твой дед,— заключила Полин, когда они повернули к Вишневому саду, чтобы в сумерках предаться любви в какой-нибудь укромной лощинке за бугром и провести там час в полном молчании, прежде чем певучие призывы кукушки раздадутся вблизи, откликаясь эхом в Змеином бору.

Клуб был шумный и многолюдный, сюда собирались юноши и девушки, которые ни за что не соглашались вступить в молодежное ополчение, но хотели иметь место, где бы могли встречаться раз в неделю с друзьями. Заправляли клубом две дамы средних лет из лейбористской партии, они устраивали беседы (главным образом на политические темы) и следили за тем, чтобы к концу вечера были готовы горячий чай и бутерброды. После целого дня напряженного труда Брайн чувствовал легкость или, вернее, не чувствовал тяжести, когда вставал, просидев минут двадцать за столом; эта энергия рождалась после того, как ему холодный ветер с Пенинских гор помогал сломить усталость, когда, сняв свой пропитанный маслом комбинезон, умывшись как следует над раковиной и переодевшись, он шагал за добрую милю в клуб.

У ворот его встретил Фрэнк Варли, на его худом красивом лице играла хитрая улыбка.

— Привет, Брайн.— Он махал пачкой каких-то листков. — Видел вот это?

Он был первый грамотей в их компании, работал в страховой конторе и каким-то образом раздобыл непристойные рассказы — он уверял, что их привез, когда приехал в отпуск, его брат, служивший в батальоне связи в Кеттерионте. В глубине души Брайн сомневался в том, что Хорейс Варли мог просидеть целый день за машинкой, сочиняя эти рассказы, хотя, если это действительно так, рассказы чертовски хороши, и он вскоре сможет зарабатывать большие деньги. Но кто-то их все-таки написал, это уж факт. Как и все подобного рода рассказы, они занимали с десяток страниц на машинке через один интервал. В первом из них говорилось о клубе, который организовали жены офицеров в Индии, чтобы развлекаться — их мужья надолго уезжали. От описания этих развлечений у всех горели уши, включая и девочек, потому что нельзя же было лишать их такого экзотического чтива. В другом рассказе описывался недельный отпуск одного солдата в Риме, а в той пачке листков, которую Фрэнк вручил ему, как только он вошел в ворота, говорилось о похождениях одной зрелой девицы и ее сенбернара. Ветер листал страницы, и Брайн под этим предлогом повернулся так, чтобы окружающим не было заметно охватившее его возбуждение. История кончалась тем, что какой-то мужчина пристрелил собаку за то, что она напала на его девочку, а хозяйка не выдержала и умерла с горя. Брайн перечитал все еще раз, так что к тому времени, когда он присоединился к остальным, смущаться ему уже было нечего.

Он поднял листки над головой.

— Кто следующий?

— Никто,— сказал Фрэнк с торжествующей улыбкой.— Все уже прочли.— И указал на Полин с Дороти.

Альберт был погружен в чтение «Совьет уикли», и лишь время от времени поднимал свою квадратную голову от газеты, чтобы сообщить им какой-нибудь удивительный факт о России:

— Тут говорится, что через десять лет после войны у них больше сорока часов в неделю никто работать не будет.

— Не знаю, как это у них получится,— сказал Фрэнк, пряча в карман свои листки. «Вот псих, гаденыш, еще девчонкам дал прочитать,— ругался про себя Брайн.— Додумался же».

— Очень просто,— вступил с ним в спор Альберт.— У нас для этого нужно только одно — собрать мерзавцев, которые за всю жизнь палец о палец не ударили, и заставить их работать: отправить на фабрики, на железные дороги.

— И этаких писак заодно работать заставить,— вставил Брайн, чтобы уколоть Фрэнка.— А то они только и делают целыми днями, что перепечатывают непристойные рассказики и по вечерам приходят сюда, чтобы показать их девчонкам и раздразнить их.

— Может, он себя раздразнил,— сказала Полин.— А меня нисколько. Просто смешно стало.

— А по-моему, это мерзость,— сказала Дороти, и ее смуглое личико из округлого стало каким-то плоским и злобным.

Фрэнк громко расхохотался.

— Эй, старушка Долли! Тебе ж это понравилось.

Альберт расправил плечи, как боксер.

— Ты Долл не трогай. И никому эта дрянь не понравилась, ты, писака.

— Не могут же все у станка работать, сам знаешь,— возразил Фрэнк.

— Кто-то должен подсчитывать наши заработки,— вступилась за него и Полин.— Хотя мой не так уж долго и подсчитать.

— Не беспокойся,— сказал Брайн.— Вот немчуру побьем, лучше станет. Отделаемся тогда от старика Толстопузого и выберем социалистическое правительство.

— Но тебе и тогда придется работать, не так ли?— язвительно спросила Дороти.

— Заткнись, дура,— сказал Альберт, словно забыв, что она его подружка.— Я работать никогда не против.

— А ты придержи язык!— крикнула Дороти.

— Меня это тоже не пугает,— сказал Брайн.— Лишь бы платили.

— А я не понимаю, зачем тебе тогда будут деньги,— сказал Альберт.— Ты все сможешь получить бесплатно, все, что тебе только понадобится. Ведь когда все работают, деньги не нужны. Я читал в «Уоркере», что в России скоро будут хлеб бесплатно давать. Здорово, правда?

Все согласились с ним.

— Только это еще не так скоро будет,— сказала Полин.

На двор легли густые тени — от противовоздушных навесов до уборных, от ворот до велосипедной стоянки. Небо было еще темное, звезды видны, лишь когда вглядишься. Холодная ночь забрела в город, как продрогший путник в поисках тепла, измученный назойливым ветром. Один за другим они запахнули пальто и застегнулись на все пуговицы.

— На это, наверно, лет пятьдесят потребуется,— сказал Брайн.— Но разве это так уж долго? Комар моргнуть не успеет. Надо только сразу начать. Тогда и еды, и одежды, и жилья всем хватит.

Фрэнк выразил сомнение:

— Тут работы до черта.

— Я у нас на фабрике ни одного человека не видел, кто не хотел бы смены правительства,— сказал Брайн.— А ты, Альберт?

Да, никто таких не видел. Война близилась к концу, наступало время перемен, уж это-то все чувствовали.

— Наш старик хочет нового правительства,— сказала Дороти.— У нас тут как-то вечером такой шум был, когда Толстопузый скулил по радио.

Альберт повернулся к ним с широкой и заразительной улыбкой.

— Вот это да! Расскажи им, детка.

— Ну вот.— Она лукаво подмигнула ему.— Толстопузый все скулил и скулил, и тут папаша встал да как даст кулачищем по приемнику, и

на крышке сразу — здоровая трещина. Я думала, он все лампы расшибет. «Забери,— говорит,— это прочь. Ах ты старый поганец»,— говорит. Ну, тут мама ему и сказала, чтоб он не бесился, а он снова как трахнет по приемнику, точно совсем свихнулся, и все бил, бил, да сильно так, пока Толстопузый не начал хрипеть и кашлять, будто вот-вот помрет, а потом радио замолчало. «Зачем это я слушать должен такого паршивого врун а?» — говорит отец, а мама его ну пилить за то, что он сломал радио. Но отец велел ей заткнуться и сказал, что на той неделе новое радио купит. А мне он потом, когда мама наверх ушла, сказал, что его даже током дернуло, когда он в последний раз кулаком стукнул.— Все весело заулыбались.

— А все-таки он спас Англию, правда? — крикнул им издалека Фрэнк Варли.

— Это по-твоему,— сказал Брайн.— Он и его шайка перед войной голодных брандспойтами разгоняли.

— Толстопузый собственную голову спасал,— сказал Альберт,— а не нашу. На нас ему плевать. Это он своих фабрикантов спасал. Разных толстосумов, вроде Эджуорта, которые деньги загребают. Ты мне не рассказывай. У меня у самого глаза есть, и я читать умею.

— Я тоже читать умею,— ответил Варли.— По дороге на работу каждый день «Экспресс» покупаю и весь его прочитываю.

Альберт не был расположен спорить и только улыбнулся:

— А я три газеты каждый день читаю, Фрэнк, потому что лучше знать не одно мнение, а несколько, чтоб никто не сказал, что ты человек предубежденный. Я получаю «Уоркер», «Геральд» и «Миррор». А мама по воскресеньям получает «Рейнольдс», ее я тоже просматриваю.

— Мы тебя в новом правительстве премьер-министром сделаем,— сказал Варли.— Будешь тогда командовать темными людьми, вроде нас.

— Будь я премьер-министром,— сказал Брайн,— я бы перво-наперво отделался от тех субчиков, которые весь день на работе непристойные рассказики печатают.

Миссис Дьюкс медленно вышла из детской комнаты как раз в тот миг, когда Альберт читал что-то вслух из своей затрепанной «Совьет уикли». Она послушала с минуту, прежде чем прервать его, потому что считала Альберта одним из самых умных членов клуба.

— Попрошу Джека Тейлора прийти побеседовать с вами через неделю или две,— сказала она наконец.— Он социалист, и вам будет интересно.

— Нелегкая предстоит ему работенка — обращать нас в свою веру, миссис Дьюкс,— улыбнулся Брайн.— Мы-то ведь тоже социалисты.

— И все же,— сказала она,— вам следует знать больше, чем вы знаете сейчас.

И они отправились за чаем и бутербродами, а потом разошлись по домам.

Он стоял с Полин у задней двери дома Маллиндеров — проведенный вдвоем спокойный вечер кончался бурей поцелуев. Расставаться им не хотелось, время бежало незаметно. Мать Полин уже легла, оставив их прощаться наедине. Под темными окнами кралась кошка, собака со звоном волочила цепь по холодным каменным дорожкам чьего-то садика, а они, укрывшись от ветра в подъезде, прижимались друг к другу в полудреме, горячие и неутомимые, и целовались, целовались без конца. «Это любовь»,— говорил он себе.

— Я никого так не любила, Брайн,— сказала она ему на ухо.

— Что?

— Мне пора, но я не хочу уходить. А надо идти, милый.

— Подожди,— сказал он.
— Мне и самой не хочется.
— Не уходи, я не могу тебя отпустить.
— Здесь так хорошо,— сказала она.— Мне здесь нравится, ты так близко. Вот если бы всегда было так, как теперь.
— Будет,— сказал он,— я хочу сказать, что я тебя понял. И я люблю тебя.
— Я побуду с тобой еще,— сказала она.— Завтра на работу, но все равно.

Работа была как бы неизбежной вехой, которую они видели отовсюду: какой бы сладостной ни была ночь накануне, хорошо тебе было или нет, назавтра — работа. И ты должен встать утром, когда бы ты ни лег.

Луна провожала его домой, следуя за ним весь долгий путь через безмолвие маленьких садиков, и он курил сигарету, чтобы согреться и чтоб вообще веселей и спокойней было идти по этой пустынной дорожке — той самой, наверно, по которой он бежал когда-то, лет пятьсот назад, из «Лошадиной головы», сжимая ручки двух пивных кружек, а Берт бежал следом за ним, чтобы сказать, что все в порядке. «Все в порядке, все отлично»,— он улыбнулся, пуская струю дыма в сырой воздух ночи. Через несколько дней война кончится, и теперь уж ничего на свете не может помешать этому. И тогда мир переменится, во всяком случае, для него он станет иным, потому что он не так уж давно живет на свете, чтобы знать, как бывает, когда кончается война.

И она кончилась: люди срывали и тащили в одну кучу — в костер — все деревянные решетки с противовоздушных навесов и убежищ. В «Белой лошади» пухлая горластая баба лет пятидесяти в серьгах отплясывала на столе канкан, стуча каблуками среди пивных кружек и высоко задирая ноги, показывая свое мешковатое трико, размалеванное в кричащие цвета британского национального флага.

Брайн сидел в пивной вместе с Полин и своими родителями, осушая кружку за кружкой и громко подхватывая песню, наслаждаясь бесшабашным весельем, которое, точно порох, вдруг вспыхивало в толпе, и только часы продолжали медленно отмерять время. И все же иногда он переставал петь, чтобы вглядеться в лица, в десятки лиц, и видел за ними жизнь, вставшую перед ним с такой печальной очевидностью, что песня отступала на задний план и в конце концов становилась совсем не слышна. Все были взволнованы, потому что война кончилась, но он еще не мог поверить в это. То была пьяная ночь, пьяней, радостней и разгульней всех других ночей, но что она изменит для них, для всех? Завтра они проснутся с головной болью и увидят в окно те же дворы, тот же ряд уборных, услышат то же жужжание фабричных станков. Он вспомнил, как несколько дней назад, вернувшись домой с работы, увидел страницу «Дейли миррор» и ему открылось такое, чего он никогда не забудет: рвы смерти в Бельзене, картина ужасов, клещами сжавшая ему мозг. Он сложил газету, не прочитав в ней больше ни слова — все остальное казалось неважным,— и запомнил это на всю жизнь. «Нет, конец войны что-нибудь да значит,— думал он, поднимая новую кружку пива, поставленную перед ним отцом,— и многое значит: эти надоевшие дворы и Бельзен, мы покончим и с тем и с другим».

Хмель притупил мысли, и теперь он блаженно улыбался — победа так победа. Полин, мама, отец сидели за столом, надрывая глотку, обнимая друг друга за плечи, и все это были люди, которых уже по меньшей мере шесть лет подряд изматывали угроза мобилизации и продовольственные карточки, воздушные налеты и военно-полевой суд. И вот все кончилось, пришла победа, победа над всем этим, а не только над немцами, так чего ж еще желать и как тут не петь от счастья на самой большой попойке, какую он только помнит?

Вера и Ситон пили с самого утра, и теперь Брайн помогал отцу идти по освещенной и в полночь Эддисон-роуд, а Полин шла сзади с его матерью и с детьми. Ситон тяжело опирался на сына и, глотая слова, пытался извиниться перед ним, но вдруг прижал руку ко рту, чтобы удержать выпадавшие вставные зубы. Брайн крепко стоял на ногах и был достаточно трезв, чтобы идти самому и вести отца.

— Пошли, отец. И не наваливайся так на меня, а то я упаду.— Он обернулся: — Ты как, мама?

— Я ей помогу,— сказала Полин.

— Да-да, моя детка! — закричала мать, совершенно пьяная.— Вот домой придем, я тебе ужин приготовлю, милок.

— Да, уж это будет нелегкая задача.— Брайна рассмешило, как серьезно она выговорила это заплетавшимся языком. Он любил их обоих, и грузного Ситона, нажимавшего ему на плечо своей жесткой рукой, и мать, которая шла сзади, такая веселая и беззаботная; но больше всего — Полин, которая на их самозабвенном пиршестве была почему-то так близка ему, будто они очутились одни среди леса.

Последние языки пламени взметнулись из костра в конце улицы. Герти Роу прыгала через костер, а ее четыре сестры, взяв за руки всех ребят со своей улицы, водили их вокруг огня в быстром и бурном хороводе.

Полин укладывала детей спать, а Брайн позаботился о том, чтоб отец и мать мирно улеглись в свою постель. Потом он спустился вниз к Полин, а она ждала его, сидя на коврике перед огнем, пылавшим в камине.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила она.

— Отлично,— ответил он,— хоть я пинт восемь выдул.

Она сняла джемпер и бросила его на спинку стула.

— Это тебе только на пользу. Отец наш часто пил пиво, так что я знаю. И я бы не стала дружить с человеком, который не пьет.

— Ну, раз так, тебе на меня жаловаться не придется,— сказал он с усмешкой.— Не то чтоб я был горький пьяница, но иногда люблю выпить.

Бедняга Маллиндер — слишком уж счастливое то было время, чтобы не вспоминать о нем. Пришел человек в мир и ушел из него; из праха и во прах, и так каждый из нас, всему есть начало и конец. Он стоял у полки, глядя на Полин сверху вниз: длинные темные незавитые волосы падали ей на плечи, полная грудь обрисовывалась под тканью, ноги она поджала. Она курила «Парк драйв», курила так, подумал он, словно никогда не держала в руках сигареты или не знала, что сигарета зажжена,— не затягиваясь, подолгу глядя на огонь.

На дворе слышались шаги; люди громко желали друг другу спокойной ночи. Детские голоса стихли, и теперь, когда дети легли спать, погасли костры на улицах. Кто-то прошел в уборную, потом через несколько минут спустил воду и протопал обратно, пожелав по дороге спокойной ночи соседу. Это Местер Саммерс, подумал Брайн, он всех узнавал здесь по голосу, как бы пьян ни был его обладатель. Двор затих, и шумное празднество вокруг огня прекратилось; костер остался догорать в одиночестве.

— Тебе хорошо, детка? — спросил он нежно.

— Да. А тебе?

— Мне тоже.

Он отодвинул стулья, снял подушки с дивана и положил их на коврик.

— Тебе было весело?

— Мне понравилось в пивной,— сказала она.— Приятно иногда песни петь.

Он сел рядом с ней.

— Да, конечно.

— С тех самых пор как Бетти выходила замуж, такой ночи не было.

Она швырнула сигарету в камин и смотрела теперь, как сигарета сбрасывает свою бумажную одежку, словно намереваясь нырнуть. Они поцеловались и прилегли на коврике. Зная, что никто не помешает им сегодня, он стянул юбку, блузку и белье с ее белого, трепетавшего в горячем ожидании тела. Лицо ее пылало от близости горящего камина и от неизведанного чувства, вызванного тем, что он видит ее наготу. Она потянулась навстречу его ласкам, и они бездумно слились в поцелуе, а потом, когда он тоже разделся, они снова слились в медленном и чудесном объятии и, закрыв глаза, отдались желанию, которое ни один из них и не думал сдерживать.

Оделись они молча. Он подошел к дверям и встал там, глядя во двор, все еще задыхаясь от лихорадочного огня, пылавшего в нем. И он чувствовал, как радость поднимается в его сердце, переполняя его через край, потом вдохнул холодный ночной воздух и подумал, что уже пора отвести Полин домой. С улицы из потухших костров тянуло запахом пепла и жженой бумаги. Бесчисленные дома стояли в безмолвии. Это был хороший запах, и Брайн знал, что он теперь означает для него: весеннее пламя победы и любви. Фабричные станки по-прежнему наполняли воздух гудением, таким всепроникающим и привычным, что, хотя Брайн сам вызвал этот гул силой своего воображения, он не заметил его. Фабрика не останавливалась! Ни на минуту. Гул все плыл и плыл, несмотря на торжество и огни победы, плыл, не замирая. Работа — в этом было что-то хорошее, это было лучше многого другого, что несла на своих медленных колесах вечно движущаяся колесница жизни.

Полин подошла к нему, уже в пальто, готовая идти домой. Она ни разу не напомнила ему сегодня, что мать будет сердиться — прошла уже половина ночи, а ее все еще нет дома. И оба почему-то не придавали теперь этому никакого значения. Они шли, взявшись за руки, по улицам, мимо погасших костров, и кое-где в них светились красные глазки, притаившиеся, но еще яркие. А через несколько месяцев снова вспыхнули огни победы, и красные плакаты появились в каждом окне, красные лозунги мелькали в руках у каждого ребенка, красной, как уличные костры, была сама победа, которой ждал народ.

19

Он закрыл двери пораньше, укрываясь от целых полчищ насекомых, атаковавших его превосходящими силами, и от багрового закатного неба, проливавшего остатки света на синеватые заросли кустарника, на лес и на взлетную дорожку, которая словно распласталась в глубоком сне. Он покрутил гониометр, точно колесо рулетки, и прибор указал на восток — направление, противоположное тому, о каком он мечтал. Пока что ни один самолет не пробивал морзянкой треск атмосферных разрядов, и Брайн опустился в плетеное кресло, усталый, скучающий, раздраженный мыслью о том, что впереди еще двенадцать часов до рассвета и до смены. Больше уже нельзя было палить из винтовки по теням, винтовку отобрали, чтобы партизаны, напав на радиорубку, по-прежнему стоящую на отлете, не могли захватить ее и подстрелить затем какого-нибудь плантатора или солдата. «Меня-то они при этом убили бы, но это уже не так важно, покуда винтовки они не раздобыли. Вот посмеялся бы отец, если б ему рассказали, в какой я попал оборот: «Ага, а я тебе что говорил? Говорил тебе — не иди в солдаты? А ты что сделал? Пошел, так ведь? Вот подстрелят тебя, будешь тогда знать, поделом тебе.

И не беги ко мне плакаться, болван». И так далее, в том же духе. Что ж, он тоже был прав. И все-таки тут еще есть пятьдесят обойм с патронами, которые на склад боеприпасов никогда не попадут, это на тот случай, если партизаны придут и скажут: «Патроны или жизнь». А если они и пристрелят меня, потом всякий, кто половчее, без труда найдет эти патроны. Да, отец, наверно, сказал бы, что я болван, потому что я и на Гуноиг-Барат карабкался, и хоть мы до вершины не добрались, я бы ни за что на свете от такого похода не отказался. Когда мы туда пошли, я добрых сто пятьдесят фунтов весил, а теперь только сто тридцать, и сколько б я ни жрал (а я теперь все время голодный), мне уж все равно столько весу никак не набрать. Так что мне в двадцать фунтов мяса обошлось убедиться, что Гуноиг-Барат не стоит того, чтобы на нее лезть».

Он увиделся с Мими в первый же вечер, как только вернулся, хотя все эти дни в горах не думал о ней. Они мало говорили, быстро и яростно стиснув друг друга в объятиях на ее узкой кровати. В охватившей его страсти он зарычал, как зверь,— это джунгли рвались наружу из его души. И все было как в ту первую ночь на склоне горы — ветви сплетались у него в мозгу, а сучья и листья все стояли перед глазами. Он пылал лихорадочным жаром и, казалось, вот-вот загорится, и погружался, точно раскаленное железо, в теплую воду. После жесткой земли джунглей ему было трудно уснуть. Она разбудила его в полночь; они немного поговорили, а потом он опять уснул.

Брайн вышел из рубки помочиться. Ночь была тихой и теплой, а небо словно замерло, такое звездное в эту ночь. «А ведь меня любой, спрятавшись в траве, подстрелить может». При мысли об этом спина его покрылась испариной, но он не спешил вернуться под крышу. «Подумать только, подстрелит и даже не догадается, что я ведь ему друг и даже пошел бы с ним в джунгли помогать ему там, если бы он меня об этом попросил. А я только почувствую удар в затылок, и уже через секунду буду мертв, и только, может, голос старика своего услышу напоследок: «Говорил я тебе!» Я мог бы спокойно сидеть себе в Ноттингеме и зарабатывать десять фунтов в неделю у Рэли, вместо того чтобы торчать неизвестно чего ради тут, в этой жарище и воевать против друзей». Брайн вернулся в рубку и надел наушники: ни черта не слышно. Зато во время дневного дежурства целый десяток четырехмоторных бомбардировщиков летал над горными джунглями, требуя как можно скорее пеленг. И временами им приходилось так туго, что сменщик его, войдя, сразу прыгал в кресло и начинал работать на ключе, даже не успев поздороваться или попрощаться.

«Есть у меня винтовка или нет винтовки, все равно первая же партизанская очередь прошьет эту рубку насквозь и напишет «Сталину слава» на моей костлявой груди. И я даже не успею выскочить с поднятыми руками и заорать: «Не стреляйте, товарищи! Это я, Брайн! Я слушал, как ваши друзья выступали возле фабрики Рэли всего года два назад, и я покупал их брошюрки и портил себе глаза, читая все это». Его глухой смех эхом вернулся к нему, отразившись от стен рубки. «А почему я позволил втравить себя в такое дело? Я мог дезертировать или сесть в тюрьму, как Колин и Дейв. Я сказал Нотмэну:

— Не хочу идти против коммунистов.

— А тебе выбирать не приходится,— ответил он.

— А может, и придется. Вдруг представится случай, и я смогу им помочь?

— Смотри не впутайся в какую-нибудь историю, а то пожалеешь,— сказал Нотмэн, прихлебывая пиво.— Вся эта система сама сгниет, нечего тебе головой рисковать. Неважно, победят коммунисты в Малайе или нет: рано или поздно они мирным путем захватят весь мир. Может, ты

до этого и не доживешь, но, как сказал Билл Шекспир, это когда-нибудь свершится. И чертовски верно сказал. Выпьем за это».

Брайн разложил костер около рубки, длинные пахнущие смолой языки пламени прыгали в темноту, как африканские дротики, скрывая закопченный чайник, стоявший на грубом очаге из камней. Огонь образовал светлый круг в гнетущем мраке, куда Брайн не мог ступить. Он вдруг вообразил, что отлично освещен здесь, на темном фоне радиорубки. А что, если разведка партизан окажется поблизости! Пули, посланные в него, собьют его с ног, а удар приклада покончит со всеми радостями жизни, и не видать ему Полин и ребенка, разрушит все воспоминания, уничтожит все надежды, сотрет все — и теперешнюю усталость, и скуку, и башмаки, согретые костром, и воспаленные от бессонницы глаза.

Он был отличной мишенью для снайперов. Вокруг рубки, на тонкой проволочке, были подвешены банки из-под бензина, так что всякий, кто стал бы подползать в темноте, непременно поднял бы шум, банки загремели бы, ударяясь о каменистую землю. И Брайн уже видел, как он гасит свет и прыгает в высокую траву, прихватив заржавленный штык, а они тут будут искать боеприпасы или, может, запасные части для рации, хотя он с трудом представлял себе, каким образом он уцелеет и, может быть, еще станет свидетелем разграбления рубки.

Радиомеханики подвели ток к проволочной загородке и заправили огнетушители серной кислотой. Хорошо, если бы на проволоку наткнулся дежурный офицер или какие-нибудь сержанты, потому что, как говорил Нотмэн, «те, кто кричат «В атаку» или «Вперед, ребята», и есть твои злейшие враги».

Караулы у ворот лагеря были удвоены и вооружены теперь винтовками вместо карандаша и блокнотика для записи всех, кто приходит не вовремя. Несколько рот малайской полиции патрулировали район. А две или три ночи назад двое полицейских даже подошли к рубке и, набравшись храбрости, постучались в дверь. Он заварил им чаю и дал матрасы, чтобы они соснули часок, посочувствовав им, вынужденным бродить в темных джунглях. Сам он бодрствовал у передатчика и разбудил их на рассвете, чтобы они успели вернуться в лагерь. Он вспомнил, как этих же полицейских уволили неделю спустя после того, как их застали спящими возле отделения радиомехаников; и, уходя из лагеря после военно-полевого суда, снова одетые в сари и треугольные шляпы, они с радостной улыбкой тащили на станцию свои дешевые чемоданы. Вот бы со мной такое же случилось!

Проволочные загородки были отремонтированы и строго охранялись, как и заграждения на дороге между паромом и взлетным полем, где несли караул малайцы и добровольцы из плантаторов, вооруженные дубинками и дробовиками. Партизаны предъявили ультиматум, потребовав, чтобы все европейцы убрались из Малайи в месячный срок, и большинство солдат в бараке связистов рады были бы удовлетворить их требование. Брайн был тоже всей душой за это, но Бейкер, как всегда спокойный и рассудительный, сказал ему, что все это происки китайских коммунистов, а уж если кто и должен управлять Малайей, так это сами малайцы. В любом случае Малайя на пути к самоуправлению, хотя путь этот длинный, и, конечно, китайцы должны принять здесь участие, потому что они численностью превосходят все другие национальности на полуострове и являются костяком страны, ее мозгом. А китайские коммунисты, продолжал Бейкер, воспользовавшиеся, как и следовало ожидать, напряженным положением в стране, составляют здесь лишь незначительное меньшинство, которое хочет отделаться от англичан и установить собственную диктатуру. И если ты веришь в демократию, то ты должен сделать все возможное, чтобы усмирить этих террористов.

— Ты, я вижу, не те газеты читаешь,— сказал ему Брайн.

— А ты вообще никаких не читаешь,— сказал Бейкер.

Чайник закипел, Брайн стал заваривать и пить чай, скоротав кое-как еще час. Он ел хлеб с сардинами и просматривал «Сэтердей ивнинг пост», потому что читать длинные статьи у него не хватало терпения. Атмосферные разряды так громко трещали в наушниках, что он не услышал бы, даже если бы рядом прогрохотал танк, не то что слабый предостерегающий звон жестянок о каменистую почву. «Не дождусь, когда я наконец вернусь к тебе,— писал он Полин.— С этой дырой покончено, хотя вначале мне тут нравилось. Теперь уж я наверняка знаю, что с меня хватит. Ведь ушел я, можно сказать, добровольцем, мог бы остаться в Англии, если бы захотел. И все же, хоть и жестоко было уехать от тебя в такую даль, я доволен, что побывал тут». Ему хотелось вымарать последние фразы, но он оставил их и продолжал: «Чувствую себя сейчас хорошо. Правда, хотелось бы, чтоб ты была рядом. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, что бы я стал делать, ты, конечно, и так догадаешься. Жаль, что я так далеко». Он остановился, чтобы поймать паука, перебегавшего стол,— красный шарик на волосатых ножках,— загнал его в угол и, когда паук в отчаянье прыгнул на пол, убил его молотком. «Он мог бы укусить меня, а это смерть; так и до Англии не доберешься, если не глядеть в оба». «Всего через полтора месяца, милая, я буду на борту судна, которое повезет меня к тебе. Так что готовься и смотри хорошенько за малышом, да поцелуй его за меня. Ох и здорово будет вместе». Конверт был исписан условным шифром: «ИТАЛИЯ», «ЗНП» — «Искренне тебя, ангел, люблю, изнываю я», «Запечатано нежным поцелуем».

К часу ночи он чувствовал себя так, будто кости его вот-вот расплавятся, а душа окаменеет. Послав свои позывные всем станциям, он не получил ответа. Тогда он положил тюфяк на стол, взгромоздился на него, через несколько секунд сознание его уже было сковано сном. Железная рука собрала воедино обрывки мыслей, обратив все в какой-то кошмар, и безжалостно терзала его усталое тело. Началось все это незаметно, понемногу, и вначале было терпимо, но потом он словно оказался запертым внутри гудящего барабана и наконец проснулся, испуганный и злой. Он собрался с силами и громко крикнул:

— Кто там?

Сердце его дрогнуло. «Вот и моя очередь, хотя они не стреляют сразу, так что, может, я еще сумею договориться, например, выдать им какие-нибудь военные тайны». Он поискал глазами оружие.

Схватив со стола молоток, Брайн распахнул дверь. Свет ослепил его, и сначала он ничего не увидел. Потом, различив офицера и сержанта, швырнул молоток на стол.

— Я не слыхал, как вы подъехали,— сказал он, разглядев черную тень джипа под антеннами,— работал на передатчике.

Они огляделись. Сержант, маленький, юркий, с рожей, как у Аль-Капоне, держал наперевес автомат.

— Дежурный офицер! — рявкнул он так, будто ожидал, что Брайн вскочит по стойке смирно и набросит парадную шинель на голое тело, замасленные шорты и незашнурованные домашние туфли.

— Вы здесь один? — спросил дежурный офицер.

Это был офицер военно-воздушных сил, высокий рыжий еврей лет тридцати с лишним, похожий скорее на Голиафа, чем на Давида, с классической фигурой деревенского кузнеца. Брайн кивнул.

— А зачем тут эти жестянки вокруг будки? — спросил сержант.— Я чуть ноги не поломал.

— Какие жестянки? — спросил Брайн, сразу превращаясь из просвещенного радиооператора в рэдфордского деревенщину.

Офицер взглянул на приемник.

— Самолеты есть?

— Сегодня нет,— сказал Брайн и добавил: — сэр,— когда Аль-Капоне злобно взглянул на него.

— А где ваша винтовка?

— У меня ее нет, сэр. У нас, радистов отдаленных станций, все отобрали на случай нападения бандитов, чтоб винтовки им не достались.

— Наверно, вам без нее не очень-то весело,— сочувственно сказал офицер.

— Мне все равно.

— А зачем ты дверь запираешь? — спросил Аль-Капоне.

— От насекомых.

— Душно здесь? — Брайн молчал, пока Аль-Капоне осматривал помещение с таким видом, будто шел в бордель, а попал вместо этого в свинарник.

— Как у вас, все хорошо? — спросил офицер.

— Да, сэр.

— Телефон работает?

— Да, сэр.

— Довольствие из кухни получаете?

— Да, сэр. Все хорошо.

— Что они дают вам?

Брайн перечислил: полбанки сгущенки, немного сахару, чай, булку и банку сардин.

— Хватает?

— Вполне, сэр.

Офицер повернулся, чтобы уйти.

— Если что-нибудь понадобится, звоните мне на контрольную вышку. Я там буду всю ночь.

Брайн смотрел им вслед. В первый раз дежурный офицер надумал выбраться дальше бара в офицерской столовке. «Может, их все-таки беспокоит, что меня тут застрелят». Усталость снова овладела им, и глаза у него щипало, как от креозота. «Плевать я хотел, если даже все партизаны на свете ползут сейчас к этой рубке, чтоб спалить ее к чертям, или если все самолеты над Малайей надорвут глотки, посылая сигналы бедствия; все, я выдохся». Он закрутил до отказа регулятор громкости приемника, растянулся на столе и погрузился в сон до утра.

Он читал все газеты в надежде узнать, как протекает эта «война». Так называемое «чрезвычайное положение» дало возможность ввести военно-полевой суд, и Брайн с некоторым замешательством обнаружил, что все эти перемены касаются и его. А поскольку другие в лагере тоже чувствовали некоторое замешательство, к ним даже приехал из Сингапура офицер отдела пропаганды, чтобы прочесть лекцию о политическом положении. Это был худой, высохший человечек средних лет в безукоризненно чистой синей рубашке и бежевых брюках — в них он выглядел неофициально и оделся так с расчетом, что это понравится слушателям, которым надоела защитная форма. С этой лекцией, называвшейся «Успехи англичан в Малайе», он уже выступал во всех лагерях на побережье, и потому ко времени, когда лектор добрался до Кота-Либис, он уже сильно понаторел в этом и выработал определенное положение челюсти и выражение стальных глаз, с тем чтобы как-то под суровой убежденностью скрыть собственное неверие в то, что он говорит. И даже если то, что он говорил, не казалось ему самому убедительным, он был достаточно умелым оратором, способным убеждать наименее требовательных слушателей. Армейская столовая была битком набита

людьми, пришедшими послушать, как он будет излагать официальную точку зрения на малайское восстание: после краткого вступительного слова начальника штаба лектор первые двадцать минут рассказывал о том, как англичане заполучили Малайю, как они избавили ее от эпидемий и установили здесь совершеннейшую систему связи и сообщения, заставили отступить дикое море джунглей и дали стране каучук. Затем он перешел к текущим событиям.

— Война была, если можно это так назвать, объявлена 15 июня,— начал он.— В Ипо состоялось срочное совещание ста перакских управляющих каучуковыми плантациями, и там было решено просить сэра Эдуарда Гента (верховного комиссара, как вам известно) объявить здесь чрезвычайное положение ввиду участившихся нарушений закона. Плантаторы объясняли это слабостью гражданских властей и пропагандой политических агитаторов-коммунистов, повинных также в подстрекательстве к убийствам, которые имели место и в остальной части полуострова.

Примерно в это же время на руднике около Ипо застрелили управляющего, когда он выплачивал жалованье рабочим, и было украдено две тысячи четыреста долларов. («И десять тысяч человек умерло в тот месяц от голода»,— сказал кто-то рядом с Брайном.) «Стрейтс таймс» сообщала также о том, что около Ипо убиты три английских плантатора. Их захватили коммунисты-китайцы, вооруженные автоматами, привязали к стульям и буквально изрешетили пулями. Семьям европейцев было приказано немедленно выехать, однако сделали это лишь очень немногие. Был издан закон, предусматривающий смертную казнь за тайное хранение огнестрельного оружия («Совсем как закон 1939 года, когда немцам в Англии запретили иметь оружие»,— подумал Брайн.),— закон, который хотя и был необходим с юридической точки зрения, но вряд ли мог задержать наступление, волной надвигавшееся из джунглей. В такой стране, как эта, несколько тысяч человек, если они решительны и находчивы, могут продержаться очень долго, причиняя противнику большие потери. К ним постоянно подходят подкрепления из Южного Китая, по тайным путям в джунглях через Индокитай и Сиам. Британские подданные в Малайе живут в настоящий момент в тяжелых и опасных условиях. Бунгало — как вам всем, наверно, известно — превращены в маленькие крепости, в передовые посты на краю джунглей, охраняемые днем и ночью, огражденные колючей проволокой и мешками с песком. Плантаторы работают, вооруженные винтовками и автоматами, они вместе со своими семьями проявляют в этих тяжких условиях подлинно английскую стойкость, которая всегда оказывалась неожиданностью для врагов. Коммунисты надеялись, что в Пенанге и Сингапуре толпы людей в панике бросятся к судам, но просчитались.

Однако мы не должны недооценивать коммунистической угрозы в Малайе. Эти люди обладают весьма действенной, хорошо организованной и дисциплинированной армией, которая движется в боевом порядке, руководимая опытными офицерами из удобных и хорошо замаскированных штабов. Их план — задушить каучуковую промышленность Малайи, парализовать ее экономику и разрушить цивилизацию, созданную здесь англичанами на протяжении полутораста лет. В ответ на эту угрозу принимаются эффективные меры.

После лекции посыпались всякие неприятные вопросы, например: «Поскольку это похоже на народное восстание, не лучше ли англичанам убраться отсюда, пока не пролито слишком много крови?» Или: «Действительно ли будет так плохо для британской экономики, если мы потеряем Малайю?» Лектор отвечал спокойно и разумно, хотя под конец в задних рядах раздался какой-то шум — сидевшие там хотели показать

лектору, что он их не убедил. Повар шотландец, сидевший рядом с Брайном, сказал, что их депутат в парламенте коммунист, так что правильно ли утверждать, будто все коммунисты — это зло? «И наш тоже,— сказал один лондонец,— его фамилия Пиратин, мой отец голосовал за него». В заключение лектор сказал несколько слов о разнице между теми коммунистами, которые избираются на государственные посты, как в Англии, и теми, кто желает насильно захватить страну вопреки воле большинства, как в Малайе.

Винтовки были заперты в казарме, их составили в пирамиду и прикрутили продетой сквозь скобы проволокой. Ключ от замка лежал в кармане у капрала, который очень любил поспать, и Брайн заметил:

— Интересно, быстро ли мы приготовимся к бою, если в одну мирную темную ночь на лагерь вдруг нападут.

— Он спит так крепко,— ответил Керкби,— что можно стибрить ключ и загнать винтовки бандитам. Вот гульнули бы тогда.

— Если бы ты сделал так, самое лучшее для тебя было бы удрать через границу в Бангкок,— сказал Бейкер.

— Да ведь это ж воровство! — крикнул кто-то Керкби.

И ему оставалось только повторить свое жизненное кредо:

— Если что-нибудь плохо лежит, припрячь. Не можешь припрятать — продай. Не можешь продать — сожги.

Брайн принял душ и переоделся, собираясь на свидание к Мими в «Бостонские огни», и теперь, освеженный, принарядившийся, он шагал к воротам лагеря. Уже загорелись первые звезды, но раскидистые вершины пальм еще чернели на фоне густой синевы. Позади шумел лагерь, и, когда Брайн остановился, чтобы закурить сигарету, из ворот вылетел грузовик и помчался к аэродрому. У ворот стояли на посту малайские полицейские и прогуливались несколько рикш, предлагавших подвезти до городка. И вдруг странные звуки взметнулись в воздухе, словно какой-то сумасшедший решил исполнить музыку собственного сочинения на сиренах. Звуки эти возникли где-то на дороге, это была странная и какая-то нездешняя музыка, нарушившая вечернюю тишину малайского заката. Кончики пальцев у Брайна похолодели, по ним словно пробежал электрический ток, а ноющий звук все нарастал, порхая меж деревьев, окаймлявших шоссе. Другие прохожие тоже останавливались, как бы ожидая приближения этого чудища, шагавшего к ним на двух сотнях ног под визг и вой оркестра.

— Это гурки! — крикнул кто-то.

Группа китайцев и малайцев стояла у ворот, глядя на них: солдаты старательно отбивали шаг под музыку, мрачные звуки которой сплетались в какую-то загробную мелодию. Они остановились между казармами и столовой, и музыканты все играли, а солдаты маршировали на месте. Наконец визгливое «Стой», точно выключатель, прекратило автоматическое движение рук и ног, и обстановка в лагере, казалось, сразу переменилась: атмосферу настороженного веселья сменила атмосфера войны.

В «Бостонских огнях» Брайн купил целую кучу билетиков, но не танцевал, а сидел с Мими за столиком. Он заговорил о будущем и, прежде чем успел понять свою ошибку, зашел слишком далеко в этом разговоре.

— Теперь мне легко остаться здесь и не возвращаться в Англию,— сказал он, неудачно выбрав минуту, когда ей, видимо, не хотелось этого слышать, а оркестр как нарочно загремел в свои жестянки, словно стараясь заглушить его слова. Мими, подкрашенная, казавшаяся совсем юной в этот вечер, отодвинула от себя сумочку, затем потихоньку снова придвинула ее ближе, глядя прямо перед собой; сумочка упала ей на колени.

— Это будет очень трудно сделать. Ты только говоришь об этом так легко. И ты знаешь, что я сама этого не хочу.

— Не старайся меня поймать,— сказал он, опрокидывая в рот рюмку виски.— Я что думаю, то и говорю.

Выражение лица у нее было совершенно пустое и печальное («А может, просто усталое?» — подумал он.), и все же ему показалось, что где-то в глубине ее глаз промелькнула улыбка. «Я пьянею»,— сказал он себе, улыбаясь так нежно, что Мими погладила его руку.

Она сказала:

— Может, ты боишься возвращаться в Англию?

Оркестр после перерыва разразился новой серией фокстротов, таких расслабляющих — хоть они всем и нравились — в этот душный и влажный вечер.

— Это ложь! — воскликнул он с такой убежденностью, что, вспоминая об этом потом, даже сам задумывался, а не было ли тут доли правды. Мими опустила глаза.— Уж если я в двадцать лет не знаю, чего хочу, то когда же? — сказал он.

Он подозвал официанта и попросил еще два виски, но Мими потребовала апельсинового соку. Она пила только слабые напитки, когда разговор их становился «серьезным», он же, напротив, пил только виски, и, по мере того, как серьезность его исчезала и другие желания загорались в нем, Мими все больше и больше впадала в свой обычный грустный фатализм, а это неизбежно вызывало взаимное непонимание. И в то же время он подозревал, что никакое обычное земное решение, вроде того, к какому они старались прийти сейчас, не имело бы существенного значения в ее жизни, так как она жила в мире, где только те решения обретают силу и значение, которые приходят сами по себе — сколько ты ни сжигай себе нутро этим рисовым виски и сколько ни сиди над охлажденным апельсиновым соком. И он чувствовал это и знал заранее все выводы, к которым это должно было привести, и все же здесь, в битком набитом танцзале, когда он сидел напротив нее и голова у него пухла от грохота джазовых мелодий, искалеченных здешним оркестром, он не мог бы поклясться, что ему не хочется прожить всю жизнь под сказочным солнцем Малайи.

— Всех наших, кто демобилизуется, вызывали к офицеру и спрашивали, не хотим ли мы остаться в авиации еще на два года. Так что я всегда могу согласиться.

— Нет, не можешь,— сказала она.— Ты не из таких! Ты для этого не годишься, ведь я немножко узнала тебя за все это время.

Может, и так. Офицер спросил, есть ли у него какие-нибудь жалобы теперь, когда ему уезжать через месяц. «Нет, сэр»,— ответил он. «Какой идиот скажет ему да?» «Что ж,— заученно продолжал офицер то, что говорил всем,— в этот трудный момент нам нужны здесь, в Малайе, все наши обученные солдаты, а офицеры связи говорят, что вы один из лучших радистов. Не хотели бы вы остаться еще на два года?» Вопрос этот не был для него неожиданностью: Бейкер побывал тут до него и вышел оскорбленный и побледневший. Поэтому у Брайна уже был готов ответ — текст, заранее составленный в уме: «Нет, сэр,— пауза.— Не хотел бы». И неподвижное лицо офицера, на котором дрогнули усы, похожие на велосипедный руль, как бы зарегистрировало эти слова. «Тогда можете идти, Ситон»,— отрезал он.

— Если б я остался,— сказал он Мими,— я, может, сумел бы помочь коммунистам.

Она усмехнулась:

— Им сейчас не особенно нужна помощь.

— Но через несколько месяцев она может понадобиться, как знать?

— В Малайе почти все на их стороне,— сказала она.

— Тогда, надеюсь, они победят. У них даже своя радиостанция есть, правда? Они пытались глушить нашу военную связь своим передатчиком. И мне приказали вчера засечь их станцию, чтобы самолеты нашли ее и разбомбили, но я не особенно точно это сделал. Даже совсем не точно,— улыбнулся он.

— Эта война тебя не касается,— сказала она.— Тебе надо уехать отсюда как можно скорей.

— Ну, как сказать. Меня против воли загнали в авиацию, а теперь хотят заставить воевать против коммунистов. Но я не такой дурак. Я уже кое-что узнал в жизни. Пусть сами воюют.

Она прикоснулась ногой к его ноге. Два китайца за соседним столиком прислушивались к тому, что он говорил. Потом они возобновили свой разговор, а он заказал еще виски.

— Ну так вот,— продолжал он, потратив еще один дневной заработок,— говорю тебе, я могу остаться в Малайе, если захочу.

Она смотрела на него в упор, и он знал, что теперь наконец-то он ее озадачил, а не она его и что она ждет от него каких-то действий, а не путаных рассуждений.

— Если я решу остаться в Малайе, мы могли бы пожениться.

— Ты не можешь жениться на мне. И никогда не мог бы, сам знаешь.

Виски, музыка, голоса, пестрый калейдоскоп красок и мучительное ощущение близости, оставляющее их двоих как бы в светящемся круге, ощущение, вызванное совершенно различным видением мира у них обоих: то, что для него черное, для нее белое, и наоборот — все это хлынуло на него таким потоком, что он еще ниже пригнулся над столом, как бы стараясь защититься.

— Неправда! — закричал он.— Ей-богу, неправда, мне хочется этого больше всего на свете.

Тогда она напомнила ему то, о чем он никогда ей не говорил и о чем, как ему казалось, она не знала.

— Тебя в Англии ждут жена и ребенок.— Ее слова были до того неожиданны, что спасительная ложь не сразу пришла ему в голову. Он сидел и молчал, мрачно глядя на нее.— Ты думал, я не знаю! — Он был удивлен, что она с такой легкостью восприняла это предательство, за которое женщина из Рэдфорда, наверно, задушила бы его.— Я уже давно знаю об этом. Я танцевала как-то с одним солдатом из Кота-Либис, и он все рассказал о тебе. Я думала, ты знаешь. А самому тебе никогда и в голову не пришло рассказать мне, что ты женат; наверно, жалел меня.

— Да, конечно.

Он слишком поспешно согласился с этим, чувствуя, что река веселья, огибающая их и текущая по залу, мелеет, вот-вот совсем иссякнет, и только оркестр, неутомимый, как машина, продолжал греметь. На лице Мими застыло выражение горя, он тоже чувствовал себя несчастным и кругом виноватым — не мог придержать язык или сказал бы, по крайней мере, что-нибудь другое и, воспользовавшись своими шестью билетиками, закружил бы ее в танце.

Он вытащил ее на середину зала, где пахло потом и виски, и они завертелись под рявканье джаза. Руки Мими легко касались его, словно она танцевала с ним первый раз. Он танцевал, как матрос, который никогда в жизни не учился этому, шагая неуклюже и невпопад. И все же они стали двигаться в такт, когда он медленно притянул ее к себе. Она вдруг прильнула к нему, словно какое-то видение испугало ее.

— Брайн,— запинаясь, проговорила она,— не уезжай, хорошо?

— Не уеду.

Они крепко прижались друг к другу, связанные самым темным и

сокровенным, что было в них. Рука его обвилась вокруг нее и касалась ее груди. Шум и музыка были забыты, остались в том мире, откуда они ушли, искусственные стандартные ритмы казались чуждыми и неуклюжими в сравнении с ритмической теплотой их объятья. Он чувствовал все изгибы ее тела, ее бедра, приникавшие к нему при каждом шаге, ее плечи и грудь.

— Я люблю тебя,— сказал он.— Мне кажется, что я прожил с тобой долгие годы, всю жизнь.

— Не говори так. Ведь еще не все кончено, правда?

Он поцеловал ее в закрытые глаза.

— Отчего ты плачешь?

Отчаянье снова охватило его, камнем встало у него внутри, неизбежное и неотвязное, словно место для него там было приготовлено с рождения. Она нахмурилась, и губы ее скривились в некрасивую детскую гримаску, которую она пыталась скрыть. Шум и спиртные пары нарушили волшебство, и вот уже снова вернулись неожиданные, но такие обычные гудки машин и пароходов — оттуда, из другого мира, лежавшего где-то далеко от «Бостонских огней». И вдруг вошел Нотмэн, появился в рамке дальних дверей, и с ним какая-то девица, великолепная, словно черный цветок, и они стали пробираться к бару. Мими и Брайн снова стали танцевать, тесно прижавшись друг к другу.

— Ты закружишь меня,— сказала она.— Мне станет нехорошо.

— Потерпи до парома. Ты ведь едешь со мной?

— Ты же знаешь!

К концу танца они развеселились и остались посреди зала, ожидая нового.

— Ты похудел с тех пор, как мы познакомились,— сказала она.— Ребра так и торчат.

— Это ты виновата, ты как магнит, даже ребра тянутся к тебе.

— Сумасшедший,— улыбнулась она.— Так не бывает.

— Сумасшедший,— повторил он.— Я как слепой трехногий прусак.

— А что такое прусак?

— Таракан. Жук такой.

— А в Англии жуки тоже есть?

— Конечно. Там есть и змеи, и леса, и дикие звери, и горы, города, болота, широкие реки. Не веришь? Что ж, я не могу доказать это сейчас, и все-таки я говорю правду, чистую правду.

— А если так, почему же ты хочешь остаться в Малайе?

— Потому что...— Если не можешь найти ответа, придумай что-нибудь, любая ложь лучше, чем молчание. Когда его еще мальчишкой спрашивали братья: «Какой самый большой город в Австралии?» — он предпочитал ответить «Париж», чем сказать «Не знаю».— Потому что люблю тебя.

Но слезы все равно выступили у нее на глазах, и никакая ложь не могла остановить их и даже никакая правда, ибо то, что он сказал, было и впрямь наполовину ложью и наполовину правдой.

— Когда мне сказали, что ты женат, я не поверила. Я подумала: этот солдат лжет или разыгрывает меня. Но теперь ты сам подтвердил все.

Он только глазами хлопал, удивляясь этой неожиданной, так поздно пущенной в ход уловке, и не мог ничего ответить на хитрость, причинившую ей не меньшую боль, чем ему.

— Прости меня,— сказал он, но было уже поздно. Он вывел ее из обычного состояния пассивной покорности и понимал, что она не может простить ему этого.— Я останусь здесь,— сказал он.— Я хочу остаться. Я просто не могу поступить иначе.

И, танцуя с ней, он представил себе, как они живут в каком-нибудь

доме, вроде дома вдовы китаянки на краю Патанских болот, где крик лягушек и ночные шорохи приглушают все чувства, погружают их в забытье после этого грохота и рева труб, заставившего его сегодня потерять голову.

А назавтра всех, кто поднимался на Гунонг-Барат, разбудили в пять часов утра. Рука сержанта полиции, дежурившего в караулке, вырвала Брайна из застенка сна, заставила поднять голову, налитую свинцовой усталостью. Накануне он провожал Мими и пробыл у нее до двух ночи, а потом прошел от городка до части, через все заставы, и был рад, когда добрался до койки, не получив пулю. Это было настоящее приключение, ему зачастую приходилось ползти на четвереньках по тропкам и прибрежным пескам, обходя малайские патрули, солдаты мирно курили и рассказывали какие-то истории у костров, но в любую минуту ждали появления партизан и вполне могли принять Брайна за одного из них. «Жить здесь становится все труднее,— сказал он себе.— Если меня не подстрелят по ошибке, то донесут дежурному офицеру, что я гуляю без увольнительной. Я тут и сам себя чувствую, как партизан, во всяком случае я буду похож на него, когда начну отстреливаться».

— Вставай,— приказал сержант.— Вылезай из этой вонючей дыры. Тут для вас в джунглях дело есть.

— Что там стряслось? — спросил Брайн, подозревая, что над ним решили подшутить.— Ведь еще совсем темно.

— Самолет разбился, пойдете его искать.— Он поднял Керкби, Бейкера, Джека и еще одного паренька из Чешира.— Живей, пошевеливайтесь. Время не ждет.

Брайн сел на койке, но не вставал до тех пор, пока мимо не прошел уже одетый Нотмэн.

— Одевайся. Надо помочь этим беднягам. Там в радиомехвзводе уже готовят для нас грузовики и рацию.

Брайн натянул штаны.

— Чего ради этим психам вздумалось разбиться среди ночи? В жизни я еще так не уставал.

— Что ж, по-моему, ты пользуешься жизнью вовсю,— сказал Нотмэн.— Пошли. Вот увидишь, ты еще наплачешься, пока тебя в Сингапуре на корабль погрузят.

— Если б они для этого меня разбудили в такую рань!

Нотмэн кинул ему сигарету.

— Схожу к связистам и выясню, где он там упал.

Сержант вернулся.

— А ну-ка, поживее. Марш на кухню, там вас накормят завтраком и паек выдадут.

— Надолго нас посылают? — спросил Бейкер.

— А я почем знаю! — заорал сержант.— Сейчас свяжусь с господом богом и выясню, если это для вас так важно.

— Еще бы не важно,— сказал Бейкер.— Недели через две нам отсюда уже отплывать, корабль отходит.

— Пошевеливайся! — крикнул сержант.— А то ты у меня на пятьдесят шесть дней под замок сядешь, и плевать я хотел на твой корабль.

Они спустились с крыльца и не торопясь пошли на кухню завтракать, а потом у них еще осталось время поболтаться немного в казарме. Брайн сгорал от нетерпения.

— Они там настраивают радио,— пояснял Нотмэн.— Я был в радиорубке, они считают, что самолет упал милях в тридцати к югу отсюда.

— А эти бедняги тем временем висят на деревьях, истекая кровью,— сказал Брайн.

Он вынул Библию из тумбочки соседа, открыл ее и ткнул пальцем наугад в какой-то стих, чтобы погадать о будущем, как в одном из фильмов, который он видел несколько дней назад: «И отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капище идолов своих и народу». «Какому народу? Дурацкое гаданье. Ни черта не пойму, да и вообще я ведь не суеверен». Он уложил свой вещевой мешок, весивший на этот раз не больше сорока фунтов. Ему еще нужно было упаковать рацию, если только радиомеханики сумеют ее наладить, потому что другой в лагере нет. Он открыл Библию и снова наткнулся на стих: «И отсекли ему голову...» Все время открывается на этом месте, у нее с переплетом что-то неладно, и она будет открываться на этом месте до бесконечности, если только нарочно не избегать его, а он не хотел его избегать, потому что чем больше он вчитывался, тем больше закрадывался ему в душу скрытый смысл текста. И он уже начал было понимать, но тут шофер просунул голову в дверь и крикнул, что пора ехать.

20

Получив свой первый отпуск еще в ту пору, когда его муштровали в глухом углу Глостершира, Брайн почти весь день потратил на то, чтобы добраться до Ноттингема, и в город попал только под вечер. Выбравшись на просторные плоские низины Трента за Брумом, он почувствовал такое волнение, что не мог даже съесть бутерброды и пирожное, купленные на последней остановке. Коровы, словно темные точки, усеивали берег мирной, обмелевшей реки, солнце еще освещало набитый людьми вагон, и он чувствовал, как с каждым перестуком колес приближается к Ноттингему. Волнение его было вызвано не столько предстоящей встречей с Полин, сколько каким-то внутренним чувством, говорившим ему, что сейчас он снова затеряется в паутине ноттингемских улиц, таких милых и знакомых.

Выпив чашку чаю с матерью и отцом, он на двух автобусах добрался до Эпсли, где жила Полин. Может, по счастливой случайности она сейчас дома одна, и тогда они смогут поваляться на кушетке или на какой-нибудь кровати наверху; а если нет, можно пойти погулять на Брод-Оук и полежать где-нибудь на сухой лужайке среди пахучей летней травы.

Но вся семья оказалась дома, за ужином, будто они специально ждали его, хотели с ним увидеться после первых полутора месяцев отупляющей муштры на службе королю и отечеству. Никогда не выходит так, как задумаешь, и он должен бы это предвидеть. Миссис Маллиндер налила ему чаю в любимую чашку бедняги Маллиндера, вмещавшую добрую пинту, как бы подчеркивая этим, что он теперь уже свой в семье. Четырнадцатилетняя Морин читала у огня «Оракула», еще по-детски угловатая, с маленькой высокой грудью и тонким слоем помады на губах, совсем как Полин в пятнадцать лет, когда он только начинал за ней ухаживать. «Они все такие хорошенькие»,— подумал он, начиная, впрочем, испытывать все большую неловкость под пристальным взглядом матери и замечая при этом, что, хотя они сидели впятером, за столом было довольно тихо.

— Видно, нелегко тебе пришлось там, в авиации,— сказала Бетти с едва заметной улыбкой.— А кормят хоть вас хорошо?

— Неплохо. Иногда, впрочем, дают настоящие помои.

Полин почти все время молчала.

Сидя в конце стола, она открывала банку варенья, и волосы падали ей на лицо.

Но Брайн был увлечен сытным ужином и нисколько не обеспокоился. Да он и не ожидал торжественной встречи.

После ужина он предложил Полин прогуляться.

— Ты лучше скажи ему, пока не поздно,—услышал он голос миссис Маллиндер,— как-нибудь порешите.

Когда они вышли на Ковентри-лейн, она, наконец, сказала:

— У меня будет ребенок.

Они остановились, и он, пораженный, прислонился к каким-то воротам. Даже военная служба не поколебала настолько весь его внутренний мир, не потрясла его так, как это известие. Вся его жизнь нарушилась, расплылась и завертелась перед глазами, как огненное колесо. Он закрыл глаза, но тут же сообразил, что такие известия полагается воспринимать иначе; открыл глаза, взглянул на зеленое поле, уходившее к могучей стене Кэтстонского леса, над которым виднелась туманная зеленоватая полоска неба, и, несмотря на свое смятение, подумал, что солнце уже заходит.

— Что ж, пойдем,— сказал он с глубоким вздохом.— Ну и ошарашила же ты меня.

— А мне-то каково было про это узнать,— сказала она, бледнея и плотно сжав губы.

Она стала какой-то чужой после полутора месяцев разлуки, и он чувствовал, что так они не будут ближе друг другу. Он вспомнил, как поженились Джоан и Джим: все произошло месяца три назад, когда Джоан сказала Джиму, что она беременна, а к тому времени, как она выяснила, что тревога была напрасной, они были уже помолвлены, однако никто из них не стал поднимать из-за этого шум или откладывать свадьбу. И Джим тогда сказал Брайну, что, когда человек помолвлен, люди на него смотрят с большим уважением и относятся к нему, как к взрослому. Но Брайну все это было ни к чему, и теперь он подумал, не обманывает ли его Полин, говоря, по примеру Джоан, что беременна, просто для того, чтобы заставить жениться.

— Мама как-то утром увидела, что меня тошнит, и я сказала, что это просто желчь разлилась, но когда она заметила, что это продолжается целую неделю, то потащила меня к врачу. Я вообще-то почти наверняка знала, потому что прошли все сроки. И все же надеялась, вдруг это что-нибудь другое, а теперь вот...

Она улыбнулась, и он понял, что она вовсе не думает вынуждать его к помолвке, как это сделала Джоан.

— Дело дрянь,— сказал он, робко улыбаясь ей в ответ. Он не знал, смеяться ему или плакать, его лихорадило.

— Да, дело дрянь, если ты так смотришь на это,— ответила она.

Они шли, взявшись за руки, по иссиня-черному мраку аллеи, и холодный ветер дул им в лицо. И тогда он сказал, не подумав, во всяком случае, он еще только думал, сказать или нет, и вдруг решился сказать, не размышляя:

— Надо готовиться к свадьбе.

— А ты этого хочешь? — спросила она ровным, спокойным тоном, будто речь шла о чем-то совсем постороннем.

Он сжал ее руку.

— Да, представь себе. И, если ты согласна, мы поженимся.

Она усмехнулась.

— Может быть, ты просто считаешь, что обязан это сделать?

— Мы достаточно давно встречаемся!

— И все же мне жаль, что это выходит как-то по необходимости. Не люблю, когда что-нибудь делают по необходимости, понимаешь?

Он обиделся.

— Это ты к чему?

— Сама не знаю. Просто по-другому было бы лучше.

— Может быть.

— Не в том дело, что мне хочется обвенчаться с тобой в церкви и все такое,— сказала она.— Это давно устарело. Раз уж все равно поженились, то какая разница?

— Да, это так,— согласился он,— хотя не думаю, что твоей маме и Бетти это особенно понравилось бы.

— Милый, но ведь главное — это мы с тобой, правда? В наше время редко кто в церковь идет венчаться.

— Конечно,— сказал он.— Надо бы нам в «Могучий дуб» сейчас зайти, отметить это событие, отпраздновать. Это ведь считается праздником, помолвка-то.— Он пытался отделаться от засевшего в нем чувства, что его поймали, заманили в ловушку, навалили на него бремя ответственности.

— Я б рада выпить с тобой, только сейчас и смотреть не могу на спиртное.

— Да я и сам...— Он был доволен тем, что она испытывает то же смутное чувство.— Может, завтра,— сказал он.— Хотя особенно спешить незачем.

— Конечно, но и тянуть особенно мы не можем.

— Я обо всем позабочусь, не беспокойся. Возьму отпуск и все такое.

— Ну что ж, если только ты не сбежишь,— сказала она полусерьезно, чтобы посмотреть, как он это воспримет.

— Я убежал бы, если б хотел,— сказал он твердо,— но не хочу. Я тебя очень люблю, ты знаешь.

— Что-то я не припомню...— поддразнила она его.

— Да я же говорил тебе! — закричал он.— Сколько раз говорил!

— Знаю, знаю, милый.

— Но вид у тебя всегда был такой, будто ты мне не верила.

— А ты как думал? Мы и так далеко зашли, дальше некуда.— Напоминание о том, что у него будет ребенок, сразу смирило его, и он привлек ее к себе.

— Ну, не надо спорить, милая.

— За эти три недели я вся извелась. А тут еще мама меня допекает.

— Почему же ты не написала мне?— крикнул он.—Я бы пулей примчался. Никто б не посмел меня остановить.

— Сама не знаю. Я думала, писать об этом не стоит. И мама тоже так сказала, когда узнала.

— Думала, я сбегу и поминай как звали,— усмехнулся он.

Ее кулак больно ткнул его в бок.

— Вовсе нет, ты, хитрая свинья. Можешь убираться на все четыре стороны, если хочешь, я все равно рожу ребенка и обойдусь без твоей помощи. Знаешь, что мама сказала? «Не выходи за него, если он тебе не нравится. Но если хочешь, то так все-таки лучше». Как видишь, меня заботы не пугают, и никто тебя неволить не станет. Мне не больше твоего хочется так рано замуж выходить. И я вовсе не оттого за тебя выхожу, что ребенок. Я и с ребенком могу дома жить и работу не бросать.

Он потер ушибленный бок: иногда она бывает кроткой, как ангел, а иной раз как вспылит — только держись.

— Чего ты взъелась? Я же пошутил.

— Ладно,— сказала она.— Только тебе иногда тоже не мешает быть ко мне подобрей.

— Так я же часто...—Он хотел подчеркнуть свою доброту.—Видишь, я еду домой в отпуск, мчусь из самого Глостершира, чтоб с тобой повидаться, а ты меня вон чем встречаешь. Думаешь, меня это не ошарашило?

— Понимаю, а только я ведь не могла по-другому, правда? Я рада, что ты приехал. Теперь мне стало полегче.

Губы их слились в долгом поцелуе, и они оторвались друг от друга, только когда проезжавшая мимо машина осветила их фарами, сворачивая возле Балун-Хаузиз.

— А я не боюсь, что у меня родится ребенок,— сказала она.— Я уверена, что буду любить его и все будет хорошо.

— Ну, значит, все в порядке. Мы ведь сами на это шли.

Радость и страх наполняли его. Потрясение первых минут, когда будущее показалось ему непроглядным, как океан мрака, за последние полчаса перестало быть таким пугающим, и мало-помалу его наполнило чувство огромной радости. Шагая в обнимку, они пересекли шоссе и вышли на дальнюю опушку леса.

За день до того, как Брайну нужно было возвращаться в Глостершир, у них во дворе появился Берт, одетый с иголочки, в берете, в походной форме и с орденскими ленточками, полученными за последний бросок через Рейн. Полк его был расквартирован в Триесте, и он проехал через всю Европу, чуть не двое суток тащился в жестких вагонах, чтобы — как он в шутку сказал Хэролду Ситону — вволю наслушаться Рэдфорда, Шиппоу и досыта пощупать какую-нибудь толстушку.

Им было по пути, и они вместе вышли из дому. Брайн шел к Полин в Эпсли, а Берт хотел зайти к брату, жившему неподалеку, в Синдерхилле. Стояла сухая погода, жара, казалось, никогда не кончится — она держалась уже целую неделю, и они шли, разговаривая о службе в армии. Брайну казарма не нравилась, но он не хотел объяснять Берту почему, а Берт был, наоборот, в восторге оттого, что не нужно думать, где бы поесть и как достать лишний шиллинг.

— Я, может, еще на три года сверхсрочником завербуюсь, а мог бы на рождество домой вернуться,— сказал он.— Наверняка даже так и сделаю.

— А зачем? — спросил Брайн.— Работы сейчас много.

— Мне в армии служить больше нравится, чем работать,— сказал Берт.

За стеной, сложенной из плит песчаника, протянулось кладбище, на многих могилах клонились под ветром трава и цветы, отсвечивая снежно-белым, алым или коричневым на фоне мрамора. Было воскресное утро; люди пришли сюда навестить родные могилы и хлопотали возле них с ножницами и лейками. Брайн сказал двоюродному брату:

— Я тоже хочу в некотором роде завербоваться, только на всю жизнь. Я женюсь.

Оба остановились. Берт схватил его за руку и посмотрел ему прямо в глаза:

— Не может быть.

— Да, женюсь. На Полин. А что, ведь мы давно с ней гуляем.

— Да брось ты.

— Что значит «брось»? — Он ждал от Берта каких-то других, горячих слов, а так непонятно даже, что он хотел сказать, считает ли его дураком или разумным человеком, сумасбродом или просто шалопаем, способным жениться только потому, что ему хочется новенького, а может, думает и то и другое. Но он недооценивал Берта, тот хитро взглянул на него и, прищурив один глаз, спросил:

— Она что, ребенка ждет?

И протянул ему пачку сигарет, наверно, чтобы смягчить свою бесцеремонность, если он ошибся.

В первую минуту Брайн решил было сказать, что это не так, но не знал, насколько беременность Полин будет заметна к тому времени,

когда они поженятся. Да и в любом случае, если она родит ребенка, арифметика будет несложная, все можно на пальцах подсчитать, так что лучше уж признаться сейчас, чем потом оказаться трусливым лжецом.

— Да, она беременна,— сказал он.— И мы женимся.

Они пошли дальше, и теперь Берт держался чуть поодаль, глядя ему в лицо и стараясь угадать, не обманывает ли он.

— Но ведь тогда тебе крышка! — с жаром воскликнул Берт.— Все, теперь ты уж на крючке, приконченный, пришпиленный. А почему бы тебе не удрать?

— Потому, что я не хочу. Ведь тогда я не смогу ее видеть.

— Да брось ты. Завербуйся, пусть тебя ушлют за океан, или, на худой конец, перережь себе глотку, сунь голову в петлю. Господи, тебе же только восемнадцать!

— На будущий год девятнадцать будет,— ухмыльнулся Брайн.

Берт был расстроен.

— Ну конечно, Брайн. А потом стукнет двадцать один, и мы дадим тебе ключ от двери; неужели ты не можешь подождать хотя бы до тех пор? Это ж просто идиотство какое-то — жениться в восемнадцать. Подумай, сколько у тебя впереди всяких удовольствий. Можешь бегать за всеми женщинами, какие тебе приглянутся. Я-то знаю, что женитьба это не для тебя. Ты не из таких. Слишком уж ты большой шалопай, вроде меня.

— Знаю,— сказал Брайн.— Но я люблю ее, понимаешь. Думаешь, я вынужден жениться, потому что у нее ребенок? Но ведь нет худа без добра. Конечно, если б я не любил ее, я бы еще крепко подумал.

— Тебе надо двадцать раз подумать, любишь ты девчонку или нет.

Брайн думал уже сто раз и знал, чего хочет. У Полин будет ребенок, и они поженятся, потому что он любит ее. И незачем спрашивать себя, что он сделал бы, если б не любил ее, если б она была для него какой-нибудь случайной знакомой.

— Эх ты, раскис? — спросил Берт.

Брайн повернулся к Берту, сжав кулаки, готовый пустить их в ход.

— Ни черта я не раскис, отвяжись от меня. Я просто делаю то, что хочу, и считаю правильным, а тебя не спрашиваю, хорошо это или нет, потому что знаю: это хорошо и я хочу этого.

— Ну ладно, раз так,— сказал Берт.— Что ж. Тогда позволь мне быть шафером на свадьбе.

Они пожали друг другу руки и еще не успели переменить тему разговора, как Берт уже считал, что Брайн неплохо это придумал — жениться.

Поле пшеницы едва заметно суживалось. Комбайн медленно полз им навстречу и миновал их раньше, чем они успели дойти до середины поля. Вокруг все так же колыхались высокие хлеба, а комбайн, похожий на красного жука, уже поворачивал назад, и шум мотора, далеко слышный в тишине осеннего вечера, был похож на ленивое ворчание какого-то невидимого мастодонта. Несколько сухих пшеничных колосьев торчали на тропке, точно головы, которые не смогли отрубить огромные ножи машины.

Брайн взял Полин за руку, и они шли теперь к пологому янтарно-зеленому склону холма. Заметив, что она прихрамывает, он озабоченно нахмурился.

— У тебя все еще болит нога, милая?

— Да, вот здесь, сверху.

— Тогда мы не пойдем далеко,— сказал он, сжимая ей руку и надеясь, что боль пройдет, как только она перестанет о ней думать.

Он застегнул начищенные до блеска пуговицы шинели и улыбнулся, поглядев на длинные темные волосы Полин, повязанные ленточкой; ее спокойное лицо, пухлые губы, белый лоб — все дышало какой-то силой. Она теперь больше не красилась и однажды даже спросила у него:

— Ты не против, если я иногда буду распускать волосы?

Впрочем, она ведь и раньше не особенно увлекалась пудрой и помадой. Запах свежескошенной пшеницы заставил его резче ощутить грусть от того, что они последний вечер вместе и должны расстаться на несколько месяцев, и он улыбнулся, пряча свою грусть.

— Надеюсь, мы хорошо проведем этот вечер.

Она сжала его руку.

— Отпуск был такой короткий, правда?

— Но все-таки мы успели пожениться.

— Ты не жалеешь об этом?

Мимо прополз трактор, волоча за собой подводу с зерном, убранным комбайном. У молодого тракториста был оторван рукав рубахи. Его помощник улыбнулся им откуда-то сверху, с груды мешков.

— Мы еще молоды, так говорят все у нас на фабрике. Но, по-моему, лучше пожениться молодыми.

— По-моему, тоже,— улыбнулся он.— Дольше можно побыть вдвоем.

Они поженились две недели назад, и обе семьи, а также все друзья толпились в тот день в вестибюле магистратуры, а потом набились в зал «Трафальгара», чтобы шумно отпраздновать торжественное событие.

— Тебе хорошо было эти две недели?

Она почувствовала по его голосу, что он расстроен уже потому, что пытался скрыть это сейчас, когда они ничего не могли скрыть друг от друга.

— Мне было чудесно,— ответила она. Живот ее уже был заметен под широким пальто.

— Завтра в это время я буду в Бирмингеме.

— Я тоже хотела бы уехать. Мне тяжко с тобой расставаться.

— Знаю. Мне ведь тоже нелегко.

Она спросила почему, наперед зная, что он ответит, и все же ей хотелось услышать это от него.

— Потому что тебя со мной не будет,— сказал он.— Я часто думаю, как бы удрать из армии. Просто убежать, и все. Они меня не найдут. Мы могли бы жить в другом городе.

— Не делай этого,— сказала она.— Тебе всего два года служить. И все будет кончено.

— Вероятно, меня отправят за границу.

— Но ты скоро вернешься.

Он удивлялся, как может она говорить об этом с такой уверенностью, будто два года для нее сущий пустяк, а ему они представлялись безбрежным океаном. «Ее любовь, должно быть, глубже, чем моя, спокойнее и прочней, если это кажется ей таким пустяковым препятствием на пути к нашей семейной жизни. Но у нее будет ребенок, скучать ей не придется».

— Пойдем туда? — она указала в ту сторону, где тропка разветвлялась на две: одна вела через луга, другая — вверх по холму.

— Пойдем налево,— сказал он, сам не зная почему.

Она шла впереди, мурлыча какую-то песенку. С одной стороны был низкий поросший травой бугор, с другой — кусты черной смородины. Пение птиц и ворчание комбайна, работавшего внизу, теперь едва слышались, и солнце, уже почти скрывшееся за холмом, освещало поля

бледным желтым светом. Ветерок приносил белые семена лавровишни, и они хлопьями оседали на его серой шинели.

— Еще немножко, и ты будешь совсем как снеговик,— сказала она и рассмеялась — ей почему-то легко было смеяться в этот вечер.

— А ты как снежная дева.

На ее пальто тоже были белые точки.

— Дева! Я теперь замужняя дама! — она остановилась.— А как называются эти голубые цветы?

— Не знаю,— сказал он, поддразнивая ее.

— Нет, знаешь. Должен знать. Ты же мне все время рассказывал, как жил в деревне у своей бабушки, когда был маленький.

Он склонился над цветком.

— По-моему, колокольчики.

— А я думала, они цветут в апреле,— сказала она.

— Это другие колокольчики. Те цветут в апреле, а эти нет. И чему тебя только учили в школе?

Три синие головки прятались под низкими листьями возле папоротника.

— Вера, Надежда, Любовь — вот на что они похожи,— сказала она, гладя их пальцами.

— И надежда всегда остается,— сказал он, видя, что один из цветков даже не шевельнулся.

Она снова коснулась цветка, заставив его качаться вместе с другими.

— Как просто, видишь?

Они присели на бугорок, и она высыпала песок из туфель.

— Мне сегодня не хочется домой, а тебе?

— Но, детка, в поле спать вредно,— сказал он.— Дома тебе лучше будет со мной.

— Вечно ты об одном и том же! — воскликнула она.— Теперь я беременна, и нельзя делать это так часто.

— Нет, послушайте только, что она говорит!

Он усмехнулся и, подойдя к кустам, сорвал гроздь ягод с одного, потом с другого, пока не набрал целую горсть.

— Что ты там возишься? — крикнула она, не видя его.

Он подошел к ней:

— Открой рот.

— Зачем?

Она отбирала самые спелые ягоды и ела их, затем, вдруг спохватившись, заставила его тоже съесть несколько ягод.

— Я уже поел, пока собирал.

А потом, когда ни одной не осталось, они вдруг прочли в глазах друг у друга застенчивую нежность.

— И зачем только я должен завтра уехать? До чего все это нелепо.

Она ничего не могла ему сказать и только отвечала на его поцелуи.

Они шли дальше, и все больше белого пуха оседало на них. Он садился даже на ягоды смородины, и приходилось сдувать его, прежде чем съесть ягоду. Они нашли и малину, ее сок, как кровь, стекал у них по пальцам; и когда они поцеловались, он пошутил, что губы ее стали сладкими, как малина.

— А я-то думал, это от губной помады,— сказал он, беря ее за руку и поворачивая к себе. Он увидел, как дрогнули ее губы, и они поцеловались горячо и страстно.

— Я люблю тебя,— сказала она.— Брайн, милый, я люблю тебя,— произнесла она едва слышно.

— И я люблю тебя, милая.

Эти слова, такие значительные, больше не казались туманными и не-

уместными, и оба не смеялись над ними, как смеялись бы, если б услышали их друг от друга раньше. Он подумал, что слова эти вызывают неловкость, когда смысл их забыт или неведом, но когда произносишь их сознательно, они так же воспламеняют, как поцелуи, расцветающие вместе с ними.

На дорожке раздались голоса, и они отошли.

— Полезем наверх,— предложил он, кивнув в сторону холма.— Там густые кусты, и нас никто не увидит.— Она поколебалась.— Не бойся, все будет в порядке.

Они пробирались через кусты ежевики, и, когда тропка стала совсем узенькой, Брайн пошел впереди. Полин повеселела, она тихонько мурлыкала песенку и шла медленно, с достоинством. После свадьбы они прожили две недели у Полин; он стал членом их семьи, им отвели комнату; окна ее выходили во двор, где был разбит садик. Их поставили на очередь в магистратуре, но было ясно, что они смогут получить квартиру лишь много лет спустя после его демобилизации. Так что они решили, когда он вернется, снять комнату и жить самостоятельно.

— Давай вот здесь посидим.— Он расстелил шинель и снял френч.

— А ты не простудишься, милый?

— Ну, ведь еще не зима,— сказал он, смущенный тем, что она проявляет о нем заботу, которой почти не замечал до женитьбы.

— Ну смотри же,— сказала она.— Не хочу, чтобы ты заболел.

Он положил руку ей на живот.

— Тебе вот об этом малыше надо беспокоиться, а не обо мне.

— Ему-то тепло,— сказала она.

Они прилегли, обнявшись. Потом он поднял голову и увидел, что внизу по тропинке идет какой-то мужчина. Интересно, видит он их или нет?

— Что там, милый?

— Ничего.

Он снова наклонился и поцеловал ее. «Завтра меня здесь не будет»,— мысль эта стучала ему в виски, не давая спокойно провести последние часы с Полин. Эта мысль мучила его весь день, и теперь, когда они молча лежали рядом, она стала еще мучительней. «Я должен вернуться в тюрьму. А сейчас я свободен. Что, если плюнуть на них и дезертировать? Пока меня хватятся, несколько дней пройдет. А так я еще целых три месяца не увижу ее, буду там выбиваться из сил, чтоб стать каким-то несчастным радистом. Еще удивительно, как я прошел отборочные испытания». Он дотронулся до ее набухшей груди, поцеловал закрытые глаза; все ее настоящее и будущее трепетало сейчас там, где чуть вспухал нежный бугорок. «Она носит в себе ребенка, которого мне тоже не хочется покидать. Надо взять все от оставшихся часов». Но он не мог говорить. Бывает, говоришь без умолку, а бывает и так, что только целуешь, а сказать ничего не можешь; в том-то и беда, что именно тогда не находишь слов, когда нужно.

Она прильнула к нему. «Он уедет завтра,— эта мысль мучила ее, и она едва удерживалась от слез, вспоминая об этом.—И я долго не увижу его». Она боялась расстаться с ним, хотя теперь обе семьи о ней заботятся, они ее не бросят. Уже темнеет, а скоро пора уходить.

— Брайн, а когда тебе снова дадут отпуск?

— Под рождество.

Он поднял голову и увидел, как по лугу идут два человека, может быть, браконьеры, хотя еще не совсем стемнело, и ему стало не по себе от мысли, что эти люди могут их увидеть. А хорошо бы не уходить отсюда.

Она коснулась пальцами его щеки и поцеловала его. «Наверно, его тянет ко мне, только я не знаю, можно ли, хотя, конечно, мне хорошо с

ним здесь, вдали от людей, от города». Он ответил на ее поцелуй, но вдруг слезы сдавили ей горло, и она судорожно сжала его в объятиях. «Я чувствую, что его не тянет ко мне,— подумала она.— Наверно, он больше меня не любит».

Руки у него были холодные, он привстал и потянулся за своим френчем. Туман стлался по полям, солнце садилось, крадучись, прячась за деревьями, как дезертир; по небу плыли серые облака. Она потрогала ладонью землю.

— Здесь сыро, а ты должен беречь себя.

— Уже осень,— сказал он, поднявшись.

Рядом качалась какая-то ветка. Он огляделся и, никого не увидев, помог Полин встать. Может быть, подумал он, предстоящее расставание делает их такими неуклюжими и нерешительными. Он поднял шинель и надел ее.

— Посмотри, какой туман,— сказала она, когда они спускались с холма. Всюду был покой и мертвая неподвижность.

— Как странно,— сказал он, озадаченный непривычной тишиной.

— Просто комбайн перестал работать,— догадалась она.

У подножия холма они обернулись на миг, чтобы взглянуть на солнце. «Почему мы не решились? — думал он.— Нам было бы хорошо!» Солнце, кроваво-красное и уродливое, пряталось за тонкими стволами дальних деревьев, похожее на медаль, преждевременно выпущенную в честь наступления зимы, а зима еще только близилась. Багровый свет заливал луга по обе стороны рощицы.

Она писала ему раз в неделю, а он старательно учился, чтобы сдать экзамен и получить значок радиста, это дало бы ему, во-первых, повышение жалованья, а во-вторых, моральное удовлетворение, поскольку он впервые в жизни приобретал настоящую профессию. Дни летели незаметно — на занятиях они чертили и описывали схемы приемника и передатчика, изучали закон Ома и порядок работы на передатчике, с каждой неделей все быстрее отстукивали ключом морзянку и работали на телетайпе, чтобы в конце концов перейти на самостоятельные станции в полевых условиях. Ему нравилось приобретать знания и мастерство, ради этого стоило изредка заниматься маршировкой.

Но долгие вечера были тягостны, и он погружался в мрачное молчание, которое подчас, когда он сидел один в гарнизонном клубе, становилось почти осязаемым; тогда на него нападали приступы тоски, вроде тех, каким был подвержен отец в долгие пустые вечера перед войной во время безработицы. Отец впадал в злобное отчаяние, вызванное чувством бессилия и безвыходностью положения, в которое он позволил себя поставить. Отчаяние охватило и Брайна, он не мог с ним справиться много недель после возвращения из Ноттингема. Он писал по два письма в ответ на каждое письмо Полин, и то, что она писала ему реже, чем он ей, вызывало у него такое нетерпение и недовольство, что часто, придя в ярость, он едва удерживался, чтобы не порвать с ней. Но ее случайные весточки, написанные под влиянием настроения, а не в ответ на его письма, доносили до него тепло ее любви так живо и трепетно, как редко удавалось ему самому в длинных и продуманных письмах. Несколько слов, случайно и неповторимо поставленных рядом, вдруг изливали на него всю полноту их еще восторженной любви, до боли близкой и ощутимой.

Он усердно учился, расшифровывал в своих тетрадях значки и диаграммы, зная, что, если он сдаст экзамены и наберет больше шестидесяти очков, ему будут лучше платить; но усваивать материал без помощи преподавателя становилось все трудней. В зимние морозы температура ночью в нетопленых казармах была ниже нуля, и они мерзли,

дыша спертым, холодным воздухом, потому что доставка угля в лагерь прекратилась по неизвестной причине. И тогда Брайн вместе с двумя бывшими моряками торгового флота и одним бывшим уголовником шел воровать топливо. Они тайком пробирались к высоким кучам угля, сваленного около теплых офицерских квартир, и, наполнив мешки, возвращались черные, как пираты, чтобы развести красное пламя в пузатой печке на радость всем лентяям и трусам.

Время от времени он один отправлялся по вечерам через белые заснеженные Глостерширские поля в ближнюю деревушку, где выпивал несколько пинт дешевого сидра и грелся в трактире у щедрого огня, привлекая к себе недобрые взгляды местных жителей, которые считали, что он лишает их части принадлежащего им тепла — какой-то беглый солдат из лагеря, торчавшего, словно нарыв, на теле их прекрасного графства. Так думали все, кроме лавочников и трактирщиков. Выпив, он уже не боялся холода, добирался до лагеря, валился на койку и спал, пока в половине седьмого сигнал утреннего подъема не стаскивал его сильной и настойчивой рукой.

С приближением рождества, перед отпуском, он чувствовал себя так, словно стоит и ждет на платформе мчащегося экспресса. В последнее время четкий и размеренный стук колес этого экспресса слышался ему во сне, колеса мерно, отчетливо, твердо, ровно выстукивали по временам радиосигналы, причем одна серия сигналов, слишком разогнавшись, налезала на другую, и ритм ломался,— это было странно волнующее и реальное сочетание звуков. Потом хвост поезда пропадал вдали, звуки глохли в тоннеле, и ветер обжигал ему затылок, потому что какой-то безмозглый дурак оставил окно казармы открытым.

Черный туман заволакивал окрестности, и поезд целых пять часов тащился до Дерби. Состав был переполнен; вместе с десятком других пассажиров он устроился в багажном вагоне, где все расселись на мешках, запахнув поплотнее шинели. Он добрался до Ноттингема в полночь. Пустынный и мрачный вокзал раскинулся по обе стороны путей. Брайн, нагруженный вещами, держа в зубах билет, поднялся по ступенькам к дверям с надписью «Выход».

Он взял такси. Автомобиль, быстро зашуршав шинами, помчался по спящему городу к Кеннинг-серкус, куда вело гудронированное шоссе, а потом мягко покатил по знакомой и ярко освещенной улице к дому Маллиндеров.

Теща открыла ему дверь и, остановившись у лестницы, сказала, что сейчас она должна поскорей лечь, чтобы не застыть от холода, а с ним поговорит утром.

— Как Полин, здорова? — спросил он.

— Да,— ответила она, закрыла дверь и стала подниматься по лестнице.

Полин, должно быть, спала очень крепко, потому что не слышала, как он хлопнул дверью, и проснулась, только когда он уже раздевался. Комната была простая, с желтыми стенами, выкрашенными еще Маллиндером, которым однажды овладела вдруг жажда деятельности,— это было давным-давно, в одно из тех воскресений, самую память о которых он унес в могилу вместе со своей хромой ногой. Кроме кровати, здесь стоял гардероб, туалетный столик и два стула, пол был устлан линолеумом, а в углу стоял шкаф с книгами Брайна.

— Я ждала тебя только завтра,— сказала она, когда он, склонив к ней холодное от мороза лицо, обнял и поцеловал ее.— Скорей лезь сюда, милый, а то застынешь.

— Почему ты не топишь?

— А мне это ни к чему,— сказала она.— В постели и так тепло. И потом, я взяла грелку.

— Ну, больше она тебе не понадобится, во всяком случае на ближайшие две недели, потому что я здесь. Так что можешь ее выбросить.

Выглядела она хорошо, глаза у нее еще туманились спросонья.

— Как ты себя чувствуешь, милая?

— Отлично,— сказала она.— Каждую неделю хожу в клинику. У меня расширение вен, и врач говорит, нужно как-то от этого избавиться. Рожать буду дома. Недели через две или три, хотя иногда он так дает о себе знать, что я не удивилась бы, если бы все произошло завтра.

— Если это случится, пока я здесь, я продлю отпуск.

— Вот бы хорошо. Просто замечательно.

Он вспомнил бумагу, с которой их ознакомили в радиошколе неделю назад,— это был список заокеанских назначений. Курсантам предлагалось высказать свои пожелания, а там — как прикажет начальство. За те десять минут, что Брайн держал список в руках, он просто не мог прийти в себя — всплыли детские воспоминания о фантастических тропиках и давнее шальное желание поехать в эти страны, и он выбрал Японию. Он не заполнил графы, где нужно было указать причину, препятствующую отправке за океан. «Дурак я,— ругал он себя потом.— Ведь я мог бы остаться в Англии — я женат, и Полин скоро должна родить». Но по какой-то непонятной причине он не заполнил графы. Он так никогда и не понял, что побудило его сделать это, никогда не задавался этим вопросом и не сожалел об этом, удивлялся разве только тому, что его послали в Малайю, а не в Японию.

21

Два грузовика стояли у ворот и ревели моторами так грозно, что казалось, когда они, наконец, тронутся, то уволокут за собой весь лагерь. Но вот рев стал тише, и первый грузовик, рванув с места, пронесся через деревню, не обращая внимания на сигналы полицейского, который пытался остановить его у перекрестка, и повернул к унылой полосе Патанских болот.

Когда «Дакота» камнем полетела вниз, притянутая неведомым магнитом где-то в джунглях, ее радист успел отстучать сигнал SOS, а потом раздалось долгое монотонное жужжание, так что недремлющим радистам в Кота-Либис и Сингапуре удалось довольно точно засечь ее местоположение. После этого аварийная рация самолета ни разу даже не пискнула, так что неизвестно было, уцелел кто-нибудь из экипажа или нет. Линии пеленга, проложенные на меркаторской карте северной Малайи, пересеклись в районе, покрытом глухими, необитаемыми джунглями, между Кедой и Пераком.

Брайн сидел в первом грузовике — металлическая лента наушников охватывала его коротко остриженные волосы — и устало слушал треск атмосферных разрядов: словно кто-то тряс коробок спичек у самых его барабанных перепонок. Каким-то необъяснимым образом этот шум, слышный только ему, затуманивал видневшиеся вдали тонкие деревья и малайские хижины, стоявшие возле рисового поля на длинных сваях, словно на деревянных ногах. И он немного сдвинул наушники, чтобы полюбоваться природой — огромными знойными голубыми равнинами, тихо проплывавшими вдали; глядя на них, он со страхом думал о темной лесной чаще там, в горах, где запеклась кровь погибших людей. Прямая дорога, расстилавшаяся впереди, кюветы и ряды тонких высоких деревьев по обе стороны — все это было похоже на освещенный тропическим солнцем голландский пейзаж, запомнившийся ему давным-давно, еще со школьных времен.

В наушниках прозвучал неторопливый стук морзянки — его позывные, а потом, очень коротко, координаты пехотного подразделения, продвигавшегося к северу от Тайпина. Он вырвал из блокнота листок с радиограммой и передал ее Оджесону, который карандашом написал ответ. Это было похоже на игру, на задачу по координации действий, когда две группы должны сойтись с третьей, нарочно спрятавшейся в горах. Он сдвинул бакелитовую чашечку с одного уха и сказал:

— Наверно, эти бандиты перехватывают мои радиограммы. Нужно их зашифровать. Мне-то, конечно, наплевать: пускай перехватывают, сколько влезет.

Бейкер, прикрывшись от ветра, прикурил две сигареты и передал одну Брайну.

— Можешь не беспокоиться, экипаж давно погиб.

— Погиб или нет, а мы не вернемся из этих джунглей, пока не найдем их. Может, не одну неделю будем здесь рыскать.

Дым отнесло ветром прямо ему в лицо, заставив открыть глаза. Он заглянул через целлофановое окошечко в кабину водителя — стрелка спидометра колебалась около цифры шестьдесят. На рисовых полях зеленели высокие, сочные всходы, казалось, оттуда веет прохладой, а на невозделанных участках в воде отражались белые облака, скрывшие голубые и зеленые хребты, к которым грузовики свернули на последнем перекрестке. Второй грузовик следовал за ними в сотне ярдов; Нотмэн помахал из кузова и сжал кулак — это было приветствие «рот-фронт».

Ветер был такой сильный, что сигарета Брайна скоро стала жечь ему губы, и он выплюнул ее в темную асфальтовую реку дороги. Грузовик замедлил скорость, и пот выступил у Брайна на лице, волосы слиплись. Узкая извилистая дорога шла от деревни через каучуковую плантацию, где одинокий крестьянин с подвешенными на коромысле жестянками продвигался от дерева с дереву, это зрелище напомнило Брайну рекламную картинку в одном из тех журналов, которые Брайн часто листал в лагерной библиотеке. Бунгало управляющего было укреплено мешками с песком и колючей проволокой, а на пригорке, господствовавшем над подступами к бунгало, малайцы поставили пулемет.

Морзянка. Его карандаш привычно записал радиограмму из пехотного взвода — они сообщали, что их грузовик сломался. Когда последние слова дошли до его сознания, он понял, что из-за этого они могут надолго застрять в джунглях. Оджесон передал ему курс и координаты.

— Подождем их на месте. Надеюсь, это ненадолго.

— Хотел бы я вместо такой прогулочки плыть на корабле домой,— сказал Брайн Бейкеру.

Бейкер засмеялся.

— Мы сами виноваты, что полезли на Гунонг-Барат. Зря я тогда вас послушался.

С тех пор как он уехал из Англии, его хмурое лицо утратило свой природный цвет, загорело и приобрело оттенок дубленой кожи. Накануне он допоздна пьянствовал один в гарнизонном клубе, и теперь ему еще больше обычного было «начхать на все». Чем меньше времени оставалось до демобилизации, тем больше он пил и даже начал курить, а учебники по автоделу и каталоги мотоциклов, заброшенные, пылились у него в ящике.

— А по мне, лучше в борделе сидеть, чем в этой парильне на колесах,— сказал он.

— Скоро будешь там. Или в Лондоне со своей девушкой. Послушай, а вдруг твой мотоцикл заржавел и развалился?

Бейкер был так измучен, что не почувствовал насмешки.

— Не знаю. Брат обещал присмотреть за ним, так что он будет в приличном состоянии. Конечно, брат не бог весть какой хороший механик, но если он обещал — значит, сделает.

Оджесон поднял голову от карты и пристально поглядел на дорогу; Брайн подумал, что его холеное лицо, наверно, чем-то похоже на лица тех летчиков, которых они ехали спасать. Он представил их себе: наверняка все с высшим образованием и уж конечно мастера своего дела, самоуверенные и беззаботные, но тут же они представились ему мертвые, искалеченные, повисшие на огромных ветвях могучих лесных великанов. Или, может, они живы, их только ранило и все они ждут не дождутся помощи, а жизнь уходит из них, как воздух из проколотого баллона.

Грузовик поворачивал теперь уже не так резко, вторая машина шла следом в пятидесяти ярдах по дороге, пролегавшей в тени, у подножия гор. Брайн, прикрыв глаза, дремал под мерный усыпляющий рокот мотора и прислушивался, не вызовут ли солдаты их снова, а Оджесон готовил координаты для передачи на станцию в Кота-Либис. Они останавливались у дорожных застав и быстро объясняли патрулям задание.

— Здесь, наверно, полно бандитов,— сказал Бейкер.— Окажись за следующим поворотом засада, и единственное судно, на борт которого мы попадем, это Ноев ковчег, плывущий прямо на небо.

Брайн называл его пессимистом, но теперь, когда Бейкер заговорил об опасности, нельзя было чувствовать себя уверенно. Сообщения «Стрэйтс таймс» подтверждали слова Бейкера; хотя серьезных боев еще не было, партизаны захватили отдельные полицейские посты, деревушки и бунгало управляющих плантациями, что было необычайным успехом в партизанской войне. Он читал, что в сорока милях от Сингапура десять партизан в защитной форме, вооруженные автоматами, вытащили из дома двоих братьев, одного застрелили, а другой так перепугался, что только через несколько дней сообщил в полицию. А в Менкатабе был другой случай — сорок человек атаковали полицейский участок, перерезали телефонные провода и несколько часов стреляли, а потом скрылись. «Что ж, они дело делают,— подумал он.— Кто может их осудить?».

Солнце стояло уже высоко, жара рисовала островки пота на рубашке Брайна. Бейкер вытер лицо.

— Почему не надеваешь панаму? — спросил Брайн.— Надо беречься, а то солнечный удар будет.

— Плевать,— отозвался тот.— Тогда меня как больного отправят назад в лагерь, и там-то я отведу душу, скажу, куда им послать свою паршивую авиацию.

Когда снова показались коричневые хижины малайской деревни, Оджесон взглянул на часы.

— Через десять минут будем на месте.

— А я сказал бы им все это и без солнечного удара,— проговорил Брайн.

— Ты вообще ничего не сказал бы им. Не сумел бы.

— Не беспокойся, сумел бы.

— Ты такой же баран, как все. Вернешься в Англию, устроишься на работу, квартиру найдешь и будешь вспоминать пребывание в Малайе как самое чудесное время в своей жизни.

— Плохо ты меня знаешь.

— Видел я твой альбом с кучей фотографий.

— Ну и что же? Хочу, чтобы моя семья знала, каким я был. И с чего это ты злишься?

Фантастические, похожие на сахарные головы горы, косматые кроны деревьев с бородами из лиан, наполовину скрывавшие красные пятна

скал, снова сменились грядами холмов, над которыми на высоте двухсот или трехсот футов еще клубился призрачный, быстро редеющий туман, ограждавший их, словно чье-то частное имущество.

— С похмелья,— ответил Бейкер.

— Тогда отстань. Надень-ка лучше наушники да послушай этот треск. Может, тебе и легче станет.

Еще один поворот по мощенной гравием дороге, и оба грузовика очутились в тени деревьев. В дверях ближайшей хижины стояла малайская женщина и с улыбкой указывала на склон горы. Все спрыгнули на землю, чтобы размять ноги. Девять винтовок прислонили к дереву. Женщина принесла гроздь спелых бананов, они сложились и уплатили ей.

Брайн сообщил в Кота-Либис, что они достигли назначенного места встречи и теперь намерены дождаться солдат, прежде чем начать подъем в горы, и передал рацию Бейкеру. Он собрал хворосту и стал разводить костер для чая. Сначала огонь никак не горел, сырые, покрытые мхом ветки только дымились и не хотели загораться, но, взявшись за дело терпеливо и усердно, Брайн на несколько минут забыл о тревожной действительности, об этом неожиданном путешествии и наконец разжег яркий огонь. Пока Оджесон и Нотмэн спорили, каким образом и когда двинуться дальше, он приготовил крепкий чай и разлил его по кружкам.

Глядя вверх на гору, он думал о том, где же лежит этот самолет, потому что здесь не было заметно следов — ни впадины, как от Тунгусского метеорита, ни разбросанных веером обломков, которые указали бы то место, куда он ткнулся своим серебристым носом. Две невидимые линии пересеклись где-то в океане джунглей — или, по крайней мере, так предполагалось, потому что кто мог бы поручиться за точность пеленга? Его размышления были нарушены шумом старого форда — чуть ли не самой первой модели,— затормозившего у хижины. Из форда вылез малаец-полицейский в чине офицера, нарядный и франтоватый, в новехонькой форме цвета хаки, и спросил у Оджесона, что он намерен делать. Оджесон сказал, что считает нужным как можно скорее двинуться на поиски самолета. Полицейский любезно улыбнулся и подтвердил, что да, действительно самолет упал там, наверху, и указал палкой в сторону джунглей, потому что жители деревни слышали ночью шум мотора. Конечно, добавил он, никто не уверен, что там нет бандитов.

— Но мы не можем торчать здесь до бесконечности,— сказал Оджесон.

Полицейский согласился, что неразумно ждать слишком долго, но нужно соблюдать осторожность и не рисковать зря. Вполне удовлетворенный положением дел на белом свете, он улыбнулся, сел в машину и уехал вместе со своим адъютантом, который не отходил от пулемета. Автомобиль затарахтел по дороге, свернул за угол и скрылся из виду.

Брайн ополоснул кружку в ручье и затоптал огонь, а малайская женщина сложила оставшийся хворост возле своей хижины, словно предчувствуя, что они уедут раньше, чем снова захотят чаю, но Оджесон и Нотмэн, совещавшиеся возле грузовиков, никак не могли принять решение: от солдат никаких вестей, а ведь они ждут уже больше часа. Нотмэн вызвался пойти наверх с несколькими людьми, но Оджесон по-прежнему считал, что лучше подождать, пока подойдут солдаты.

— И все-таки нужно идти,— сказал Брайн Бейкеру, стоя около рации.— У нас есть винтовки, и мы — опытные покорители джунглей. Как подумаю, что эти бедняги подыхают там один за другим, тошно становится.— Он раскрыл солдатскую книжку.— Вот, у меня здесь еще хранится твое завещание, которое ты дал мне на Гунонг-Барат. Забери-ка его, а не то, если там, наверху, я захочу чаю, чего доброго, пущу его на растопку.

Бейкер рассеянно взял бумажку и спрятал ее под передатчик — от

ветра и дождя. Остальные, чтобы развлечься, играли в футбол консервной банкой.

— Я — «Арсенал»! — крикнул один.

— А я — «Пикадили Хотсперс»! — подхватил другой.

Бейкер снова стал вызывать солдат, но ответа не получил, словно тире и точки не могли проникнуть в эфир через лесистые горы, окружавшие их с трех сторон.

Оджесон решил действовать.

— В ружье! Разделимся на два отряда, по четыре человека. Водители останутся у грузовиков.

Нотмэн развернул карту, чтобы наметить маршруты и назначить время встречи.

— Мне вовсе не охота оставаться тут с ним вдвоем,— мрачно сказал один из водителей.

— Но и нам тоже на гору лезть неохота,— возразили ему.

Бейкер наконец получил долгожданное сообщение от солдат: они напоролись на засаду в нескольких милях к югу, их грузовик сломался. Но они решили разделить силы, и два отделения идут пешком, так что водители остались довольны, а все другие не прочь были отправиться в джунгли, раз солдаты так близко. По безбрежному небу проплыла на северо-восток «Дакота», потом повернула назад, снижаясь. Самолет сделал два круга, пересек линию гор и с ревом пролетел над ними, обгоняемый своей тенью, скользившей по земле.

— Тоже ищет,— сказал Нотмэн.— Это большое дело, хотя лучше бы послать «Остэр» или вертолет.

Брайн оказался в отряде Оджесона вместе с Бейкером, четвертым был солдат из Чешира, который в лагере работал на телетайпе.

Оба отряда направились по тропе среди колышущейся высокой травы, тонкой и острой, как штыки, и вскоре потеряли друг друга из виду. Брайн отдал часть переносной рации Бейкеру, который тащил на себе еще винтовку с пятьюдесятью патронами, нож, провиант, подстилку и одеяло. Оджесону досталась ноша полегче — аптечка, чтобы оказать первую помощь раненому, пока не доставят в санитарную машину, которая будет ждать у подножия горы, для чего каждый из двух отрядов (приказано далеко не расходиться) имел складные носилки.

«Маленькая, но хорошо организованная экспедиция»,— так, наверно, говорят себе в лагере командир и его адъютант, поглаживая усы, похожие на велосипедный руль, и, дружески хлопая друг друга по плечу, втыкают флажки в разложенную на столе карту, отмечая путь, который медленно преодолевают мои распухшие, ноющие ноги.

Но все равно, просто удивительно, какие у меня иногда ясные мысли — как звезды на ночном небе. Может, когда я вернусь в Англию, где мороз и снег проясняют мозги, я стану умный, все буду видеть насквозь, буду много читать, научусь говорить и понимать всякие мудреные слова, и Полин всякий раз будет удивляться: «Подумать только! Да он целый словарь назубок выучил».

Еще шагов пятьдесят, и они очутились в джунглях, стали продираться сквозь лианы, бодрые и довольные, что наконец тронулись в путь. Это было чудесно, просто чудесно, «отлично подготовленный марш», как сказал бы командир, но все-таки наступил полдень, а их подняли в пять утра, с тех пор прошло уже семь часов. Много ли останется сил, если целый день только готовиться к выступлению! Эта мысль с самого начала сломила его; им предстояло быстро взобраться на гребень, спуститься с него разными маршрутами, потом снова подняться, уже под другим углом, к вершине, пока кто-нибудь не увидит самолет или его обломки, и красный карандаш отметит их путь сумасшедшими зигзагами, словно по карте ползали раненые мухи.

Они шли гуськом, с довольно большим интервалом, спотыкаясь о поваленные деревья, прорубая дорогу среди ползучих кустарников, через которые нельзя было перешагнуть. Брайн уже выбился из сил. Среди смутных теней гигантских деревьев почти ничего не было видно, и Брайн, то и дело выдирая цеплявшуюся винтовку, шагал, как заводной, вглядываясь то вперед, то налево, то направо, в надежде увидеть где-нибудь обломок самолета. Он натер на пятках пузыри, и они все надувались, высасывая из его тела драгоценную влагу, а потом от ходьбы и трения лопались под шерстяным носком, оставляя лоскуты кожи, пока он не оборвал их на привале. Вскоре он понял, что напрасно сделал это — боль только усилилась, но волей-неволей приходилось терпеть.

В два часа дня Оджесон распорядился сделать привал, и они, прислонившись к деревьям, стали торопливо открывать банки с мясными консервами, грызть галеты и шоколад.

— Хотел бы я знать,— обратился Брайн к спутникам,— а нас кто спасать будет?

Покурив минут десять, они двинулись дальше, а еще через десять минут им уже казалось, что они вовсе не отдыхали.

«Если я остановлюсь и лягу, то уж не встану. Даже когда я думаю о тех раненых беднягах, все равно не могу заставить себя идти быстрее. Я хочу только одного — спать. Отчего они не упали в болото или в море? Сами бы уцелели, и нам не пришлось бы тащиться сюда. Но, может, мы скоро их найдем и — живо назад, в лагерь. Боже, а что, если на это и надеяться нечего, если б вот мы летели во время войны, спасаясь от японцев, и деваться было некуда или были бы коммунистами и спасались бы от гвардейского гренадерского полка? Но и тогда все скоро кончилось бы так или иначе». Он стянул с себя башмаки: один пузырь побелел, раздулся, как мешочек с грязной мукой, и болел теперь сильнее, словно воздух натирал его еще больше, чем шерстяной носок. Тяжелый, непригодный для таких поисков самолет с ревом промчался над самой вершиной, потом взмыл кверху и полетел назад уже не так низко.

Они пробирались сквозь кусты и грозные деревья, и едва на рубашках просыхало одно темное пятно пота, как появлялось другое, словно кто-то оставлял его мокрой кистью, стоило им только зазеваться. Брайну уже казалось, что если б он почему-либо остановился, ноги его сами продолжали бы все так же мучительно подниматься и опускаться, словно у марионетки, исполняющей пляску святого Витта. К шести часам они оказались, если верить карте, на высоте трех тысяч футов.

— Мы совершили чудо,— сказал Оджесон.

— Нас должны наградить за это «Крестом Виктории»,— откликнулся чеширец с усмешкой.

— Может, и наградят.

— Давайте поскорей найдем этих бедняг, и делу конец,— сказал Брайн.

Они стали спускаться, двигаясь по компасу. После восхождения на Гуноиг-Барат они чутьем, как муравьи, находили удобную дорогу между упавшими огромными деревьями, в полумраке, на склонах, поросших чертополохом, угадывали уступы, по которым легко пройти, или рытвины, задолго до того, как увидят или нащупают их ногами. Для Брайна запахи джунглей, сырость, трудности пути, напряженное, отчаянное молчание, которое воцарялось всякий раз, как они останавливались отдохнуть, были теперь привычными и родными, это была явная борьба здесь, на земле, связанная с менее явной и ощутимой борьбой в иных джунглях, внутри него самого,— сочетание, благодаря которому, несмотря на невыносимую усталость, этот поход казался необходимым и даже предопределенным судьбой.

В сумерки зрение его утратило остроту, словно ему нужны были очки, чтобы снова видеть ясно листья и широкополые шляпы. Они смотрели, как за Пулау-Тимур садится солнце, и далекий остров, казалось, тихо погружается в море, точно огромный пустой паром. Облака были похожи на кроваво-красные стрелы, нацеленные в море, как будто огромный, полный крови пузырь лопнул над черными холмами острова, и закат потоками устремился в невидимые долины.

К семи часам стало так темно, что нельзя было продолжать поиски, и Бейкер сделал попытку связаться с отрядом Нотмэна (остальные сидели вокруг с таким видом, словно он, заблудившись в темном лесу, пытался связаться с самим богом и получить от него указания). Наконец Нотмэн ответил: «Это ты, Бейкер? Я так и думал. Мы ничего не нашли и ложимся спать. Мы поднялись на северный гребень и осмотрели оттуда долину. А теперь опять спустились до половины склона. Ты видел закат над Пулау-Тимур? Это было похоже на светопреставление. Час назад мы встретились с солдатами, сегодня они останутся с нами, а завтра утром двинутся в вашу сторону. Кажется, нас разделяет около мили, но точно сказать трудно».

Брайн расстелил свою подстилку и одеяло под молодыми деревцами и поплыл по руслам странных сновидений, окунулся в слепящий полусвет и полутьму снежной бури, тяжелые белые хлопья густо падали вокруг него и пронизывали холодом до костей. Когда буран кончился, поля были белые, небо — молочно-голубое, низкое и все такое же грозное. Но несмотря на то, что он дрожал от холода, ему было хорошо в заснеженных полях.

Он открыл глаза, не понимая, где он, но теплый запах джунглей сразу объяснил ему все. Еще кто-то не спал, сидел рядом с ним, обхватив руками колени. Надеясь, что скоро рассвет, Брайн поглядел на часы; светящиеся стрелки показывали половину пятого. Он нащупал свою винтовку и тут же выругал себя за то, что первым делом вспомнил о ней. Нужно бы ее вышвырнуть.

— Как, по-твоему, долго еще нам их искать?

— Это уж как повезет,— сказал Оджесон.— Может, нас продержат здесь недели две.

Брайн закурил сигарету и угостил Оджесона.

— Долгонько для таких тяжелых условий.

— А может, отзовут через несколько дней,— предположил Оджесон.— Кто-нибудь сменит нас.

— Вообще-то я мог бы здесь не одну неделю пробыть. У меня такое двойственное чувство.— «Как и у всех»,— добавил он про себя.

— Наверно, каждый из нас мог бы,— сказал Оджесон.

Их сигареты мерцали в ночи, словно красные мухи, порхавшие над теплым потоком их мыслей. Потом Оджесон заснул, а Брайн выкурил полпачки сигарет, прежде чем стало светать.

В шесть часов их вызвал по радио Нотмэн; оба отряда должны начать спуск и через несколько часов выйти к джипам. Из Сингапура доставлена самолетом еще одна спасательная партия, которая примет участие в поисках. Оджесон ответил, что задача ясна, и они двинулись в путь.

Позавтракав сгущенным молоком и радуясь солнцу, которое согревало его измученные ревматизмом кости, Брайн словно родился заново. И все же первый час пути он чувствовал себя девяностолетним старцем. Слабый и разбитый, он не мог больше блуждать и петлять в тщетных поисках самолета. Под мышками у него появились опрелости, болевшие от пота и непрестанного движения, и ему приходилось теперь преодолевать эту саднящую боль, точно так же, как накануне — боль в натертых ногах. По сравнению с этим шесть дней на Гунонг-Барат казались

детской игрой, тогда он отлично перенес все трудности путешествия в джунглях, хотя тащил, как осел, вдвое больше поклажи.

— Не понимаю, почему они не приказали нам ждать в деревне, пока авиация не отыщет какие-нибудь следы,— заметил он на первом привале, желая завязать общий разговор.

— Сам знаешь, не всегда легко разглядеть что-нибудь в джунглях,— отозвался Оджесон.— Даже с воздуха. Во всяком случае, командир, я думаю, знает, что делает. А у него забот побольше наших.

— По-моему, командиру и его адъютантам просто не терпится передвинуть флажки на карте,— сказал Брайн.

Чеширец поднялся с шутливой важностью.

— В первый раз я стал флажком на карте.

— Но, сдается мне, не в последний,— возразил Бейкер.— Ты ведь сверхсрочник, верно?

Тот не ответил.

— А вот я — в последний раз,— убежденно сказал Брайн.

— Откуда ты знаешь? — спросил Оджесон сердито, словно в своих тяготах они винили его.

— А вот знаю.— Брайн почувствовал внезапную неприязнь к Оджесону, и ему вдруг стало ясно, что этого человека ничем не собьешь.

— Ну, это мы еще увидим, Ситон.

— Ничего ты не увидишь.

Он сказал это с тупым упорством, убежденный, что его слова станут известны начальству, и, хотя Бейкер и чеширец его не поддержали, он сказал это твердо и решительно. «Обойдусь без них,— подумал он.— Мне ни от кого не нужно помощи».

— Нам не зря приказано писать на конвертах «Действующая армия», и винтовки нам выдали на этот раз не для того, чтобы стрелять по теням или светлячкам.

Оджесон наконец понял, что к чему.

— Я не собираюсь спорить о политике. Хочу только найти экипаж упавшего самолета. А это значит — пока мы здесь, извольте мне подчиняться.

— Я сказал только, что в последний раз буду флажком на какой-то поганой карте,— отозвался Брайн.— Я отвечаю за свои слова, и никто не смеет затыкать мне рот.

— Ладно, сказал и точка. Но если скажешь еще раз, то, когда вернемся в лагерь, отправишься на губу. Мне наплевать, что тебя скоро демобилизуют.

Брайн шел последним и сквозь деревья видел всех троих — они шли полукругом. Оджесон был впереди. «Мы спорим, и этот слюнтяй затыкает мне рот, пользуясь своим чином, но и я могу заткнуть ему рот: могу всадить пулю в его ханжескую рожу, и дело с концом. Трудно найти лучшее применение для тяжеленной винтовки и пятидесяти патронов, которые я таскаю на себе. На то у меня и язык, чтобы говорить, а говорю я не зря, и хотя слова мои не имеют никакого отношения к тому, что мы тут выбиваемся из сил, разыскивая этих летчиков, все равно велят молчать. Просто житья нет».

Теперь вперед вышел Бейкер, и тут все увидели искалеченное дерево, на которое, вероятно, упало с неба что-то тяжелое. Верхушка дерева была срезана и отброшена в сторону, как голова куклы после рождества. У Брайна сильно забилось сердце. В лучах солнца вдруг сверкнул стальной обломок. Похоже было, что мытарства их кончились. «Словно посылает нам сигналы морзянкой»,— подумал он. Склон, густо поросший деревьями, выровнялся, однообразие местности нарушилось, уже не приходилось шагать вверх-вниз, они шли теперь, как по вспаханной борозде, по обломанным веткам и лианам, на белых концах которых блестели

клейкие капли смолы. Вот неглубокая яма длиной всего в несколько шагов и вокруг вывернутая стального цвета земля, а в нее зарылся смятый, исцарапанный кожух самолетного мотора. Он глубоко ушел в глину, словно убитый выстрелом наповал, прежде чем успел вгрызться в землю, ради чего, обезумев, ринулся вниз с неба. Они стояли ошеломленные, охваченные благоговейным страхом, хоть и ожидали чего-нибудь в этом роде,— так поразил их вид прекрасной машины, очутившейся в этом первобытном окружении.

— А где же все остальное? — спросил Оджесон.

— Разбросано по горе,— сказал Бейкер.— Мы изойдем кровавым потом, отыскивая каждый кусок.

Брайн отнесся к этому безразлично. «Что же делать, что же делать, раз попал в эту дыру, прямо в пекло, прямо в пекло мчать верхом на кенгуру».

— Ты прав: мало-мальски крупные куски могут валяться за много миль отсюда,— сказал Оджесон Бейкеру.

Они разделились и зашагали все четверо в разные стороны, словно по стрелкам указательного столба, договорившись сойтись по свистку.

Брайн очутился один и был рад этому. Он двинулся прочь от кожуха с чувством облегчения, словно гуляя в тихий погожий день. Пейзаж изменился, и хотя джунгли были все еще сырые и труднопроходимые, но то, что он не видел других, не слышал их голосов, его успокаивало. Джунгли стали вдруг не такими чужими, он чувствовал, что для него они теперь стали как бы ручными, и он даже начинает понимать, как они безобидны и, пожалуй, необходимы. Пышная листва плыла у него над головой. Земля под ногами остро пахла прелью, но этот запах больше уже не грозил лихорадкой, он был все равно что свежий воздух при таком безветрии, и ему уже не хотелось вглядываться сквозь высокие деревья, чтобы увидеть крошечный клочок неба. Со скалы тихо капала вода, но русла ручья ему найти не удалось, и он пошел напрямик, меся ногами красную глину, которая прилипала к его ботинкам, совсем как в детстве, когда он нарочно шлепал по лужам в высоких сапогах.

Наскоро выкурив сигарету, он стал продираться вперед, ныряя под ветки или перелезая через них, поднимаясь с уступа на уступ, а когда выбрался на ровное место, увидел, что кто-то смотрит на него, раздвинув ветки. Короткие черные волосы, белое лицо, изможденное, но умное, спокойное и мягкое и вдруг неизвестно почему ставшее злобным. Брайн заметил еще, что на этом человеке зеленая рубашка, и, поспешно спустившись вниз по склону, хотел спрятаться за деревом. Но человек уже прыгнул, занеся нож.

Словно граната разорвалась у него внутри, и по телу разлился болезненный страх, но и в этом тумане он почувствовал, что стаскивает с себя вещевой мешок и дико кричит, надеясь, что другие его услышат, кричит долго, высоким голосом и готов кричать без конца, но его крик терялся среди кустов и деревьев. Мешок покатился вниз, а ведь когда он его снимал, то думал, как бы его не упустить; но только теперь, почувствовав, что и винтовка от него ускользает, он понял, как разумна была эта мысль.

Он сполз вниз, весь переполненный страхом и отчаянием. И все же мысли его метались, он в глубине души ждал возможности что-то предпринять и не хотел искать спасения в бегстве от смертоносного ножа. Дерево, земля, кусты и запахи джунглей, воспоминания о тщетных поисках самолета — все смешалось в его сознании. Человек зарычал («Этот болван думает, что я хочу на него напасть. Почему?»), и в то мгновение, когда нож оставался занесенным, здесь, в тишине леса, Брайн с удивлением успел заметить столько подробностей —

молниеносно, звериным чутьем он чувствовал все, словно в надвигающемся кошмаре.

Клинок ножа был гнутый и ржавый, наверно, долго мокнул под дождем в джунглях, но острие у него серое — значит, он недавно наточен. «Мне крышка,— подумал Брайн, и эта короткая мысль исходила из той части его существа, которая была враждебна ему самому,— он меня убьет». Он крикнул, объятый страхом, поняв вдруг чувства этого человека, который тяжело дышал и рычал, готовясь нанести удар. И его руки метнулись вперед, повинуясь инстинкту самосохранения.

Оба подпрыгнули разом; его руки зловещим и точным движением протянулись к ножу — старый прием самозащиты без оружия, которому его много лет назад научил на картонажной фабрике Артур Эдисон. Он захватил запястье и локоть жесткой, как проволока, руки, державшей нож, и вывернул ее, рванув изо всех сил в сторону и назад. Прием удался, и он сам пришел в ужас от этого, тело его покрылось испариной, и со своей нерешительностью ему пришлось не менее напряженно бороться, чем с действительной опасностью.

Он глядел на лезвие ножа, отведенное далеко назад, и ему захотелось смеяться, потому что он сумел это сделать, но он подавил в себе эту слабость, боясь обессилеть от смеха. Противник зарычал и ударил его ногой, разбив ему лодыжку, потом рванул схваченную руку и свободной рукой нанес удар, но Брайн не обращал внимания на боль, а его противник даже не успел сообразить, что может перехватить нож другой рукой. Чем сильнее Брайн, скрежеща зубами, сжимал ему руку, тем больше тот слабел, и вскоре было уже нетрудно заставить его бросить нож. Это было глупо, ведь Брайн мог сломать ему руку, которую сжимал изо всех сил, напрягая мускулы, окрепшие за годы труда, и он знал, что долго этого никому не выдержать. Брайну хотелось засмеяться и выпустить руку, сказать этому человеку, чтоб он перестал и не был таким идиотом. Нож выскользнул и исчез в зелени листвы. Брайн отшвырнул незнакомца быстрым, как молния, ударом кулака и ноги. Теперь его снова охватил страх, он тяжело дышал и споткнулся о свой вещевой мешок и винтовку, а незнакомец вылез из кустов и шарил по земле.

Брайн поднял винтовку: «Этот болван может снова на меня наброситься, но тогда я вышибу ему мозги, да так, что они на деревьях повиснут. И чего он на меня взъелся?» Брайн дослал патрон, громко щелкнул затвором и сам понял значение этого звука, только когда звонкое эхо замерло вдали,— вспомнил собаку, лежавшую, как тряпка, около его рубки с простреленной головой. Партизан выпустил нож и стоял теперь, подняв руки, в десятке шагов от Брайна, настолько близко, что Брайн видел, как подергивается левый уголок рта на его застывшем и покорном лице. Зачем он поднял руки? Почему не побежал? Он поставил затвор на предохранитель, чтобы не спустить курок. Молчание становилось невыносимым, Брайн шевельнулся, хрустнул сучок.

— Беги,— сказал он, боясь, что этот человек сумасшедший и может снова на него броситься,— катись к черту.— И он пригрозил ему винтовкой, если тот не послушается.

Какой-то внутренний голос твердил Брайну, что это враг, но Брайн отбросил эту мысль, считая, что так будет лучше и для этого человека, и для него самого. Может быть, он не понимает по-английски?

— Беги, ну...

Человек вдруг оправился от замешательства, с лица его исчезла равнодушная покорность пленника, он повернулся, прыгнул и скрылся в джунглях. Брайн стоял на месте, словно оледенев, потом рука у него дрогнула, и он, поставив ружье между ног, прислонился спиной к дереву, чтобы закурить сигарету. Над головой гудел самолет, но Брайн был так потрясен, что даже не взглянул на него, уставившись в землю.

Войны в Малайе и всего, что он о ней слышал, словно не существовало в этих темных и влажных джунглях, и он подумал, что у этого человека, наверно, есть где-нибудь неподалеку хижина и садик, и, приняв его, Брайна, за одного из тех, кто разграбил ее на прошлой неделе, он теперь ждал в засаде его возвращения.

Ноги у Брайна стали как резиновые, и он, ослабев от смятения и угрозы смерти («Он хотел меня убить, ну конечно, это по его роже видно было».), пошел обратно, туда, где расстался с остальными. Может быть, этот человек партизан, бандит; Брайн отогнал эту мысль, но она вернулась снова и неотвязно его преследовала, как будто уверенность, что это так, каким-то образом могла укрепить его рассудок, неведомым путем спасти его душу. Но как бы там ни было, он не бандит, а коммунист. А это большая разница — уж настолько-то Брайн мог разобраться. И перед ним возникла картина: хмурый осенний день несколько лет назад, еще во время войны, обеденный час около фабричной столовой — картина эта составилась из воспоминаний о многих таких обеденных часах,— оратор-коммунист говорил о Советском Союзе, истекающем кровью в упорной борьбе против немецких нацистов и итальянских фашистов, о том, что пора Англии и Америке открыть второй фронт, и тут из толпы раздался выкрик:

— А ты почему не в армии, приятель?

Но кто-то перекрыл крикуна:

— А ты сам почему не в армии?

И взрыв хохота не дал ему больше говорить.

Брайн прислонился к дереву, не в силах удержаться от смеха; яростная издевка вырвалась наружу: «А я его отпустил! Оджесон и все вы, сволочи, я отпустил его, потому что он — товарищ! Я не убил его, потому что он — человек». И вдруг уверенность, что это был партизан, словно удар кулака, свалила его на землю, и он корчился и смеялся, вне себя от радости, ничего не видя вокруг, хохотал, потому что человек остался жив, кто бы он там ни был. «А все-таки он сволочь, надо было вскинуть винтовку и пригвоздить его к земле пулей, как он пригвоздил бы меня своим ножом, будь у него хоть малейшая возможность». Он закурил. «Пожалуй, лучше вернуться и поглядеть, не нашли ли они там самолет. Но теперь, если какой-нибудь умник скажет мне: «А ты почему не в армии?» — я ему сумею так ответить, что он только рот разинет». Он шел тихо, боясь, что рядом окажутся другие партизаны и на этот раз ему повезет меньше. Он похолодел от страха и вдруг узнал кожух мотора, возле которого расстался с остальными,— алюминиевый ящик, заключавший в себе сложный самолетный мотор, и вид этого ящика живо напомнил ему щелканье предохранителя, прозвучавшее несколько минут назад. Он начал подниматься вверх, мимо зловещих остатков самолета, туда, где надеялся найти своих. И вдруг, неожиданно для самого себя, он начал стрелять по верхушкам деревьев, в небо, выстрелил пять или шесть раз подряд по тем призракам, которые вызвал в его солдатском воображении образ коммуниста. Он расстрелял всю обойму, теперь уже тщательнее прицеливаясь в призрачные тени меж деревьев, и каждая пуля вонзалась где-то далеко в землю или в ствол, а оглушительный грохот тревожил и разгонял тишину в этих горах. «Что ты делал на войне, папа?» — «Я поймал коммуниста и отпустил его».— «Почему же ты это сделал?» — «Потому что он был человек». И не все будут смотреть на меня, как на конченного. «Брайн, мой мальчик, я горжусь тобой»,— сказал бы его старик.

Он немного успокоился, хотя глаза у него все еще возбужденно блестели («Мне кажется, я похож сейчас на бумажный фонарик — пустой, а внутри огонь».), и двинулся по склону. Оджесон, Бейкер и чеширец ока-

зались впереди, но они продирались сквозь заросли с таким шумом, что не слышали его шагов.

— Эй! — крикнул он. —Нашли что-нибудь?

Они подошли друг к другу.

— Мы слышали выстрелы и пошли на звук. Думали, может, это отряд Нотмэна.

— Это я стрелял,— сказал Брайн, закуривая.— Какой-то человек напал на меня, наверно, бандит — удрал, как только увидел винтовку. Я промазал.

— Но это была настоящая пулеметная очередь,— сказал чеширец.— Нужно быть слепым, чтобы не уложить его.

Оджесон сказал встревоженно:

— Будем держаться все вместе и глядеть в оба. На всех ведь носилок не хватит.

— Нотмэн, наверно, где-нибудь недалеко, вместе с солдатами,— сказал Бейкер, шедший сзади.— Попробовать их вызвать?

Оджесон решил не делать этого.

— Они сейчас не ждут вызова, так что пошли дальше, и хватит разговоров.

— Теперь он сбросил маску,— сказал Брайн Бейкеру.— Хуже нет сволочей, которые прикидываются твоими друзьями.

Бейкер, шедший позади него, отозвался:

— Мой старик говорит, что во время первой мировой войны они убивали по десять офицеров в месяц. А немцы — остальных.

— Что толку,— сказал Брайн.— Все равно откуда-то являлись новые.

— Но война кончилась потому, что не хватило именно офицеров, а не пушечного мяса, вроде нас с тобой. Я учился в закрытой школе, Брайн, но я такой же раб, как и ты.

— Заткнись,— сказал Брайн.

— Это не довод.

— Но зато ответ тебе. Может, сейчас я раб, но скоро я перестану быть им.

— Это только потому, что тебя отпускают отсюда.

— Я не о том. Мне наплевать, пусть даже я пробыл бы здесь еще пять лет; все равно я перестану быть рабом.

— Подтянись! — крикнул Оджесон, шедший впереди.— Вот еще обломки самолета.

— Это как загадочная картинка,— сказал чеширец.

— Ты всегда будешь рабом чего-нибудь,— сказал Бейкер.

Путь им преграждал блестящий алюминиевый руль высоты словно ворота, через которые им предстояло проникнуть в плодоносный и хорошо обработанный сад. Один за другим они перешагнули через него, словно боясь повредить, как будто им пришлось бы возмещать убытки хозяину сада. Бейкеру хотелось придавить его ногой, но он не сделал этого. Брайн взял у Бейкера рацию.

— А знаешь, я и не пытался попасть в того бандита. Я стрелял много раз, но старался промазать.

— А я бы не мог удержаться,— недоверчиво сказал Бейкер.

Дальше деревья и кусты были сломаны: здесь упал фюзеляж самолета, похожий на сигару, он рухнул в дальнем конце плато. Бесценное создание человеческих рук повисло на ветках, мертвое и опустевшее, а вокруг были разбросаны куски блестящего мегалла. Добраться до фюзеляжа без веревок было невозможно, он висел на высоте десяти или пятнадцати футов, словно им хотели украсить рождественскую елку. Они стояли шагах в пятидесяти от этого места, безмолвные, утомленные поисками, длившимися, казалось, уже много не-

дель. Фюзеляж был искорежен в тех местах, где этот непрошеный гость напоролся на сучья в своем неуклюжем падении, и кое-где ветви, казалось, проросли сквозь него, словно после аварии прошло не сорок часов, а бог знает сколько времени. Изнутри — ни шума, ни криков, никаких признаков жизни. На брюхе самолета возле кабины виднелось большое красное пятно, словно кто-то расквасил самолету нос. Пятно высохло и не сразу было заметно.

— О господи,— сказал Брайн, снимая с себя рацию.

— Какая смерть,— Бейкер скинул вещевой мешок.

— Бедняги,— сказал чеширец.

«Я не из слабонервных, но до чего же мерзко у меня на душе»,— подумал Брайн, а Оджесон изо всех сил свистел в свисток, которым обычно призывают на помощь в джунглях, надеясь, что Нотмэн и солдаты его услышат. Хриплые звуки огласили воздух, низкие и дрожащие, похожие на сигнал, заслышав который во время войны Колин и Дэйв, сидевшие у камина, оставляли свои чашки с чаем и бежали на задний двор или на холодные ноябрьские улицы — им казалось, что это за ними гонится полиция. Оджесон, выбившись из сил, передал свисток Брайну.

Брайн взял свисток и хотел дунуть так, чтоб и богу и черту слышно было, но тут же вздрогнул от резкого, тяжелого, как свинец, треска — ему показалось, что сук не выдержал, словно самолет был такой тяжелый и висел так долго, что он обломился под ним. Бейкер пригнулся, и у Брайна, еще державшего у губ свисток, мелькнула мысль: «Кажется, будто сук прямо над нами и грозит упасть на голову». Снова треск, и теперь стало ясно, что это выстрелы,— все они уже лежали на земле, затаившись в кустах, а от фюзеляжа погибшего самолета, из густых зарослей, словно зубья огромной пилы, вылетали пули, вгрызаясь в деревья совсем рядом с ними или вонзаясь в мягкую, влажную землю. Найти укрытие было здесь нетрудно. Брайн, волоча за собой рацию и прикрывая ею голову, отполз назад, к широкому стволу, и залег за ним, но он чувствовал, что ноги его торчат среди груды ветвей и пули беспорядочно ложатся вокруг них. Грохот оглушил его, он чувствовал себя таким беспомощным, словно на них напала целая армия и сопротивляться было бесполезно,— хотелось только заткнуть уши.

— Да это же наши солдаты,— сказал чеширец. — Эти идиоты приняли нас за бандитов. Эй!— крикнул он.— Это мы! Перестаньте, ради бога!

Оджесон и Бейкер стреляли через поляну, стараясь целить туда, откуда летело больше всего пуль, но это было трудно установить, потому что после первого залпа стрельба стала судорожной и беспорядочной.

— Наши солдаты недалеко! — крикнул Оджесон.— Они должны услышать шум.

Брайн втиснул обойму в магазин, приподнялся, прицелился в огромное, в целый ярд в обхвате, дерево и выстрелил. «Мне лучше держаться позади,— подумал он. — Они быстро расстреляют все патроны». Страх и тошнота поднимались в нем, он уткнулся лицом в траву, и ему вспомнилось прошлое, когда он играл с ребятами в войну,— одна отважная армия осыпала другую градом камней и бутылочных пробок, взлетавших высоко в воздух. Каждый такой снаряд считался опасным, и от него спасались, словно от смертоносной пули, но Брайн вместе с другими стоял твердо, не отступал, как ни боялся в это время, что в него попадут.

В такие минуты опасности Брайн как бы раздваивался: он испытывал страх и в то же время не принимал этот страх всерьез, так что все начинало казаться ему безобидной, хотя и глупой, игрой. Он приподнял голову и вскинул винтовку, чтобы выстрелить, но никого не увидел. Некоторое время он вглядывался в густую листву, где царил полумрак.

Вокруг обломков самолета не было людей, не шевелились ветки, но оттуда по-прежнему беспорядочно сыпались пули. У Брайна мелькнула мысль, что партизаны, наверно, тоже плохо видят, но словно для того, чтобы уличить его и показать, что это не игра, пуля попала Оджесону в руку у самого локтя, когда тот привстал, стараясь тщательно прицелиться. Он выругался и от неожиданности выронил винтовку, словно по ней прошел ток, и после этого мог сделать только одно — сунуть в рот свисток и свистеть во всю мочь, словно сила его ослабевшей руки перешла в легкие, так что свист перекрыл даже новый залп.

Брайн теперь не поднимал головы, он не хотел быть убитым, но потом, забыв вдруг на несколько секунд, что его в самом деле могут убить, вскинул винтовку к плечу и не увидел ничего, во что имело бы смысл целиться. «Может быть, это тот мерзавец, что удрал от меня, сейчас задает нам жару». Однако, выпуская подряд три пули, он не хотел никого убить или ранить — ощущение, что это какая-то игра, все еще не покидало его. «Но они ведь действительно хотят нас убить»,— подумал он с горечью, стреляя по кустам, и в эту минуту он мог не хуже чеширца уложить кого-нибудь навеки. Гремели ответные выстрелы. «Патронов у них много»,— подумал он, а пули звонко ударяли в твердые, как железо, стволы или свистели так близко, что страх прорвал сдерживавшую его плотину, и Брайн снова прижался лицом к земле, запах которой показался ему теперь удивительно сладким.

Бейкер расстрелял все свои патроны и теперь шарил в вещевом мешке Оджесона. Стрельба была беспорядочной, и грохот выстрелов то был похож на треск огромных сухих веток, то на гулкое горное эхо, это был то жуткий и зловещий удар о дерево, то глухой — о мягкую, как подушка, землю. И среди всего этого шума неся низкий стон свистка Оджесона, призывавшего на помощь. Брайн стрелял, когда смолкали выстрелы, потому что тишина, казалось, таила в себе смерть, хоть он и знал, что его пули не попадают в цель, и надеялся, что никто этого не заметит.

Он закричал, засмеялся громким, дребезжащим смехом, но другие не обратили никакого внимания — им было не до того. «Это подарок Мими,— подумал он.— Прощальный подарок, стреляю в воздух, чтобы не убить ее старого школьного товарища из Сингапура, про которого она мне рассказывала». Он лежал на сырой земле среди джунглей, в нескольких шагах от дерева, служившего ему прикрытием, и, вытащив из вещевого мешка новую обойму, перезарядил винтовку. Он ни за что не хотел убивать партизан (которые явно хотели прикончить их, чтобы захватить все их оружие и радиоаппаратуру), и это не позволяло ему распалиться, прийти в ярость, что придало бы ему мужества. Во всяком случае, страх не покидал его, жег ему лицо, слепил глаза, и все его внутренности, казалось, скрипели, как шпангоуты старого линкора.

Двое рядом с ним стреляли беспрерывно, а он нагнул голову, кашляя и задыхаясь в сырой листве, отхаркивая мокроту из пересохшей глотки, отплевываясь, и ему вдруг вспомнилось, как дико кричал когда-то его отец: «Бог? Бог сволочь! Сволочь!» Но воспоминание об этом нисколько не уменьшило его страха, и он вытолкнул его из своего сознания, привстал и снова выстрелил в воздух. Он понял: «Если они пойдут в атаку, нам крышка. Они знают, что нас только четверо, чего же ради поднимать такой шум? Если они пойдут в атаку, мне придется ранить нескольких из них, хотя я лежу здесь вовсе не для этого, не для того, чтобы стрелять в твоих товарищей». Он засмеялся, и чеширец с недоумением взглянул на него, а потом снова стал отстреливаться.

Удивление, мелькнувшее на его круглом лице, заставило Брайна быстро выпустить в воздух несколько пуль, и ему вспомнился рассказ какого-то десятника из Рэли о том, как безрассудно храбро вел себя

однажды его отец во время войны (просто смешно — если это не война, то на кой черт здесь пальба), это было в темную полночь, когда немецкий бомбардировщик обстрелял фабрику из пулемета. Хэролд Ситон стоял посреди фабричного двора, задрав голову и ругаясь, а самолет бошей делал второй заход, и друзья Ситона кричали ему, чтоб он бежал под крышу и не валял дурака. Но Хэролд не двинулся с места и все крыл немцев, а пули падали вокруг него, стуча, словно по двору быстро топали сотни деревянных башмачков; в первый и последний раз за всю свою жизнь он проявил удивительное хладнокровие как раз тогда, когда естественнее и безопаснее всего было бы бежать куда глаза глядят, а ведь дома он приходил в слепую ярость от одного некстати сказанного слова. «Все-таки он был не трус,— подумал Брайн,— и, быть может, я унаследовал частицу его храбрости, и она теперь помогает мне не стрелять в этих партизан, хотя у меня руки чешутся».

Бейкер внешне был совершенно спокоен, он знал это и любовался собой, тщательно прицеливаясь и пренебрегая опасностью. Он заработает «Крест Виктории», гад. Брайн видел, как губы Бейкера кривятся от злобы при каждом выстреле, но отказывался понимать, на кого или на что он злится. Время от времени Брайн прислушивался, ожидая ответного сигнала от Нотмэна или от солдат, но ничего не слышал; вдали раздавался глухой, протяжный свист, то было эхо, подхватывавшее свистки Оджесона, все еще сильные и громкие. Брайн поймал себя на том, что его забавляет мысль — а вдруг ему придется броситься в атаку на обломки самолета, это будет самая отважная и отчаянная военная операция, какую только можно вообразить. Это было вроде дешевой картинки, какие вкладывают в пакетики с жевательной резинкой — их когда-нибудь будут рассматривать дети,— таких картинок даже может быть целая серия, и вслед за тем он представил себе это реально: Оджесон или другой офицер ведет их в самое пекло, а когда победа уже близка, вдруг оборачивается и вопит: «Беги! Спасайся кто может!»

Брайн припал к земле и стал шарить в поисках новой обоймы. Их осталось еще четыре или пять штук. Заряжая винтовку, он увидел большого рыжего муравья — голова его, туловище и усики выражали крайнюю настороженность,— опасливо перебиравшегося с листа к нему на руку. Вот муравей остановился, чтобы принюхаться и разведать эту новую страну из волос и кожи, потом снова продвинулся немного вперед по неисследованной территории, пока Брайн щелчком не сбросил его на землю, которая была для него куда привычней.

— Не лезь на рожон, рыжий дурак!

Слева, совсем рядом, раздался еще один свисток, и после этого ему показалось, будто шум ослаб, хотя чеширец и Бейкер непрестанно стреляли, целясь под фюзеляж самолета, где теперь было заметно какое-то движение, а Оджесон не переставал свистеть. Он был бледен и смертельно измучен.

— Они отходят! — крикнул ему Брайн.— Наверно, наши близко.

Он стал стрелять не целясь, полоснул по деревьям огнем, чтобы сохранить видимость патриотизма и стойкости в этом грохоте, который по-прежнему катился по склону горы, словно обрушивалась огромная крыша.

— У тебя есть еще патроны? — спросил чеширец.— Дай мне. У меня почти не осталось.

— Мне самому нужны,— ответил Брайн. — Держи голову ниже, они еще здесь.

— Эти солдаты, кажется, хотят испортить нам всю музыку.

Внезапно наступила тишина, казалось, партизаны ушли. Но тут же новый залп доказал, что если они и ушли, то не все. «Если эти идиоты не удерут сейчас же, их всех перебьют».

— Хотел бы я выбраться из этой переделки,— сказал он Бейкеру, приподнимаясь.

— Не трать зря патроны,— отозвался Бейкер.— Они еще здесь, вон я вижу одного.

— А я и не трачу зря.

К грохоту их выстрелов присоединились первые выстрелы пехотного взвода. Солдаты, бывалые и закаленные, в защитной форме, появились среди деревьев, тщательно прицеливаясь и стреляя. Брайн засмеялся.

— Сейчас мы очистим местность и сегодня же будем в лагере,— сказал он Бейкеру.— До чего же я рад.

— Я тоже,— сказал Бейкер.— Хотелось бы мне...

Бейкер неосторожно высунулся, и вдруг лицо его исказилось, словно какое-то насекомое залетело ему в глаз и больно ужалило. Он поднял руку, чтобы отмахнуться, но тут же упал навзничь, и вместо лица у него была сплошная кровавая рана.

И снова, шагая через джунгли, смертельно усталый, Брайн вспомнил, как два года назад они с Бейкером покидали Англию на военном транспорте. Брайн стоял у поручней, в стороне от других, глядя, как доки с огромными навесами и диковинные, словно с Марса, подъемные краны на изогнутых ногах отодвигались все дальше, а вода бурлила и волновалась. Буксир вывел их в открытое море, всюду с криками носились тучи чаек, ожидая объедков, а солдаты, сгрудившись на корме, плевали, пытаясь попасть в чаек, пуская в них белые стрелы слюны. Брайн улыбался, глядя, как они стараются изо всех сил, и раздумывал, сумел бы он плюнуть более метко или нет, но пробовать не стал, потому что вокруг было еще много интересного. Желтоватые облака висели над островом Уайт, неподвижные и важные, словно и они были новобранцами и ждали, пока их отправят в какой-то воображаемый заокеанский лагерь. Впереди виднелся на голубой воде слегка накренившийся американский корабль, который загружали краны. Брайн снял панаму, чтобы ветер не сорвал ее и не швырнул чайкам. Вода пенилась за кормой, но качка была едва заметна, и он надеялся, что в море его не укачает — он в первый раз выходил в открытый океан,— вспомнил, как его тошнило, пока они ехали двадцать семь миль до Уорксопа, куда его эвакуировали в 1939 году, и желчь его осталась между Ньюстедом и Трентом, между карьерами Дербиширских холмов и величественными стенами Дюкериса. Они проплыли мимо «Куин Мэри», оставили ее за кормой и направились к зеленым берегам острова Уайт, где над деревьями возвышался замок с зубчатыми башенками, вдоль длинной Саутхемптонской гавани, где на фоне неба у мола теснились навесы и краны, а на голубой воде покачивались всевозможные суда и у некоторых из труб шел тонкий, словно лоскутный, дымок, а у других дым так и валил, будто жгут вату. «Это замечательно, я рад, что уезжаю из Англии, хотя мой старик и сказал, что я набитый дурак и сумасшедший, потому что не хочу избавиться от солдатской службы, и пусть даже Полин не простит меня, если поймет, что я мог остаться в Англии по семейным обстоятельствам. Я, конечно, не уверен, что мог как-то вывернуться; но если я и начну тосковать, то, надеюсь, не раньше чем в тысяче миль отсюда и тогда уже нельзя будет добраться назад вплавь». Он вздрогнул оттого, что кто-то хлопнул его по плечу, и хотел, не оборачиваясь, сказать: «Я знаю, это ты, Бейкер, черт тебя возьми»,— но обернулся, и Бейкер склонился к нему, высокий, как башня в Пизе, привстав на носках, чтобы быть не на три, а на шесть дюймов выше его. «Ты рад, что это кончилось?» — спросил он. «Ясное дело,— ответил Брайн.— Я всегда мечтал удрать из Англии и поглядеть другие страны, с тех самых пор как себя помню». Взволнованные ново-

бранцы рассыпались по всему кораблю и делились впечатлениями. «Видишь, они-то рады»,— сказал Бейкер. Он покосился на Брайна сквозь очки.— И я тоже в первый раз уезжаю. Мой старик все обещал, что я поеду отдохнуть в Швейцарию, с тех самых пор, как кончилась война, но до дела так и не дошло». Они видели, как голубой «Бофайтер», снизившись, выпустил торпеду в деревянную мишень и с ревом пронесся над спокойной зеленоватой водой. «Я переписываюсь с одной девушкой, которая живет в Швейцарии, и хотел бы поехать туда из-за своих чувств к ней»,— сказал Бейкер. «Не понимаю, как можно питать какие-то чувства к стране,— сказал Брайн, подшучивая над ним.— Пожалуй, я не пожалею, если никогда больше не увижу этот наш притон». Корабль медленно повернул на восток и пошел вдоль Спитхеда к Портсмуту. Мимо, не погружаясь, проплыла подводная лодка, за ней эсминец, оба в знак приветствия приспустили флаги. «А я думал, ты женат»,— сказал Бейкер. «В том-то и штука. Все это теперь позади».

Брайн закурил сигарету и бросил спичку в водосток. Волны плескались у борта. Кто-то на палубе, поодаль от них, указал на военные корабли «Рамилли» и «Малайя», стоявшие в Портсмуте, и на береговые посты, построенные еще для защиты от Наполеона. «Это слово «Малайя» мне кажется знакомым»,— со смехом заметил Бейкер. «Или, наверно, скоро будет знакомым»,— сказал Брайн, с трудом оторвав взгляд от волн, пробегавших внизу, у ватерлинии.

Бейкер со спокойным презрением глядел на удаляющийся берег:

Англия,
Поганый остров,
Оплот величия,
Вонючая помойка.

«Да, кроме Ноттингема,— сказал Брайн.— И вообще не очень-то задавайся». «Патриотизм»,— усмехнулся Бейкер. «Чем думать о моем патриотизме,— сказал Брайн,— подумай лучше о моем желудке. Давай спустимся вниз и поглядим, не найдется ли там чего поесть».

22

Брайн получил от матери письмо, она сообщала, что коллекцию подков призовых лошадей, принадлежавшую Мертону, поделят между членами семьи, и одну подкову она сохранит до его возвращения.

«Вы с Полин прибьете ее к двери, когда получите квартиру»,— писала она. И ему снова вспомнилась картина, висевшая в гостиной у бабушки,— девушка с букетом цветов говорит стоящему рядом юноше: «Коль любишь крепко, как я тебя, никто не разлучит тебя и меня»; и он принялся думать о Полин и о том, как хорошо ему было с ней. Накануне его отъезда они прогулялись к Стрелли Чэрч, постояли между Коссалом и Кимберли; там теперь в земле зияла глубокая яма, а бугры и лощинки, в которых они так часто находили приют до свадьбы, были обнажены и серели, словно диковинный лунный пейзаж. Слева от того места, где тщетно искали уголь, виднелся лес, будто карандашом нарисованный,— вокруг черная развороченная земля, а дальше, выстроившись рядами, как часовые, стоят деревья, и очертания их веток похожи на полураскрытый веер. Сзади доносился стук моторов и тяжкие вздохи кранов, а впереди пролегли темные борозды жирной вспаханной земли, тяжелой и влажной, но местами, там, где ее высушил ветер, светлой и легкой,— миниатюрные горные цепи, еще припорошенные снегом, его белизна в этом ясном, прохладном воздухе напоминала молоко, которое дают груд-

ным детям, и Брайн тут же спохватился, что пора домой, Полин надо кормить Бернарда. Он поежился, вспомнив теперь об этом, и, пока аппарат отстукивал какое-то дурацкое сообщение из Сайгона, стал думать о смерти своего деда.

Мать и тетки рассказывали ему, как однажды утром Мертон взял палку и прошел через Вишневый сад посмотреть, осталось ли еще что-нибудь от поля пшеницы и Змеиного бора. Была ранняя весна, погожее утро, облака быстро плыли по небесному океану, ветер колыхал траву и листья на кустах, уже растрепанных ночным ливнем. Дерево с дуплом, в котором так часто играл Брайн, теперь лежало поперек канавы, а обломанные ветки валялись вокруг, ребятишки, живущие по соседству в стандартных домиках, скоро соберут их на дрова. Из-за плохой погоды работы прекратились, и трасса будущей дороги была безлюдна, лишь кое-где на мешках с цементом валялись доски да кучи мусора высились под серым небом. Но даже в такую погоду приятно пройтись, вдыхая свежий ветерок, налетавший через поля со стороны Троуэлла и Брэмкота, хотя эти покинутые траншеи и недостроенные дома напоминали пустырь, выбранный для главнокомандующего, пожелавшего осмотреть поле боя.

Когда он дошел до леса, по листьям забарабанил мелкий дождик, и Мертон, недовольно фыркнув, повернул назад, шагая по тропинкам, через мелкие лужицы, а ветер порывами налетал на верхушки деревьев и ослабевал лишь тогда, когда дождь усиливался.

— Вот уж не ожидал такого свинства,— пробормотал он, горбясь и подняв воротник, хотя плечи и ноги у него уже промокли.

Ввалившись в дом, он сразу почувствовал знакомый и приятный запах пудинга и колбасы, шипевшей на сковороде.

— Где ты был? — вскрикнула Мэри, увидев его мокрые волосы и лицо.—Если будешь выходить в такую погоду, простудишься насмерть.— Она поворошила угли в камине.— Снимай-ка брюки и погрейся.

Он повесил пиджак у двери и отстегнул подтяжки.

— Да не суетись ты. Я просто пошел посмотреть, как прокладывают новую дорогу. Конечно, если б знал, что так польет, не пошел бы.— Он разделся до фуфайки и энергично растер голову и руки.

— Сейчас принесу тебе чайку и подолью виски,— сказала она.— Сразу повеселеешь, уж я-то тебя знаю.

После обеда он лег и проспал до вечернего чая, но сон не освежил его, он спустился вниз, разбитый и скованный непривычной усталостью.

— Есть что-нибудь закусить? — спросил он, сев у камина и чихая в свой огромный пестрый платок. Он поел бульона с куриными ножками, но весь вечер был какой-то вялый.

— И что с тобой делать, ума не приложу,— сказала она. — Не надо бы тебе выходить в дождь.

Вошла Лидия.

— Давай я принесу тебе «аспрос», папа,— предложила она.— Сейчас сбегаю к Уорренеру.

— Хватит вам причитать!— прикрикнул он на них и пошел по скрипучей лестнице наверх, в спальню.

— Он просто несносное старое чучело,— сказала Лидия.— В доме никто от него доброго слова не слыхал.

— И черта с два услышишь,— сказал Мертон, который неожиданно вернулся за своими ботинками.— Если хочешь что сказать, говори прямо в глаза.— Он стоял у камина, высокий и прямой, со смуглым, красиво очерченным лицом и жесткими седыми волосами.

— Да ведь мы тебе добра желаем! — не выдержала Лидия, обиженная его несправедливостью.

— Сейчас я принесу тебе выпить,— сказала Мэри,— и еще «аспрос».

— Ладно уж,— сказал он и пошел наверх.

Он лег, но сон не приходил. Он ворочался, обливаясь потом, и что-то бормотал всю ночь, а наутро не мог встать, и ему стало стыдно и неловко — он давно забыл, когда в последний раз болел.

Вера помнила, как много лет назад, когда она была еще девочкой, он, хворая, спал на двух стульях у камина, и ему было так неудобно, что, как только у него хватало сил встать, он, шатаясь, шел кормить свиней или приносил уголь, насильно возвращая себя к жизни. Болезнь считалась трусостью и слабостью, и ни один мужчина не позволял себе слечь, если это был настоящий мужчина. А теперь вот он оказался безвольным и бессильным, и его мучило, что все это видят. Когда Мэри сказала, что ему надо показаться доктору, он заявил:

— А на черта мне доктор?

— Но ведь ты нездоров, сам знаешь.

Он приподнялся на постели:

— Если ты приведешь ко мне доктора, я хоть и слаб, а вышвырну его в окно.

Вернулся с работы Джордж — он работал на велосипедной фабрике.

— Что ж это ты, папа? Совсем ни к чему тебе болеть.

Мертон согласился с этим.

— Ну, тогда придется позвать доктора,— сказал Джордж.

— Делайте что хотите,— проворчал Мертон, погружаясь в сон.

Доктор сказал, что напрасно они послали за ним так поздно. У Мертона оказалось воспаление легких.

— Возьмите в аптеке вот это лекарство и давайте ему. Я зайду завтра.

Погода стояла сырая и холодная. В спальне поставили жаровню, но Мертону не становилось лучше. Когда Мэри принесла лекарство, он с трудом встал и побросал все пузырьки в окно; они упали на собачью конуру, и пес Джип, который там жил, выскочил, гремя цепью, готовый к смертельной схватке.

— Это моча в розлив,— заявил Мертон о лекарствах, хотя в комнате никого не было. А потом упал на пол и лишь с огромным трудом добрался до кровати.

Болезнь не проходила, у него было двухстороннее воспаление легких. Всю неделю в доме царила тишина, семья гадала, выкарабкается он или нет, но никто не осмеливался задать этот вопрос вслух. Джордж и Лидия все еще не могли забыть, как он мучил их, какой у него изменчивый и вспыльчивый нрав. Но однажды ночью, поговорив по душам, они вынуждены были признать, что порой сами заслуживали этого, и все же их меньше, чем Мэри, волновало, поправится ли Мертон. Они по очереди сидели около старика и развлекали его, рассказывали ему городские новости и слухи, сообщали, что творится на фабрике и в шахте, уверяли его, что хорошо смотрят за курами и садом. Все, кто встречался Джорджу и Лидии на улице — в их квартале и даже во всем Ноттингеме,— заботливо справлялись о Мертоне и непременно добавляли, что он хороший человек, всю жизнь работал ради семьи, и какая жалость, если что случится с таким прекрасным, редким человеком.

«Что ж,— думала Лидия,— в каком-то смысле все они правы».

— Он поправится, мама,— говорила она. — Ведь он крепкий, как сталь.

— Ты забываешь о его возрасте.

Он не мог долго слушать их болтовню. Что-то внутри раздувало его кашель, как пламя, и он от слабости засыпал тяжким сном, вынужденный выпить лекарства, так как выбросить их у него уже не было сил. Мэри совсем измучилась, ухаживая за ним, горько плакала внизу, на кухне, пока остальные были на работе, и думала, как это он сможет

поправиться, когда у него такой страшный и злой кашель. Зима извела всех, заморозила их, голодных и несчастных, продрогших среди снега и льда. Теперь погода изменилась — и вот результат.

Доктор сказал, что надежды на выздоровление мало. Эта зима убила тысячи людей и убьет еще многих. Но с Мертоном трудней было справиться. Однажды он спал спокойно, и Мэри благодарила бога, решив, что он поправляется.

— Он спит спокойно,— сказала она Джорджу и Лидии, когда те пришли домой к чаю.

— Он поправится, мать,— сказал Джордж.

Лидия ушла в кино. Мэри задремала у огня, лицо у нее было сморщенное и усталое, седые волосы рассыпались. Джордж сел за стол и разложил пасьянс. Незаконченная таблица футбольных игр лежала под пузырьком с чернилами, рядом с деревянной ручкой.

А в темной комнате наверху спал Мертон и стонал, когда тугой шар его жизни извергал искру, которая проносилась у него перед глазами, кружась, а затем улетала прочь и терялась в бесконечном мраке, куда он хотел бы проникнуть, но противился этому, потому что знал — оттуда возврата нет. Потом впереди появился свет, он рос и ширился, это было желанное убежище, он чувствовал, что мог бы жить там, но только потом, уйдя из жизни. Боль словно бы толкала его куда-то, понуждала действовать, но он был до того слаб, ему так хотелось уснуть, уснуть навсегда, что он ничего не мог поделать. То, что он видел, даже нельзя было назвать светом, скорее, это было пятно более светлого мрака, не такого темного, как все вокруг. Хотя все его тело было сковано, он поднял руку к глазам, почувствовал слезы и понял, что это такое. Он подумал о Мэри, которая была на кухне.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила она его перед этим.

— Гораздо лучше,— ответил он. Он подумал об Оливере, убитом на войне, понял, что ему приходит конец, и вдруг искра света разрослась, ослепляя его, и он погрузился в свет. «Может, он и обо мне вспомнил»,— думал Брайн, перестав принимать позывные Сингапура.

Почти до самого дома вдовы он доехал на велорикше, и лишь последние шагов сто прошел через кусты, а потом, как вор, влез в комнату Мими через окно. Она отпросилась на несколько дней из ресторана, сказала, что простудилась, и они, лежа в постели, курили, разговаривали, коротая ночь, и пили виски, которое он обычно приносил в кармане. Эти долгие часы были сладостны, но все же стоило им расстаться, как ему хотелось, чтобы все это поскорей кончилось, чтобы он, с вещевым мешком за плечами, почувствовал, как вагон дрогнет и двинется, преодолевая первую милю на пути к Сингапуру. Он чувствовал себя больным и хотел убежать отсюда. Он не мог бы сказать, что именно его гложет, что у него болит, но это было какое-то медленное физическое и духовное разложение, так что, если ему придется пробыть в Малайе еще не одну неделю, он подойдет к дверям лазарета и скажет: «Бога ради, я разбит совершенно и больше не могу выдержать». «Ничего серьезного,— сказал он себе со смехом, глядя из двери радиорубки на зарю, разливавшуюся над верхушками пальм,— просто ипохондрия или как там она зовется, а может, одна из тех болезней, каких так много в этой чумной стране. Пусть только корабль войдет в Средиземное море, и я почувствую себя прекрасно, стану здоровым и спокойным, каким был всегда».

Малайя превратилась в поле битвы и казалась ему какой-то нереальной, для него это теперь уже была не жизнь, он должен был уехать в Англию, чего бы это ему ни стоило. Он надеялся, что

партизаны завладеют Малайей, хотя ему не хотелось помогать им, точно так же, как и драться с ними теперь, после того как во сне ему приснилось, что тот самый человек, отпущенный им, удрал, потом вернулся к обломкам самолета и всадил роковую пулю в Бейкера. По его мнению, если кого и следовало винить, так это правительство, по приказу которого их привезли сюда и сгрузили, как скотину, чтобы они несли службу где-то на окраине Британской империи. Может быть, правительству все надоело, оно устало и само не знает, что делает. Он готов был в это поверить, долгими часами размышляя во время пустых и нудных ночных дежурств. Но коммунисты не устали, это факт, и они никогда не устанут, потому что у них есть вера в будущее, утраченная нами навсегда. «Коммунисты выступали с речами, когда мы собирались у фабрики,— и, судя по письмам Полин, продолжают выступать и сейчас,— а это ведь гораздо больше, чем то, на что осмеливаются консерваторы, ведь многие коммунисты сами рабочие, они, как и мы, знают, что к чему. Да, они выиграли»,— и тут в голове у него все завертелось, все ходило ходуном, как на консервной фабрике. «Я был не в себе, когда отпустил того малого, но я рад, что сделал это, независимо от последствий. Только в глубине души я знал, что делаю, но этого было достаточно, это было хорошо, чудесно, потому что в подобных случаях надо поступать так, как я поступил бы, если бы у меня хватило мозгов все предвидеть и учесть».

Из этого сумбура мыслей выплыла вполне реальная, прочная уверенность, что до того, как он попадет в Англию, Мими будет греть его душу, поможет ему сохранить рассудок и стойкость. Их отношения скоро должны были кончиться, и они, зная это, старались видеться как можно чаще. Он быстро проходил меж деревьями к дому вдовы («Здесь начинается запретная зона для союзной армии».), даже когда вдова была дома, ощупью пробирался через веранду к незакрытому окну, у которого ждала Мими. А потом они лежали в постели, и Мими распустив свои иссиня-черные волосы, прижавшись к нему, шептала что-нибудь, и оба, даже в упоении любви, были так тихи, что их совсем не было слышно за ночными звуками Малайи, за шелестом кустов и деревьев.

Часто им казалось, будто время остановилось; они лежали в полумраке и разговаривали шепотом, ведь вдова сидела в своей комнате, за стеной, да и вообще говорить было, собственно, не о чем — близился тот день, когда большой трехтрубный разукрашенный флагами корабль войдет в Сингапурскую гавань и он поднимется по трапу со всеми своими пожитками.

«Жаль, что я не владел собой, когда отпустил того малого. Конечно, я все равно прогнал бы его, но куда лучше было бы сделать это хладнокровно и обдуманно». Он чувствовал себя так, будто его обманули, над ним посмеялись, а он не знает, в чем состоит этот обман, и когда он начался, и почему до сих пор бередит его душу. Правда, ему казалось, что все это началось еще до его рождения или, во всяком случае, в те времена, когда он не мог разобраться и поделать тоже ничего не мог. Но никакого вывода он не делал и, вероятно, не хотел делать, так как могло получиться, что в конце концов ему некого винить в этом обмане, кроме самого себя.

Они слышали, как вдова ходит по дому; потом наступила тишина.

— Сейчас она сядет шить,— шепнула Мими, поворачиваясь к нему всем своим теплым телом.— Ты услышишь, как строчит машина. Она будет шить долго, много часов подряд.

— Как странно,— сказал он,— я так никогда и не видел этой старухи. А ведь она, можно сказать, была нашим ангелом-хранителем.

— Да.

— Какая она? Ты ни разу о ней не рассказывала.

— Да и рассказывать нечего. По-моему, она знает, что ты приходишь ко мне, но молчит. Мы о тебе не говорили, но я уверена, что она все знает. Мы вообще мало разговариваем. Иногда я ей даю американские доллары, а она меняет их на малайские деньги и отдает мне, хоть и не по такому выгодному курсу, как на черном рынке. Но это неважно. Она добрая и часто дает мне риса или супа, а то поит чаем, если я прихожу поздно, когда она еще шьет или читает. Если я не могу заплатить за квартиру, она не требует.

— Мне кажется, она хорошая женщина.

— Она не скупая, но очень бережливая. Я как-то встретила ее на рынке — оказывается, она, когда покупает яйца, берет миску, наливает в нее воду из крана и проверяет каждое яйцо на глазах у продавца. Продавцы не очень-то ее любят, но яйца она покупает хорошие. И еще она берет с собой на рынок счеты и говорит: «Дайте мне вот это, сколько это стоит?» И щелк, щелк на счетах. «А это сколько?» Щелк, щелк, щелк. «А это?» Щелк, щелк. «Ну,— говорит; щелк, щелк, щелк, щелк,— выходит столько-то, верно?» «Верно»,— говорит продавец, зная, что нельзя накинуть ни цента.

Брайн закурил и дал сигарету Мими.

— И довольна она своей жизнью?

— Наверно. Почему бы ей не быть довольной? У нее есть акции каучуковой плантации и еще кое-что.

Он пускал колечки дыма.

— У нее родственники в Пулау-Тимур.

— Почему же она живет одна? Ведь китайские старухи обычно живут в семьях, правда?

— Она хочет жить одна. Не знаю уж почему.

— Но ведь с ней живешь ты.

— Мы почти не видимся.

— А меня она и в глаза не видела.— Он рассмеялся.— Интересно, будет она скучать, когда я уеду? Сказать по правде, я придумывал про нее разные истории. Представлял ее себе каким-то коммунистическим агентом, который собирает информацию или вербует людей для их дела,— своего рода комиссаром в северной Малайе, сеящим смуту в рядах британских оккупационных сил.

Она засмеялась.

— Какой ты глупый.

— Нужно же как-то развлекаться в радиорубке, а то совсем свихнешься, пока за тобой придет корабль.

После этого мимолетного и туманного упоминания об его отъезде оба на миг замолчали.

— Мими,— сказал он,— как раз перед тем, как мы нарвались на засаду там, в горах, я поймал партизана, китайца.— Он наконец сказал ей об этом; он знал, что скажет, прежде чем они расстанутся.— И отпустил его, потому что не мог убить,— сказал он.— А потом, когда мы залегли, я стрелял в воздух. Стрелял так, чтоб никого не задеть. Это было нелегко, но я справился с собой. Можешь мне поверить.

Он все говорил, а она слушала с интересом, но на лице у нее нельзя было прочесть ни одобрения, ни осуждения. Она сидела на кровати. с горящей сигаретой в руке.

— Почему ты это сделал? — спросила она наконец.— Почему?

Он рассердился — она так ничего и не поняла.

— Потому, что я так хотел. А теперь решил рассказать тебе, вот и все. Неужели не понимаешь?

Последние две недели тянулись медленно, словно закованный в кандалы человек, плетущийся по шестидюймовому мосту через ши-

рокое и глубокое ущелье. Брайн терзался страхом: а вдруг он не дойдет? Лагерь был деморализован, как осажденная крепость, и Брайн при всякой возможности старался улизнуть оттуда. Территория была обнесена колючей проволокой, наиболее уязвимые места укреплены мешками с песком, посты настолько усилены, что казалось, только поллагеря спит теперь по ночам. Ходили даже разговоры, будто солдат подразделения связи, пользовавшихся столькими привилегиями, заставят насыпать песок в мешки. «Это уж слишком,— говорили многие,— мобилизация мобилизованных»,— и отказывались этому верить.

А Мертон умер, и Брайн снова вспомнил, как он, прожив на свете без малого восемьдесят лет, безропотно угас, словно пламя, горевшее у него в горне. Его жена умерла через полгода после него — прилегла днем поспать и больше уже не проснулась. В это время Брайн был в Малайе, гораздо дальше Эфиопии, о которой он едва осмеливался мечтать, потому что это был рубеж того фантастического мира, которым его, смеясь, манили еще в детстве, в дождливые вечера. Во время ночного дежурства в радиорубке он читал «Хана Кублы», или «Пресвятую деву», или другие стихи из сборника, и его охватывало то самое настроение, какое бывает, когда нахлынут далекие воспоминания детства. Однажды в тихий зимний день он сидел, глядя в окно на отблески огня, как бы зажженного каким-то добрым богом специально для него, чтобы он не сомневался, что уют и утешение есть и вне стен его теплого дома. Возможно, что он, читая по ночам стихи, сам выпустил этот острый гарпун, который полетел, увлекая за собой веревку, привязанную к нему. Но, во всяком случае, он впервые осознал, что у него есть прошлое и что сам он не возник из ничего. Он мог сказать: «Помню, как десять лет назад я шел по Вишневому саду и встретил Альму Арлингтон»,— и эти десять лет уже не были бессмысленным скоплением времени, а чем-то таким, что можно было четко определить, разграничить и называть прошлым. Через неделю он будет уже на корабле, поплывет домой, чтобы, так сказать, воссоединиться со своим прошлым; и при этой мысли он чувствовал страх, смешанный с отвращением, и это было такое же чувство, какое он испытывал, читая стихи. Однако прошлое пока еще было очень туманным, точно так же, как и будущее, но, по крайней мере, он знал — и прошлое, и будущее у него есть.

— Время, проведенное в Малайе,— это большой кусок моей жизни,— сказал он Нотмэну в муонгском баре, через стол, заставленный бутылками.

— Может быть, тебе это только сейчас так кажется,— возразил Нотмэн.— Поверь мне, когда через десять лет оглянешься назад, все покажется сном, длившимся несколько дней.

— Не могу себе этого представить,— сказал Брайн.

— А вот увидишь.

И Нотмэн снова наполнил стаканы.

Связисты вместе с писарями, поварами, шоферами и санитарами набивали мешки песком. Брайн не верил, что лагерь можно надежно укрепить. Он был убежден, что, даже если они построят каменную стену в десять ярдов вышиной, рано или поздно все рухнет. Но он работал упорно, без отдыха и, хотя не особенно устал, чувствовал все же, что его лихорадит. Иногда он что-нибудь говорил вслух, чтобы услышать свой голос, но тут же умолкал, боясь, что сейчас, обезумев, ринется к морю. Окруженный множеством людей, он чувствовал себя одиноким и ничего не замечал, кроме своей работы. Работали они с семи утра, на весь день полагалось только два коротких перерыва, и он механически загребал лопатой песок; иногда лопата казалась легкой, а

иногда — такой тяжелой, что часть песка приходилось отсыпать. Горло у него пересохло, он мечтал о глотке воды, мечтал погулять несколько минут в тени деревьев, вдали от мешков с песком. Тем, кто оказался в конце вала, приходилось хуже всех, они были все время на глазах у караула, вынужденные работать без передышки, не имея возможности хоть изредка отлучиться и выпить воды, как это делал он. Часовые походили на статуи, взмокшие от пота.

— Что ты сказал? — спросил Керкби.

— Ничего,— отозвался Брайн.— Наверно, я просто думал вслух.

Из душевой около казарм вышел человек, красный, как рак, он был обмотан вокруг пояса полотенцем и, шлепая мокрыми сандалиями, насвистывал малайскую лирическую песенку, которую часто передавали по радио. Он казался воплощением чистоты. Когда он скрылся, Брайн снова ощутил боль в груди.

«Все это скоро кончится»,— подумал он, и теперь ему еще яснее, чем лицо мертвого Бейкера, представился самолет, повисший между деревьями, словно огромная туша в мясной лавке. Он представлял себе это даже отчетливей, чем партизана, которого отпустил, и чем засаду, которая не раз вставала в его воображении. Он видел самолет, повисший между высокими домами, словно мертвый кит, перегородивший улицы Лондона,— он висел и в Змеином бору, где Брайн любил играть в прошлом, которое не было больше забытым сном,— широкий фюзеляж меж деревьев над маленьким ручьем, который он часами пытался запрудить и отвести в сторону, пока, во сне, самолет не грохнулся на землю, и тогда он вернулся к действительности.

Теперь он чувствовал себя лучше — головная боль утихла. Лопата казалась не такой тяжелой, и ему уже больше не было жаль ни часовых, ни себя. Он наслаждался тяжелой работой, у него появилась охота к ней после столь долгого заточения в радиорубке. Бодрый и радостный, он перестал копать и поглядел на других, увидел, что они еле двигаются в изнеможении. Солнце не изнуряло его, лес даже издали казался зеленым и прохладным, словно посылал ему часть своей благодатной тени.

Когда ему разрешили уйти, он пошел один между деревьями в умывальную, чтобы напиться и окатиться водой, а оттуда — в казарму за ложкой и миской. Умывальная была недалеко от берега, и он увидел проходившего мимо малайского рыбака с длинным шестом на плече, а милях в двух, в муонгской гавани, сновали серые и черные корабли на фоне разноцветных портовых строений, и ему подумалось, что они чем-то напоминают выстроенные на подоконнике дорогие детские игрушки. Он стоял у колючей проволоки, позабыв на мгновение о голоде и жажде, удивляясь тому, что он здесь, внутри этой крепости, когда там, вдали, столько кораблей с дымящими трубами, похожих на водяных жуков и готовых плыть во все концы света. «Я называю себя коммунистом и в то же время, как раб, строю этот вал из мешков с песком для защиты от коммунистов».

— Насколько я тебя знаю, ты не коммунист, Брайн,— сказал Нотмэн, когда они накануне вечером говорили о политике.

— Но я и к этой системе не принадлежу, поверь мне.

— Я тебя не виню,— продолжал Нотмэн,— едва ли кто-нибудь на твоем месте сохранил бы рассудок, почти все люди с ума посходили, и все же я надеюсь, что когда-нибудь они образумятся.

— Так кто ж я, по-твоему? — спросил Брайн.

— Ты мог бы быть социалистом, если бы больше читал и знал о социализме.

— Гитлер был социалистом,— сказал Брайн со смехом.— Национал-социалистом, а я не хочу иметь ничего общего с такой дрянью.

— Он не был социалистом,— стал терпеливо объяснять ему Нотмэн,— он только притворялся, чтобы обмануть рабочих. А сам заискивал перед крупными капиталистами, которые использовали его для ограбления евреев и в конечном счете для подавления рабочих. И рабочие попались на удочку. Нет, уж если тебя кем и можно назвать, так это социалистом-анархистом.

— Может быть,— согласился Брайн, но он верил, что все люди братья и что все богатства мира нужно по справедливости поделить между теми, кто трудится: врачами и рабочими, архитекторами и механиками. Вот как думают те, по другую сторону этого вала, и, если даже они, как утверждает Нотмэн, не могут быть истинными социалистами, все равно их боятся и его все-таки заставляют строить укрепления, чтобы их сдержать. «Но у меня теперь открылись глаза. Остается только научиться видеть, а если один человек видит, то, может быть, вслед за ним прозреет и другой».

— Нужно время,— сказал Нотмэн,— чтобы мир объединился, и я имею в виду не только рабочих. В наше время это происходит, так сказать, кружным путем.— Он рассмеялся.— Но часто именно так и бывает.

— А ты не думаешь, что нужно делать что-то, стараться это приблизить? — настаивал Брайн.

— Да, но только то, что можно сделать, не изменяя себе. История работает на нас, поэтому жди своего времени: ты даже не будешь знать, что пора действовать, ты вдруг обнаружишь, что действуешь, и действуешь правильно.

Брайна эти рассуждения не удовлетворили, ведь в джунглях партизаны действовали, он видел это своими глазами, слышал, как их пули свистели вокруг него.

Он встретился с Мими в «Египетском кафе» вечером, накануне своего отъезда. Они сидели у зарешеченной двери, за которой трещали цикады и квакали лягушки.

— Рядом с каждым кафе насекомые и животные устраивают свое собственное кафе,— сказал он со смехом, вертя в руках стаканчик с неразбавленным виски.

Он поежился, чувствуя холодок их встречи, и подумал, что было бы гораздо лучше, если б они из деликатности, во имя прошлого, полчаса назад вдруг решили бы не идти на это свидание.

Она была не накрашена, ее волосы были схвачены сзади ленточкой — в первый раз она, видимо, решила показать ему, как они отросли за эти недели.

— Я решила не приходить,— сказала она.— Но не могла.

— Я тоже не мог,— сказал он.— Я чувствую себя предателем, негодяем.

— Почему? — она широко раскрыла глаза.

— Потому что бросаю тебя, а сам этого не хочу. Корабль меня ждет, чтобы отвезти за восемь тысяч миль, а мне вовсе не хочется ехать.

— Это глупо.

— Нисколько. Я не хочу ехать. Но у меня не хватает решимости. Я хочу остаться здесь с тобой. Но знаю, что не останусь. Я сделаю то, чего не хочу.

— Рано или поздно всякому приходится так поступать. Для тебя это будет не в первый раз. Да и не в последний.

— Верно,— сказал он, опрокинув стаканчик, и виски горячей струйкой обожгло ему горло.— Действительно, далеко не в первый раз,

если уж ты заговорила об этом. Но никогда раньше я не ощущал этого так остро.

Насекомые, как иголки, проходили сквозь двери и решетчатые окна ветхого кафе, густым облаком кружились около гирлянд электрических лампочек. Столики в кафе ломились от бутылок, вокруг слышались громкие шутки; драки здесь бывали по крайней мере раз в месяц— каждую вторую получку,— и кафе часто закрывалось.

— Мне скоро нужно идти,— сказала она тихо, надеясь, что он не будет ее удерживать.— Сяду на следующий паром. Я должна быть уже на работе, и, если не приду, меня уволят.

— Я пришлю тебе книги, как обещал.

У обоих голос не дрогнул, но он почувствовал, что безнадежность захлестывает его, словно морская волна.

— Что ж, это будет очень мило с твоей стороны, если пришлешь.

— Ну, конечно пришлю. И буду тебе писать. Кто знает? Может, я даже вернусь через год, или через десять, или через пятнадцать лет — зайду в «Бостонские огни» и потанцую с тобой раз-другой, прежде чем ты меня узнаешь.

— Этого не будет,— сказала она.

— Да, пожалуй.

— Ты никогда больше не уедешь из Англии. У тебя будет слишком много работы и всяких развлечений.

— Ну, то и другое трудно совместить,— засмеялся он.

Она встала.

— Я возьму велорикшу до парома.

Они вышли, поглядели немного на туманные лучи дорожных фонарей, пронзавшие сердцевидные тени, как стрелы, обозначающие любовь, но без инициалов. Он взял ее за руку, поцеловал ее в глаза, в губы и почувствовал, что она ответила ему на поцелуй, обняв его одной рукой.

— Прощай, Мими. Береги себя.

Она поколебалась, затем повернулась к нему:

— Помнишь, ты рассказывал мне тогда ночью о том, что было в джунглях... Ты вел себя храбро. Я все поняла. Это было просто замечательно. Ты правильно сделал, что не стрелял в них.

Он провожал ее глазами, когда она шла к ближайшему рикше, видел, как легкий силуэт опустился на сиденье. Ноги рикши завертели педали, и вскоре Брайн, стоя на пороге, уже не мог расслышать шороха шин. Вместо этого на него нахлынули другие звуки, громкие, незнакомые, но явственные — это в нем бушевало море, и он, повернувшись, пошел в другую сторону.

Весь день за окном вагона мелькали знакомые пейзажи — сначала поезд мчался, как стрела, среди рисовых полей и вдоль болот, потом устремился к горам, извиваясь, словно кривая переменного тока, которую рисовали на доске в радиошколе. Красивые названия вспыхивали в тайниках его памяти: Кеда, Келантан, Перак, Тренгану, Паханг, Селангор, Негри, Сембилан,— мерно и уверенно выстукивали колеса, и это было приятным разнообразием, помогало забыть о джунглях, которые раскинулись под облаками, у горных вершин, и об укрепленных бунгало на окраинах деревень. Круглые блестящие колеса поезда к вечеру домчали его до Куала-Лумпур, большого города, где в половине восьмого солнце закатится точно так же, как закатилось в Пулау-Тимур сутки назад, когда он любовался закатом из двери казармы, прежде чем пойти к Мими.

Джунгли, мелькавшие за окном, целиком поглотили его, заполонили сознание, словно он пил воду из ручья, зная, что больше его не увидит, и, только когда он оглядел вагон и в глаза ему бросились ремни от вещевого мешка, которые свешивались с полки и качались при каж-

дом толчке, он вдруг понял, что расстался с Мими навсегда. Теперь, пустившись в путь, он с нетерпением мечтал выбраться из этой страны, но прощание с Мими угнетало его, и он не мог вырвать из своей души боль, хотя знал, что она бесполезна. Эта боль не покидала его до конца путешествия. Правда, к вечеру она стала менее мучительной, а Мими была теперь почти так же далека от него, как Полин, когда он больше года назад впервые танцевал с Мими в «Бостонских огнях». Поезд подходил к Куала-Лумпур, и Брайн почувствовал, что уже распростился с ней и с Малайей, что двери этой яркой, красивой страны закрылись далеко, в глубине гор, оставшихся позади. Он сидел неподвижно, в стороне от других демобилизованных, охваченный сладкой печалью, отсекая прошлое, и печаль эта перерастала в страдание, потому что он не представлял себе по-настоящему, с чем расстается, и не осознал необъятности той жизни, какая ему предстояла.

В Куала-Лумпур они взяли свои вещи и направились через мрачную платформу к ночному поезду, шедшему в Сингапур. Сержант железнодорожной охраны остановил Брайна и спросил, где его винтовка.

— У меня ее нет.

— Добавляйте «сержант», когда обращаетесь ко мне! — рявкнул тот.

— Сержант,— добавил Брайн.

— Ездить в ночном поезде без винтовки запрещено,— сурово сказал сержант. Группа солдат стояла, ожидая, чем все это кончится.

— Мне безразлично, сяду я на поезд или нет, сволочь ты этакая, гестаповское дерьмо, вислогубое отродье,— сказал Брайн.

— Что? — разъяренный сержант надвинулся на Брайна; от него пахло потом, карболовым мылом и табаком.— Слушайте,— сказал он,— к вашему сведению, вчера этот поезд обстреляли из пулеметов.

— Нам приказали сдать винтовки в Кота-Либис, сержант.

— Они не имели права, черт их возьми! Вы лучше подождите, пока я выясню, как быть с вами.

Он ушел в конец платформы и посовещался с офицером.

— Мы опоздаем на корабль,— сказал Джек и выругался.— Это ясно.

— Пусть идут ко всем чертям со своими винтовками,— сказал Брайн.— В следующий раз я пристрелю этого гада, если мы нарвемся на засаду и он окажется в поезде. Ей-богу, пристрелю. А если этого не сделаю я, то, может, в ближайшие дни это сделают партизаны.

— Слишком многого хочешь,— сказал Керкби.— Первую пулю получают бедняги вроде Бейкера. Пули никогда не попадают в кого нужно.

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — крикнул Джек.— Садиться в поезд!

Сержанта нигде не было видно, и Брайн внес в вагон свои вещи; остальные последовали за ним. Каждый занял себе полку, а потом они снова вышли из вагона, чтобы притащить мороженого.

Поезд тронулся, громыхая в пустынной темноте. Брайн разделся и, забравшись на верхнюю полку, натянул на себя простыню. Некоторые уже спали, пустые стаканчики из-под мороженого катились по проходу, словно пустые катушки с ткацкой фабрики, которые сбрасывали на свалке с грузовиков. Он не мог заснуть и лежал на спине, глядя в потолок, который был всего в нескольких дюймах от его головы. «Лежать бы сейчас дома в постели,— думал он,— рядом с Полин. Но этого уже не долго ждать. Я сойду с корабля через три недели, на другой же день получу документы, сяду на скорый поезд до Ноттингема, а затем на такси доеду до Эспли и... где мы проведем этот вечер? В «Ячменном

зерне» или в «Маяке», выпьем там вволю легкого пива, будем смеяться, болтать и целоваться, когда никто не будет на нас смотреть.

Я увижу и мать с отцом. «Гляди, отец, я вернулся. Кончено, я вышел из тюрьмы, я свободен, мне заплатили — и я готов работать на фабрике. Полин, сходи купи мне два комбинезона, подержанную куртку, бидончик и пару хороших сапог, чтобы гвозди и стальные стружки не поранили ног. На каком номере автобуса я буду добираться туда каждое утро к половине восьмого? Не объясняй мне, я знаю это чуть не с самого рождения. Ты работаешь все в том же цехе, отец, отвозишь стальные отходы на тачке? А этот малый с носом, как кочерыжка цветной капусты, он все еще секретарь цеховой профсоюзной организации? Он по-прежнему каждый день приносит номера «Уоркера»? Скажи ему, чтоб он записал и меня в союз. Приятно будет повидать и моих школьных приятелей, Джима Скелтона, Альберта, Колина и Дейва, они, наверно, уже отбыли свой срок. И Берта тоже, когда этот болван отслужит еще три года, на которые он в конце концов дал согласие. Надо будет как-нибудь повидать Аду и дядю Доддо — возьму тарелку рагу и кусок пирога и буду слушать тоскливую ругань Доддо, его рассказы, как он работает десятником в недавно национализованной шахте или как гоняет очертя голову на своем новом мощном мотоцикле.

А когда пойду обедать в столовую напротив, увижусь с другими ребятами. Или, может, мне не захочется в столовую, и я пойду домой к маме — заверну за угол, потом прямо по улице, во двор и ввалюсь в дом с черного хода. «Эй, мама,— крикну я из умывальной,— чайку заварила?» «Да, Брайн, сынок,— ответит она.— Все готово». А вечером снова поеду на автобусе к Полин, выйду с толпой в туман или слякоть (или, если мне повезет, погода будет ясная, хотя Малайя избаловала меня в этом отношении на всю жизнь), за целую милю почувствую свежую теплоту нашей комнаты, запах пудры Полин, ее поцелуй, а около двери обниму Полин, ущипну ее, куда полагается, и увернусь, прежде чем она успеет дать мне тумака. За ужином поговорю с ней о краске для пола и обоях, которые я думаю купить, потому что нужно привести в порядок дом, и теперь, когда Маллиндер умер, кроме меня, некому этим заняться. Я помню, что бак в ванной комнате начал ржаветь, когда я уезжал, и, конечно, никто им не занимался, так что я начну с него. После чая выйду на темную мокрую улицу, пройду мимо пивных и лавок, где торгуют рыбой и жареным картофелем, с сигаретой в зубах, одетый в лучшую пару, и заверну в кабачок забавляться и тянуть пиво с Джонни, Эрни, Артуром, Нэном и остальными. Вечер или два, я, конечно, посвящу профсоюзным делам, должен же кто-нибудь это сделать, а я как раз подходящий человек. Разберусь, что к чему, притащу домой новых книжек, узнаю, чем дышит мир, может быть, прочту кое-какие из тех, которые стащил несколько лет назад. Я не поддался этим сволочам на военной службе и не поддамся здесь: а уж если я за дело возьмусь, все будет иначе».

А потом ему живо вспомнилась забытая, но приятная поездка в Ноттингем во время отпуска, перед отплытием. Он стоял в коридоре вагона у двери, прижимая коленом вещевой мешок, и, когда поезд прогромыхал над Трентом, увидел внизу на берегу юношу и девушку — как раз в это мгновение они глядели на мост, и он обнимал ее за плечи, словно они только что перестали целоваться и ждут, пока пройдет поезд, и снова начнут целоваться, как только последний вагон исчезнет из виду.

Но пока поезд мчал его по Малайе, он не мог уснуть и думал о Полин, о давно исчезнувшем очаровании их первых встреч, которое, он надеялся, вернется снова, как только он демобилизуется и приедет домой. Он смутно представил себе Вишневый сад, освещенный солнцем (Полин писала ему, что теперь он весь застроен домами), и эта картина напоми-

нала ему о ней ярче, чем любое другое из ноттингемских воспоминаний. Он чувствовал запах влажной земли и травинок в тот летний вечер, когда они бродили там, встретившись на фабрике, помнил, как он пощупал землю, прежде чем расстелить свой плащ в ложбинке, чтобы можно было лечь на него, едва настанут сумерки и скроют их от посторонних глаз. Он ощущал запах ее тела, когда расстегивал ее пальто, вспоминал, как дым их сигарет смешивался с запахом земли и влажного мрака. Эти воспоминания, становясь то ярче, то бледнее, нахлынули на него, как чудесные звуки рояля, передаваемые какой-то далекой радиостанцией за тысячи миль, через пустынный и безбрежный океан, то громкие, то едва слышные, но они никогда не смолкали в душе, настроенной на эту волну.

Пробираясь сквозь джунгли, поезд сбрасывал с себя тоннели, словно диковинная змея — кожу, и рассыпал искры в безбрежной черно-желтой ночи. Его подушка стала от пота тяжела, как свинец, а простыни были холодные. Видимо, в вагоне не было вентиляции, и ему казалось, что это кошмарный сон: прошлое и настоящее, растревоженные переменой, неудержимо вырвались на волю. Он сказал себе, что Малайя уже позади, что утром, когда рассветет, он будет не на полуострове, а в лабиринте Сингапура. Долгий, сияющий солнцем сон был позади; горы, покрытые джунглями, стали как бы спящими мохнатыми чудовищами, которые заняли свое место в прошлом. Он совершил последнюю вылазку в джунгли — во всяком случае, в малайские джунгли,— отстучал свои последние радиограммы, и они унеслись к последним кровавым бликам заката над Пулау-Тимур. И все же у него сжималось сердце теперь, когда он все это покидал.

«Утром,— подумал он, засыпая наконец,— корабль отплывает из Сингапура, наверно, на пристани будет играть оркестр шотландских волынщиков». Оглядываясь назад и глядя вперед, он чувствовал, что у него теперь есть ключ от двери, тем более что скоро день его рождения (когда человек дожил до двадцати, двадцати одного или двадцати двух лет или вообще стал на год старше — одним словом, дожил до очередного своего дня рождения, он становится как бы бессмертным и неуязвимым). «И теперь, когда у меня есть ключ от двери,— подумал он с улыбкой, и сердце у него замерло,— остается только напрячь силы и открыть ее; но я не удивлюсь, если на это потребуется больше половины моей жизни».

НА ПОЗИЦИЯХ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕЙНОСТИ

К 60-ЛЕТИЮ II СЪЕЗДА РСДРП

В июле этого года исполняется шестидесятилетие II съезда РСДРП, на котором была фактически создана партия нового типа, ленинская большевистская партия.

Опыт борьбы Коммунистической партии Советского Союза за свержение господства буржуазии и помещиков и преобразование общества во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в области культуры, является ценнейшим приобретением для коммунистических и рабочих партий всех стран и континентов. Руководствуясь общими закономерностями социалистической революции и строительства социализма и коммунизма, каждая страна и каждая коммунистическая партия используют этот опыт в соответствии с конкретными условиями, в которых им приходится бороться.

И поныне распространяется нашими врагами мысль о том, что коммунизм якобы враждебен культуре. Деятельность коммунистов начисто отвергает эту ложь. Вся история марксизма, многолетний опыт Коммунистической партии Советского Союза, успехи в развитии всех областей культуры в нашей стране и в других социалистических странах говорят о том, что именно социализм открывает необыкновенный простор для духовного развития народных масс.

Основоположники научного коммунизма К. Маркс и Ф. Энгельс дали пример подлинно партийного отношения к вопросам литературы и искусства. Их всеобъемлющая эстетическая программа подразумевала заботливую, заинтересованную поддержку всего передового, растущего, талантливого и бескомпромиссную критику того, что уводило художника от служения интересам народа. Ленинская партия большевиков с самого своего возникновения подняла знамя воинствующего интернационализма и включила в орбиту своей гигантской работы все области культуры, ибо, как говорил Ленин, «коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».

Под руководством В. И. Ленина еще задолго до всемирно-исторической победы в Октябре 1917 года партия разработала основы своей политики в области культуры и художественного творчества. Уже в тот момент, когда партия нового типа только создавалась — на II съезде РСДРП, где основное внимание уделялось вопросам политическим,— Ленин и его соратники держали в поле своего зрения задачи культурного подъема масс, воспитания трудящихся, развития литературы и искусства. В принятой съездом первой Программе партии говорилось о создании не только политических, экономических, но и духовных предпосылок для всестороннего развития рабочего класса. В той части Программы, где определялись задачи партии в демократической революции, было записано требование бесплатного общего и профессионального образования на родном языке и ряд других положений, направленных на подъем культуры народа.

Важнейшие программные принципы партийного руководства литературой были изложены в знаменитой статье В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», написанной в начале революции 1905 года. Ее положениями партия руководствовалась на протяжении всей своей истории и руководствуется сейчас, определяя свои задачи в области литературы и искусства в период развернутого строительства коммунизма.

Вооруженная идеями В. И. Ленина, партия оказывала влияние на развитие литературы всеми имевшимися в ее распоряжении средствами. В основе этого воздействия лежал и лежит метод убеждения, чуткого, заботливого отношения к работникам искусства. Эта черта партийного руководства литературой ярко проявилась во взаимоотношениях В. И. Ленина и Максима Горького; видна она и в письме В. И. Ленина в редакцию «Правды» в 1913 году по поводу творчества Демьяна Бедного. Выдержки из этого письма приводятся ниже.

Центральные органы партии — ленинская «Искра», «Вперед», «Пролетарий», «Новая жизнь», «Правда» — даже в условиях жесточайших преследований со стороны царизма поддерживали и популяризировали творчество писателей реалистов, как российских, так и иностранных, вели непримиримую борьбу с буржуазной идеологией, проявле-

---

Материал подготовлен кандидатами исторических наук К. И. СУВОРОВЫМ и А. Ф. ЮДЕНКОВЫМ.

ниями декадентства в литературе; они неуклонно проводили в жизнь ленинские идеи партийности и народности литературы, Демократизм, народность, гуманизм, служение правде, передовым идеям своего времени, реалистическое мастерство — вот что больше всего ценила партия в творчестве писателей. Даже нелегальные газеты, при их небольшом размере и малой периодичности («Искра», «Вперед», «Пролетарий» и др.), имели литературно-художественные отделы, в которых печатались стихи, очерки, фельетоны, литературно-критические статьи. Когда под руководством партии рабочий класс России добился создания ежедневной легальной газеты «Правда» (1912—1914 гг.), эта сторона деятельности партийной печати значительно расширилась.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции в Советском Союзе под руководством КПСС осуществлена подлинная культурная революция, вырвавшая миллионные массы народа из состояния забитости и неграмотности, приобщившая их к сокровищам мировой культуры и пробудившая к жизни бесчисленные таланты во всех областях художественного творчества. Построив социализм, советский народ совершил гигантский взлет к вершинам науки и культуры.

Культура коммунизма, магистральные пути которой определены в Программе КПСС, явится новой, высшей ступенью в духовном развитии человечества. Наступил завершающий этап культурной революции в нашей стране. И в этот новый исторический период партия вновь и вновь обращается к ленинским идеям, опыту, накопленному КПСС в решительной борьбе против буржуазной идеологии, против разлагающего влияния антигуманной буржуазной литературы, за формирование человека в духе идей коммунизма.

На протяжении всей ее истории политика Коммунистической партии в области литературы и искусства была целеустремленной и единой. Это хорошо видно при сопоставлении партийных документов, высказываний В. И. Ленина, трех партийных программ. Изменялись условия борьбы, использовались новые методы и формы работы, но основы политики в области литературы и искусства оставались неизменными, ибо они коренятся в самой сути и духе марксизма-ленинизма.

Сегодня в великом сражении двух идеологий — социалистической и буржуазной — партия творчески использует опыт, накопленный и в годы борьбы против самодержавия, и в период строительства социализма и коммунизма. Враги коммунизма в страхе перед растущей мощью социалистического лагеря усиливают идеологическое наступление. В этих условиях полезно вспомнить, что у всякого рода формалистов в литературе и искусстве, пытающихся выставить себя «независимыми», а на деле всегда зависимых от буржуазной идеологии, есть духовные праотцы, с которыми партия в свое время уже вела решительную борьбу.

Приведенные ниже отрывки, взятые из произведений В. И. Ленина, документов партии и литературно-критических статей, публиковавшихся в партийной печати, главным образом в «Правде», дают представление о работе, которую Коммунистическая партия проводила в области искусства до Октября 1917 года и в первые годы советской власти. Они позволяют увидеть преемственность методов и принципов этой работы. Публикуемый материал не претендует на то, чтобы отразить все стороны этой работы, но он напоминает читателю главное направление этой важной деятельности партии.

«В противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, «барскому анархизму» и погоне за наживой,— социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип *партийной литературы*, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме.

В чем же состоит этот принцип партийной литературы? Не только в том, что для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать *частью* общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы».

«...литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию, господству большинства над меньшинством. Спору нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию. Все это бесспорно, но все это доказывает лишь то, что литературная часть партийного дела пролетариата не может быть шаблонно отождествляема с другими частями партийного дела пролетариата. Все это отнюдь не опровергает того чуждого и странного для буржуазии и буржуазной демократии положения, что литературное дело должно непременно и обязательно стать неразрывно связанной с остальными частями частью социал-демократической партийной работы».

«...господа буржуазные индивидуалисты, мы должны сказать вам, что ваши речи об абсолютной свободе одно лицемерие. В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть «свободы» реальной и действительной. Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинах, проституции в виде «дополнения» к «святому» сценическому искусству? Ведь эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза (ибо, как миросозерцание, анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность). Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания.

И мы, социалисты, разоблачаем это лицемерие, срываем фальшивые вывески,— не для того, чтобы получить неклассовую литературу и искусство (это будет возможно лишь в социалистическом внеклассовом обществе), а для того, чтобы лицемерно-свободной, а на деле связанной с буржуазией, литературе противопоставить действительно — свободную, *открыто* связанную с пролетариатом литературу.

Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность.

Это будет свободная литература, оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистического пролетариата, создающая постоянное взаимодействие между опытом прошлого (научный социализм, завершивший развитие социализма от его примитивных, утопических форм) и опытом настоящего (настоящая борьба товарищей рабочих)».

В. И. Ленин. Партийная организация и партийная литература. Соч., т. 10, стр. 27—31.

■

«Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием *всех*, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот.

И Толстой не только дал художественные произведения, которые всегда будут ценимы и читаемы массами, когда они создадут себе человеческие условия жизни, свергнув иго помещиков и капиталистов,— он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования».

В. И. Ленин. Соч., т. 16, стр. 293—294.

«...Горький — безусловно крупнейший представитель *пролетарского* искусства, который много для него сделал и еще больше может сделать».

В. И. Ленин. Соч., т. 16, стр. 186.

«...Горький — громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению».

В. И. Ленин. Соч., т. 23, стр. 325.

«Потье умер в нищете. Но он оставил по себе поистине нерукотворный памятник. Он был одним из самых великих *пропагандистов посредством песни*. Когда он сочинял свою первую песнь, число социалистов рабочих измерялось, самое большее, десятками. Историческую песнь Евгения Потье знают теперь десятки миллионов пролетариев...»

В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 22, стр. 273.

[В романах Анри Барбюса «В огне» и «Ясность»] «превращение совершенно невежественного, целиком подавленного идеями и предрассудками обывателя и массовика в революционера именно под влиянием войны показано необычайно сильно, талантливо, правдиво».

В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 470.

«Насчет Демьяна Бедного продолжаю *быть за*. Не придирайтесь, друзья, к человеческим слабостям! Талант — редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать. Грех будет на вашей душе, большой грех (во сто раз больше «грехов» личных разных, буде есть таковые...) перед рабочей демократией, если вы талантливого сотрудника не притянете, *не поможете* ему».

В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 68.

■

«Тогда как буржуазный поэт, рисуя ужасы современности, примиряется с ними, как с фатальными, вечно неизбежными явлениями, пролетарский художник всегда отмечает те социальные условия и моменты, которые вызывают все эти явления. В то время как буржуазный художник рисует войны, половую вакханалию, ужасы современности со смятенной душой — без негодования, пролетарский художник резко оттеняет свое негодование, возмущение.

Нам говорят, что, поступая подобным образом, пролетарский художник неизбежно создает одни лишь тенденциозные картины действительности. Но на это можно ответить, что столь же тенденциозны произведения буржуазных художников. Последние, правда, не протестуют и не зовут к борьбе. Но по существу они так же тенденциозны, ибо в своих произведениях всегда проводят свои определенные суждения. В лучшем случае эти художники плачут либо же с глубокомысленным видом ноют. Таковыми являются многие из декадентов.

Содержание же пролетарского творчества неизмеримо сложнее и богаче буржуазного. Оно может и должно захватить всю подлинную, реальную жизнь современного общества. Вся жизнь человека и общества, психология различных групп, индивидуальные и общественные переживания человека, все характерные явления современности — вот тот богатый материал, который может составить содержание пролетарского творчества».

«Рабочий», 23 июня 1914 г.

«...«Нет сказок лучше тех, которые творит сама жизнь».

Это — слова Андерсена, которые М. Горький приводит на обложке своей книги. Этими словами он характеризует как основной мотив своих «сказок», так и отчасти свое мироощущение. Если для декадента-поэта подлинная жизнь всегда груба, груба даже, когда «бушует в яростном пожаре», то для Горького именно эта «грубая» жизнь обаятельна и полна своеобразной поэзии. Как ваятель жизни, он ищет прекрасное в самой же жизни. И вот в «Сказках» начерчены контуры этого «сказочного», существующего в «грубой» действительности, творимого жизнью...

Главный «герой» сказок, тот, кто своей богатой жизнью и всеми своими стремлениями окрашивает жизнь сказочными лучами,— народ. О нем только Горький и говорит. Все чувства, повседневные стремления, своеобразные переживания различных групп трудящегося итальянского народа любовно охарактеризованы М. Горьким в ряде ярких очерков. Пастухи, крестьяне, моряки, рабочие проходят стройными рядами и восхваляют жизнь, красоту ее. Отчаяния, глубокого пессимизма мы не видим. И это несмотря на то, что народу итальянскому живется нелегко, несмотря на тяжелые экономические условия... Порой кажется, что этот народ близок нам и давно знаком, ибо слишком родственны переживания, стремления его и русскому народу».

«Путь Правды», 23 февраля 1914 г.

«Теперь это факт всем известный, что буржуазные «интеллигенты» ушли от рабочего движения; а в 1905 году они кишмя-кишели в нем. Каким образом, в каких литературных формах произошел этот отлив? Отдельный человек может совершить измену и предательство, ничем не прикрашивая своего поступка. Но для целого общественного слоя,— да еще для умственно развитого,— необходимы мостики и прикрасы, чтобы и самое предательство было как бы не предательством, а служением чему-то высокому.

Таким мостиком или прикрасой издавна являлась в истории теория чистого искусства, искусства для искусства. По этой теории на первом плане должно быть не содержание, а форма. И превыше всего ценится «талант». «Талантлив» — это и значит, по теории чистого искусства,— прекрасно, благородно, возвышенно. А в какую сторону направлен талант — до этого, дескать, нам нет дела.

И вот в литературе недавних лет читатели стали ценить «только талант». А талантливыми считались как раз те произведения, которые помогали совершить предательство без излишних укоров совести...

Лозунг чистого искусства обычно является лишь прикрытием для рыцарей мракобесия, реакции и предательства».

«Правда труда», 17 сентября 1913 г.

«Щедрин был великим художником. Его сила заключалась в сатирическом и беллетристическом таланте. Но эта сила увеличилась вдесятеро его убежденностью,— тем, что он писал не ради писания, а боролся за будущее, отдавал свой талант на служение идеалу.

Во имя идеала он беспощадно отрицал старый мир гнета и эксплуатации и презирал всякую попытку уступок, протестовал против урезывания задач и против окольных путей: лучше гибель, чем отступничество или умаление своих идеалов.

Такова основа щедринской беллетристики, щедринской сатиры. Понятно поэтому, что Щедрин не мог относиться мягко к уступчивости и половинчатости либералов».

«Путь Правды», 27 апреля 1914 г.

«Короленко — писатель-реалист, близкий к жизни, любящий ее во всех ее разнообразных проявлениях, изучающий и вникающий в ее самые отдаленные закоулки. Но его реализм не есть фотографическое воспроизведение жизни,— каждое его произведение согрето теплым гуманным чувством, Короленко всегда ищет смысла жизни, он открывает нравственные ценности в жизни людей».

«Рабочая Правда», 21 июля 1913 г.

«Леся Украинка, стоя близко к освободительному общественному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное. Нам надо сказать ей спасибо и читать ее произведения, печатавшиеся в лучших украинских журналах».

«Рабочая Правда», 30 июля 1913 г.

«Лемоннье умер, как и жил, непримиримым борцом за подлинную демократию, писателем абсолютно независимым. Несколько раз бельгийское правительство пыталось навязать ему, как патриарху бельгийской литературы на французском языке, какую-нибудь синекуру или по крайней мере орден. Каждый раз писатель гордо отвергал эти непрошеные знаки отличия.

За свою долгую жизнь,— он умер 66 лет,— Лемоннье написал до 60 томов трудов. Господствующей нотой в них является воинствующий реализм. Страстная любовь к яркой, полносильной жизни шла у него об руку с ненавистью ко всему, что ее сковывает и искажает...

На русский язык переведено довольно много произведений Камиля Лемоннье. Мы особенно рекомендуем вниманию читателей «Правды» полный жгучего гнева и едкой иронии роман — «Конец буржуа».

«Правда», 2 июля 1913 г.

«В лирических сборниках своих Верхарн сначала впадает в отчаяние, видя весь ужас и кошмар современной городской жизни, однако отчаяние его не беспросветное; он старается вырваться; его примиряет с жизнью вера в освободительное движение масс, в конечное торжество любви и свободы на земле. Он верит в возможность счастья людей на земле, когда не будет ни богатых, ни бедных, когда восторжествует социализм.

Верхарн воспевает мятежный дух, который должен двинуть проснувшиеся силы к новой великой счастливой жизни.

Он верит в социализм и зовет к нему в своих мощных великих стихах рабочую массу».

«За Правду», 24 ноября 1913 г.

«Дени Дидро был гениальный представитель замечательной «эпохи просвещения», наложившей яркий отпечаток на все последующее развитие умственной и общественной жизни Европы и явившейся предвестницей Великой французской революции. Самым замечательным делом этой просветительной эпохи было создание знаменитой «Энциклопедии или словаря наук, искусств и ремесел» (35 томов, вышедших от 1751 до 1780), которая, по словам одного писателя, «не была мирным складочным местом, в котором ученые и мыслители всякого рода могли обозревать приобретенные ими сокровища; это была гигантская осадная машина,— арсенал с заготовленным для боя оружием»...

За свой материализм Дидро заслужил упреки от буржуазных писателей, но, видимо, свет истины слишком ярок; он в результате своих долгих, но честных исканий и добросовестных занятий пришел к материализму, философскому боевому оружию революционной Франции, и это был верный показатель того, что Дидро находился на правильном пути. Последними его словами были: «Первый шаг к философии есть неверие!»

«За Правду», 30 октября 1913 г.

«Не игра фантазии, а изучение человеческой психологии, всего того, что связывает человека с обществом, что делает человека продуктом определенных общественных условий, должно лежать в основе нового романа — вот что было написано на знамени Золя. Благодаря этому методу, романы Золя стали широкими, правдивыми, захватывающими картинами современного общества. Они стали с о ц и а л ь н ы м и романами...

Золя не был выходцем из рабочей среды, хотя и начал жизнь голодающим приказчиком в книжной лавке. В его произведениях поэтому часто еще сказывается отношение к рабочему классу просто как к наиболее угнетенному классу, а не как к творцу новой жизни. Но когда на родину Золя, Францию, надвинулась туча военной и клерикальной (религиозной) реакции, он, не задумываясь, стал рядом с французскими социалистами и повел борьбу в первых рядах их. Это понятно. Человеку, который так глубоко, как Золя, познал позор современной жизни, некуда идти, кроме как к социализму, по пути, который избрал этот величайший романист и разоблачитель буржуазного века».

«Правда», 28 октября 1912 г.

■

«Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других лишить самого необходимого — просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, в средства эксплуатации».

В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 436.

«В тяжкий решительный час переворота и дней, непосредственно за ним следующих, Временный Революционный Комитет вынужден был предпринять целый ряд мер против контрреволюционной печати разных оттенков.

Немедленно со всех сторон поднялись крики о том, что новая социалистическая власть нарушила, таким образом, основной принцип своей программы, посягнув на свободу печати.

Рабочее и крестьянское правительство обращает внимание населения на то, что в нашем обществе за этой либеральной ширмой фактически скрывается свобода для имущих классов захватить в свои руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и вносить смуту в сознание масс.

Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущественнейших оружий буржуазии. Особенно в критический момент, когда новая власть, власть рабочих и крестьян, только упрочивается, невозможно было целиком оставить это оружие в руках врага, в то время, как оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулеметы».

Из декрета Совета Народных Комиссаров от 10 ноября 1917 г.

«Принимая во внимание создавшуюся от разных причин острую безработицу печатников, с одной стороны, книжный голод в стране, с другой, поручается Народной комиссии по просвещению через ее литературно-издательский отдел и при содействии отделений внешкольного образования, школьных отделов, отделов наук и искусств, с привлечением представителей от союза печатников и других заинтересованных обществ по усмотрению комиссий и особо приглашенных ею экспертов, немедленно приступить к широкой издательской деятельности.

В первую очередь должно при этом быть поставлено дешевое народное издание русских классиков...»

Из декрета Совета Народных Комиссаров от 11 января 1918 г.

«...необходимо открыть и сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства, созданные на основе эксплуатации их труда и находившиеся до сих пор в исключительном распоряжении эксплуататоров».

Программа РКП(б). 1919 г.

«Марксизм завоевал себе свое всемирно-историческое значение как идеологии революционного пролетариата тем, что марксизм отнюдь не отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры. Только дальнейшая работа на этой основе и в этом же направлении, одухотворяемая практическим опытом диктатуры пролетариата, как последней борьбы его против всякой эксплуатации, может быть признана развитием действительно пролетарской культуры».

В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 292.

«В Советской рабоче-крестьянской республике вся постановка дела просвещения, как в политико-просветительной области вообще, так и специально в области искусства, должна быть проникнута духом классовой борьбы пролетариата за успешное осуществление целей его диктатуры, т. е. за свержение буржуазии, за уничтожение классов, за устранение всякой эксплуатации человека человеком».

В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 291.

«ЦК РКП считает необходимым дать следующие разъяснения товарищам из пролеткультов, руководителям местных и губернских наробразов и партийным организациям.

Пролеткульт возник до Октябрьской революции. Он был провозглашен «независимой» рабочей организацией, независимой от министерства народного просвещения времени Керенского. Октябрьская революция изменила перспективу. Пролеткульты продолжали оставаться «независимыми», но теперь это была уже «независимость» от советской власти. Благодаря этому и по ряду других причин в пролеткульты нахлынули социально-чуждые нам элементы, элементы мелкобуржуазные, которые иногда фактически захватывают руководство пролеткультами в свои руки. Футуристы, дека-

денты, сторонники враждебной марксизму идеалистической философии и, наконец, просто неудачники, выходцы из рядов буржуазной публицистики и философии стали кое-где заправлять всеми делами в пролеткультах.

Под видом «пролетарской культуры» рабочим преподносили буржуазные взгляды в философии (махизм). А в области искусства рабочим прививали нелепые, извращенные вкусы (футуризм).

Вместо того, чтобы помогать пролетарской молодежи серьезно учиться, углублять ее коммунистический подход по всем вопросам жизни и искусства, далекие по существу от коммунизма и враждебные ему художники и философы, провозгласив себя истинно-пролетарскими, мешали рабочим, овладевши пролеткультами, выйти на широкую дорогу свободного и действительно пролетарского творчества. Интеллигентские группы и группочки, под видом пролетарской культуры, навязывали передовым рабочим свои собственные полубуржуазные философские «системы» и выдумки. Те самые антимарксистские взгляды, которые так пышно расцвели после поражения революции 1905 года и несколько лет (1907—12 г.г.) занимали умы «социал-демократической» интеллигенции, упивавшейся в годину реакции богостроительством и различными видами идеалистической философии,— эти же самые взгляды в замаскированном виде антимарксистские группы интеллигенции пытались теперь привить пролеткультам.

Если наша партия до сих пор не вмешивалась в это дело, то это объяснялось только тем, что, занятая боевой работой на фронтах, наша партия не всегда могла уделять должное внимание этим насущным вопросам. Теперь, когда перед партией возникает возможность более обстоятельно заняться культурно-просветительной работой, партия должна уделить гораздо больше внимания вопросам народного образования вообще и пролеткультам в частности.

Те самые интеллигентские элементы, которые пытались контрабандно протащить свои реакционные взгляды под видом «пролетарской культуры», теперь поднимают шумную агитацию против вышеприведенного постановления ЦК. Эти элементы пытаются истолковать резолюцию ЦК как шаг, который будто бы должен стеснить рабочих в их художественном творчестве. Это, разумеется, не так. Лучшие рабочие элементы пролеткультов вполне поймут те мотивы, которыми руководился ЦК нашей партии.

ЦК не только не хочет связать инициативу рабочей интеллигенции в области художественного творчества, но, напротив, ЦК хочет создать для нее более здоровую, нормальную обстановку и дать ей возможность плодотворно отразиться на всем деле художественного творчества. ЦК ясно отдает себе отчет в том, что теперь, когда война кончается, интерес к вопросам художественного творчества и пролетарской культуры в рядах рабочих будет все больше и больше расти. ЦК ценит и уважает стремление передовых рабочих поставить на очередь вопросы о более богатом духовном развитии личности и т. п. Партия сделает все возможное для того, чтобы это дело действительно попало в руки рабочей интеллигенции, чтобы рабочее государство дало рабочей интеллигенции все необходимое для этого».

Письмо ЦК РКП(б) «О пролеткультах». 1920 г.

«— ...В обществе, базирующемся на частной собственности, художник производит товары для рынка, он нуждается в покупателях. Наша революция освободила художников от гнета этих весьма прозаических условий. Она превратила Советское государство в их защитника и заказчика. Каждый художник, всякий, кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, согласно своему идеалу, независимо ни от чего.

— Но, понятно, мы — коммунисты. Мы не должны стоять, сложа руки, и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты... Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо покориться только потому, что «это ново»? Бессмыслица, сплошная бессмыслица! Здесь много лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе. Мы хорошие революционеры, но мы чувствуем себя почему-то обязанными доказать, что мы тоже стоим «на высоте современной культуры». Я же имею смелость заявить себя «варваром». Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости».

В. И. Ленин. [Из книги К. Цеткин. Воспоминания о Ленине]

«Съезд признает чрезвычайно необходимым создание литературы для рабоче-крестьянской молодежи, которая могла бы быть противопоставлена влиянию на юношество со стороны нарождающейся бульварной литературы и содействовать коммунистическому воспитанию юношеских масс. Съезд одобряет решение ЦК об издании большого научно-популярного и литературно-художественного журнала и поручает ЦК расширить это начинание, создав в ближайшее время, при участии комсомола, научно-популярную и художественную библиотеку для молодежи».

Из резолюции XI съезда РКП(б) «О печати и пропаганде», 1922 г.

«Ввиду того, что за последние два года художественная литература в Советской России выросла в крупную общественную силу, распространяющую свое влияние прежде всего на массы рабоче-крестьянской молодежи, необходимо, чтобы партия поставила в своей практической работе вопрос о руководстве этой формой общественного воздействия на очередь дня».

Из резолюции XII съезда РКП(б) «По вопросам пропаганды печати и агитации», 1923 г.

«Основная работа партии в области художественной литературы должна ориентироваться на творчество рабочих и крестьян, становящихся рабочими и крестьянскими писателями в процессе культурного подъема широких народных масс Советского Союза. Рабкоры и селькоры должны рассматриваться как резервы, откуда будут выдвигаться новые рабочие и крестьянские писатели.

Выдвижение и материальная помощь пролетарским и крестьянским писателям, пришедшим в нашу литературу частью от станка и сохи, частью из той интеллигентской прослойки, которая в октябрьские дни и в эпоху военного коммунизма вступила в ряды РКП и комсомола, должны быть всемерно усилены.

Особое внимание необходимо уделить писателям и поэтам из среды комсомола, активно действующим в гуще рабочей молодежи.

Основным условием роста рабоче-крестьянских писателей является более серьезная художественная и политическая работа их над собой и освобождение от узкой кружковщины, при всемерном содействии партии, в частности партийной литературной критики.

Вместе с тем необходимо продолжать ведущуюся систематическую поддержку наиболее даровитых из так называемых попутчиков, воспитывающихся школой, товарищеской работой совместно с коммунистами. Необходимо поставить выдержанную партийную критику, которая, выделяя и поддерживая талантливых советских писателей, вместе с тем указывала бы их ошибки, вытекающие из недостаточного понимания этими писателями характера советского строя, и толкала бы их к преодолению буржуазных предрассудков.

Считая, что ни одно литературное направление, школа или группа не могут и не должны выступать от имени партии, съезд подчеркивает необходимость урегулирования вопроса о литературной критике и возможно более полном партийном освещении образцов художественной литературы на страницах советско-партийной печати.

Съезд обращает особое внимание на необходимость создания массовой художественной литературы для рабочих, крестьян и красноармейцев».

Из резолюции XIII съезда РКП(б) «О печати», 1924 г.

«Партия должна подчеркнуть необходимость создания художественной литературы, рассчитанной на действительно массового читателя, рабочего и крестьянского; нужно смелее и решительнее порвать с предрассудками барства в литературе и, используя все технические достижения старого мастерства, вырабатывать соответствующую форму, понятную *миллионам.*

Только тогда советская литература и ее будущий пролетарский авангард смогут выполнить свою культурно-историческую миссию, когда они разрешат эту великую задачу».

Из резолюции ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 г. «О политике партии в области художественной литературы».

«ЦК констатирует, что за последние годы на основе значительных успехов социалистического строительства достигнут большой как количественный, так и качественный рост литературы и искусства...

В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАМП и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества. Это обстоятельство создает опасность превращения этих организаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству.

Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно-художественных организаций и расширения базы их работы».

«О перестройке литературно-художественных организаций». Из постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года.

«Лживому и лицемерному буржуазному лозунгу «независимости» литературы от общества, фальшивым концепциям «искусства для искусства» наши писатели с гордостью противопоставляют свои высокие идейные позиции служения интересам трудящихся, интересам народа».

Из приветствия ЦК КПСС Второму Всесоюзному съезду советских писателей, 1954 г.

«Высокая идейность художника, верность марксизму-ленинизму; связь с жизнью народа, понимание закономерностей и грандиозных перспектив развития советского общества — залог творческих успехов советских писателей. Жизнеутверждающая сила советской литературы в неразрывной связи с политикой Коммунистической партии, выражающей коренные интересы народа».

«Советские писатели призваны и впредь неустанно укреплять дружбу и братское содружество с писателями стран социалистического лагеря, со всеми прогрессивными литераторами, творчество которых служит освобождению трудового человека от социального и национального угнетения: всемерно поддерживать реалистическое искусство, противостоящее безыдейному формалистическому искусству».

Из Приветствия ЦК КПСС Третьему съезду писателей СССР. 1959 г.

«Главная линия в развитии литературы и искусства — укрепление связи с жизнью народа, правдивое и высокохудожественное отображение богатства и многообразия социалистической действительности, вдохновенное и яркое воспроизведение нового, подлинно коммунистического, и обличение всего того, что противодействует движению общества вперед.

В искусстве социалистического реализма, основанном на принципах народности и партийности, смелое новаторство в художественном изображении жизни сочетается с использованием и развитием всех прогрессивных традиций мировой культуры. Перед писателями, художниками, музыкантами, деятелями театра и кино открывается широкий простор для проявления личной творческой инициативы, высокого мастерства, многообразия творческих форм, стилей и жанров.

Коммунистическая партия заботится о правильном направлении в развитии литературы и искусства, их идейном и художественном уровне, помогая общественным организациям и творческим союзам работников литературы и искусства в их деятельности».

Из Программы Коммунистической партии Советского Союза.

«Нашему народу нужно боевое революционное искусство. Советская литература и искусство призваны воссоздать в ярких художественных образах великое и героическое время строительства коммунизма, правдиво отобразить утверждение и победу новых, коммунистических отношений в нашей жизни. Художник должен уметь увидеть положительное, радоваться этому положительному, составляющему существо нашей действительности, поддержать его и в то же время, разумеется, не проходить мимо отрицательных явлений, мимо всего того, что мешает рождению нового в жизни».

«Наша партия всегда стояла за партийность в литературе и в искусстве. Она приветствует всех — и старых и молодых деятелей литературы и искусства, партийных и непартийных, но твердо стоящих на позициях коммунистической идейности в вопросах художественного творчества».

«Мы стоим на классовых позициях в искусстве и решительно выступаем против мирного сосуществования социалистической и буржуазной идеологий. Искусство относится к сфере идеологии. И те, кто думает, что в советском искусстве могут мирно уживаться и социалистический реализм, и формалистические, абстракционистские течения, те неизбежно сползают на чуждые нам позиции мирного сосуществования в области идеологии».

Н. С. Хрущев. Высокое призвание литературы и искусства. Москва. «Правда», 1963 г., стр. 174, 197, 204.

«Поддерживая все истинно ценное, отражающее стремление художника раскрыть и в ярких образах запечатлеть грандиозные свершения эпохи строительства коммунизма, величие подвигов советского человека, партия будет и впредь вести бескомпромиссную борьбу против любых идейных шатаний, проповеди мирного сосуществования идеологий, против формалистического трюкачества, серости и ремесленничества в художественном творчестве, за партийность и народность советского искусства — искусства социалистического реализма».

Из постановления июньского пленума ЦК КПСС, 1963 г.

Д. ЗАТОНСКИЙ

О ВНЕШНЕМ СХОДСТВЕ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЯХ

Отрицать реализм в искусстве можно по-разному. Можно прямо и непосредственно нападать на него, сражаясь, так сказать, с открытым забралом, и можно пробовать медленно, осторожно, за счет незначительных уступок и незаметных компромиссов разлагать его изнутри.

Идеологи империалистической буржуазии, которым давно уже ненавистна жизненная правда в любых ее проявлениях — будь то область политики или социологии, философии или художественной литературы,— накопили немалый опыт как в «явной», так и в «тайной» войне. Но к каким бы методам борьбы эти идеологи ни прибегали, во всех случаях, когда речь заходит об искусстве, они стремятся опереться на теорию и практику модернизма.

Модернизм с самого начала совершенно ясно и недвусмысленно противопоставлял себя реалистической традиции в литературе; он всегда был ее непримиримым врагом. Еще в 20-е годы один из теоретиков модернистской эстетики Ортега-и-Гассет делил современное ему западное искусство на «реалистическое» и «настоящее», характеризующееся «обесчеловеченностью», то есть стремлением избежать живых форм и каких бы то ни было связей с действительностью. Точно так же толкуют модернизм и многие буржуазные теоретики 50—60-х годов: Ф. Альке называет одну из своих статей «Сюрреалистический бунт и дереализация», Р. Альберес говорит, что литература двадцатого века «резко порывает с «традиционным реализмом» века девятнадцатого, видный историк французской литературы П. де Буадеффр пишет, хотя и не без известной грусти: «Кажется, что одна и та же страсть воодушевляет музыкантов, художников, скульпторов и даже архитекторов — это разрушение реальности».

Но одновременно некоторые зарубежные теоретики склонны видеть в модернизме и «наследника», «продолжателя» реализма в том смысле, что модернизм якобы углубил старое, поверхностное художественное представление о действительности.

В послевоенные годы термии «реализм»— без приставки «сюр» и в позитивном значении — даже стал порой возвращаться в обиход модернистской критики.

«Новое понятие реализма прокладывает себе путь,— пишет западноберлинский экзистенциалист Г. Блёккер в книге «Новая действительность»,— реализма, который не имеет уже ничего общего с подражанием действительности и лживыми иллюзиями. Новейший художник ищет согласия с природой, отказываясь ее копировать».

Ч. Фейдельсон — автор книги «Символизм и американская литература» — утверждает, что «идеализм и материализм, романтизм и реализм уступают дорогу символистской точке зрения». Реальный мир, по Фейдельсону, познаваем лишь в «символистской форме», которую следует отличать от «символики» как частного художественного средства. Символизм — это эстетическое мировоззрение, призванное «преодолеть односторонность» как реалистического, так и нереалистического способа видения действительности.

С точки зрения Фейдельсона или Блёккера, литература XX столетия развивалась следующим примерно образом. Потрясения и сдвиги начала века — от социальных до естественно-научных (открытия в области физики, биологии, психологии) — вызвали к жизни всевозможные «авангардистские» течения с их «буйством формы», откровенным желанием эпатировать читателя, с их идеологической, философской и эстетической путаницей. Эти течения — футуризм, дадаизм, имажинизм, кубизм, сюрреализм и т. д.— разрушили, по их мнению, «твердыню» старого буржуазного («эмпирически-натуралистического») искусства и расчистили путь для «истинного модернизма».

Английский критик Г. Рид пишет в статье «Авангардизм и модернизм»:

«Ни примитивизм, ни мудрствование не имеют ничего общего с модернизмом, которому, по сути, не свойственны ни нигилизм, ни скандальность... Есть, вероятно, нечто общее между Гюисмансом, де Садом, Жари и Аполлинером, которых продолжают поэты сюрреализма, далее С. Беккет и «битники», но это — подспудная традиция с ее салонностью, туманными и усложненными формами выражения; эта традиция имеет весьма сомнительную связь с крупными фигурами, выступающими на поверхности движения».

Итак, основоположники модернизма, а равно и опирающееся на их достижения современное искусство, по утверждению Г. Рида, с модернизмом — в традиционном значении этого слова — не имеет ничего общего. Новое искусство — его можно назвать «новым реализмом» (Блёккер), символизмом (Фейдельсон), модернизмом (Рид) или еще как-нибудь иначе — представляет собой «интеграцию», «слияние» лучших черт «старого» реализма и «старого» модернизма и является единственной истинно значительной линией новейшего литературного развития. Внутри этого «интегрированного» искусства нет борьбы, столкновений, конфликтов, противоположностей, а есть лишь закономерное многообразие форм и индивидуальных стилей.

Известно, что на определенных исторических этапах философский идеализм пытается укрепить свои позиции ценой «примирения» с материализмом.

Нечто подобное (разумеется, со всеми поправками на специфику искусства) встречается, как видим, и в сфере литературной критики. Объективный идейный смысл теории «интеграции» современного искусства в конечном счете тот же, что и у сознательно-эклектических философских учений: хоть с черного хода, а протащить давно выброшенные на свалку истории реакционные взгляды. Если модернизм — наследник реализма прошлого, то это не только означает, что он неожиданно превращается в обладателя блестящего генеалогического древа и может вести свою родословную от Сервантеса и Шекспира, Стендаля и Теккерея, Толстого и Достоевского; это означает еще, что в XX веке у искусства нет иного пути к вершинам художественной и жизненной правды, нежели путь модернистских исканий.

Конечно, среди художников современного Запада есть немало таких, в чьем творчестве границы между реализмом и модернизмом кажутся как бы стертыми. Г. Грасс написал «Десять минут до Буффало» и несколько других комедий и фарсов («Дядя, дядя», «Наводнение», «Верхом туда и назад»), выдержанных в манере «театра абсурда». Но в его романе «Жестяной барабан» есть немало эпизодов, которые могут быть названы реалистическими. Камю — создатель «Чужого» или «Мифа о Сизифе» — типичный модернистский писатель. Но можно ли, не колеблясь, отнести к модернизму его же роман «Чума»? И еще более сложная в этом смысле фигура Ж.-П. Сартра.

Ф. Дюрренматт — автор таких пьес гуманистической и социально-критической направленности, как «Визит старой дамы», «Ромул Великий», «Ангел, прибывший в Вавилон», нелегко «сочетается» с Дюрренматтом — автором пьесы «Двойник», изображающей человеческое существование трагически-безнадежным. О чем же это говорит? О том, что граница между реализмом и модернизмом и вправду зыбка? Что всякая попытка провести ее — искусственна? Если рассматривать реализм (а также и модернизм) только как результат простого сложения исканий очень разных художников, то и в самом деле может показаться, будто это так. Но если видеть в реализме и модернизме две борющиеся, противостоящие друг другу художественные концепции, если нащупать в их исканиях ведущие тенденции, то от доказательств наших против-

---

Д. ЗАТОНСКИЙ
О ВНЕШНЕМ СХОДСТВЕ
И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЯХ

ников ничего не останется. Переплетение реалистического и модернистского, скажем, у Дюрренматта — никак не свидетельство «взаимосближения», «сращения» этих творческих методов, как сосуществование в характере одного и того же человека противоречивых черт — не признак относительности добра и зла. Творчество Дюрренматта эклектично, разные тенденции борются в нем, и не всегда в его произведениях побеждает верная тенденция.

В той ожесточенной борьбе, которую ведет против всего передового империалистическая реакция, давно уже не осталось ни одного нечистоплотного средства, которое не было бы использовано. Здесь хороши и подтасовка фактов и игра краплеными картами. Такой крапленой картой оказывается и теория «интеграции». Козыряя ею, изобретатели «стирания граней» между реализмом и модернизмом надеются растворить правдивое видение и художественное изображение действительности в мутном потоке субъективизма, агностицизма, социального пессимизма. Они надеются насильно увести литературу нашего времени с пути служения народу, объявляя утрату положительных идеалов, разрушение реальных жизненных связей не симптомом немощи искусства гибнущего класса, а «знамением века», «стилем эпохи».

Теория «интегрированного искусства» — опасная теория, опасная именно из-за своей кажущейся объективности, из-за приглашения к «мирному сосуществованию» диаметрально противоположных идейно-художественных принципов.

Поскольку фундаментом этой теории является мысль о сходстве между некоторыми приемами реалистических и модернистских писателей XX века, посмотрим, действительно ли отдельные формальные совпадения позволяют сделать вывод о якобы наметившейся в настоящее время тенденции к «сближению методов».

■

А. Роб-Грийе во многих своих статьях, и в частности в работе «Путь будущего романа», доказывает, что *герой, характер* исчезают в современной литературе.

«Сколько читателей помнят еще имена рассказчиков в «Тошноте» (Сартр) или «Чужом» (Камю)? Разве они — человеческие типы? Не абсурдно ли рассматривать эти книги как исследование характеров? А «Путешествие на край ночи» (Селин)? Есть ли в этой книге герой?» — риторически вопрошает Роб-Грийе и заключает свои рассуждения выводом: «Роман героев принадлежит прошлому».

Те же мысли высказывают и Н. Саррот в своем эссе «Эра подозрений», и Г. Блёкер в книге «Новая действительность», и Г. Цельтнер-Нойком (Швейцария) в работе «Смелая попытка новейшего французского романа», и Р. Альберес в «Литературном итоге XX столетия», и В. Вайдле в сборнике статей под общим названием «Пчелы Аристея» (одна из них так и озаглавлена — «Распад персонажа»), и многие другие пропагандисты и историки модернизма.

Но важны даже не столько теоретические высказывания критиков, сколько художественная практика писателей.

М. Пруст в романе «В поисках утраченного времени» до такой степени детализирует описание внешних и внутренних признаков действующих лиц, что они становятся чем-то самоцельным, а ощущение единства характера утрачивается; «личность» выглядит как некое случайное и нестойкое объединение мимолетных импульсов, не обусловленных ничем, кроме самопроизвольных реакций человеческой памяти.

Не живыми людьми, а лишь некими абстрактными принципами, скрещениями, «эманациями универсального» являются и герои романа Дж. Джойса «Улисс». В затуманенном алкоголем мозгу Стивена Дедалуса Блум превращается в Штума, сам Стивен — в Бливена. Глядя одновременно в зеркало, они видят не себя, а... Шекспира. У Блума в романе вообще множество имен. Его настоящая фамилия — Вираг; его псевдоним писателя, а также получателя любовной корреспонденции — Генри Флувер; кроме того — он профессор Люитпольд Блюмендуфт, О'Блум и собственный (воображаемый) брат Генри и т. д.

«Такая множественность «я»,— пишет в книге «Джеймс Джойс» западногерманский литературовед В. Роте,— не что иное, как атака на застывшее понятие индивидуума».

Еще радикальнее индивидуум «атакуется» в книге Джойса «Пробуждение Финнегана». Финнеган—герой увертюры романа — это Тим Финнеган ирландской народной баллады и старого водевиля, но сверх того еще Тим Маккул, великан и предводитель ирландских воинов архаической эпохи, Адам, Ной, Вотан, Тор, Прометей, Дионисий, Кришна, Будда, Озирис, Христос, св. Пат-

рик, Кромвель, адмирал Нельсон. Горбатый дублинский трактирщик Эрвикер прямо именуется «средним гражданином» и в дальнейшем просто фигурирует под инициалами HCE (Here Comes Everybody). Его жена Анна Ливия Плюрабелл — Деметра, Ева, Изида, Изольда, река Лиффи, облако...

Примеры подобного рода можно бы множить до бесконечности. Но мы ограничимся тем, что прибавим к этому перечню еще только одного писателя — самого Роб-Грийе. Он идет дальше всех своих предшественников, ибо стремится вообще изгнать человека из литературы и ограничить ее задачи изображением предметов, вещей, как они есть — поверхностей, линий, граней, пространств, мертвых и холодных, лишенных жизни и глубины, сведенных к пяти-шести простейшим геометрическим фигурам.

Когда же обойтись без присутствия человека невозможно, Роб-Грийе и его подает как вещь: не Франк и А., развалившиеся в шезлонгах, а *параллельно лежащие* руки; не шеи, а *воротники* («Ревность»). Главный герой этого романа — плантатор, муж А., наблюдающий за развитием ее отношений с Франком; от его имени и ведется повествование. Однако единственный надежный признак плантатора — это абсолютное, можно бы даже сказать, «насильственное» отсутствие. На столе три стакана. Один А. дает Франку, другой берет себе. Третий, нетронутый, как бы лишний стакан — и есть свидетельство присутствия обманутого мужа.

Французский критик Б. Моррисет попытался из таких «вещных отражений» реконструировать личность рассказчика, его ревность, его комплекс неполноценности. Но это лишь безуспешная попытка приспособить роман к нормальной литературной традиции. Немецкий литературовед Г. Гарлас прав, говоря, что Роб-Грийе «отрывает аффекты эротики и ревности от их носителя». Чувства перестают быть принадлежностью человека, становятся вещью среди вещей, безличной, равнодушной, ни на что не указывающей, кроме как на самое себя.

Естественно, что все это не могло не наложить отпечатка на оформление сюжета в литературе модернизма — он стал превращаться в символическую параболу.

В «Улиссе» Джойса блуждания Блума по Дублину 1904 года не только соотнесены со странствиями гомеровского Одиссея, но, так сказать, сведены к ним. Предысторическое, архаическое, варварское всплывает на поверхность, затопляет Дублин двадцатого столетия, превращает его улицы в легендарные сдвигающиеся скалы (Симплегады), его кладбище — в царство Гадеса, его морское побережье — во владения Протея, а трактир Барни Кернана — в пещеру циклопа Полифема. Время останавливается, история сливается с мифом, понятие прогресса исчезает. День 16 июня 1904 года — это, по выражению австрийского модерниста Броха,— «всемирно-всеобщий день эпохи».

Параболичными, метафорическими являются и сюжеты романов Кафки.

Абсурдная история ареста, преследования и казни банковского прокуриста Иосифа К. таинственным, неофициальным, но тем не менее всемогущим судом («Процесс»), отчаянная и безуспешная попытка землемера К. войти в графский замок («Замок») — все это, в сущности, философские параболы о неизбывности человеческого одиночества, абсолютного трагизма существования.

Конечно, такие представления о жизни навеяны Кафке окружающей действительностью, писатель своеобразно претворял черты жизни «маленького человека» под гнетом бюрократической машины прогнившей австро-венгерской монархии — но художественное отражение жизненных явлений смещено, сдвинуто с фундамента земной реальности, и потому развитие действия романов подчинено не логике жизни, а субъективному произволу автора.

Известно, что Кафка не завершил ни одного из трех своих крупных произведений. После его смерти остались разрозненные наброски, непронумерованные и часто лишенные названий главы. Друг и душеприказчик Кафки Макс Брод по своему разумению скомпоновал их, признаваясь, что не уверен, соответствует ли такая компоновка замыслу автора. В самом деле, многие главы «Процесса» или «Замка» можно поменять местами, ничего не нарушив в целом.

Нечто подобное мыслимо и по отношению к «Улиссу», невзирая на формальную стройность, даже симметричность романа (18 глав в целом, 18 эпизодов в главе, описывающей улицы Дублина, и т. д.). Английский комментатор «Улисса» С. Джильберт потратил немало энергии, дабы истолко-

---

Д. ЗАТОНСКИЙ

О ВНЕШНЕМ СХОДСТВЕ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЯХ

вать закономерности построения романа: кроме следования канве «Одиссеи», он обнаружил следы музыкальной композиции, правила цветовой гаммы, соответствия частям человеческого тела. Но все это — структурные принципы, привнесенные извне. Они не только чужды материалу книги; в них есть уже и что-то кабалистическое, астрологическое; сам Джойс уверял, например, что форма внутреннего монолога Марион возникла под впечатлением просмотра фильма о строении вселенной.

Логика характера и логика сюжета — органический композиционный принцип в искусстве. Их исчезновение неизбежно ведет к распаду произведения.

В романе С. Беккета «Моллой» герой, по имени которого и названа книга, сидит в комнате матери и пишет мемуары, изображающие путь, который он проделал ради того, чтобы увидеться с матерью. Сначала, несмотря на негнущуюся ногу, он едет на велосипеде. А когда окостенела и вторая нога, тащится на костылях. Затем, подобно пресмыкающемуся, ползет на спине или на животе, цепляясь костылями за нижние ветви деревьев. В конце концов Моллой обессилел и остался лежать в грязи. Неизвестно, как он попал в комнату матери: вероятно, кто-то помог ему. Но все безумные усилия были бессмысленны, ибо мать успела уже умереть.

Во второй части романа некто Моран, мелкий агент, по поручению неизвестной организации отправляется преследовать Моллоя. Он тоже едет на велосипеде. С этого момента и вся его упорядоченная мещанская жизнь, и само его тело начинают чудесным образом распадаться: сын, дотоле примерный и послушный, выходит из повиновения, бросает отца; конечности Морана костенеют и т. д. В результате долгих блужданий он оказывается в исходной точке — у стены своего теперь разрушенного дома. Здесь он и начинает писать воспоминания о своем путешествии.

Как видим, и тут есть своя «симметрия» (может быть, вообще Моран — это Моллой до того, как его стали звать Моллоем?). Но если это закономерность, то только закономерность хаоса, абсурда, вселенского беззакония.

«Медленный распад Моллоя и Морана,— признает Морис Надо,— осуществляется с помощью монолога, который разрушает сам себя и имеет тенденцию к отрицанию произведения, к антипроизведению».

«Тенденцию к антипроизведению», то есть к разрушению всех литературных категорий, к кричащему обнажению условности не только приемов и способов изображения, но и самого изображаемого материала, обнаруживает и современная модернистская драматургия.

Посреди сцены, представляющей собой луг с намалеванными на заднике коровами, стоит старый паровоз. Машинист и кочегар имитируют колоссальную скорость: они мчатся в «город надежды» Буффало, спасаясь от какой-то дамы по имени Фрегат, которая командовала ими на море. Рядом с паровозом сидит художник Котшенройтер, всматриваясь в сельский пейзаж, пишет... фрегаты. Удивленному этим пастуху Акселю он объясняет:

«Корова, корабль, профессор, одуванчик. Все это обман, психический комплекс. Если ты свою корову назовешь кораблем, думаешь, это ее хоть немного расстроит?

Аксель. Может, вы и правы. Но мои глаза? Я смотрю и вижу: там — корову, здесь — корабль.

Котшенройтер. В этом-то и ошибка. Ты рассматриваешь вещи сквозь призму интеллекта. Оставайся простым, начинай с самого начала. Сначала был корабль. Из него потом развилась корова, а из коровы — шахматы, затем построили пирамиды, позднее появилась журналистика, а вместе с ней — железная дорога».

Между тем люди на паровозе мчатся в Буффало. Иногда они останавливаются, чтобы набрать навоза для топки. При этом кочегар дважды беседует с художником, но во второй раз они не узнают друг друга: ведь паровоз за это время прошел много километров...

Вдруг еще одна остановка: на рельсах лежит Фрегат, курит сразу три сигары и свистит в боцманскую дудку. Она учиняет разнос своей беглой команде и усаживается вместе с ней в воображаемую шлюпку, чтобы гарпунировать мелвилловского Моби-Дика. В паровоз забирается пастух. Паровоз неожиданно трогается с места и увозит пастуха в Буффало.

Таковы основные «события» одноактного фарса Гюнтера Грасса «Десять минут до Буффало». Здесь — все наоборот: естественное превращается в бессмыслицу, а невероятное становится истинным. Художник, наблюдая коров, писал парусники и оказался прав, ибо паровоз стал фрегатом. Машинист и кочегар вопреки всем своим

усилиям не могут попасть в Буффало, а пастух, и не помышляя об этом, уезжает туда. Здесь — все нарушено, идентичность личности, объективность места и времени, даже последовательность условных форм: вслед за *воображаемыми* лодками, *воображаемым* бегом паровоза зрителю показывают его *действительное* движение.

Что же все это значит? Да ничего не значит! Это, поясняет западногерманский драматург и теоретик «театра абсурда» В. Хильдесхеймер,— просто «...крошечная моментальная фотография, маленькое дьявольское беспокойство — свидетельство нестабильности мира».

Таким образом, современные модернисты разрушают сюжет, объявляют «устаревшим» понятие характера, отрицают объективность категории времени, атомизируют человеческое сознание, лишая его как признаков конкретно-исторического, так и индивидуального; они, наконец, изгоняют человека из произведения искусства, заменяют писательский взгляд на мир «абсолютно объективным», «неорганическим» взглядом, который не различает в вещах ничего, кроме их присутствия.

■

В произведениях многих и разных писателей-реалистов современного Запада можно найти искусственное нарушение правды характера, условность в мотивировке поведения героя.

Разве не условен по-своему образ Ганса Касторпа в «Волшебной горе» Т. Манна — очень среднего, очень посредственного юного инженера, неожиданно ставшего глубоким мыслителем в «герметической» атмосфере Давоса? Вполне ли жизненно правдоподобно финальное саморазоблачение и самобичевание Адриана Леверкюна в «Докторе Фаустусе» того же Т. Манна? Не откровенно ли символичен в своей мистической «адекватности» Гитлеру ясновидящий Оскар в «Братьях Лаутензак» Л. Фейхтвангера? То же можно сказать и о баронессе фон Уффендорф в «Немецкой новелле» Л. Франка и т. д.

Откровенно «расщеплен» характер китайской девушки Шен-Те, проходящей рука об руку со своим вымышленным злым родственником Шуи-Та через пьесу Б. Брехта «Добрый человек из Сезуана». «Расщеплены» и центральные персонажи брехтовских пьес «Солдат есть солдат», «Господин Пунтила и его слуга Матти» и т. д.

Еще в начале столетия Г. Уэллс, посвящавший свои книги актуальным проблемам современности, охотно прибегал к посредству научно-фантастической, а то и просто сказочной фабулы. Сходным путем шли и А. Франс в «Острове пингвинов», «Харчевне королевы Педок», «На белом камне» и К. Чапек в «Фабрике абсолюта», «Кракатите», «Войне с саламандрами». Произведения такого типа нередки и в наши дни: «Волчья шкура» Г. Леберта, «31 июня» Дж. Б. Пристли и др.

Часто встречаются и другого рода нарушения правдоподобия в сюжете. Весьма распространен сюжет «притчевый», то есть такой, который построен с неприкрыто дидактической целью и не столько выражает, сколько *символизирует* действительность.

«Притчевым», например, является сюжет «Волшебной горы» с его «упрощением» общества предвоенной Европы до границ космополитического кружка, собранного на террасах санатория «Берггоф», с его четко расставленными по обе стороны от Касторна фигурами антагонистов Сеттембрини и Нафты, с его воплощающими «мужское» и «женское» начала образами мингера Пеперкорна и мадам Шоша. Не трудно обнаружить «притчевое» зерно в таких книгах, как «Суть дела», «Наш человек в Гаване» Г. Грина, и «Спор об унтере Грише» А. Цвейга, и «Дело Маурициуса» Я. Вассермана.

Иногда «притчевый» характер сюжета особенно заметен потому, что автор использует мотив одной из библейских или евангельских легенд. Так, в романе А. Моравиа «Чочара» не случайно вспоминается притча о Лазаре, смысл которой в том, что, лишь пройдя через смерть (то есть — в интерпретации Моравиа — испив до дна чашу страдания, горя, озверения), человек может возродиться к новой жизни. Прямой аналогией к этой евангельской притче является судьба девушки Розетты: изнасилованная в церкви солдатами, она становится гулящей девкой, погрязшей в разврате, себялюбии, равнодушии, но в конце концов начинает пробуждаться, обретать самое себя. И Моравиа не только не скрывает этих аналогий, а наоборот,— решительно их подчеркивает. Студент Микеле читает главной героине Чезире и ее дочери Розетте притчу о Лазаре, и в по-

---

следних строках романа Чезира подводит итог своим злоключениям, опираясь на эту притчу:

«...Было время, когда мы обе, и я и Розетта, умерли для любви, которая нужна и другим и нам самим. Но в последнюю минуту горе наше воскресило нас, вот почему эта притча о Лазаре в какой-то мере подходила к нам».

Эти-то особенности критического реализма XX века зарубежное литературоведение и склонно иногда рассматривать в одном ряду с модернистским отказом от характера, сюжета, от жизненной правды в целом.

Мы уже говорили о том, что буржуазные критики разных толков, видят ли они в «крайних» модернистах более смелых и последовательных выразителей «духа времени» или только самоотверженных экспериментаторов, удобривших почву для корифеев XX века (например, Г. Стайн в этом смысле объявляется «предтечей» Хемингуэя), любят рассуждать о «слиянии» модернизма и реализма. Г. Блёккер подает в «едином потоке» Дж. Джойса и У. Фолкнера, Дж. Г. Лоуренса и Э. Хемингуэя, Э. Паунда и Ф. Г. Лорку, Ф. Кафку и Т. Манна; В. Гренцман — автор исследования «Мировая литература современности»— П. Клоделя и Ф. Мориака, Т. С. Элиота и Г. Грина. Американский профессор К. Бекер в своей работе о Хемингуэе называет писателя символистом, а критик Каролина Гордон в статье «Заметки о Хемингуэе и Кафке» твердит о близости этих двух художников; Дж. Гибиан ищет общее у Чапека и у Кафки, а Р. Гайслер полагает, будто вражда Ионеско к Брехту — не что иное, как результат соперничества, проявление своеобразной «любви-ненависти» к брату-близнецу и т. д. и т. п.

Однако, если заглянуть несколько глубже непосредственной видимости формы и постараться — вместо простой регистрации совпадения технических приемов — осмыслить в целом художественный образ, создаваемый тем или иным писателем, то картина получается совсем иная: внешнее сходство обернется принципиальными различиями.

Когда в пьесе Б. Брехта «Солдат есть солдат» мягкий и робкий ирландец Гали Гай, в противоречии со всякой логикой, верит, будто он продал трактирщице не грубое сооружение из палок и тряпок, а настоящего слоненка, и, запуганный обвинениями в разбазаривании военного имущества, позволяет за несколько минут «перемонтировать» себя в кровожадного солдата британской колониальной армии, то это не имеет ничего общего со «вселенским неразумием» фарсов Э. Ионеско или Г. Грасса. Брехт заостряет до степени гротеска реальные отношения капиталистического мира: клеймит воистину беспредельное легковерие мещанина, разоблачает сущность превращения безобидного и сентиментального Михеля в «человеческую боевую машину». Драматург нисколько не скрывает адреса своей сатиры. В примечаниях к пьесе, написанных в 1936 году, он указывает, что действие можно перенести из Индии в Германию, вместо английских солдат подставить штурмовиков и т. д.

В комедии «Господин Пунтила и его слуга Матти» Брехт выводит на сцену помещика, который добр и демократичен в пьяном виде и жесток, груб, эгоистичен — в трезвом. Но и это — не раздвоенный человек модернистов («амбивалентный», пользуясь излюбленной терминологией фрейдизма). Пунтила олицетворяет не бессилие «разорванного сознания», а нечто совершенно противоположное. Брехт демонстрирует здесь разрыв между видимостью и сущностью и наглядно показывает, что об эксплуататоре следует судить не по словам его, а по делам.

Но сторонники «сглаживания противоречий» между модернизмом и реализмом либо предпочитают не замечать вовсе этих четких политических выводов в творчестве Брехта, либо стремятся даже их истолковать в духе своих реакционных теорий. Западногерманский историк литературы Ф. Клоц пишет в своей книге о Брехте, что в лучших пьесах этого драматурга «...социологическое может рассматриваться как представитель лежащих глубже первооснов отношения человека и мира». Так под пером Ф. Клоца Брехт превращается в типичного модерниста.

В явном противоречии с истиной находится Г. Цельтнер-Нойком, заявляя в своей книге «Смелая попытка новейшего французского романа», будто «объективиая» манера раннего Камю и «вещный реализм» Роб-Грийе — не что иное, как продолжение, развитие «репортажного стиля» Хемингуэя.

«Вечером за мной зашла Мария и спросила, не хочу ли я на ней жениться. Я ответил, что мне это все равно и мы можем это сделать, если она хочет. Тогда она захотела узнать, люблю ли я ее. Я ответил, как уже

отвечал раньше, что это ничего не значит, но что, по всей вероятности, я ее не люблю. «Зачем же тогда на мне жениться?» — сказала она. Я объяснил ей, что это не имеет никакого значения и что мы можем пожениться, если она того пожелает. И вообще-то вопрос ведь задала она, а я только ответил «да». Она сказала тогда, что брак — это нечто значительное. Я ответил: «Нет». Она некоторое время молчала и внимательно смотрела на меня».

Это отрывок из романа А. Камю «Чужой», отрывок, изображающий объяснение между главным героем книги, мелким служащим французской фирмы в Алжире Мерсо, и его любовницей Марией Кордона.

А вот отрывок из «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя, рисующий начальную стадию отношений между Фрэнком Генри и Кэтрин Баркли:

«Я повернул ее к себе, так что мне видно было ее лицо, когда я целовал ее, и я увидел, что ее глаза закрыты. Я поцеловал ее закрытые глаза. Я решил, что она, должно быть, слегка помешанная. Но не все ли равно? Я не думал о том, чем это может кончиться. Это было лучше, чем каждый вечер ходить в офицерский публичный дом, где девицы виснут у вас на шее и в знак своего расположения, в промежутках между путешествиями наверх с другими офицерами, надевают ваше кепи задом наперед. Я знал, что не люблю Кэтрин Баркли, и не собирался ее любить. Это была игра, как бридж, только вместо карт были слова. Как в бридже, нужно было делать вид, что играешь на деньги или еще на что-нибудь. О том, на что шла игра, не было сказано ни слова. Но мне было все равно».

В этих двух отрывках сходны как будто и ситуации и сама манера подачи материала — скупая, сдержанная, немногословная, именно вроде бы «репортажная».

Однако попробуем внимательно присмотреться к тому, о чем повествует каждый из этих писателей.

Мерсо не любит Марию. Не потому, что это Мария, а потому, что любовь — выдумка, химера, потому, что люди разобщены, что никакая близость, никакое взаимопонимание между ними, по мнению раннего Камю, невозможны. Его герой не бравирует, не кокетничает своим цинизмом, как то делал, скажем, Бардамю в «Путешествии на край ночи» Селина; он ничего не утаивает, не скрывает, не наступает на горло своим чувствам. Равнодушие, безразличие к себе и всему окружающему — основное свойство его натуры. Оттого так скупа, протокольна, нейтральна и форма его рассказа.

Лейтенант Генри — отнюдь не бесчувствен; это человек глубоко травмированный жестоким временем, опаленный дыханием войны. Он укрылся за панцирем равнодушия, за щитом цинизма. Жизнь безжалостно обманула его, добровольно ступившего под итальянские знамена. Он пришел сюда защищать демократию, а стал лишь жалкой пешкой в чьей-то корыстной и нечистой игре. И он ничему уже не хочет верить — ни чужим посулам, ни даже своим собственным порывам. Остаться одиноким, ничем не связывать себя! — вот то жизненное кредо, которое Фрэнк настойчиво стремится реализовать. Поэтому, как и Мерсо, он рассказывает о себе незаинтересованно, спокойно, холодно.

Но это лишь половина правды. В глубине души герой Хемингуэя хранит нерастраченные человеческие чувства, скрывает тоску, страдание, надлом, но и горячую жажду любви, счастья, солидарности с людьми и миром, самоотверженной готовности прийти на помощь. В повествовании все это вытеснено в подтекст. Но не заметить этого подтекста — значит ничего не понять в стиле Хемингуэя.

«...Я увидел, что ее глаза закрыты. Я поцеловал ее закрытые глаза» — какая трагическая нежность таится в этих, внешне лишь констатирующих совсем незначительный факт словах. Дважды в процитированном отрывке сказано, что Фрэнку «все равно», и один раз, что он «не думал о том, чем это может кончиться», не потому ли, что ему вовсе не все равно и что он неотступно, с тревогой думает о будущем их так банально начинающегося романа? И не только думает, а и тщится убедить себя, будто ничего и не случится. Фрэнк намеренно хочет оскорбить, унизить в своих мыслях Кэтрин, чтобы освободиться от «наваждения» любви: все это, дескать, лишь «игра, как бридж»... И в то же время он знает, твердо, мучительно знает, что она — «слегка помешанная», то есть не такая, как все, что она способна любить и заставить любить себя.

И вот интрижка лейтенанта и медицин-

ской сестры превращается в большую любовь.

Разумеется, полностью подтекст разобранного отрывка может быть восстановлен лишь, так сказать, ретроспективно: благодаря знанию дальнейшего хода и конца всей истории. Но важно, что этот подтекст существует. Он делает образ Фрэнка не только глубоким, но и человечным. Образ Мерсо плосок, как переводная картинка. Дочитав последнюю страницу «Чужого», мы убеждаемся, что в нем нет ничего, кроме того, что лежит на поверхности, что он сам говорит о себе в любом другом эпизоде романа. Мерсо — персонаж целиком дегуманизированный. Его «сущность» — отсутствие сущности. Формой выражения этого «ничего» и является «объективный» стиль Камю.

Значит, если не довольствоваться сопоставлениями из области «чистой» стилистики, а обратиться к образному строю произведений, то отсутствие какого бы то ни было «сближения» между модернизмом и реализмом не вызывает сомнений.

В докладе, прочитанном в 1939 году перед студентами Принстонского университета, Т. Манн так объяснял образ Ганса Касторпа и связанную с ним композиционную структуру романа «Волшебная гора» в целом: «... Оказавшись наглухо изолированным в лихорадочной атмосфере Волшебной горы, это несложное по своему составу вещество претерпевает активизацию, и теперь Ганс Касторп способен на моральные, духовные и чувственные похождения, какие ему и во сне не снились в том, другом мире, который обитатели Волшебной горы с неизменной иронией называют «равниной». История Касторпа — это история активизации человеческой личности, ее взлета, но это в то же время и активизация в самой себе, активизация самого рассказа, самого повествования».

Крах буржуазного гуманизма побуждает многих западных художников снова и снова возвращаться к вопросу о том, что́ есть человек, хороший он или плохой, добр или зол, достоин счастья или заслуживает осуждения: ведь слишком многое изменилось с тех пор, как Руссо написал «Общественный договор», Гельвеций — «Об уме», Гольбах — «Систему природы».

К числу таких художников принадлежит и Т. Манн. Поэтому человек, как таковой, нередко является для него альфой и омегой художественного исследования, а повествование в основе своей абстрагируется, «упрощается» до «притчи». Но человек у Т. Манна (в отличие от модернистов) в действительности не отторгается от общества; он — «в экспериментальных целях» — лишь как бы на время переносится в «наглухо изолированную» обстановку. Случайные, ненадежные связи, по мысли писателя, рвутся, основные же, «активизируясь», «отчуждаясь», становятся более видимыми, рельефными. Противоречия антагонистического буржуазного общества сгущаются, материализуются в немногих реалистических и, одновременно, символических фигурах Сеттембрини, Нафта, Пеппер-корна, мадам Шоша, гофрата Барнса, доктора Краковского. Жизненная борьба предстает перед читателем в форме борьбы идей. Несомненно, роман утрачивает при этом одно из своих важнейших завоеваний — он «деэпизируется», но ни в коем случае не «дереализуется».

Притча о Лазаре — это тот узел, который собирает в себе композиционные нити «Чочары» Моравиа, но сами нити идут от жизни: роман представляет собой страстный гуманистический протест против чуждой итальянскому народу войны, в которой его заставили участвовать Гитлер и Муссолини, изображает прозрение простых итальянцев, прошедших круги фашистского ада, пробуждение духовных сил в итальянском народе.

В журнале «Новый мир» (№ 1, 1963 г.) напечатана статья Ю. Манна «Художественная условность и время». Автор статьи отмечает, что одной из черт «современного стиля» является тяга к условности поэтического выражения. Иллюстрируя свою мысль примерами из творчества таких разных писателей, как Б. Брехт, Ж. Ануй, Т. Лампедуза, К. Симонов, А. Арбузов и др., критик утверждает, что все эти художники были движимы желанием предельно обобщить свои жизненные наблюдения.

«...Крайности сходятся,— пишет далее Ю. Манн.— В утверждении, что мир — это игралище слепых, темных, разрозненных сил, пожалуй, не меньше обобщения, чем в идее исторического единства и прогресса, только последнее оставляет огромное поле неизвестного и подлежащего исследованию, первое же просто воздвигает перед нашим взором непроницаемую стену. В пронизанных болью и отчаянием фантасмагорических видениях Кафки в известном смысле не меньше гротескного обобщения, чем в

апеллирующей к разуму и идее общественного прогресса драматургии Брехта».

Таким образом, указав на противоположность идейных позиций Брехта и Кафки, Ю. Манн не заметил у них существенных различий в подходе к искусству: оба, дескать, «обобщают». Однако писатель-реалист обобщает совершенно иначе, нежели модернист.

Реализм всегда стремился к *типизации*, то есть к созданию образа, который вбирал бы в себя главные, наиболее показательные черты изображаемого явления. Такой типический образ может индивидуализировать явление, подавать его в форме, непосредственно присущей ему в жизни; он может подавать его и абстрагированно, отвлеченно, даже откровенно условно. Но и в этом последнем случае сохраняется тесная связь между изображением и изображаемым, причем связь диалектическая, а не случайная, поверхностная или формально-логическая. Реалистическое обобщение конкретно и правдиво; оно не отрывается от действительности, не фальсифицирует ее и не фетишизирует ее отдельно взятых сторон.

Именно так обобщает Брехт. И дело не только в том, что он «апеллирует к разуму и идее общественного прогресса», но и в том, *как* он это делает. Ну, а модернисты?

«Швейная машина и зонтик на столе для анатомических вскрытий,— пишет в своей «Социальной истории искусства и литературы» немецкий искусствовед А. Хаузер,— труп осла на рояле или нагое женское тело, которое можно отворить подобно комоду *, то есть все те формы упорядоченности и одновременности, в которые пытаются уложить разновременное и несогласуемое, выражают лишь желание внести — разумеется, довольно парадоксальным образом — единство и связанность в атомизированный мир, в котором мы живем. Искусство охватила настоящая мания тотальности. Кажется, будто все может выражать, кроме самого себя, еще что-то иное, может заключать в себе законы целого».

Как нам кажется, здесь довольно удачно названы некоторые причины, цели и, главное, сам *механизм* модернистского обобщения. Рассматривая мир как хаос, как беспорядочное и бессмысленное, вечно повторяющее, пародирующее само себя движение, лишенное каких бы то ни было разумных закономерностей, модернисты (чтобы иметь возможность хоть как-то описывать этот мир) вносят в него извне «закономерности», искусственно сконструированные, условные, субъективные. Так, Джойс «упорядочивает» историю двадцатого века, сводя ее к мифу об Одиссее, или стремится обрести «единство личности» с помощью учения о бессмертии души, добиться «стройности» всей картины бытия путем соотнесения ее частей с органами человеческого тела и т. д.

Любой предмет, любое понятие — от кабалистического числа до ключа от двери — может использоваться в качестве «символа жизни»; ведь этот предмет или понятие в равной мере выражает и не выражает ее смысл, скрывает и не скрывает в себе «все тайны мироздания».

В «Носороге» Э. Ионеско есть такой эпизод: профессиональный логик обучает некоего пожилого господина искусству силлогизма:

«Л о г и к. Вот образцовый силлогизм. У кошки четыре лапы. Исидор и Фрико каждый имеют по четыре лапы. Следовательно, Исидор и Фрико — кошки.

П о ж и л о й г о с п о д и н. У моей собаки тоже четыре лапы.

Л о г и к: Следовательно, она — кошка».

Подобный же ход рассуждений приводит логика к выводу, будто и Сократ — кошка. А когда выясняется, что кошку пожилого господина как раз и кличут Сократом, у этого простодушного провинциала не остается ни малейшего сомнения в правоте логика.

Драматург издевается здесь над мещанским здравым смыслом, но абсурдная логика этой сценки может служить иллюстрацией к «технике» модернистского обобщения.

Непонимание истинной сущности процессов, происходящих в мире и обществе, нередко приводит к тому, что модернистский художник ищет основное и определяющее там, где имеют место лишь поверхностные связи или случайное подобие. Тогда временное и локальное превращается в абсолютное и всеобъемлющее. Неспособность к диалектическому мышлению (а только оно одно дает возможность постичь историю в ее конкретном и одновременно всеобщем значении, то есть в самый момент ее движения, изменения) побуждает писателей-

* Эти примеры взяты из произведений П. Валери, А. Мишо и др.

модернистов закрепиться на каких-то постоянных, неподвижных рубежах, обрести «архимедову точку», с которой легче обозреть мир.

Но обрести эту точку, по мнению модернистов, можно, лишь докопавшись до того, с чего все начинается, до «фундамента», хронологического или конструктивного — безразлично.

«Чем дальше уходит наша эпоха от жизненных первооснов,— пишет Г. Блёккер,— тем решительнее стремится искусство и поэзия возвратиться к ним. Тяга к исходным моделям, прообразам, к неизменному, что покоится в глубинах, раскрывает насущную потребность, которую в состоянии удовлетворить только художник».

А ведь это то же самое, что делает — только выражаясь не на варварски-мифическом, а на самом банальном, обиходном языке — логик у Ионеско, то есть попытка отыскать *простейшую схему бытия*.

«У кошки четыре лапы». Теперь возьмем все, что тоже имеет четыре лапы, и приравняем к кошке; так сказать, *обобщим* на основе предельного упрощения.

Что является в равной мере характерным для *всех* людей, для человека вообще? Конечно, таких признаков много: и разум, и использование орудий труда, и общественный способ жизни, и т. д. и т. п. Но поскольку модернизму свойственно стремиться к первоосновам и не заботиться о том, действительно ли они определяют человеческое в человеке, то он сосредоточивается на биологическом «ядре» нашей натуры и «обобщает» человека до зверя.

Поставить все «в зависимость друг от друга», принудить «выражать, кроме самого себя, еще что-то иное», замкнуть «в себе законы целого» — значит *уравнять*, *унифицировать* многообразие действительности, свести его к «четырем лапам», то есть простейшему, неизменному, статичному, а потому лежащему вне пределов исторической реальности.

Модернистский способ обобщения следовало бы назвать «универсалистским». И этот «универсализм» не имеет ничего общего с реалистической типизацией.

Для модернизма не только мир социальный, но и чувственный мир вообще — лишь неизбежный исходный пункт реакции, целью которой в конечном счете является *дереализация* действительности.

Ф. Кафка записал 21 октября 1921 года в свой дневник:

«Все — фантазия, семья, служба, друзья, улица, все — фантазия, более ясная или бледная, все, даже жена; голая правда состоит, однако, в том, что ты бьешься головой о стену глухой тюремной камеры».

Если Брехт дает изображение абсурдности буржуазной жизни, то Кафка, «универсализируя» картину, обессмысливает бытие в целом. В первом случае перед нами социальная критика капитализма, во втором — представление о бессмысленности этой критики, ибо, если жизнь вообще абсурдна, то ни от одного из ее проявлений нечего ждать разумности и справедливости.

Итак, крайности все-таки не сходятся!

■

Опровергая теорию «интеграции», мы преимущественно оперировали примерами из творчества художников критического реализма. Именно у них буржуазное литературоведение ищет симптомы «сближения» с модернизмом. Однако критический реализм в XX веке — это уже далеко *не весь реализм*. И постичь истинную глубину пропасти, лежащей между реализмом и модернизмом, понять смысл идущей между ними борьбы невозможно, если отправляться только от достижений реализма критического.

Писатели критического реализма стремятся вернуть самому себе человека, потерянного в империалистических джунглях; но в чем-то их непосредственные художественные решения обусловлены и тем, что они воспринимают капиталистическую действительность изолированно, вне общего социально-исторического контекста эпохи. Поэтому картина жизни в целом выходит у них более обедненной, безысходной, более непонятной, чем это есть на самом деле, даже фантастичной.

В девятнадцатом веке критический реализм, будучи самым прогрессивным творческим методом эпохи, стремился к отражению целостной картины действительности; стремился он выразить и свое ясное, недвусмысленное к ней отношение. Это определило его развитие, заставило выработать средства и формы, соответствовавшие стоявшей перед ним задаче,— эпическую монументальность, синтетичность, широту раскрытия общественной сущности характера, активность авторского взгляда на мир.

В двадцатом веке социалистический реализм раскрыл свое превосходство над реализмом критическим. Капитализм утратил безраздельное господство; народные массы

выступили как решающий фактор мировой истории, возникла сначала одна социалистическая держава, а затем и могучий лагерь социалистических стран; перед человечеством открылись осязаемые перспективы построения коммунистического общества, мечта стала реальностью, настоящее зажило дыханием будущего. В этих новых условиях критический реализм уже не в состоянии охватить все противоречия, конфликты и свершения действительности; он оказался недостаточно точным инструментом для художественного исследования современного общества и — тем более — проникновения в глубины нарождающегося будущего. Критический реализм столкнулся с явлениями и проблемами, не существовавшими ранее, и потому создал соответствующие своим возможностям формы и способы их отображения. Но многое он при этом и утратил. Главная потеря современного критического реализма — это «деэпизация» романа

Эпическое начало в претворенной и диалектически обновленной форме получило новую жизнь в реализме социалистическом. Достаточно вспомнить романы Горького, «Тихий Дон» Шолохова, «Коммунистов» Арагона, «Мертвые остаются молодыми» Анны Зегерс, трилогию Пуймановой, чтобы убедиться в этом. Для всех этих книг характерно стремление к истинно бальзаковской или, вернее, толстовской широте, масштабность в изображении эпохи, в обрисовке цельных, сильных характеров. Такое наследование традиции закономерно. Оно отнюдь ие объясняется принципиальным, наперед заданным желанием художников социалистического реализма «быть традиционными».

Искусство социалистического реализма рождено эпохой революционных потрясений такого масштаба, которого раньше не знало человечество. И передовая литература — чувствительнейший сейсмограф истории — не может не отражать общественные процессы во всем их размахе. Она не только продолжатель традиций прошлого, но и прокладатель новых путей, ведущих в свободное, счастливое, гармоническое будущее.

Современный критический реализм по ряду причин — некоторые из них были рассмотрены выше — сосредоточивает внимание преимущественно на отдельно взятой личности, стремясь за счет глубокого проникновения в индивидуальную психологию выразить если не всю действительность нашего времени, то, по крайней мере, ее особый, лишь одной ей присущий ритм. При этом, однако, важнейшие, ведущие тенденции эпохи остаются нередко вне поля зрения художника. Личность утрачивает то многообразие связей с окружающей действительностью, которое, как справедливо утверждает А. Иващенко в «Заметках о современном реализме», составляет важнейшую черту современности.

Социалистический реализм показывает человека двадцатого века во всей полноте его возможностей и стремлений, во всем многообразии и диалектической сложности его социальных связей. «... Он не отделял сроков своей жизни от сроков Истории. Он любил ощущать свою жизнь как часть Истории и поэтому любил современную Историю, ту, что делается и происходит на наших глазах. Ту, что живет»,— писал Пьер Куртад об одном из героев своего романа «Красная площадь» — рабочем-коммунисте Поле Гранже. Биография героя этой книги Симона Борда и биография эпохи неразрывны. Стремясь подчеркнуть эту важнейшую идею книги, Пьер Куртад выносит в названия ее частей годы — это годы жизни Симона Борда, но и годы жизни Франции, всего мира. Но Борд не песчинка в водовороте событий, он — личность, идущая вместе с эпохой своими, сознательно выбранными путями и именно поэтому, может быть, столь типичная для нашего времени.

Социалистический реализм сочетает эпичность с лиризмом, масштабность с проникновением в тайны индивидуальной психики, и это умение, базирующееся на прочном фундаменте веры в справедливость борьбы за лучшее будущее человечества, и является одним из великих новаторских завоеваний социалистического реализма, знаменующих его бесспорное эстетическое превосходство над реализмом критическим.

Социалистический реализм — достойный наследник традиций прогрессивного искусства всех времен и народов и поэтому самый последовательный, самый смелый новатор. Метод социалистического реализма вооружает художника неограниченными возможностями правдивого изображения действительности, активного вторжения в жизнь. В этом залог его непобедимой силы. И никаким буржуазным теоретикам не удастся ни отнять ее, ни ослабить.

ПОЛЕМИКА

К. НАУМОВ

СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ГОСПОДИНА ПОДЖОЛИ

Международный жаргон современных авгуров, претендующих на роль интеллектуальной элиты, изобилует словами, к которым как нельзя лучше подходит остроумное определение Лафарга — «метафизические шлюхи». Это самые обыкновенные слова, которые человечество в простоте душевной употребляло веками, не ведая, что говорит прозой. Однако в жаргоне «счастливых избранных» этим словам придается столь абстрактное и неопределенное значение, что они, приобретая некий таинственный, понятный лишь посвященным смысл, становятся удобным средством для каких угодно подтасовок и мистификаций. «Небольшая задержка на слове, претенциозный вид при его произнесении — и дело сделано: Человек... Европа...— писал по этому поводу Луи Арагон в статье «Культура и массы».— Неизвестно более, о чем идет речь, мы перешли из мира фактов в мир проблем, а бог свидетель — ничто так не льстит интеллектуальной окраске, как проблематическое освещение».

Одной из таких «метафизических шлюх» в последние годы на Западе стал термин «отчуждение» (или «самоотчуждение»), бродящий по томам философских и социологических трудов, по страницам буржуазных журналов и даже по панелям желтых газет.

Никто не собирается отвергать это понятие как таковое. В работах Маркса и Энгельса оно имело вполне определенный социально-исторический смысл, революционно-критическое содержание, диалектическую жизнь. Органически связанное с критическим анализом противоречий буржуазной цивилизации понятие это, вопреки тому, что утверждает, например, Анри Лефевр в своей книге «Сумма и остаток», отнюдь не предано забвению и в современной марксистской литературе, а, напротив, разрабатывается на основе исторического опыта эпохи империализма. Марксистская мысль в Италии, в частности, немало сделала для раскрытия многообразных форм отчуждения в специфических условиях фашистского «корпоративного государства», а в наши дни — «неокапитализма».

Нынешние «ниспровергатели», «исправители» и «обновители» марксизма вытравили из понятия отчуждения классовое содержание, превратив его в голую абстракцию.

И всего занятнее то, что эти господа, замечающие вскользь как нечто само собой разумеющееся, что марксизм «устарел» и «превзойден», в своих рассуждениях не выходят за пределы тех самых идеалистических спекуляций столетней давности, от которых молодой Маркс не оставил камня на камне.

Подвергая уничтожающей критике философию младогегельянца Макса Штирнера, одного из первых идеологов анархизма, Маркс и Энгельс приводят в «Немецкой идеологии» блистательные образцы логики автора «Единственного и его собственности»:

«Я— не народ.

Народ = Не-Я.

Я = Не-народ.

Итак, Я — отрицание народа, народ уничтожен во Мне.

Второе уравнение может быть выражено и с помощью такого побочного уравнения:

Народное Я не существует.

Или:

Я народа есть отрицание моего Я».

Резюмируя содержание (вернее, бессодержательность) подобных построений Штирнера, для которых ему достаточно знать, что я и народ — это «совершенно различные названия для совершенно различных вещей», Маркс и Энгельс замечают: «Вместо задачи — изобразить действительных индивидов в их действительном отчуждении и в эмпирических условиях этого отчуждения,— мы имеем здесь дело все с тем же приемом: вместо развития всех чисто эмпирических отношений подставляется пустая мысль «об отчуждении...»

Несокрушимая логика «святого Макса» и ныне находит самое широкое применение в буржуазной философии, социологии, эстетике. Его универсальный метод позволяет достичь самых удивительных результатов наиболее экономным, чисто умозрительным путем. Возьмем, к примеру, проблему «художник и народ» и будем исходить из аксиоматически ясного положения:

Художник — не народ.

Получаем систему уравнений, аналогичную той, которая составляла собственность «единственного»:

Художник = не народ.

Народ = не художник.

Художник = Не-народ.

Отсюда следует, что художник неизбежно враждебен народу, а искусство по природе своей антинародно.

А вот и обратное положение:

Народ враждебен художнику.

Или:

Народ = отрицание искусства.

До чего легко и просто!

Именно эта методология, по существу, и лежит в основе статьи Ренато Поджоли «Авангардное искусство и отчуждение», опубликованной в одном из последних номеров итальянского журнала «Темпо презенте».

■

«Свобода — вещь очень приятная. Но либерализм понимает свободу очень узким, чисто формальным образом,— писал сто лет назад Н. Г. Чернышевский.— Она для него состоит в отвлеченном праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть материальные средства пользоваться этим разрешением. Ни мне, ни вам, читатель, не запрещено обедать на золотом сервизе; к сожалению, ни у вас, ни у меня нет и, вероятно, никогда не будет средств для удовлетворения этой изящной идеи; потому я откровенно говорю, что нимало не дорожу своим правом иметь золотой сервиз и готов продать это право за один рубль серебром или даже дешевле. Точно таковы для народа все те права, о которых хлопочут либералы».

В мировой литературе найдется немного страниц, которые можно сравнить с этими строками великого русского мыслителя и революционера по силе и глубине обличения издевательских буржуазных свобод и буржуазно-либеральной идеологии. Однако можно безоговорочно сказать, что история нового времени и тем более XX века не знает ни одного действительно большого писателя — от Твена до Фолкнера, от Франса до Сент-Экзюпери, от Томаса Манна до Фаллады,— который не был бы более или менее сознательным, более или менее решительным и последовательным, более или менее проницательным критиком и обличителем буржуазной псевдодемократии. Это истина, которую невозможно оспаривать. Не оспаривает ее и Ренато Поджоли. Он только софистически извращает ее. И делает это при помощи всего лишь простенького уравнения, которое тихонько подсказывает читателю:

Буржуазная демократия = буржуазия и демократия.

Казалось бы, что это дает? Оказывается, дает очень много, и как раз то, что нужно,— разумеется, господину Поджоли.

Во-первых, «буржуазия и демократия» становится у него устойчивым словосочетанием, неразделимым, как идиома. Ни буржуазии — без демократии, ни демократии — без буржуазии.

Во-вторых, художник, враждебный буржуазной демократии, по смыслу уравнения тем самым враждебен как буржуазии, так

К. НАУМОВ

СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ГОСПОДИНА ПОДЖОЛИ

и демократии. Его общественная позиция, таким образом, неизбежно выражается формулой «чума на оба ваши дома», что на философском языке Поджоли, как мы увидим далее, и именуется отчуждением.

В-третьих, критика буржуазной демократии, превратившись в критику буржуазии и демократии, приобретает то самое освещение, при котором все кошки серы. По Поджоли, нет критики слева и критики справа, есть просто критика, критика как таковая, «святая критика», как сказал бы Макс Штирнер.

Уравнение уравнивает. Уравнение Поджоли уравнивает все и вся: борьбу за новую культуру, которая по своему моральному и интеллектуальному содержанию являлась бы, по определению Антонио Грамши, «разработанным и полным выражением наиболее глубоких чаяний нации-народа на данном этапе его исторического развития», и — борьбу против такого морального и интеллектуального содержания с позиции идеолога итальянских фашистов Джованни Джентиле, провозглашавшего, что «всякая сила моральна, даже если это сила дубинки»; «Огонь» Барбюса и — шовинистический «Роман национальной энергии» Барреса; глубоко народную и гуманистическую поэзию Антонио Мачадо и — теорию «дегуманизации искусства» Ортега-и-Гасета, автора «Мятежа масс», проникнутого ненавистью к народу и ко всякому революционному действию.

«Авангардное искусство,— пишет Ренато Поджоли,— невольно воздает честь демократическому и буржуазному обществу как раз тем, что провозглашает себя антидемократическим и антибуржуазным; не отдавая себе в этом отчета, оно выражает эволюционно-прогрессивный принцип этого социального строя именно тогда, когда ищет спасения в противоположных химерах реакции и революции».

Сколько открытий, сколько развеянных предрассудков в одной этой фразе! Пресловутый «новый порядок» в Европе и «охота за ведьмами» в Америке научила вас вкладывать вполне определенное, зловещее содержание в понятие реакции? Пустое, это просто химера! Социалистическая революция победила в странах, где живет более трети человечества? Химера, химера! И революция не революция, и социализм не социализм. Совсем по Гоголю: «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что такое». Уж не писано ли все это 86 мартобря? Но оставим в покое химеры господина Поджоли и постараемся вникнуть в реальный смысл приведенной выше сентенции. Нетрудно увидеть, что в ней заключена беззастенчивая апологетика буржуазного строя. Обличение его уродств, оказывается, свидетельствует не столько об этих уродствах, сколько о том, что он позволяет себе обличать. Крик гнева и протеста означает лишь то, что гневаться и протестовать не возбраняется. Право обедать на золотом сервизе предоставляется всем и каждому. Какая эволюция по сравнению с теми временами, когда еретиков сжигали на кострах! Какой прогресс! Какая терпимость! У господина Поджоли задатки отличного адвоката. Выступая в качестве защитника по делу о вооруженном ограблении, он без труда доказал бы благородную гуманность грабителя: ведь тот мог бы не просто ограбить, а убить свою жертву, и тогда некому было бы его опознать. Впрочем, по мнению Поджоли, и убийство еще не самое страшное: «Появление историко-психологического типа художника-авангардиста,— продолжает он,— есть типическое явление нашей социальной системы, совершенно немыслимое за пределами нашего строя. И если даже признать, что этот строй обрекает его на смерть, то всякий другой не дал бы ему родиться».

В роли адвоката убийцы господин Поджоли не преминул бы заметить в оправдание своего подзащитного, что, когда тот душил свою жертву, она испытала невыразимо сильные ощущения и издала вопль, который потряс всех, до кого он донесся, и который невозможно было бы исторгнуть из ее груди ни при каких иных обстоятельствах.

Трагедию художника в буржуазном обществе, с такой силой показанную в произведениях многих выдающихся писателей от Бальзака до Томаса Манна, Поджоли хотел бы увековечить во имя увековечения буржуазного строя. «Один из мотивов,— пишет он,— по которым мы не согласимся с идеей некоторых современных художников и критиков о наступившем или предстоящем конце авангардного искусства, о его мнимом преодолении или предполагаемом исчезновении, состоит в моральном и эмоциональном отказе поверить в близкое или неизбежное крушение общества, в котором мы живем».

«Моральное и эмоциональное» неверие господина Поджоли, конечно, очень сильный аргумент против исторической законо-

мерности, но так как помимо теории существуют еще исторические факты, то с ними все-таки приходится считаться, то есть в понимании нашего мыслителя освещать их «совсем наоборот». Мы были бы просто удивлены, если бы господин Поджоли не принялся при сем удобном случае разглагольствовать о том, что в социалистическом обществе нет места свободному, «нонконформистскому» искусству, что «художник является там скорее чиновником, чем творцом», а культура — «официальным политическим продуктом, отвечающим так называемому социальному заказу», и т. д. и т. п.

«В Советской России,— пишет он,— формула «социалистический реализм» — не только идеологическая догма, которая определяет содержание искусства, но и стилистический канон как в живописи, так и в литературе, и всякий отход от официального стиля рассматривается там не только как эстетическая ересь, но и как политический уклон».

Трудно спорить с господами Поджоли. Они читают советских писателей и негодуют: никакой антисоветчины. Конформизм! Подчинение идеологической догме! Бюрократизация культуры! В этом вся психология трусливого либерала — ему и в голову не приходит, что общность идейного содержания в произведениях очень разных и с точки зрения проблематики, и с точки зрения художественной формы может объясняться куда более глубокими причинами, чем виды начальства, изложенные в соответствующем циркуляре.

Трудно спорить с господами Поджоли. Они читают Шолохова и Солженицына, Твардовского и Слуцкого, Гроссмана и Казакевича, Тендрякова и Бондарева и тянут свое: единый стилистический канон, нивелировка, официальный стиль... А впрочем, скорее всего ничего они не читают. Они невежественны и нелюбопытны. Им бы только проявить свой «прогрессивный» образ мыслей. С дозволения начальства, конечно...

Но Ренато Поджоли не чета иным-прочим. Он лишь изредка поддается «моральным и эмоциональным» побуждениям, а вообще-то мыслит с математической строгостью, и развитие его мысли сводится к пяти-шести последовательным уравнениям.

На почве буржуазного общества рождались и произведения большого искусства. Следовательно:

Буржуазное общество = родина большого искусства.

Родина большого искусства = буржуазное общество.

Не буржуазное общество = не родина большого искусства.

Не буржуазное общество = чужбина для большого искусства.

Социалистическое общество = родина убогого искусства.

Разве не убедительно?

Корень зла Ренато Поджоли видит в том, что в социалистическом обществе уничтожено отчуждение, и тут мы начинаем лучше понимать, как выглядит в его объятиях эта «метафизическая шлюха».

Поджоли рассматривает отчуждение в различных планах — социально-психологическом, экономическом, эстетическом, но всегда в одном и том же духе — как объективную противоположность и осознанную враждебность авангардного искусства, с одной стороны, официальной, охранительной культуре, а с другой — культуре народной. Однако занимает его главным образом эта вторая сторона. Заметив между прочим, что «подлинное искусство буржуазного общества не может не быть антибуржуазным» и засвидетельствовав таким образом свой радикализм, он затем изо всех сил старается доказать, что подлинное искусство не может не быть антинародным.

Неукоснительно следуя своему излюбленному и, как мы видели, проверенному методу, то есть решительно абстрагируясь от неподатливого историко-культурного материала, который рискует нарушить стройность и изящную простоту его концепции, Поджоли титаническим усилием творческой воли выдвигает основополагающий тезис и развивает его со свойственной ему логикой. Этот тезис гласит, что в современном обществе коренным образом изменилось само понятие народа, «которое в действительности стало ныне синонимом совершенно иного понятия — массы». Но раз устарело и утратило смысл понятие народа, то тем самым утратило смысл, если не говорить о ничтожных пережитках фольклора, и понятие народной культуры. Народной культуры не существует, существует массовая культура. А что такое массовая, или пролетарская, культура (для Поджоли что массовая, что пролетарская — все едино), как не культура для масс, как не роман

для прислуги? «Единственной подлинной формой пролетарского искусства или пролетарской культуры являются культура и искусство, изготовляемые или даже заготовляемые самой буржуазией на более низком интеллектуальном уровне... Именно этой массовой культуре или пролетарскому искусству, которые являются единственными возможными в таком обществе, как наше, типами народной культуры или народного искусства, и противостоит авангардное искусство».

Итак, перед нами еще одна система уравнений:

Народ = масса.

Народная культура = массовая культура.

Массовая культура = культура для масс.

Культура для масс = буржуазная культура самого низкого пошиба.

Совершенно очевидно, что вопрос о том, может ли подлинный художник не быть враждебным буржуазной культуре самого низкого пошиба, есть вопрос риторический. Но если так, то подлинный художник не может не быть враждебным культуре для масс, следовательно, массовой культуре, следовательно, народной культуре. Что и требовалось доказать.

Так Поджоли разрешает «кажущееся противоречие, которое состоит в том, что в авангардистской психологии доминируют как аристократическая или антипролетарская, так и анархическая или антибуржуазная тенденция». Вернее, даже не разрешает, а «снимает» (отнюдь не в гегелевском смысле слова), упраздняя, объявляя несуществующим подлинно демократическое, народное начало в современном искусстве.

Иначе говоря, Поджоли выдвигает свою собственную теорию двух культур, молчаливо противопоставляемую ленинской. По этой теории, нет прогрессивной культуры и культуры реакционной (мы ведь уже знаем, что все это иллюзии, химеры), а есть лишь культура большинства, то есть буржуазная культура в ее различных модификациях — официальной и «массовой» — и культура избранного меньшинства. К этому меньшинству и принадлежит всякий подлинный художник, и потому его позиция по отношению к обществу есть позиция «круговой обороны». Если позволительно так выразиться, он воинственно беспартиен, он сам своя партия. Ради теоретического обоснования этой позиции, собственно, и написана статья Поджоли.

Нет такой лжи, которая не паразитировала бы на каком-нибудь осколке правды. И нет ничего проще, чем из крохотных осколков правды сколотить большую ложь.

К своей чудесной книге «Детство» французский писатель-коммунист, пламенный борец за дело мира и демократии Поль Вайян-Кутюрье задумал написать предисловие. Но осуществить свой замысел он не успел и оставил всего несколько строк, набросанных на листке бумаги: «Приходишь издалека. Буржуазное воспитание. Интеллектуальная гордость. Необходимость проверять себя каждую минуту. Сохранившиеся цепи. Сентиментальность. Отравление буржуазной культурой».

Вайян любил цитировать то место из «Манифеста Коммунистической партии», где говорится, что в периоды, когда классовая борьба приближается к развязке, процесс разложения внутри всего старого общества принимает такой бурный, такой резкий характер, что некоторая часть мыслящих представителей господствующего класса отрекается от него и переходит на сторону класса, которому принадлежит будущее. В приведенном наброске Вайяна прекрасно выражена вся сложность и трудность этого перехода, неизбежно сопряженного с мучительными исканиями, душевной борьбой, блужданиями, сомнениями, а подчас и попятными шагами.

Буржуазное воспитание, интеллектуальная гордость, сохранившиеся цепи, отравление буржуазной культурой... Все это справедливо применительно едва ли не к каждому художнику, вышедшему из буржуазной среды, и все это отдаляет, «отчуждает» его от народа. Но делать отсюда вывод, что такое «отчуждение» фатальным образом непреодолимо, и абсолютизировать его — значит практически игнорировать все то, чего не хочется видеть, будь то даже Брехт, Арагон, Незвал или Неруда, а теоретически впадать как раз в самую пошлую вульгаризацию исторического материализма, над самодельным изображением которого так любят потешаться господа Поджоли.

Еще Каутский, когда он был марксистом, отмечал «барский анархизм», свойственный буржуазному интеллигенту, «для которого все дело в том, чтобы обеспечить полное развитие своей собственной личности, которому всякое подчинение его персоны какой-либо великой общественной цели кажется пошлым и презренным». В. И. Ленин не раз ссылался на эту социально-психологическую

характеристику интеллигенции как особого слоя современных капиталистических обществ, который отличается в общем и целом *«именно индивидуализмом* и неспособностью к дисциплине и организации». Но одно дело вскрывать и подвергать критике это свойство, эту типическую черту миросозерцания буржуазной интеллигенции и совсем другое—воспевать «барский анархизм» под псевдонимом «отчуждение» как некую «высокую болезнь», представлять его условием подлинно свободного творчества и первой предпосылкой «авангардного искусства».

«Авангардизм» — еще одна «метафизическая шлюха». Пожалуй, нет такого модернистского течения в литературе и искусстве, от сюрреализма до абстракционизма, которое не старались бы облагородить, объявляя авангардистским. И, пожалуй, нет термина, который был бы в таком ходу у буржуазных критиков и искусствоведов, как авангардизм: он дорог им как раз своей расплывчатостью и неопределенностью, как раз тем, что утратил всякое конкретно-историческое содержание.

В освещении господ Поджоли авангардизм предстает как золотой плод буржуазной демократии и свидетельство ее расцвета. В действительности он в истоках своих — порождение кризиса, банкротства буржуазной демократии, измены буржуазии своим прежним, революционным позициям, и история авангардизма на своем начальном этапе есть история исканий художников, которые, утратив со смертью буржуазной революционности почву, питавшую их творчество, «жили протестом», пока и поскольку не находили новую почву в революционности пролетарской.

Разумеется, это лишь самое общее определение социальной природы авангардизма. Сложное и противоречивое явление в истории культуры, вернее, сложный конгломерат противоречивых явлений, авангардизм, к которому в зарубежной критической литературе относят и Маяковского, и Маринетти, и Арагона, и Бретона, и Пикассо, и какого-нибудь Поллока, как многократно отмечалось во время дискуссии на тему «Авангардизм и декаданс», организованной институтом Грамши, вмещает в себя революционно-критические элементы и элементы декадентские, подлинное новаторство и маньеризм или эпигонство. Было бы глубокой ошибкой поэтому с порога отвергать все то, что, возникнув на почве и в эпоху авангардизма, в действительности вылилось в нечто совершенно иное и с точки зрения идейной и с точки зрения художественной. Но в данном случае суть дела совсем не в этом. Суть дела в том, что, как прекрасно сказал известный итальянский искусствовед Антонио дель Герсио, «знамя авангардизма, появившееся впервые как знамя déracinés *, подобрано теперь буржуазией, которая не только крепко держит его, но и окрашивает своими самыми мрачными настроениями, так что официальное искусство, в частности изобразительное, теперь в одно и то же время является неоавангардистским и неодекадентским, характеризуясь безудержным экспериментализмом на идейной основе декаданса. Это знамя не из тех, которые мы стремимся подобрать и унаследовать».

Буржуазные идеологи пытаются ныне собрать под этим знаменем художников, еще не решивших или не поставивших перед собою вопрос, «в каком идти, в каком сражаться стане». Они хотели бы навязать его и нам. Чем не троянский конь — аристократическая и анархистская позиция авангардизма? Но надо ли говорить, что это попытки с негодными средствами?!

---

* Беспочвенных, лишенных корней (*франц.*).

РИКАРДО ДОМЕНЕЧ

ЭТИ КНИГИ ИЗДАНЫ НЕ В ИСПАНИИ

На моем рабочем столе лежит несколько книг. Они попали сюда самыми разнообразными путями, но их объединяет нечто общее: они изданы не в Испании, хотя написаны испанскими писателями. Вот эти книги: Альфонсо Састре «Театр», Буэнос-Айрес, издательство Лосада, 1960 г.; Хесус Лопес Пачеко «Я руку на Испанию кладу», Рим, издательство Раппорти Эуропеи, 1961 г.; Хуан Гойтисоло «Чанка», Париж, издательство Либрериа эспаньола, 1962 г.; Армандо Лопес Салинас «Год за годом», Париж, издательство Руэдо Иберико, 1962 г. Можно легко продолжить список произведений испанских писателей, не имеющих возможности издаваться в своей стране. Я остановил свой выбор именно на этих четырех книгах, потому что, на мой взгляд, представляя различные литературные жанры (роман, драма, поэзия, очерк), они символизируют новую литературу Испании, которая не находит себе места на родине. Подобное явление, чреватое серьезными последствиями и для нашей читательской публики, и для издателей, и для авторов (ведь настоящий писатель пишет о народе и для народа), наводит на грустные размышления. Эта статья порождена желанием, может быть слишком оптимистичным и несбыточным, заставить задуматься над происходящим.

Начну с краткого изложения содержания перечисленных книг. В сборник «Театр» Альфонсо Састре входят шесть пьес: «Эскадра идет на смерть», «Красная земля», «Анна Клейбер», «Смерть в квартале», «У Вильгельма Телля печальные глаза» и «Ворон». Ни одна из этих драм, за исключением «Ворона» и «Анны Клейбер», не была разрешена к постановке в коммерческом театре. Пьеса «Эскадра идет на смерть» была впервые показана камерным Университетским театром в марте 1953 г. С тех пор она всего несколько раз читалась со сцены и давалась в постановках для узкого круга зрителей в Мадриде и некоторых городах провинции. Я подчеркиваю слово «некоторых», так как в большинстве городов Испании даже такое ограниченное знакомство публики с пьесой оказалось невозможным. Как это ни парадоксально, до сих пор строгость запретов в области театра зависит от места постановки спектакля. Это объясняется якобы различной «подготовленностью» публики к восприятию той или иной пьесы. Не кажется ли вам, что подобное несколько странное решение проблемы ведет к тому, что так называемая «неподготовленность» публики растет с каждым днем? Пьеса «Эскадра идет на смерть», одно из наиболее значительных произведений последнего двадцатилетия, так и не стала достоянием широкого зрителя. Эта пьеса, направленная против войны, написанная в годы, когда мир пытаются ввергнуть в третью мировую бойню, была осуждена за антимилитаризм.

Достаточно самых простых аргументов, чтобы разбить все доводы, оправдывающие запрещение остальных пьес Састре в театрах Испании. Вот содержание драмы Альфонсо Састре «Смерть в квартале», где явно чувствуется влияние «Овечьего источника» Лопе де Вега. В одном многонаселенном квартале ребенок попадает под машину. Его сейчас же доставляют в больницу. Есть надежда на спасение мальчика, но дежурного врача не оказывается на месте, так как он где-то пьянствует (врач, человек совершенно опустившийся, ненавидит свою работу). Ребенок, не получив медицинской помощи, погибает. Через несколько дней после катастрофы в баре квартала

Статья опубликована в испанском еженедельнике «Инсула» № 192, 1962 г.

встречаются родители погибшего, их друзья и соседи. Возмущение случившимся еще не улеглось, и когда в бар входит доктор, собравшиеся убивают его. (Эта сцена написана с большим мастерством.) Как видите, в пьесе нет ничего, что могло бы в какой-то мере оправдать запрещение спектакля. То же самое можно сказать о драмах «Красная земля», «У Вильгельма Телля грустные глаза» и о других произведениях Альфонсо Састре, не вошедших в данный сборник, но не избежавших подобной участи. Таким образом, целый ряд пьес, которые по своим художественным качествам и гуманной идее, в них заключенной, намного выше 90% всего того, что издается сейчас в Испании, так и не смогли попасть на сцену. Выиграла ли что-нибудь от этого публика? Думаю, что нет. Потеряла? Да, и очень много.

Сборник стихов Хесуса Лопеса Пачеко снабжен прекрасным предисловием Джанкарло Вигорелли, переводчика Пачеко на итальянский язык. Стихи в сборнике даются одновременно на испанском и итальянском языках. В этой книге развивается несколько основных тем: тема Испании, тема труда, тема одиночества и тема надежды. Поэзия Пачеко очень проста по форме и глубоко социальна по содержанию.

Моя поэзия входит в трамвай,
Она всегда среди людей,
Она стала такою же, как люди,
и полюбила их.

Этой поэзии близки страдания человека, она решительно порывает с теорией «чистого искусства». «Как можно рассуждать об эстетике, повернувшись спиной к человеку, к жизни, к обществу? — спрашивает автор в предисловии к сборнику.— Мне было бы стыдно находиться среди «изысканных» поэтов, сочиняющих безупречные стихи на «вечные» темы, в то время как повседневная действительность тщетно взывает к художникам, требуя новых тем, может быть, не таких возвышенных, чистых и «удобных», но зато более гуманных и не менее вечных». Поэзия Хесуса Лопеса Пачеко — поэзия повседневной действительности, и тот факт, что эта действительность недостаточно хороша, не является аргументом в пользу запрещения правдивых стихов, говорящих об этом.

Роман «Год за годом» Армандо Лопеса Салинаса получил премию «Руэдо Иберико». Эта книга, в которой явно ощущается влияние произведений Пратолини, представляет собой попытку создания романа о коллективе. В ней множество действующих лиц. Рисуя их судьбы, автор воспроизводит панораму жизни Испании, начиная с послевоенных лет и кончая пятидесятыми годами. Герои книги Салинаса — реальные, живые люди, в большинстве своем задавленные нуждой бедняки, жертвы социальной несправедливости. Типы и ситуации, изображенные в романе, быт, нравы и переживания его героев — точный слепок с действительности. Но правдиво отображать жизнь своего народа — разве это не первая обязанность писателя?

Наконец «Чанка» Хуана Гойтисоло. Эта небольшая по объему книга очерков очень интересна. Автор правдиво описывает здесь жизнь Чанки — одного из беднейших кварталов Алмерии. Волнующий, драматический репортаж Гойтисоло заставил меня полюбить людей, населяющих этот нищий квартал. Думаю, что я не составляю исключения.

Таково, в общих чертах, содержание тех книг, о которых мне хотелось рассказать в этой статье. Ясно, что современную испанскую литературу характеризуют новые качества, возникшие в результате нового отношения испанских писателей к жизни и к задачам творчества. Я думаю, что это новое во взглядах и творчестве наших писателей можно определить следующим образом: писатель не может оставаться равнодушным к современной ему действительности и к обществу, в котором он живет. Новая литература не имеет ничего общего с литературой ухода от действительности, для которой единственная цель — воспевание прекрасного. Цель новой литературы — отражение реальной жизни. И это не погоня за литературной модой — таковы требования жизни и писательской совести. Сегодня с новой силой звучат слова Эптона Синклера, сказанные им в 1924 г.: «Истинная цель искусства — изменить действительность. И из всех сторон действительности больше других нуждается в изображении ее социальная сторона».

Я понимаю, что все, изложенное мною, по существу не содержит ничего нового. Мне хотелось только констатировать тот факт, что молодая испанская литература полностью осознала свою ответственность перед обществом. Однако эта новая литература столкнулась с ограничениями, которые препятствуют ее распространению внутри страны. Понимаем ли мы, что это значит? Видим ли мы, какую пропасть создали эти ограничения между писателями и народом Испании? «Настоящее искусство всегда было народным, и великие художники всегда оказывали глубокое воздействие на народ»,— писал Эптон Синклер. Так потребуем же для наших писателей права общения со своим народом, права воздействия на него, права свободно писать правду. Потребуем для нашего народа права с помощью литературы познать мир, в котором он живет. Потребуем отмены ограничительных законов в области художественного творчества.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

В НАСТУПЛЕНИИ

Состоявшийся в ноябре прошлого года VIII съезд Венгерской социалистической рабочей партии констатировал, что в стране заложены основы социализма, и принял программу развернутого строительства социалистического общества. В политическом плане съезд провозгласил курс на создание социалистического национального единства венгерского народа. Естественно, что в связи с этим перед партией встают новые задачи и в идеологической области, что партия предъявляет более высокие требования и к работникам венгерского искусства. Именно поэтому в последнее время в Венгрии столь широко обсуждаются вопросы борьбы за полную победу марксистско-ленинской идеологии, за повышение роли литературы и искусства в воспитании человека нового социалистического общества. Позиция партии по основным вопросам, затронутым в ходе этого обсуждения, нашла свое отражение в опубликованной на страницах газеты «Непсабадшаг» лекции члена Политбюро и секретаря ЦК ВСРП **Иштвана Сирмаи «Идейное наступление марксизма-ленинизма»**, прочитанной им 28 марта 1963 года в Политической академии Венгерской социалистической рабочей партии.

Остановившись на значении идеологической работы партии, Иштван Сирмаи подчеркнул, что

> «революционные рабочие партии только тогда могут привести социалистические преобразования к полной победе, когда они смогут завоевать своими идеями умы и сердца трудящихся, преодолеть буржуазную и мелкобуржуазную идеологию.

Поясняя этот тезис применительно к венгерским условиям, Сирмаи отметил, что среди сторонников и даже активных строителей социалистического общества в Венгрии еще велика прослойка людей, находящихся в плену буржуазных и мелкобуржуазных взглядов, не усвоивших социалистического мировоззрения, социалистического понимания жизни, социалистического отношения к труду.

> «Поэтому,— заключает Сирмаи,— идейное наступление является ныне одной из важнейших форм борьбы за социалистическое национальное единство».

В этом идейном наступлении немалую роль призваны сыграть литература и искусство социалистической Венгрии.

> «За последние годы,— сказал Иштван Сирмаи,— укрепился и расширился лагерь деятелей искусств—коммунистов, для которых идеи социализма стали необходимостью, которые борются за эти идеи, исходя из своих глубоких убеждений, которые своими произведениями, своей позицией и авторитетом в значительной мере способствовали консолидации политической и литературной жизни... В сегодняшней венгерской литературе, как о том свидетельствуют многие высокохудожественные произведения поэзии и прозы, укрепляется партийное направление, направление социалистического реализма, с полной ответственностью отображающее борьбу, которую ведет наше общество, строящее социализм, и человека, который формируется в этой борьбе. Литература этого направления принимает сознательное участие в борьбе трудящихся».

Вместе с тем Сирмаи отмечает, что еще нередко приходится сталкиваться с пережитками старых взглядов, с неопределенностью, расплывчатостью в вопросах мировоззрения, с проявлениями буржуазных и мелкобуржуазных концепций в искусстве.

«Мы сослужили бы плохую службу марксизму, а также представителям буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции, принимающим социализм или приближающимся к этому, если бы оставили без критики их ошибочные идеи, их буржуазные и мелкобуржуазные концепции,— сказал И. Сирмаи.—...Их отсталость в области мировоззрения, их зачастую сознательное обособление, естественно, оставляют след на их произведениях даже тогда, когда они с самыми добрыми намерениями приближаются к проблемам сегодняшнего дня, к проблемам нашей социалистической жизни. Такие произведения характеризуются кажущейся современностью. Эти писатели, как правило, критикуют в своих произведениях капитализм, но их литературные герои скорее лишь приспосабливаются к социалистическому сегодня, а не принимают его. Речь идет отнюдь не о том, что они пишут произведения, враждебные социалистическому строю, но следует опасаться, что такая тенденция может устояться, и в таком случае произведения этих в общем талантливых писателей и деятелей искусства окажутся чуждыми нашей жизни».

Суровой критике с идейно-политической точки зрения подверг Сирмаи такие произведения, как «В кафе «Ниагара» Иштвана Эркеня, «Золотое время» Ференца Каринти и «Девушку из бассейна» Ивана Манди.

«Писаниям подобного рода,— заявляет он,— не должно быть места в венгерской печати... Это, конечно, крайности, однако о них следует говорить, чтобы подобные произведения не превратились в препятствие тому здоровому процессу очищения, который приближает к нам многих талантливых, но борющихся с путаницей в своем мировоззрении писателей».

В литературных дискуссиях, проходящих в последнее время в Венгрии, значительное внимание уделяется проблеме современности искусства. В своей лекции И. Сирмаи коснулся и этого вопроса:

«Партия поддерживает социалистических по духу их творчества художников в поисках новых путей, новых форм, отвечающих содержанию. Однако под предлогом «требований современности» кое-кто пытается возродить буржуазные направления начала века или периода между двумя мировыми войнами, некритично подражает представителям современных западных декадентских течений. Но ведь известно, что вчерашняя мода является самой отсталой. Проблема современности художественного произведения — это прежде всего проблема содержания, проблема восприятия и отображения действительности, проблема творческого миропонимания».

Безусловно здоровым процессом сегодняшней венгерской литературной жизни представляется борьба против схематизма и догматизма в искусстве. Эта борьба находит полную поддержку со стороны Венгерской социалистической рабочей партии.

«Вследствие влияния догматизма, отсутствия марксистского мышления и твердого мировоззрения многие опасаются затрагивать сложные вопросы, поскольку для этого необходима идейная определенность и четкость позиции. Но ведь нет таких тем, о которых нельзя писать,— сказал И. Сирмаи.— Мы признаем необходимость смелого отображения выдвигаемых жизнью проблем, мы ждем от литературы и искусства партийного, высокохудожественного показа противоречий современного общества».

Однако в ряде случаев под видом борьбы против догматизма пытаются пробить себе дорогу и некоторые вредные взгляды и тенденции. К их числу относится, с одной стороны, стремление отвернуться, уйти от наиболее острых, актуальных проблем современного общественного развития, а с другой стороны — преувеличенное внимание к теневым сторонам сегодняшней жизни, извращенное отражение существующих и в настоящее время противоречий и недостатков. «Такая литература является чуждой нашим взглядам, нашему народу»,— заявил Сирмаи.

В последнее время в Венгрии состоялось несколько оживленных дискуссий по различным вопросам литературного творчества. К числу наиболее широких и важных из них следует отнести, пожалуй, обсуждение очерка Дьюлы Чак «Глубокое течение», а также творчества писателя Имре Шаркади.

Общая особенность этих дискуссий состоит в том, что спор, начавшийся по конкретному произведению, по творчеству одного писателя, сразу же перерастает в острое и серьезное обсуждение вопросов писательского мировоззрения, подхода к отображению действительности, социалистического характера литературы. Естественно, что в лекции Сирмаи эта полемика не могла не найти отражения. Оценивая упомянутый очерк Дьюлы Чак, Сирмаи подчеркнул, что автор дает в нем

«извращенную картину положения нашего крестьянства, неверно оценивает роль партийных работников, взявших на свои плечи львиную долю работы по обеспечению победы производственно-кооперативного движения, предлагает вредный политический лозунг «либерализации». В борьбе за полное построение социализма сознательное движение вперед не является «либерализацией». Ликвидация последствий культа личности — это не «оттепель», а восстановление марксистских принципов и коммунистической практики. Мы идем вперед под знаком партийного мышления, которое создало и развивает

дальше идеи марксизма. Это партийное мышление, определяющее наши действия, помогло нам разгромить контрреволюцию, порвать с культом личности, заложить в нашей стране основы социализма».

Большой интерес представляют высказывания Сирмаи о задачах марксистской критики, призванной с принципиальной последовательностью, твердо и решительно, с помощью глубокой и точной аргументации защищать и поддерживать социалистическое искусство. Возвращаясь в этой связи к уже упоминавшимся дискуссиям, Сирмаи отмечает, что в ходе спора бросалась в глаза идейная шаткость позиции многих писателей и критиков, которые теряли уверенность, пытались примирить непримиримое, как только из уст их оппонентов раздавались обвинения в догматизме. А ведь это, по существу, были попытки представить марксистскую, партийную точку зрения как консервативную и догматическую.

«Дальнейшему укреплению идейного единства нашей литературы,— продолжает Сирмаи,— в значительной мере препятствует то обстоятельство, что некоторые писательские группы по-своему понимают нашу литературную политику, ее основные положения, лозунг национального единства. Добрая часть писателей считала и считает возможным достижение литературного единства под знаком «либерализма». Мы предоставляем возможность для публикации и таких произведений, в которых нет социалистических идей, но это вовсе не означает, что партия стоит на позициях соглашательства. Мы не можем быть мирными созерцателями в литературе. Необходима система тонких фильтров, точный анализ, марксистская критика, чтобы мы могли действенно выступать против просачивающейся по разным каналам буржуазной идеологии. Необходимы ответственная, боевая, марксистская критика, позиция, которая ориентировала бы других, сила и пример социалистического искусства и, что, пожалуй, самое главное, здоровая творческая атмосфера, страстность в дискуссиях, чтобы мы могли в открытом идеологическом споре преодолеть еще существующие противоречия и ошибочные взгляды, являющиеся не только личными взглядами того или иного писателя, но и проявлениями сохранившейся в различных слоях нашего общества буржуазной идеологии».

Заключительный раздел лекции Сирмаи посвящен связи идеологической борьбы и обсуждения идеологических проблем в Венгрии с развитием международной марксистской мысли, с обсуждением этих вопросов в других странах социалистического содружества, в братских партиях.

«Идейное наступление марксизма в Венгрии,—подчеркнул Сирмаи,—является частью наступления марксизма во всем мире, частью международной борьбы между марксистской и буржуазной идеологиями».

В этой связи лектор подчеркнул, что курс партии на расширение связей с беспартийными массами, привлечение на сторону социализма всего народа, создание социалистического национального единства, укрепление широкого политического союза с самыми различными слоями населения ни в коей мере не означают курса на идеологическое примирение:

«Мы согласны с товарищем Хрущевым, который говорил о том, что защита сосуществования в области идеологии является предательством марксизма-ленинизма, предательством дела рабочих и крестьян. Марсизм не может мирно сосуществовать даже с теми вариантами буржуазной идеологии, которые на первый взгляд носят отвлеченный характер, кажутся не затрагивающими социалистический строй. Из существа нашего общественного строя, из революционно-научного существа марксистских идей следует, что коммунисты являются непримиримыми противниками и критиками духовного разложения регрессирующего капитализма, всех форм декадентства...»

Политически коммунисты сотрудничают со сторонниками буржуазного гуманизма и буржуазного демократизма в борьбе за мир, демократию и социализм, но идеологически они не могут заключать никаких союзов с буржуазным демократизмом или пацифизмом, которые в конечном счете являются выражением классовых интересов буржуазии и враждебны социализму. Развивая эту мысль, Сирмаи отмечает, что есть немало людей, которые субъективно искренне выступают за мирное сосуществование, но отождествляют или пытаются отождествлять его с идеологическим разоружением марксизма, с миром в области идей, со слиянием социалистической и буржуазной культуры. Такие люди глубоко заблуждаются.

«Наша социалистическая культура не объявляет войны в прямом смысле слова,— заканчивает свою лекцию Иштван Сирмаи,— не хочет и не сеет военных столкновений и в то же время объявляет войну буржуазной идеологии и психологии, войну в идеологическом смысле. Марксизм нельзя «разоружить», так как он является выражением объективной общественно-исторической необходимости, следствием классовой борьбы, оружием освобождения рабочего класса, оружием в борьбе за строительство нового общества, и не в последнюю очередь мощи этого «оружия» мы обязаны возникновением возможности избежать военного конфликта, созданием реальных условий для борьбы за разоружение, за мир, за социализм».

СУМЕРКИ БОЖКОВ

Американский литературовед Джон Маккормик пришел в своей книге «Катастрофы и художественное мышление» к выводу, что популярность абстрактной живописи на Западе свидетельствует о росте в послевоенный период эстетической зрелости «масс». И, само собой разумеется, выдавая за широкую «популярность» абстракционизма шумиху, которая каждый раз поднимается буржуазной прессой вокруг ежегодных выставок нью-йоркской школы так называемого «абстрактного экспрессионизма», и модные среди «высоколобой» богемы сборища в мастерских таких корифеев американского абстракционизма, как, например, Клиффорд Стилл или Марк Ротко, Маккормик глубокомысленнейшим образом заключает: абстракционизм — это новое искусство, искусство «атомного века», это метод, соответствующий потрясенному сознанию человечества нашей эпохи. Абстракционизм, вещает далее Маккормик, отвечает осознанию человеком нашего времени той «истины», что мир, после того как была выпущена на волю роковая «стихия» атомной энергии, стоит на грани гибели. Вот к этой-то «зрелости» сознания человеческого, к психозу одержимых идеей обреченности мира и взывает, по мнению Маккормика, абстрактная живопись, которая, в его представлении, вырастет во что-то вроде «пластического апокалипсиса», возвещающего конец света и начало «великого распада» всех связей.

Признание многозначительное!

Как ни велика мода на абстракционизм на Западе, далеко не все усматривают апокалиптические откровения в бессмысленной мазне. Есть люди, которым вопли юродивых и кликуш от «нового искусства» не мешают, говоря об абстракционизме, исходить из мудрого правила поэтики Буало: «Я называю кошку кошкой».

Теперь все чаще приходится слышать признания, что у части интеллигенции на Западе бурное развитие абстрактной живописи в послевоенный период вызвало нечто вроде шока, что пропаганда этого новомодного «метода» заставила многих почувствовать недоверие к собственной способности здраво судить о вещах.

И мы получаем все новые подтверждения того, что если теперь все большее число деятелей культуры на Западе выходят из этого столбняка и выступают с заявлениями об отказе поддерживать своим молчанием шарлатанство абстракционистов, то в немалой степени они обязаны этим пробуждением той оценке сущности абстракционизма, которая была дана в Советском Союзе уже в 1957 году — в выступлении Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа», а затем в выступлении Л. Ф. Ильичева на первой встрече руководителей партии и правительства с деятелями советской литературы и искусства в декабре 1962 года. Даже во франкистской Испании, где подлинное, связанное с жизнью искусство преследуется, а беспредметная, заумная живопись «великого распада связей» официально поощряется, раздаются теперь трезвые голоса, призывающие к борьбе против абстракционизма.

Характерно, что подобные высказывания принадлежат не только тем, кто придерживается прогрессивных убеждений, но и людям весьма умеренных взглядов. К их числу принадлежит и известный испанский писатель и журналист **Франсиско де Коссио**, который в своей статье **«Закат абстракционизма»**, напечатанной в мадридской газете **«АБЦ»**, по существу солидаризируется с оценкой абстракционизма, данной в Советском Союзе, хотя его меньше всего можно заподозрить в симпатиях к коммунистам.

Осуждение абстракционизма в Советской России, отмечает де Коссио, вносит в вопрос, кому и зачем нужен абстракционизм, такую ясность, что миф о «самозарождении», о «стихийности возникновения» этой формы модернизма можно считать развеянным.

> «Осуждение абстракционизма в Советской России...— продолжает он,— аргументировалось тем, что абстракционизм является выражением упадка духовной культуры капиталистического мира. И мы действительно не должны забывать, что не кто иной, как эстетствующие капиталисты, позаботились о том, чтобы узаконить признание художественного направления, порожденного бесцеремонной праздностью эстетической мысли».

Бросая ретроспективный взгляд на историю абстракционизма, де Коссио пишет:

> «При появлении беспредметной живописи мы решили было, что в искусстве происходит революционный переворот, что художники, открывающие доступ в область «подсознательного», обретают право ниспровергать и разрушать все традиции, что такое освобождение творческой воли зачеркнет весь ход развития живописи от наскальных рисунков до наших дней».

Время, отмечает де Коссио, оказалось более мудрым судьей и прояснило положение дел, заставив самых доверчивых и снисходительных убедиться, что за глубокомысленным шаманством абстракционистов не скрывается никаких загадок, ничего, заслуживающего внимания. И признанию этого не может. подчеркивается в статье, помешать даже то «братание» абстракционизма с декоративным искусством, за которое, как утопающий за соломинку, хватаются подчас апологеты абстракционистов, чтобы доказать реальный эстетический смысл беспредметности в живописи.

> «Абстракционизм не имеет ничего общего с декоративным искусством, ибо цель абстрактного искусства — трансцендентальна, хотя, к слову сказать, ни

практики, ни теоретики этого метода до сих пор так и не пришли к единому определению сути этой трансцендентальности. И ни о законах, ни о правилах, ни даже о наличии в абстрактной живописи какой-либо школы говорить просто невозможно. Невозможно по той простой причине, что каждый художник-абстракционист пытается — один с искренней убежденностью, другой даже без таковой — дать выход собственному «подсознанию», чтобы творить, ни с чем не сообразуясь, «что получится». И поскольку такой вид творчества возможен лишь при полном исключении всяких разумных начал, то остается лишь одна анархия да ее неразлучный спутник — отсутствие культуры!

В конце концов произошло неизбежное: движение вне орбиты законов разумности, движение, само существование которого целиком и полностью зависит от произвола непостоянной моды, идет на убыль. И недалек тот час, когда защита абстракционистских вывертов будет считаться дурным тоном и признаком отсталости».

На Западе у абстракционизма, отмечает де Коссио, немало могущественных покровителей как тайных, так и явных, но они при всех условиях будут просто бессильны спасти это нужное им искусство от всеобщего осмеяния, если его сущность будет определена во всеуслышание.

Далее де Коссио высказывает мысль, что непосредственные формальные истоки абстракционизма следует искать в литературных опусах дадаистов 20-х годов, в опытах подчинения творчества «разорванному сознанию», в романах Дж. Джойса, в творчестве Сэмюэля Беккета, старающегося превратить драму в «выражение абсурда».

И действительно формализм в абстрактной живописи доходит уже до самой крайней степени абсурда — до полного истребления не только содержания, но и какого бы то ни было подобия формы. Отсюда, пишет де Коссио, обреченность абстракционизма, его полнейшая бесперспективность:

«Самоцельное абстракционистское трюкачество находится за пределами искусства. Судьба абстракционистских попыток выразить что-то с помощью одних лишь соотношений света и тени и различных цветовых гамм предопределена. Абстракционизм ввергает нас в хаос, он не способен служить выражением реального мира.

В начале века в нашем искусстве и литературе возникло немало всяческих направлений. Воспетые услужливыми трубадурами, они возносились на головокружительную высоту, а затем их поглощал мрак забвения. Сейчас наступил перелом в отношении к абстрактной живописи, и, не случись этого, мы докатились бы до объявления устаревшими всех истинно художественных ценностей, до того, что услышали бы призывы к уничтожению всех памятников искусства, всех музеев».

Но де Коссио заблуждается, полагая, что для наступления «заката абстракционизма» на Западе достаточно разоблачения сущности этого псевдоискусства. Абстракционизм остается на вооружении у реакции, и она продолжает цепко держаться за него, упорно отстаивая этот участок своего идеологического фронта. И, как и следовало ожидать, на выступление Франсиско де Коссио в испанской прессе не замедлил последовать резкий ответ. Роль защитника абстрактной живописи на этот раз взял на себя **Карлос Антонио Ареан**, выступив на страницах еженедельника «Эстафета литерариа».

Не удивительно, что аргументации де Коссио Ареан может противопоставить лишь хитроумные увертки, уводящие от достоверных фактов в область чисто умозрительной эквилибристики. Она заслуживает, однако, внимания как образец казуистических хитросплетений апологетов абстракционизма.

«Представьте себе, сеньор Коссио,— пишет Ареан,— что некая ассоциация объявила конкурс на лучшую картину по точно заданной теме: нарисовать ворота де Алькала с угла Лагаска Аскала. Если вы будете участником жюри, то вам никак не удастся решить, какая работа лучше, исходя из ее содержания. На всех представленных работах будут одни и те же ворота, взятые в одинаковом ракурсе. В этом случае вам волей-неволей придется, сеньор Коссио, анализировать лишь саму фактуру каждой работы, ее композиционное и колористическое решение. Следовательно, вам придется принимать во внимание лишь чисто пластические качества исполнения, не думая о содержании».

Очевидно, было бы совершенно бесполезно напоминать автору, что содержание картины составляет не только изображаемый предмет, но и отношение к нему художника, и понимание художником задач искусства, и особенности непосредственного восприятия художником объекта, и способность художника шире или ограниченней охватить связи объекта с окружающей жизнью. Напоминать об этих азбучных истинах Ареану было бы совершенно бессмысленно, ибо они заранее признаются им как бы несуществующими, что прямо подтверждается поучением, с которым он обращается к де Коссио:

«Изображение реального мира — вообще лишь подспорье для выражения соотношений в композиции, пластических свойств, для демонстрирования художником своей манеры исполнения. И в этом абстракционизм совпадает с великим искусством Веласкеса и Гойи».

Таким образом, «композиция» существует сама по себе, как нечто потустороннее, беспредметное, вне времени и пространства; «пластические свойства» — вне реальной вещности, материальности мира; «манера исполнения» — вне всякого отношения к тому, что исполняется... Разумеется, после такого выверта остается уже действительно

только одно — снять со стен музеев портрет Оливареса и «Сдачу Бреды» Веласкеса, снять Гойю и Эль Греко и повесить вместо них изделия нынешних единомышленников Ареана.

Но не менее удивительно аргументирует Ареан и свое утверждение, что абстрактное искусство чуждо снобизму:

> «Что бы там ни говорил Коссио, снобизм совершенно несвойствен абстрактной живописи, ибо она не претендует на выражение прекрасного».

Не только не претендует, следовало бы добавить, но и никак не может претендовать.

Но служит ли это признание Ареана доказательством антиснобистского духа, царящего будто бы в творчестве абстракционистов? Не служит ли оно лишним подтверждением как раз противоположного? Ведь с чего же, собственно, и начинается снобизм, как не с утверждения, что решающий критерий «эстетической оценки» следует искать в пренебрежении к доступному «непосвященным», общепонятному в искусстве? И разве абстракционизм не являет собой доведения этого правила до полной бессмыслицы, до того, что «истинным», достойным внимания в искусстве начинает признаваться лишь то, чего вообще нельзя ни понять, ни почувствовать?

Чрезвычайно показателен также и обходный маневр, который предпринимает Ареан, выдвигая мысль о необходимости установления своего рода нейтралитета между реализмом и абстракционизмом в современной западной живописи. Такой нейтралитет возможен, утверждает Ареан, но... при условии, что сложит оружие не абстрактная живопись, а «традиционалисты». Споры прекратятся, продолжает он, но... если «законными наследниками» великого искусства прошлого будут признаны абстракционисты.

В противоречии с истиной Ареан утверждает, что якобы

> «ни один художник-абстракционист и ни один критик, стоящий на позициях абстракционизма, не подвергают нападкам традиционное искусство... а традиционалисты только и делают, что выступают против нас. А между тем подлинными продолжателями традиций являемся именно мы».

И, наконец, Ареан готов даже признать закат абстракционизма. Но опять-таки только с оговоркой, что впредь изобразительное искусство будет исходить из опыта и «достижений» сегодняшней абстрактной живописи:

> «Никто не будет отрицать — абстракционизм действительно идет на убыль. Но это вовсе не следует понимать так, что мы возвращаемся к прошлому. Благодаря успехам абстракционизма стало возможным появление новых форм художественного выражения, и эти формы, настоенные на эстетических ценностях абстракционизма, лягут в основу искусства грядущих лет».

То, как Ареан в своей полемике с де Коссио от нападения переходит к жалобам и, намекнув на возможность «заключения перемирия» в искусстве, тут же начинает выторговывать льготы для абстракционизма в награду за готовность «почитать живопись прошлого», говорит о многом. Поборники абстракционизма на Западе еще чувствуют себя чуть ли не хозяевами положения в современном искусстве. Но уверенность в долговечности сохранения за собой этих позиций у них уже порядком поколеблена. Некоторые из наиболее дальновидных апологетов абстрактной живописи после того, как стало ясно, что она не найдет себе места рядом с творениями великих мастеров на стенах музеев, уже начинают исподволь высматривать для нее местечко хотя бы по соседству с могилами великих мастеров на кладбищах. Именно на эту мысль и наводит ответ Ареана на статью Франсиско де Коссио «Закат абстракционизма».

НЕТ БОЛЬШЕ ПУБЛИКИ

В связи с Международным днем театра **Артур Миллер** обратился с посланием к драматургам, актерам, режиссерам, зрителям. Его послание проникнуто тревогой за судьбы мира и сознанием высокой ответственности — особой ответственности тех, кто владеет острым оружием слова.

> «Очень важно,— пишет Миллер,— что сейчас десятки тысяч, а может быть, и миллионы людей прерывают свои поиски развлечений, а хотелось бы верить, и более серьезные занятия, ибо начинают осознавать, что действующая на мировой сцене величайшая в истории человечества труппа должна прийти к настоящему катарсису, избавить мир от ужаса спасительным познанием истины — или на всех нас обрушится катастрофа.
>
> Тот неизвестный драматург, который написал наши роли, этот великий насмешник, этот беспощадный сатирик превратил весь мир в сцену. Жадная погоня за научным познанием сделала всех нас актерами, нет больше публики, потому что угроза великого молчания нависла над всеми и никто не переживет падение этого смертельного занавеса.
>
> Я говорю, разумеется, об угрозе войны, а внутренней темой любой настоящей пьесы всегда была судьба человека».

Судьба мира, судьба человека — вот что волнует Миллера, как волнует огромное большинство людей на земле. Казалось бы, все это бесспорно, хотя и выражено в несколько необычной форме. Однако бесспорные мысли вызвали весьма ожесточенный спор.

Во французском еженедельнике **«Фигаро литтерер»** критик **Жорж Невё** отвечает Миллеру. Статья озаглавлена **«Да здравствует свободный театр!»**.

Статье предпослано редакционное предисловие, где о послании Миллера сказано так:

> «Он использовал представившийся случай, чтобы прославить театр engagé (то есть театр, исповедующий и отстаивающий определенные убеждения.— *Ред.*), театр, занятый социальными и политическими проблемами, за счет любых иных видов театра».

Редакция таким образом сразу же предостерегает своих читателей: «Осторожнее, театр engagé!»

Для Миллера театр — это не игрушка, это кафедра.

Своими, особыми средствами он призван делать людей и жизнь на земле лучше. А сегодня — и содействовать спасению человечества. Миллер — убежденный сторонник социальной драмы, он отстаивает социальность театра и в своих статьях и выступлениях и, прежде всего, в своей драматургии. Социальность Миллер понимает как выражение глубинных связей между индивидом и обществом. Человек, лишенный этих связей, по мнению Миллера, ущербен. В предисловии к изданию «Избранных пьес» он утверждает, что идея реализма прочно связана с представлением о том, что жизнь и поступки человека определяются социальными силами. Вместе с тем он полемизирует с идеей механической детерминированности человеческого поведения:

> «Как бы ни изучали человека, как бы ни измеряли его, он оказывается больше, чем сумма сил, и, в определенном смысле, предсказать все в человеке нельзя. Новая поэзия возникает потому, что возникает новая гармония, включающая в себя и детерминизм и свободу воли. Если существует невидимая цель, к которой направлены все мои пьесы, то это открытие и доказательство того, что наши поступки и нас самих определяют внешние силы и в то же время мы — больше, чем то, что нас определяет».

Эти же мысли звучат и в цитированном выше послании Миллера, это его творческое кредо.

Критик «Фигаро литтерер» в первом же абзаце своей статьи заявляет, что не согласен с Миллером. Невё утверждает, что

> «существует театр engagé, то есть театр, который стремится пропагандировать свои убеждения, обращаться с посланиями к зрителю и который чаще всего опирается на доктрину одной партии, одной религии или одного правительства. И этому ангажированному театру противостоит иной театр, который я — да простит меня Виктор Гюго — назвал бы театром свободы».

Нет, Гюго не простил бы, и мы к нему присоединимся. Полная несостоятельность концепции Невё становится особенно очевидной, когда от общих положений Невё переходит к примерам: оказывается, у Софокла «Антигона» — социальная драма, а «Эдип» — «личная», «Женитьба Фигаро» Бомарше — «социальная», «Севильский цирюльник» — просто забавная, «Мера за меру» — «памфлет против пуритан» (то есть, очевидно, социальная!), но Шекспир также написал «Бурю» и «Сон в летнюю ночь» (очевидно — «личные» или «развлекательные» пьесы). Невё, упрекающий Миллера в ограниченности, как раз и проявляет в своих суждениях крайнюю ограниченность.

Великая драматургия, как и всякое великое искусство, всегда социальна. То есть всегда ставит самые важные проблемы существования человека, а так как человек живет в обществе, то это неизбежно и проблемы общественные. И когда Шекспира делят на «социального» и «развлекательного», это, право же, может только позабавить читателя. Но критические забавы Невё имеют вполне определенный идейный смысл: он призывает к тому, чтобы в День театра «были забыты все политические и литературные распри...» И объявляет: «Я за мирное сосуществование, даже в театре».

Защитники мирного сосуществования в области идеологии, как известно, на деле защищают определенную идеологию — понятно какую. И Невё не составляет исключения.

С особым рвением защищает он «театр абсурда», утверждая полную его равноправность со всеми прочими видами театра. Эта мысль часто звучит на страницах западной прессы.

Рецензируя — и чрезвычайно высоко оценивая — книгу Мартина Эслина «Театр абсурда», критик Стайнер снисходительно замечает, что и реалистическая драматургия — например, драматургия Миллера — «имеет право на существование».

Артур Миллер, напротив, далек от дурной терпимости, от филистерской идейки, что «все по-своему хорошо». Он считает, что «театр абсурда» не выполняет жизненно важное предначертание искусства.

> «...Может показаться, что возникшая за последние годы так называемая «антидрама», или драма абсурда, якобы противоречит основному закону драматургии, но в действительности это не противоречие, а лишь парадокс. Драма, которая отказывается от целесообразного действия, отражает международный тупик, воплощает распространившееся неверие в возможность человека воздействовать на обстоятельства, отбрасывает всякий смысл, ограничиваясь только иронией. Такая драма видит человека на краю могилы, обреченным на гибель и утверждает неизбежность его самоуничтожения. В ней представлен растерянный человек, который выглядит глупо под ударами рушащихся один за другим его самых дорогих верований. Пьесы абсурда более всего подходят для постановки накануне конца

света. А еще лучше — на следующий день».

Миллер справедливо отказывает драматургии абсурда в «равноправии». Он отвергает те пьесы, которые можно «ставить накануне конца света», и ратует за те, которые помогли бы предотвратить этот конец.

Миллер не одинок и в своих тревогах и в своей неудовлетворенности теми произведениями искусства, где по преимуществу отражаются человеческие пороки, отчаяние, обреченность. Редактор журнала **«Сатердей ревью» Норман Казенс** выступил недавно со статьей **«Значение человека»**, в которой пишет:

«Цинизм и тоска — это наиболее легкий литературный материал. Гораздо труднее изображать возможности человека совершать те или иные поступки, внутреннюю борьбу между добром и злом, между бдительностью и пораженчеством, между безмятежностью и страхом. «Сладкая жизнь» и подобные произведения — это не вся жизнь. Атмосфера, в которой живет человек, может быть очень гнетущей. Сейчас она полна смертельной опасности. Но главный вопрос, который стоит перед человечеством, это не вопрос о бессмысленности жизни, а вопрос о том, как мобилизовать ум и чувства, чтобы создать более спокойный и лучший мир».

Артур Миллер призывает художников театра бороться против драмы абсурда и считает, что в противовес ей необходимо

«раскрыть внутреннюю силу человека, которая животворнее, чем лежащее на поверхности бессилие, и тем самым показать не только то, что говорит о смерти, побеждающей жизнь, но и то, что говорит о жизни, побеждающей смерть. Это будет истинная гармония, и новая драматургия принесет человеку не меньшую надежду на свободу и осмысленное существование, чем та власть над материей, которую дает ему современная физика.

Современный ученый знает, что не может быть только наблюдателем; тот, кто наблюдает, исследует явление, тем самым уже изменяет его.

Подобно этому и драматург, исследующий отчаяние, тоже изменяет его, хотя бы уже тем, что заставляет нас ощутить его. И если восприятие отчаяния не всегда изменяет самого драматурга, оно неизбежно изменяет его аудиторию. Потому что, когда мы смотрим на отчаяние, представленное на сцене в тех драматических формах, которое оно приняло в наше время, у нас есть право, научно обоснованное право, сказать: «Ну что ж, будучи одним из тех атомов, которые ты, драматург, наблюдал, измерил, взвесил, я должен тебе сказать, что теперь, когда занавес опустился, я стал иным, я несколько отличаюсь от того, каким ты видел меня в последний раз. Так же, как и другие атомы, я обрел некоторую степень свободы...»

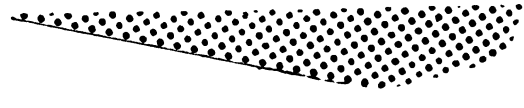
И Миллер заканчивает свое интересное послание словами:

«...для театра близится время торжества целеустремленной человеческой воли»...

Гармония не имеет ничего общего с приукрашиванием действительности. Художник черпает ее в самой жизни. Эта гармония — целостность человека, богатой и неповторимой, своеобразной личности, связанной тысячами уз с другими людьми.

Речь идет о герое активном, борющемся, утверждающем жизнь. Миллер противопоставляет его антигерою драмы абсурда, бессильному, лишенному воли и надежды.

Мы не приемлем мирного сосуществования идеологий. И прав Миллер, когда он выступает за театр высоких идей, великих страстей, истинных чувств, за драматургию, связанную с жизнью, разнообразную, живую, талантливую. И против тех, чьи пьесы хороши лишь накануне конца света.



К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. В. МАЯКОВСКОГО

АНТАЛ ГИДАШ

МЫ ПЕРЕД НИМ В ДОЛГУ

I

Он вышел в путь с пожаром в сердце — хотел, чтобы в мире не бушевали больше пожары.

Ради правды готов был на все — кроме лжи.

Поэзией своей хотел вытравить вирусы мещанства — и те, что были принесены из старого общества, и те, что показались уже в новом.

Ненавидел привилегии. Всякого рода и во все времена.

Хотел жить в такую эпоху, когда можно будет без мук целовать.

Так и не пришло к нему «позорное благоразумие», до конца остался он молодым, хотя уже шестнадцати лет был мужчиной и революционером, которого швыряли по московским тюрьмам, и двадцати двух лет создал свое прекраснейшее творение «Облако в штанах».

Был новатором.

Да и мог ли быть иным в эпоху величайшего новаторства, в эпоху пролетарской революции?

Для великой идеи — великих расстояний и скоростей — нужны были новые поэтические «средства передвижения». Он создал их: и в образах, и в ритмах, и в рифмах.

Чтобы мчаться наперегонки с не всегда легким временем, порой отказывал себе в песне — как русские рабочие в годы испытаний отказывали себе порой в хлебе, чтобы впредь никто никогда не был без хлеба и без песен.

Как кузнец — железо, ковал он строки своих стихов, пока они были горячи. Ненавидел холодных сапожников от поэзии.

Удельный вес его стихов огромен — как у тех таинственных сверхплотных звезд. В них набито столько атомов, что, едва их пытаются превратить в обычную материю, то есть истолковать, они сразу же захватывают в тысячу раз больше пространства — страниц.

Сто двенадцать ударов в минуту отбивало его сердце. Много! Но ведь оно и было тем радиопередатчиком, который искрами рассыпал по миру его стихи на длинных и коротких волнах размеров и рифм.

Он был одним из величайших поэтов не только XX века, но, по-моему, и всех времен.

II

Впервые я встретился с ним в Чехословакии летом 1922 года, в дни своей первой эмиграции.

Только недавно футурист, я взобрался на еще «бóльшую высоту»: присягнул в верности дадаизму.

И тогда же, в 1921 году, вступил в коммунистическую партию. Рабочее движение властно повело меня по своему пути. Я стал писать революционные песни и марши, одновременно «создавая» и дадаистские стихи.

Песни и марши «корифеи» называли «агитками», а дадаистские стихи — «искусством». И тем не менее с этим «искусством» я не решался выступать на вечерах кошицкого рабочего клуба, инстинктивно чувствуя, что мои товарищи ужаснутся: «С ума сошел!» (Кстати, именно под таким названием посвятил моим дадаистским «творениям» целую полосу венгерский журнал «Тюз» («Огонь»), выходивший в Братиславе.)

Это было время, когда немецкий поэт Рихард Хюльзенбек достиг «вершины» дадаизма: написал «интернациональное» стихотворение о сигаре. «Интернациональным» оно было потому, что могло обойтись без перевода.

Cigarren
Cigar
Ciga
Ci

и так далее — пятьдесят строк — в форме полумесяца.

Мне стало ясно, что в этом уже нет ни малейшего смысла.

Но признаться было еще трудно, хотя я уже задыхался в атмосфере нигилистического, антихудожественного, а стало быть, и античеловеческого дадаизма.

Я хотел конструктивного, разумного и непременно нового.

А где же оно, это новое?

Сама жизнь подтолкнула к нему.

Мы пригласили в Кошицу главного апостола венгерского дадаизма. Я знал его еще с 1919 года и был его безусловным почитателем.

Устроили в его честь литературный вечер в Коммунистическом клубе. Я тоже готовился выступить с чтением его стихов.

Но случилась беда.

Один из наших товарищей — недавно я встретился с ним в Кошице,— слушая его стихи, начал вдруг так хохотать, что даже со стула свалился.

С недоумением и ужасом смотрел я со сцены.

А на другой день между мной и апостолом Дада разгорелся бурный спор, и я вышел от него, с треском захлопнув за собой дверь.

И тут во мне поднялась такая страшная буря, что даже меня, здоровенного, молодого парня пришибла к земле. Потом буря сменилась кромешным мраком — я ничего не видел, ничего не слышал, не понимал — погрузился в черную меланхолию.

Вытащил меня из нее, как говорится, случай.

Мой друг, редактор коммунистической газеты, прочел мне два своих перевода.

Первый был «Левый марш»:

Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

У меня было уже кое-какое представление о событиях великого Октября. Но из этого стихотворения мне прямо в лицо пахнули жаркие накаленные страсти пролетарской революции.

А второе стихотворение было «Потрясающие факты».

Я-то ведь думал до той поры, что революционная поэзия может существовать только через «мы», что любое «я» следует выбросить (считал даже, что не нужно указывать имени автора),— и вдруг после того, как

Смольный
ринулся
к рабочим в Берлине
и
Поднялся,
Шагает по Европе.
и
пронесся
к шахтерам калифорнийским...

меня больше всего ошеломило:

. А этому
я,
Маяковский,
свидетель.

Я понял тогда, что и в революционной поэзии, если «я» является достойной частью «мы», оно не противоречит ему.

Эти два стихотворения взяли меня за руки. И повели.

III

В ноябре 1927 года под председательством Луначарского состоялась первая конференция Международного бюро революционных писателей.

Тогда я жил уже в Москве.

Страна готовилась отмечать свое десятилетие.

Десять лет!

Моему поколению никогда не забыть этого чувства.

Мы, иностранные писатели, выступали на разных вечерах. Мне достались Покровские казармы. Было это, кажется, 6 ноября.

Зима в том году наступила рано. Даже ртутные столбики градусников мерзли и старались спрятаться как можно глубже.

Утром шел снег. Потом проглядывали голубые небеса: московские крыши ослепительно сияли под солнцем, но ни одна снежинка не таяла. Наоборот, казалось, их отшлифовали солнечные лучи, и потому они так ярко блестели.

Темнело рано.

Я пришел в Покровские казармы.

Провели меня в большую комнату. Там было несколько командиров с ромбами на петлицах, писатели и актеры.

Все пили чай. Ждали начала вечера.

И вдруг, отшвырнув в сторону дверь, вошел огромного роста человек с папиросой в зубах.

Никому не подал руки, но, словно извиняясь, поклонился во все стороны и пошел шагать взад-вперед по комнате.

Наконец остановился у стены, и тут все его обступили.

Начался оживленный разговор.

Я представился ему.

— Маяковский,— сказал он в ответ.

— Знаю,— сказал я.— Я уже встречался с вами.

— Когда, где? — спросил он с интересом.

— В двадцать втором году, в Кошице.

— А я там никогда не бывал,— хмуро глянул он на меня.

— Со стихами вашими встречался. В венгерском переводе.

Он передвигал губами папиросу с длинным мундштуком из одного уголка рта в другой. Хотел, видно, спросить еще что-то. Но за нами пришли, и мы отправились на сцену.

В зрительном зале сидело около тысячи бритоголовых красноармейцев.

Председатель объявил:

— Маяковский.

Потушив окурок о пепельницу, он встал и пошел... не к трибуне. Остановился у края сцены. И заговорил. Я услышал название: «Хорошо!».

Я
земной шар
чуть не весь
обошел,—
и жизнь
хороша
и жить
хорошо...

Он вытянул левую руку, поднял большой палец и правой рукой стал что-то сыпать на него.

Я не знал еще тогда, что это значит.

Но тут поднялся такой вихрь аплодисментов, какой только тысяча молодых красноармейцев может выбить крепкими ладонями.

В губах Маяковского снова дымилась папироса с длинным мундштуком. Председатель указал на пустой стул рядом с собой. Но Маяковский замотал головой, пошел прочь со сцены. Видно, торопился.

И, быть может, уже двадцать минут спустя читал в другом зале другим людям:

Дул,
как всегда,
октябрь
ветрáми...

IV

Через несколько дней я ехал в трамвае.

Жил я тогда на Нижней Радищевской, в бывшем здании школы.

Дело близилось к полуночи, в вагоне почти никого не было.

И вдруг вижу — стоит Маяковский: почти горизонтально вытянув руку, держится за перекладину под потолком и что-то бормочет, бормочет.

Окликнуть?

Нет!

Сошли с трамвая.

Я остановился, и он пошел по Таганке.

А я стоял и смотрел ему вслед, и показалось мне, будто в нарушение всех законов перспективы, чем дальше он уходит по безлюдной улице, тем больше вырастает его фигура.

Этот закон обратной перспективы действует и до сих пор.

Чем дальше Маяковский от меня во времени, тем он становится громаднее. И тем острее боль.

Меня будто бичом хлестнули по лицу в тот апрельский день.

Маяковский застрелился!

Почему?

Взволнованные, шли мы с Бела Куном по улице Герцена.

— Как же он мог? — спросил я его.

— Да, этого уже не поправишь, этого уже не поправишь,— твердил Бела Кун и вдруг замолк.

А я все говорил, и говорил, и сердился, и осуждал, и не мог понять. Подошли к Никитским воротам. Потом показалась уже Кудринская площадь, а я все говорил...

И вот тогда Бела Кун — а он знал, понимал и любил Маяковского — сказал мне:

— Вы лучше прочитайте «Про это».— И начал читать мне сам.

Ваш
тридцатый век
обгонит стаи
сердце раздиравших мелочей.
Нынче недолюбленное
наверстаем
звездностью бесчисленных ночей.
Воскреси
хотя б за то,
что я
поэтом
ждал тебя,
откинул будничную чушь!
Воскреси меня
хотя б за это!
Воскреси —
свое дожить хочу!..
...Чтоб день,
который горем старящ,
не христарадничать, моля.
Чтоб вся
на первый крик
товарищ!—
оборачивалась земля.

Быстро попрощавшись, Бела Кун ушел, а я направился домой и все повторял, как одержимый:

Чтоб вся
на первый крик
товарищ!

V

В 1945 году я засел за переводы стихов Маяковского. Считая это долгом сердца. Бывали дни, когда я больше десяти строк сделать не мог: «нажал — и сломал», и приходилось начинать сызнова. Вот тут-то я и узнал Маяковского по-настоящему, причем тогда, когда, закончив переводы, стал читать снова его стихи в оригинале.

Я понял, что Маяковский такой поэт, которого никому никогда не удастся передать в совершенстве.

Однако кое-каких успехов я добился.

Самым забавным было следующее. В 1946 году в венгерских католических школах (тогда они еще существовали) кардинал Миндсенти запретил ученикам выступать с чтением стихотворения «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру», мотивируя это тем, что школьникам, и особенно девицам, неприлично читать стихотворение про голого мужчину в ванной.

Я — переводчик этого стихотворения — опускаю свои грешные глаза, ибо это не-

приличие мирское распространилось за последние годы.

Пятьдесят миллионов мужчин и женщин, мальчиков и девочек голые плещутся в ваннах новых домов, и сыплет на них

прохладный дождик-душ
из дырчатой
железной тучки.

Ничего не поделаешь! Стихи Маяковского живут и работают.

Не стареет тот, кто «сердце флагом поднял», «чтоб в лето зимы, воду в вино превращать мог».

Он был убежденным жителем своего времени, потому-то и выправил себе «на бессмертье билет», потому-то и живет среди нас, как самый живой из всех живых.

Закончив переводы, я начал писать поэму о Маяковском. Поэма так и осталась недописанной. Лежит, увеличивая список моих долгов. И тревожит. Впрочем, эта тревога и есть ремесло поэта. А может быть, и любое ремесло.

Тому, что уже готово, счет ведут другие, то, что еще не сделано, мучает, заботит тебя самого.

VI

Эти строки я пишу в Москве, куда приезжаю сейчас «в гости», после того как больше тридцати лет был здесь дома.

На дворе апрель. Весна запаздывает. Ночью еще морозы, но днем уже тает.

Из дворов выбегают на улицу бурливые ручейки.

Бреду по Садовой.

Пригревает солнце, и я снимаю перед ним шляпу.

Дохожу до площади, которую некогда звали Садово-Триумфальной.

И вдруг вижу — стоит кто-то: подросток и мужчина, поэт и рабочий, русский и интернационалист.

Протягивает руку.

Нет, он не остался в долгу ни перед багдадскими небесами, ни перед Красной Армией, ни перед вишнями Японии.

Мы перед ним в долгу.

И уже уходя от него по Садовому кольцу, я оглядываюсь и вижу: опять, нарушая законы перспективы, как и в ту ночь на Таганке, все больше и больше становится он —

Маяковский.

ГУГО ГУППЕРТ

ГЛАШАТАЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

I

Однажды я уже пытался изложить свои воспоминания о знакомстве и встречах с Владимиром Маяковским. Тогда это было сделано устно. В четверг, 13 февраля 1941 года, после того, как в «Правде» появилась статья Льва Никулина о первом томе моих переводов Маяковского на немецкий язык («Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!»), меня пригласил к себе Георгий Михайлович Димитров. Он одобрительно отозвался о моей работе и добавил; что при переводах Маяковского важно не только «сохранить поэтическое своеобразие стиха», но и «передать его политическую энергию». Осведомившись о моих дальнейших планах, он предложил вместо предусмотренных «Международной книгой» трех томов выпустить пятитомное издание Маяковского на немецком языке и пообещал лично оказать всю необходимую организационную помощь этому важнейшему начинанию. Давно назрела пора включить наследие Маяковского в арсенал немецких антифашистов; более того, очень важно, чтобы прогрессивная немецкая литература подкрепилась и обогатилась опытом лучшего, талантливейшего советского поэта.

Димитров тут же набросал примерное содержание последующих трех томов (второй в это время был уже подготовлен), подчеркнув при этом, что весьма полезно включить статью «Как делать стихи», путевые очерки и некоторые выступления Маяковского.

Маяковский, сказал он далее, еще до того, как были сделаны первые попытки перевода его стихов, оказывал за границей — в Болгарии, да и в других славянских странах — весьма благотворное влияние своим примером: ведь в его личности гармонично слились поэт и политический борец, и от этого его искусство не только не пострадало, а, наоборот, обрело еще большую силу.

Я добавил. что в Австрии и Германии именно это обстоятельство уже в начале двадцатых годов произвело на поэтов и читателей огромное впечатление; вокруг име-

ни Маяковского возникли легенды. Появление поэта-трибуна социалистической революции стимулировало борьбу с экспрессионистской экзальтированностью, воодушевляло рабочих поэтов.

Беседа с Димитровым произвела на меня неизгладимое впечатление. Она показала не только его глубокое понимание чисто «профессиональных» вопросов поэтического творчества, но и свидетельствовала о том, что Димитров был превосходным знатоком творчества Маяковского и живо интересовался проблемой международного влияния классика социалистической поэзии.

Помнится, на каком-то этапе беседы Димитров упомянул о молодом болгарском поэте Николе Вапцарове, которого он высоко ценил. Знакомство со стихами Маяковского помогло Вапцарову, в прошлом кочегару, стать поэтом. Впервые в болгарской поэзии он использовал творческие методы Маяковского и стал благодаря этому учителем поэтической молодежи.

Нет нужды говорить о том, насколько участие Димитрова окрылило меня в моей дальнейшей большой и сложной работе над переводами Маяковского. После этой беседы я неоднократно чувствовал его поддержку.

II

В Австрии и Германии, как, наверно, и в большинстве других стран Западной Европы, Маяковский в кругах демократически настроенной интеллигенции начала двадцатых годов был популярен не как автор новаторских произведений, а как живая, действующая личность, как непосредственный участник русской революции. Первые газетные — случайные и очень слабые — переводы на немецкий язык отдельных стихов Маяковского, таких как «Приказ по армии искусств» и «Левый марш», появились позже.

Когда летом 1928 года, во время Конгресса Коминтерна, я впервые лично познакомился с Маяковским и сказал ему об этом его необычном, «внелитературном» влиянии, он вовсе не удивился. «Что вы хотите,— заметил он спокойно, но не без гордости,— все это в порядке вещей. С 1917 года события в России заглушают самые лучшие русские стихи».

Я рассказал ему, какой переворот в моей душе произвело первое же знакомство с его поэзией — «Необычайным приключением», «Прозаседавшимися», «Облаком в штанах». Вначале я слышал его стихи на русском языке на вечерах, которые устраивали сотрудники советского торгпредства в Вене, приблизительно в 1923—1924 годах.

Чтобы понимать Маяковского, моих тогдашних знаний русского языка не хватало. Наполовину догадываясь, я с интересом и увлечением слушал, впитывал в себя его стихи, все казалось удивительным и новым. К тому времени я уже сам пописывал стихи и знакомился со славянской поэзией: изучал блестящую реалистическую лирику рано умершего чеха Иржи Волькера и, подбадриваемый моим товарищем по университету, болгарином, переводил стихи отважного поэта-героя Христо Ботева. Мне хотелось хотя бы начерно перевести сатирические стихи Маяковского о лорде Керзоне, Гуго Стиннесе, Раймоне Пуанкаре, Пилсудском, а также замечательное стихотворение «Комсомольская». Меня ошеломила и пленила поэзия Маяковского, полное слияние «прозаизмов» с тканью стиха, взрывная сила его метафор.

Когда в декабре 1925 года я приехал в Париж, где год учился в Сорбонне, в кругах моих советских товарищей по университету были еще свежи воспоминания о последнем пребывании Маяковского в Париже. Они арендовали для него актовый зал Океанографического института и устроили там литературный вечер, о триумфе которого рассказывали теперь взахлеб. Они сокрушались, что поэту не терпелось вернуться на родину и его нельзя было ни на час задержать в Париже. Они передавали его остроумные, полные сарказма рассказы о только что закончившемся путешествии по Америке. Прочитанные им новые стихотворения были, по их словам, «политическим обозрением двух противоположных миров».

В Париже я впервые читал со словарем отрывки из поэмы «Владимир Ильич Ленин». Среди прогрессивных литераторов и художников Франции имя Маяковского было уже тогда символом всего передового. Он, а не Есенин, чья смерть в те дни оживленно комментировалась, представлял в глазах парижской художественной интеллигенции поэзию новой России. Правда, в этой среде не все ясно понимали, что революция в искусстве может произойти только через искусство революции, они еще твердо верили в силу эстетско-формалистических экспериментов. С другой стороны, давали себя знать (хотя и в более слабой форме, чем в странах немецкого языка) «приступы» пролеткультовского нигилизма.

III

Те, кто думает, будто Маяковский в личном общении был шумлив и только и делал, что бушевал, явно неверно представляют себе облик поэта. Меня удивила и очаровала непередаваемая приветливость и теплота, даже нечто уютное в «домашнем» Маяковском, сердечность и сочувственное понимание, с каким он ведет разговор. Он производил огромное впечатление этим редким качеством — нежностью сильного. То была человеческая мудрость, и обнаруживалась она незаметно, а не в бурном словоизвержении. Тонкой, мягкой иронией окутывал он порой свою грубоватость, веселую гиперболу, которой так часто пользовался в разговоре. Никогда я не встречал человека, который бы так «заражал» духовно окружающих людей. Он не был «цитатчиком» — редко ссылался на каких-либо авторов или на признанные авторитеты в искусстве и науке. И тем не

менее всегда чувствовалась его осведомленность. Он все понимал, умел без какой-либо искусственности и штукарства раскрыть каждое явление с необычной, всегда новой стороны. По всей Москве ходили изречения Маяковского, его слова-бриллианты.

Он и в беседе оставался полемистом, но спорил не зло, без ненависти, «не кусаясь». После пяти минут разговора самый робкий собеседник терял всякий страх, мог даже позволить себе обнаружить свою слабость, так как смех Маяковского в личном общении был прежде всего добродушным, благожелательным. Поэт пускал в ход свои полные сарказма, смертельно разящие остроты — это вызывавшее страх оружие классового борца — лишь тогда, когда появлялся политический противник. В то же время он ненавидел самовлюбленное, беспредметное зубоскальство доморощенных остряков из литературной братии.

Если спросишь себя, какая черта проявлялась в нем сильнее всего, что было решающим в его характере, то без колебаний ответишь: абсолютная моральная чистота. Когда Маяковский протягивал кому-нибудь свою большую, сухую, но не жесткую руку, когда взгляд его становился внимательным и зрачки расширялись, когда после первых прощупывающих слов он находил точный и самый короткий путь к сердцу собеседника — вокруг сразу воцарялась атмосфера доверия, возникало то настроение, при котором широко раскрываются сердца. Только он мог достичь неповторимого слияния революции и поэзии, только он мог достичь того, что социализм стал душой поэзии. Лишь позже, после смерти Маяковского, я понял ясно: он был глашатаем коммунистической культуры.

Маяковский и сегодня живет в странах немецкого языка, как певец высокой культуры и духовного обновления, как полпред правды, как могучий борец за демократию и мир.

Обо всем этом я думал в ту минуту, когда 10 декабря 1950 года мне подали книгу почетных гостей села Багдади. Мне припомнился тогда завет Димитрова, и я записал в этой книге: «Осуществилась давняя мечта моей жизни — хотя бы час провести под этой скромной крышей, где появился на свет гений социалистической поэзии. Владимир Владимирович, когда-то, более тридцати лет тому назад, я обещал тебе выпустить первое немецкое издание твоих произведений. Сегодня, здесь, я рапортую: молодежь демократической Германии и передовая молодежь Австрии читает тебя, любит тебя и живет твоими идеалами. Вечно шумит перед домом Ханис-Цкали, звучит твое имя, и дело твое живет в сердцах народов».

РЕДКАЯ ФОТОГРАФИЯ

В. В. МАЯКОВСКИЙ В МЕКСИКЕ

Во время пребывания в Мексике, в 1925 году, Владимир Маяковский встречался со многими деятелями мексиканской культуры, группировавшимися вокруг прогрессивного литературного журнала «Анторча» («Факел»). Редакции этого журнала поэт подарил свою фотографию с надписью: «Анторче. В. Маяковский». На обороте снимка указано: «Суббота, 25 июля 1925 года, Мехико».

На второй фотографии — Маяковский на террасе советского полпредства в Мехико.

(Оба снимка хранятся в архиве мексиканского ученого, философа Самуэля Рамоса.)

Из путевого альбома

Н. ЖУКОВ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В 1956 году я был впервые в Италии в туристской поездке. Срок малый, всего две недели. Мы побывали в Риме, Венеции, Милане, во Флоренции. Поездка возбудила во мне как в художнике желание еще раз побывать там.

И вот в конце сентября 1962 года состоялось второе путешествие. Мне повезло. Я ехал в составе небольшой группы художников и искусствоведов в творческую командировку на целых два месяца.

■

Рим начинается с вокзала, занимающего огромную площадь. Построен вокзал умно, талантливо и каждого приезжего удивляет своей легкостью и прозрачностью. Очень интересен его бетонный козырек, что выходит на привокзальную площадь и тянется на всем протяжении здания более чем на 200 метров, не нуждаясь ни в одной опоре. Это чудо строительной техники.

В столице Италии можно встретить и современные здания и образцы античного зодчества. В Риме много памятников древней истории — Пантеон, Форум, Колизей. Здесь с особенной ясностью понимаешь, что в искусстве начало начал — это Греция и Рим. Там люди создавали поразительные шедевры, которыми мы восхищаемся и сейчас.

Прошли века. Многое в архитектуре, скульптуре, мозаике, фресках дошло до наших дней. Время неизбежно разрушает произведения искусства. Но и лишенные первоначальной завершенности, творения великих мастеров нисколько не утеряли изумительной эстетической ценности. Более того, глядя, например, на Венеру Милосскую, невольно думаешь: что произойдет, если сейчас даже самые искусные ваятели «сочинят» отсутствующие у нее руки? Лично я убежден, что сила прекрасного этой бессмертной скульптуры не увеличится, наоборот, нарушится, исчезнет ощущение необычайной гармонии, поражающей многие поколения. Эта мысль возникала у меня часто, когда я знакомился с удивительными скульптурными и архитектурными памятниками Римской истории.

В столице Италии есть музей Терм. Высота этого здания всего 40 с лишним метров, но, когда входишь в музей, он кажется невероятно высоким, словно небоскреб. Такое впечатление создается всеми взаимно согласованными элементами архитектурного ансамбля, его стройными пропорциями, что и составляет «секрет» гениальных зодчих древности. То же можно сказать и о римском Пантеоне: снаружи это здание представляется небольшим, а когда смотришь внутри на купол, то кажется, что над головой целое небо...

В Риме много спусков и крутых поворотов, а итальянцы ездят на машинах лихо и беспощадно пользуются тормозами, поэтому то и дело слышится скрип и скрежет буксов. Вечерние огни к лицу современному Риму. Он оживляется, шумит, ликует, обобщаются могучие силуэты соборов, крепостей, стен, которые днем могут показаться громоздкими.

Город смотрится и снизу и сверху, он везде широкий, сильный. Город, который может поспорить с Парижем, когда речь зайдет о любви и сильных страстях, ревности и измене, клевете и прощении. Рим также город удивительного почтения к традициям. Приведу хотя бы один пример. Римское кафе «Греко» существует с 1760 года и хранит почти с самого основания книги записей для посетителей. Здесь бывали Гёте, Гольдони, Вагнер, Россини, Гоголь, Бизе, Достоевский, Берлиоз, Коро, Гуно, Марк Твен, Мицкевич, Александр Иванов и многие, многие другие. Кафе оформлено рисунками и картинами дорогих гостей. На всем лежит печать старины, и все это не может не волновать современного человека.

■

От собора святого Петра на многие кварталы растянулись магазины и ларьки, принадлежащие Ватикану. Торговля идет не бойко, хотя сделано все, чтобы были прибыли. У всех вызывает возмущение, почему здесь, в Италии, где превосходная полиграфия, в Ватикане продают вульгарно раскрашенные фотографии произведений Микеланджело и других великих живописцев мира.

Бродя по улицам столицы Италии, я видел множество своеобразных сценок, которые подсказывали темы для будущих рисунков. В конце дня на улицах Рима скопища машин, порой видны одни их верха, и из гущи этих лакированных спин лишь торчат уши лошади, котелок извозчика и его кнут. Много юрких мотоциклов, на которых сидят по несколько человек. Я наблюдал, как на мотоцикле ехала целая семья. Между широкой и сильной спиной отца и грузной матерью, сдавленный с обеих сторон, прижавшись щекой к отцу, сидел сынишка. Его испуганные глаза отражали весь ужас перенасыщенной движением улицы. Я запомнил его лицо, как символический образ века.

На одном из мостов на перекрестке дорог взглянул вверх. Густая паутина троллейбусных проводов, а за ними видна скульптура летящего ангела. Летит он на фоне неба, но сетка проводов загораживает, не дает ему спуститься на землю. А вот проехала машина, груженная коровьими тушами. Освежеванные туши были воткнуты в кузов машины ногами к небу и словно упирались в провода.

В Сикстинской капелле у меня родилась мысль создать триптих. Я не предрешаю сейчас, на каком материале это должно быть сделано, но идея его такова: левая часть триптиха должна изображать зрителей, с восторгом смотрящих на роспись потолка — «Сотворение мира» Микеланджело. Люди озарены светом, созерцание искусства делает их чище, духовно возвышенней, счастливей, добрее. В их глазах — возникновение любви, радость открытия, удивление мудростью и щедростью жизни, познания...

Средняя часть триптиха — война, разрушение. Люди смотрят вверх так, как это делали в годы минувшей войны,— со страхом и ужасом,— смотрят на летящие самолеты, несущие смертоносный груз. И третья часть триптиха, создающая равновесие с левой его частью,— это сегодняшний день, когда человечество и с радостью и с опасением смотрит на ракеты и спутники, взмывающие в небесные дали и создающие соблазнительные и вместе с тем угрожающие перспективы, потому что ракеты находятся не только в руках советского народа, но и у тех, кто пытается ввергнуть человечество в пучину войны.

■

В музее Палаццо Дориа находится портрет папы Иннокентия — шедевр Веласкеса, известный всему миру. Он помещен сейчас в отдельном зале, огорожен решеткой, и к нему относятся как к святыне. Я второй раз вижу этот портрет — он принадлежит к разряду произведений, на которые чем дольше смотришь, тем больше они тебя очаровывают и озадачивают тайной искусства, непостижимой мудростью таланта.

Можно без конца восхищаться творением Веласкеса, но все-таки становится обидно, что многие произведения портретного жанра, принадлежащие живописцам русской школы, такие, например, как портреты, созданные Серовым, Суриковым, Репиным, Архиповым, Малявиным, Нестеровым, Врубелем, и также равные чуду искусства, неизвестны; более того, их даже частенько зачеркивают как «русскую школу», а ведь многие из них вполне могли бы выдержать сравнение с лучшими портретами художников мировой школы.

В Капитолийском музее есть экспонаты, известные всему миру и в истории искусств значащиеся как шедевры. Например, скульптура «Умирающий гладиатор». Однако при внимательном изучении кажется, что этому произведению просто повезло. Кто-то поспешил сказать о его высоких достоинствах, и пошел наматываться клубок незаслуженных похвал. Опровергать же установившееся мнение ни у кого не хватает смелости. А вещь эта явно слабая, лишенная подлинной жизни.

По воскресеньям с утра мы ходили с художником Кибриком к памятнику Гарибальди и рисовали на бульваре ребятишек, смотрящих старого народного Петрушку. Мы располагались на скамейке под тенью густого платана и рисовали в течение нескольких часов. Представление идет минут пятнадцать, затем трехминутный перерыв, и опять все начинается сначала. В перерывах кто-то из показывающих Петрушку ходит с тарелкой собирать деньги.

На улицах часто можно увидеть рисующих художников, но к их труду, как мне приходилось наблюдать, отношение довольно равнодушное. Встретили мы как-то молодого художника, который темпераментно размазывал пастель на листе превосходной бумаги и любовался образующимся цветным хаосом. Он скоро познакомился с нами и, не дожидаясь, что мы скажем о его «творчестве», принялся повторять: «Модерна, модерна!» А весь модерн заключался, по его мнению, в том, что зеленое он изображал фиолетовым, а фиолетовое — красным, форма и рисунок для него вообще не существовали

Нам, приезжим художникам, работать на улице трудно, особенно когда не знаешь языка. Вспоминаю, как в Венеции я остановился в очень красивом, очень оживленном месте. Расположился, канал был рядом. Работал часа три, но сильно мешал поток прохожих, часто останавливавшихся, загораживавших канал. Все это меня крайне возмущало и раздражало, а такое состояние очень мешает работе. Я все боялся, что меня примут за бродячего художника и кто-нибудь кинет мне «на бедность» лир сто, но все обошлось благополучно.

Современные художники Италии живут и творят в стране, где их предками создано искусство, которое заслуженно приобрело мировую славу.

Испытывая естественную гордость за это великое наследие, художники с горечью вынуждены признать, что значение искусства в Италии сегодня стало совсем иным, что роль художника в буржуазном обществе невероятно принижена. Иным, увы, стал и уровень многих произведений живописи, скульптуры.

Когда смотришь на богатство старинной архитектуры, живописи и скульптуры, сосредоточенное во дворцах и храмах, то поражаешься, сколько прекрасных мастеров веками создавали подобные шедевры. Эти мастера занимали видное место в обществе, играли важную роль в жизни. По какой стремительно восходящей линии развивалось искусство XIII, XIV, XV веков! Художники того времени изумительно владели рисунком и композицией. А какой трепетный восторг вызывала у них жизнь во всей ее многогранности, как возвышенно и чисто умели они видеть красоту человеческого тела и запечатлели эту красоту на холсте, в мраморе, камне.

Нынче в Италии, как и везде, встречаешь разных художников. Однажды во Флоренции мы попали на интересную выставку, устроенную на бульваре. Картины располагались по кругу, образуя своеобразный барьер сквера. Большинство художников являлось приверженцами реалистической школы. Абстракционисты были в значительном меньшинстве. Тут можно было познакомиться с творчеством и молодых и старых, новичков и маститых. Каждая картина была на примитивном мольберте: палка с кронштейном, а сверху прикреплен софит и чехол от дождя. Публика гуляла по скверу и осматривала живопись.

Организация подобной выставки поразила нас просто-

Ученик гондольера

той мысли и демократичностью. Значительно менее приятное впечатление произвела на нас пресловутая Всемирная выставка изобразительного искусства — биеннале в Венеции. Впрочем, не буду повторяться, о ней уже достаточно обстоятельно рассказывалось.

В том же помещении, где экспонируется бесстыдная мазня абстракционистов, находится и персональная выставка американского художника Марка Ротко. Признаюсь, такого шарлатана я вижу впервые. Семь огромных залов завешены многометровыми холстами, которые напоминают примитивные мазки обычного маляра, подбирающего колер на стенах. К тому же здесь этот колер вовсе не подходит. Обширен стал мир сумасшедших. То, что мы увидели,— это уже полное вырождение искусства, но его рекламируют. Говорят, что художник Ротко — миллионер и что работы его есть в частных собраниях и в государственных галереях...

Один симпатичный служащий музея показал нам закрытый раздел живописи и скульптуры итальянского искусства XIX века. Закрыт он сейчас, как нам объяснили, из-за отсутствия обслуживающего персонала — все ушли в отпуск, и это в разгар туризма. А раздел абстрактной белиберды открыт. Несмотря на дневное время, тут было всего человек 10—12, да и то каких-то странных, нечесаных людей, по-видимому, того же сорта, что и авторы картин.

■

Венеция... Само звучание этого слова как бы выражает цвет, свет, музыку неповторимого города. Искусство стекла, переливчатые краски изделий из него, так обильно заполняющих город, отражают сверкание солнца, блеск воды, голубизну неба. Снова мне довелось увидеть эти тихие каналы с легкими гондолами и красавцами гондольерами. Город, где нет машин, нет запаха бензина, нет фырканья мотоциклов, а есть только перезвон колоколов. Венеция — это чрево красоты, где должно было родиться великое искусство, и оно родилось. Были в церкви Дэнфрари, поклонились могиле Тициана. Поражались величию его «Вознесения богоматери». Вечерами Венеция так же прекрасна, может быть, даже еще интереснее.

Однажды видел свадебный кортеж на гондолах. Это восхитительно красочно. Большего зрительного пиршества я в жизни не видел. Гондола черная, элегантная, принимающая все рефлексы солнечного неба. Гондольеры в белых костюмах, в полосатых тельняшках, на бедрах широкие красные ленты с золотом. Сиденье жениха и невесты изумрудно-зеленое, невеста, утопающая в цветах, в белой фате. Весла гондольеров перевиты белыми и красными полосами, под их ногами ковры. Вода, играя отражением черных силуэтов гондол и белых силуэтов гондольеров, образует удивительную цветовую симфонию, вызывающую восторг.

Но вот настал день, когда не было солнца, и Венеция сразу померкла.

Здесь я особенно люблю солнце, оно словно надевает на город бальное платье, и тогда Венеция радуется. Она создана для туриста, приезжающего сюда, как в гости, на елку. А жить в Венеции трудно. Этот город чересчур сладок, приторен, быстро надоедает. В первый день художник Грицай восторженно бегал по улицам, восхищаясь всем, а уже дня через два он уныло таскал свой этюдник с места на место, все что-то казалось ему не тем, и он стал поговаривать о родных березках, милых сердцу полях, о русском пейзаже. Пейзаж средней России действительно хорош, как вкусный, никогда не надоедающий хлеб. В связи с этим вспоминаю художника Пластова. Он также был поражен всем виденным в Италии, но еще дома знал, что безусловно будет скучать по родине, поэтому захватил с собой... пучок полыни и все время носил его в кармане. Потрет пальцами, понюхает и улыбнется, вроде как уже и на родной земле побывал.

Мне удалось повидать типичных венецианцев и сделать их портреты. Однажды я встретил старого гондольера, он был необычайно интересен и колоритен. Я писал его портрет в гондоле. Мимо взад и вперед сновали моторки с туристами, разводя волну и раскачивая гондолу. Они изрядно мешали мне работать. Старался я изо всех сил. Вся жизнь старого гондольера прошла здесь, на канале. Еще мальчиком он стал учиться этому ремеслу, а сейчас ему уже 76 лет, и он еще работает. Он пропитан ветром, солнцем, водой. На носу его гондолы горят, как огни, алые гвоздики. «Натурально, профессор»,— сказал гондольер, когда я показал ему результат часовой работы. Он был доволен, подвез меня к причалу, сердечно распрощался. Уходя, мы видели, как в его гондолу сели священники. Мне объяснили, что из экономии святые отцы сознательно выбирают старика, они ему платят меньше.

Выше всех

На выставке модернистского искусства

Конкуренты

Продавщица
арбузов

Рядом с гостиницей, где мы живем, мое внимание привлек продавец газеты «Вечерняя Венеция». Писал его портрет с увлечением. Когда я нес эту акварель домой, служащие гостиницы стали звать своих друзей и тепло говорили: «Руссо буоно!» Приятно, когда искусство роднит сердца.

Уборщица нашей комнаты хочет, чтобы я ее нарисовал, так она раза три убирает комнату и чаще меняет белье. Трогательно все это. За время пребывания в Италии я сделал и подарил там не менее двадцати рисунков. Встретил, например, одного художника, пишет пейзаж на улице. Я остановился и минут за десять сделал рисунок пером. За это время собралась толпа. Художник попросил меня показать рисунок, и я подарил ему свой набросок, чем вызвал бурную реакцию: он обнял меня, расцеловал и долго говорил мне по-итальянски какие-то горячие слова. Мой новый друг подарил мне репродукцию одной из своих работ.

■

Мне кажется, чтобы хорошо понять Италию, ее социальную действительность со всеми классовыми противоречиями, надо прежде всего

Современная мадонна

побывать в Неаполе, походить по улицам и переулкам. Какая тут обильная пища для наблюдений! Начну с вокзала.

Здание вокзала какое-то колючее, беспокойное, ультрасовременной архитектуры. На каждом шагу вас хватают агенты отелей, предлагая свои услуги. Мы успели миновать лишь одну вокзальную площадь, а нам уже предложили все что хотите: от расчесок — до радиоприемников и загородных отелей. Отели здесь на каждом шагу. Мы решили зайти в первый попавшийся. Номера гостиницы перемежаются с частными квартирами, где живет беднота, так что здесь мы сразу, так сказать, проверили реалистичность многих итальянских фильмов.

На каждом шагу магазины в несколько этажей, где невообразимое изобилие, и тут же вопиющая нищета, беззащитная, кричащая беднота, живущая случайным заработком. Рядом с игрушками торгуют средствами от мозолей и демонстрируют уродливые ноги, воздушные шары и унитазы, тут же продают в клетке живых кур, а рядом висят бараньи кишки и тончайшие кружева. Вы идете по улице, и вас повсюду преследуют

Деловые люди

У газетного киоска

самые различные запахи. Уехал один продавец, оставил после себя кучу мусора и грязи, а на его месте уже появился другой, и никто мусора не убирает.

Бедность, нищета на каждом шагу. В подземном тунеле для пешеходов отец играет на аккордеоне и поет, а бедный сынишка спит на камне. Продавец на улице демонстрирует забавные игрушки, а его маленький сын-калека с металлическим протезом грустно смотрит на то, что вызывает у людей смех. Дети повсюду втянуты в эту сложную жизнь, занимаются продажей пустых бутылок, режутся в карты, они в курсе секретов старших, что-то везут, несут, тащат, роются в мусоре. Их здесь страшно много. А едва выйдешь из переулка, где на тебя только что капало с мокрого белья, вокруг ослепительные витрины, поток машин, изобилие города-миллионера. Здесь страшно жить. Страшно даже все это видеть.

■

На следующее утро поехали в Национальный музей живописи. Расположен он на высоком холме и представляет большой интерес уникальным собранием картин. Гвоздем этого собрания является зал Тициана и портрет папы Павла III. Думаю, что по мастерству живописи и портретной глубине эта работа не уступает веласке-

Ловцы душ

СТАРЫЙ
ГОНДОЛЬЕР

В ВЕНЕЦИИ

ПРОДАВЕЦ ГАЗЕТ

Философы

В парке

Петрушка

совскому папе. Хороши два портрета Гойи, ранние портреты Эль Греко, два — Риберы. Отличное собрание ранних итальянцев — Мозаччио, Филиппо Липпи, Беллини и других.

Экспозиция сделана умно, архитектура и свет современны. Из окон открывается великолепный вид на новый город. Второй этаж музея посвящен произведениям XIX века. Здесь итальянцы, несомненно, уступают великим русским мастерам. А ведь часто приходится от европейской публики слышать, что в России в XIX веке живописи не было. Кое-кто и у нас поддакивал этой невежественной болтовне.

Назад из музея шли пешком, спускаясь по узким переулкам. Бельем завешено все небо. Кажется, что если снять все белье с Неаполя,

Хозяйки Рима

то в него можно одеть человечество. Остается загадкой, почему его так много, казалось бы, неаполь-цы должны быть особенно чистыми, а они, наоборот, не отличаются этим. Вечером снова ходили по улицам. Ремесленный и торговый люд, типажи потрясают воображение художника. Все впечатления, уже накопленные в Италии, меркнут перед увиденным за эти два дня в Неаполе.

■

Настал день отъезда. Проведенные в Италии два месяца были необычайно емкими, вместили массу впечатлений. Даже в последний день я продолжал делать наброски на улице, бродил по Риму, прощался с полюбившимися местами. К вечеру вернулся Грицай и рассказывал, что оказался свидетелем фашистской демонстрации.

...И вот мы в пути. Утром миновали границу Италии и целый день ехали по Австрии. Поезд пересекал границы стран, как перекрестки улиц. Вот уже осталась позади Чехословакия, и в вагон вошли поляки. В Брест прибыли ночью.

До чего же приятно было наконец снова услышать русскую речь!

Одиночество

Дорожный рабочий

ЛОРЕЙН ХЭНСБЕРРИ

ВРЕМЯ БРОСАЕТ ВАМ ВЫЗОВ, ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ

Мне давно уже не доводилось выступать, и самый этот факт знаменателен: он тесно связан с тем, о чем мне хотелось бы поговорить сегодня.

Неделю назад я сидела за пишущей машинкой и заканчивала работу над одной из сцен своей новой пьесы. В этой сцене персонаж — немецкий романист — пытается растолковать другому персонажу — американскому интеллигенту,— почему значительная часть немецкой интеллигенции покорилась нацизму. Вот что он говорит: «В обмен на наше молчание, они (нацисты) позволяли нам тешить себя иллюзией, будто мы ни к чему не причастны, будто мы всего-навсего сторонние наблюдатели — хотя и терзаемся в душе; будто мы не имеем ровно никакого отношения к гнусностям, которые творят от нашего имени».

Едва я дописала эту фразу, как у меня зазвонил телефон. В трубке послышался голос д-ра Отто Натана. Он спрашивал уже не вымышленного немецкого писателя, а вполне конкретную американскую писательницу, не желает ли она доказать, что является дочерью своего времени и своего народа, а для этого выступить на сегодняшнем митинге. Выступить и поддержать тех, кто делает очень нужное дело — решительно осуждает затянувшийся фарс, тоже весьма гнусный, но уже на *американский* манер.

Это была та самая достоверность ситуации, которую драматурги любят на сцене, но, как и все смертные, недолюбливают в жизни. Словом, как бы то ни было — я здесь.

Вот что мне хочется сказать. В нашем мире человек может уединиться, обособиться: можно уехать в какое-нибудь тихое место и смотреть в газетах только картинки, а читать только статьи театральных и музыкальных рецензентов. А потом в одно прекрасное утро проснуться и увидеть, что лучшие представители народа — все там же, где мы их видели в последний раз: отстаивают наши с вами конституционные права в американских судах и перед всевозможными комиссиями.

Вот мне и кажется, что интересно было бы поговорить о том, какую позицию занимают наши художники в нынешней борьбе. Конечно, кое-кого из них мы видим и слышим. Такие серьезные актрисы, как Шелли Уинтерс и Джули Харрис, или такой умный комедийный актер, как Стив Аллен, принимают участие в борьбе за мир — в той или иной ее форме, а Сидней Пуатье и Гарри Белафонте внесли серьезный вклад в борьбу за права негров. Но другие художники, подавляющее большинство — они-то где?

Боюсь, что именно там, где их во все времена хотели держать взаперти власть имущие,— в своих студиях. Большая же часть погружена в размышления, которые им самим кажутся очень важными,— например, в чем смысл жизни, или еще что-нибудь в том

Текст выступления на митинге в Нью-Йорке в конце 1962 года.

же духе. На мой взгляд, отрешенность эта — прямой и косвенный результат маккартизма во всех его формах, а также многолетних усилий таких органов, как Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Я считаю, что гнетущая атмосфера страха, которая, как нас в годы моей юности справедливо предупреждали мудрые люди, пагубно скажется на нашей культуре, по существу, уже сделала свое дело. Отказ от изображения действительности в современном искусстве США — теперь не просто нелепая угроза. Это реальный факт.

Если мои коллеги — деятели культуры, принадлежащие к одному поколению со мной,— и пытаются найти истинные причины эксплуатации человека человеком, нищеты и отчаяния, то поиски свои они ведут где угодно, только не в жизни, которая сформировала их как художников. Обнаружив, что в мире нет гармонии, они — по крайней мере некоторые из них — заодно решили, что он вообще не реален и уж исправить его, во всяком случае, свыше человеческих сил. Твердо решив: жизнь нелепа, они пока еще не пришли к заключению, что задача мыслящего человека всячески содействовать тому, чтобы из нелепой она стала целенаправленной и разумной. В большинстве своем они еще не осознали, что одного только неприятия жизни — такой, какая она есть,— недостаточно; что просто оставаться человеком, не превращаясь в «носорога» *, тоже недостаточно; что заменить беспочвенные, утопические иллюзии вульгарной, дешевой и мелкой философией приспособленчества — тем более недостаточно. Короче говоря, они пока еще не пришли к мысли, что для художника — и в этом наивысшая творческая радость — важнее всего выразить свое представление о том, какой может стать жизнь. Они стараются убедить себя, что их капитуляция есть не что иное, как попытка бунта, попытка осудить что-то — неизвестно что; попытка занять какую-то позицию, отвергая тот мир, который, с их точки зрения, представляет собой дом терпимости. Разумеется, я говорю главным образом о писателях моего поколения. Это они — те художники, от которых мы должны ждать книг, выражающих чаяния людей и способствующих их облагораживанию, это они пока не хотят признать, что если мир, в котором они живут, и вправду дом терпимости, то ведь кто-то его таким сделал, а раз он создание рук человеческих, значит, человек может и перестроить его своими руками. И что все, что человек создает, делает, осмысливает, можно создать заново, переделать и с еще большим успехом — переосмыслить. Но, повторяю, всякого, кто в наши дни осмелится хотя бы думать так, сочтут донельзя простодушным.

А почему, собственно? Вопрос этот имеет самое непосредственное отношение к нашему сегодняшнему собранию. Дело в том, что писатели, которых я имею в виду, принадлежат в основном к моему поколению. А это значит — к поколению, которое систематически обманывали в эпоху маккартизма в конце сороковых и в пятидесятых годах. Нам беспрестанно предъявляли требования, которые не могли не искалечить души молодых: чтобы мы помалкивали, пребывали в неведении, не высказывали крамольных мыслей, были уступчивы, а самое главное — покорно воспринимали те так называемые идеи, которые, по существу, представляют собой духовные отбросы эпохи. Нам внушали, что всякий наш призыв к изменению мира — всего-навсего выражение невротических комплексов, подсознательного недовольства, вызванного тем, что некогда наши матери взяли верх над отцами, или еще что-нибудь в этом роде. Нам твердили (и это в наш-то век, который будет славен тем, что столь многим он принес избавление от гнета), что угнетение в себе всех импульсов, побуждающих протестовать против войны,— единственная достойная и оправданная форма угнетения, какая еще сохранилась под луной.

С теми представителями моего поколения, кто пошел в промышленность и в науку, дело обстоит еще проще. Если студент участвовал не в тех дискуссиях, какие разрешались, и подписывал не те петиции, какие нужно, ему попросту не давали работы, на которую он рассчитывал, причем уже на младших курсах он получал соответствующее предостережение.

Сейчас, разумеется, обстановка несколько иная, чем в дни молодости моих родителей. Я хочу сказать, что в их время молодых людей откровеннее призывали мерить все на деньги. Наживать деньги — вот единственная цель, которую ставили перед ними.

---

* Имеются в виду потерявшие человеческий облик персонажи пьесы Эжена Ионеско «Носорог».

Если у Шекспира слова «набей свою мошну» звучали как проклятие, то теперь набитой мошной принято хвастать. Какая же связь между всем этим и тем, о чем мы сегодня говорим? Ну что ж, кажется, у меня хватило сообразительности, чтобы эту связь уловить. Если единственная цель в жизни — разбогатеть, значит, надо избегать всего, что может этому воспрепятствовать, не так ли? А отсюда вытекает, что не надо навлекать на себя немилость того, на кого работаешь. Это значит, что человек не станет протестовать против войны, если он рассчитывает в будущем добывать себе средства к существованию, скажем, работая инженером в авиационной промышленности. Или возьмем область искусства: как может драматург писать пьесы, в которых содержится прямое или косвенное осуждение коммерческого духа, если он сам зависит от профессионального театра, существующего на коммерческой основе? Как может человек протестовать против судебного преследования инакомыслящих за политические убеждения, если он уже в девятнадцать лет уразумел, что за такой протест может поплатиться будущей карьерой? Как может человек, основа морали которого — приспособленчество и расчет, испытывать глубочайшее возмущение по поводу аморального обращения с неграми в Соединенных Штатах? Кстати, о расчете: людям изо дня в день вдалбливают в голову, что если неграм, этой несносной и беспокойной категории населения, когда-нибудь и будет дозволено выпить вместе с белыми в буфете чашечку кофе, снять себе жилье в «белых районах» или поступить на работу, то это придется сделать отнюдь не в знак признания равных прав за всеми народами, составляющими человечество, а лишь потому, что в нынешней ситуации время от времени упоминать о возможном предоставлении неграм этих прав — весьма целесообразно с точки зрения нашей внешней политики!

Выступая здесь сегодня, я отлично сознаю, что такие органы, как Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности и разные прочие комиссийки и комитетики, все эти годы устраивали свой гнусный фарс вовсе не для того, чтобы «разоблачать коммунистов» или в самом деле как-то содействовать укреплению «безопасности» Соединенных Штатов, а лишь с одной целью: создать такую атмосферу, чтобы я, во-первых, вообще побоялась прийти на такое собрание, а во-вторых,— ни в коем случае не решилась сказать то, что скажу вам сейчас. А скажу я вот что.

Я считаю, что мое правительство неправо. Мне бы хотелось, чтобы оно вывело наши военные корабли из Карибского моря. На мой взгляд — а я высказываю только свое личное мнение,— кубинский народ уже сделал выбор, и мне думается, что тем, чьи предки в XVIII веке не пожелали спрашивать позволения у монархистов, объявляя Соединенные Штаты республикой, в XX веке не пристало вмешиваться в дела другого суверенного народа, решающего свою судьбу.

Выступая здесь перед вами, как американская гражданка черной расы, я пойду еще дальше и расскажу кое-что из того, о чем постоянно говорят между собой мои соплеменники. А говорят они вот о чем: хорошо бы, правительство не только вывело корабли Соединенных Штатов из района Карибского моря, но и занялось бы внутренними делами в своей стране, а в них нужно навести порядок. Прежде всего очистите суды и тюрьмы, забитые жертвами политического преследования... Помогите осуществить мечту Америки: выпустите из тюрем Юга подлинных героев, чьи подвиги — последние остатки былого величия, какими мы можем похвастать на данном этапе нашей истории. Я говорю о студентах, заключенных в тюрьмы за то, что они добивались реального осуществления прав, которые формально уже предоставлены неграм. Расправа с ними ложится позорным пятном на нашу страну.

Быть может, я преувеличиваю драматичность событий (хотя мне лично так не кажется), но я считаю, что мы должны послать войска, чтобы довершить реконструкцию * в Алабаме, Джорджии, Миссисипи и во всех других местах, где развевается наш федеральный флаг — ложный символ того, что гражданская война будто бы закончилась и военным, и политическим поражением рабовладельческой олигархии. Я предлагаю это не только во имя угнетенных негров, но на этот раз и во имя обездоленных белых южан (кстати говоря, такую позицию пора занять всем мыслящим неграм); во имя миллионов белых бедняков, чья трагедия в том, что они одурманены про-

* Реконструкция Юга (1865—1877)— последовавший за гражданской войной в США период борьбы северян за уничтожение власти расистской плантаторской олигархии Юга.

пагандой самой зловещей политической клики в нашей стране и превращены ею в послушное орудие своего собственного угнетения.

Мне думается, что если бы наше правительство приняло все эти меры, ему, пожалуй, не пришлось бы так лезть из кожи вон, чтобы добиться уважения только что созданных государств с черным и коричневым населением.

Наконец, я считаю, что все мы — все, кто придерживается такого же мнения и хочет пользоваться теми правами, в защиту которых мы здесь сегодня выступаем,— должны осуществлять свои права на практике. А если говорить о моих собратьях — деятелях культуры,— то я считаю, что мы должны выступать за эти права в своих картинах, песнях, книгах. Об этих правах сейчас не особенно принято говорить. Если мы этого не сделаем, о нас можно будет сказать лишь словами того самого немецкого романиста, персонажа из моей пьесы: позволяя себе такую роскошь, как молчание, мы становимся соучастниками всего, что у нас творится. Только так. Третьего не дано.

Я лично согласна с теми, кто заявляет: для того чтобы мы, люди (а слово это не утратило своего прекрасного смысла), так вот, чтобы мы, люди всей земли, смогли уцелеть, необходимо обязать глав всех правительств отчитываться перед нами в своих действиях... На мой взгляд, совершенно необходимо сказать «нет» любой войне, в любой части света. А потому я считаю — и этим, собственно, объясняется мое присутствие на сегодняшнем митинге,— что совершенно необходимо устранить из американской жизни все учреждения и органы, подобные Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, предназначенные специально для того, чтобы помешать нам сказать — «НЕТ!»

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

НОЭЛ КУНИХЭН

ПОЧЕМУ Я РЕАЛИСТ

Разговор на эту тему очень легко можно запутать, если поддаться соблазну высокопарных обобщений и профессионального жаргона. Попытаюсь говорить как можно проще.

Я — реалист в искусстве, к этому привел меня весь опыт моей жизни. Чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь, что искусство — это выражение отношения к жизни в особых, конечно, формах. Я не могу относиться к жизни по-одному, а к искусству — по-другому. У меня к ним одно отношение — реалистическое.

В мире двух антагонистических культур — культуры умирающего класса капиталистов и культуры рабочего класса — я стою на позициях рабочего класса и являюсь борцом за его культуру. Это тоже результат моего жизненного опыта и твердых марксистских убеждений.

Читателям «Иностранной литературы» будет, очевидно, интересно узнать, в какой атмосфере приходится жить и работать художникам-реалистам капиталистических стран. Об этом я попробую рассказать. Для полной ясности начну с того, что официальное и модное направление искусства, поддерживаемое правящими классами,— это направление антиреалистическое. Вы помните, что в конце прошлого века во Франции буржуазия из года в год безоговорочно отвергала произведения импрессионистов и реалистов. Она поддерживала тогда безжизненное, помпезное академическое искусство, и художники-бунтари, пытавшиеся отобразить реальные стороны жизни и природы, тщетно добивались признания. Некоторые из них, такие, например, как Домье, Сезанн, Ван-Гог, получили его только после смерти. Ни одна картина Ван-Гога не была продана при жизни художника.

Если буржуазия прошлого века довольствовалась бледным, посредственным, сугубо академичным европейским искусством, сентиментально-романтическими пейзажами с классическими сюжетами, то сегодня она требует имитации американского искусства «действия» («Action») абстрактных экспрессионистов, последователей «Art autre» — «иного искусства» или популярных в лондонском Вест-Энде «мифосоздателей».

Поэтому нужно ясно сознавать, что абстракционизм и антиреализм в западном искусстве не имеют ничего общего с революционными, радикальными школами конца прошлого века, восставшими против мертвого академизма. Больше того, абстракционизм и антиреализм — реакционные направления в искусстве, пользующиеся поддержкой и широкими субсидиями буржуазии,— поощряются официальными и неофициальными правительственными органами и институтами.

Все это в полной мере относится и к Австралии, так как растущая экономическая, политическая и военная зависимость от американского капитала заставляет австралийскую буржуазию и в области культуры все время оглядываться на США. В результате у нас теперь в ходу методы, применяемые крупными торговцами картинами в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Эти бизнесмены делают погоду на международном рынке. В бизнесе, построенном на торговле произведениями изобразительного искусства, сейчас больше мошеннических спекуляций, чем во всех остальных коммерческих операциях в сфере культуры, вместе взятых. Заплатив один-два фунта за последний сверхмодный антиреалистический роман, содержащий должное количество патологической сексуальности, садизма, отчаяния и мистики, можно только поставить книгу на полку. А картина — это капиталовложение, ее покупают как пакет акций в надежде на то, что через год за нее дадут двойную цену.

Недавно журнал «Тайм» назвал изобразительное искусство «музой твердой валюты», а торговлю произведениями искусства

«комбинацией благородного достоинства и недостойного мошенничества».

С помощью различных махинаций торговцы картинами и скульптурами взвинчивают цены на произведения модных художников-антиреалистов, широко используя для своих целей аукционы.

Появились у нас и так называемые «художественные монополии». Это группы признанных художников, связанных с каким-нибудь одним коммерсантом и не имеющих права продавать свои работы, минуя этого торговца, который эксплуатирует их самым беспардонным образом.

Когда мельбурнский символист Леонард Френч открыл в Сиднее свою персональную выставку, газеты устроили ему сенсационную рекламу. Было сообщено, что все картины раскуплены и за них получено 4000 фунтов стерлингов. При этом газеты ни словом не обмолвились о том, что торговый агент Руди Комон заранее скупил картины у художника по дешевке, так сказать, «на корню», а потом продал их за двойную цену. Позже критик «Санди миррор» писал, что картина Френча, которую год назад можно было купить за 400 фунтов, продается в галерее Комона за 1200 фунтов.

Примечательна история бывшего английского офицера Иана Фэрвезера, который почти сорок лет провел на островах Тихого океана и на нашем северном, тропическом побережье. Ненавидя людей и человеческое общество, он жил как рак-отшельник и писал картины, представляющие собой смесь абстракционизма с религиозным мистицизмом. И вдруг его произведения стали модными. Критики, у которых имелись его картины, распустили слух о новом «гении», создали ажиотаж вокруг его выставки, устроенной в крупнейшей картинной галерее Сиднея, организовали даже очередь в ночь накануне открытия. Богатые коллекционеры и торговцы наняли людей, которые стояли за них в этой очереди всю ночь. Были здесь, конечно, и критики, поднявшие всю эту шумиху; они тоже хотели купить новые работы Фэрвезера, чтобы потом в своих статьях превознести их до небес. Один из влиятельнейших сиднейских критиков — обозреватель газеты «Сидней морнинг геральд» (и, между прочим, обладатель нескольких картин Фэрвезера) писал об этом художнике как о «величайшем из живущих австралийских живописцев». Не удивительно, что вся выставка была распродана, а цены на картины поднялись до фантастических сумм.

Все эти приемы заимствованы у нью-йоркских дельцов. Там, например, известный торговец картинами Сидней Джейнис сумел настолько взвинтить цены на произведения художников-авангардистов своей «монополии» (ташистов, «действенников» и пр.), что, по свидетельству того же журнала «Тайм», «люди покупают не то, что им нравится, а то, что дорого стоит».

Вскоре после войны Джейнис опубликовал книгу о художниках, которых он собирался прославить в качестве авангарда современного искусства. Это — Поллок, Де Кунинг, Ротко и другие экспрессионисты абстракционистского толка. Сегодня это крупнейшие и самые «дорогостоящие» имена в американском искусстве.

Одна из картин Поллока, купленная несколько лет назад за 2500 долларов, недавно была продана за 120 000 долларов, и при этом владелец картины позвонил Джейнису, чтобы спросить, не продешевил ли он. Но даже Джейнис счел такую сделку выгодной.

Некий богатый коллекционер позвонил своему нью-йоркскому агенту и попросил купить ему две работы Матисса. На предложение агента ознакомиться с покупками коллекционер ответил: «Когда я покупаю 100 акций «Ройял датч», я же не прошу показать мне нефтяные вышки». Такие коллекционеры не вешают картин на стены. Они хранят их в банковских сейфах вместе с другими ценностями.

В капиталистическом мире новинки модернистского искусства пропагандируются с помощью великолепных репродукций, публикуемых в специальных, богато оформленных альбомах, которые Андре Мальро назвал «музеями без стен». Эти альбомы держат капиталистический мир в курсе всего, что происходит на «рынке искусства» от Нью-Йорка до Токио. Такого рода роскошный альбом под названием «Современные тенденции» был выпущен недавно крупным издательством Скира. Он содержит 103 цветные репродукции произведений наимоднейших художников — абстракционистов и участников группы «действия», главным образом американских, и снабжен самым претенциозным и обскурантистским текстом, принадлежащим перу Нелло Поненте. С сознательным расчетом в альбоме помещены репродукции нескольких картин, находящихся в руках известных коллекционеров или в крупных галереях. Это должно служить «критерием» и показать, сколь значимы остальные публикуемые работы.

Ведь из 103 картин 26 еще в продаже! Таким образом, мы имеем дело не с альбомом беспристрастно подобранных репродукций, а с рекламным изданием дельцов, торгующих картинами.

Возрождение абстракционизма в различных формах стало в последнее время отличительной чертой капиталистического искусства.

Советская художественная общественность знает об абстрактном искусстве еще по тем произведениям, которые создавались в России в последние годы умирающего царизма, в период первой мировой войны и в ранние годы советского строя. Это направление, как и супрематизм и конструктивизм, было доведено до своего логического конца и исчерпано русскими художниками того времени. И мне кажется невероятным, чтобы кому-нибудь захотелось отвести стрелки часов назад и

НОЭЛ КУНИХЭН

ПОЧЕМУ Я РЕАЛИСТ

вернуться к той дороге, по которой шли Татлин, Малевич, Ларионов, Гончарова, Лисицкий, Родченко и другие, хотя такое возвращение было бы приветственно встречено художественными кругами Запада определенного толка, как «прогрессивная тенденция». Пытаясь доказать, что первые годы Советской власти, отмеченные всевозможными «измами», были самыми плодотворными в русском и советском искусстве, издательство Тэмз и Хадсон выпустило роскошно оформленный альбом «Великий эксперимент. Русское искусство 1863—1922», целиком посвященный супрематистам, конструктивистам и прочим «ниспровергателям».

Абстракционизм как международное явление в искусстве окончательно изжил себя к началу второй мировой войны, и мы стали свидетелями естественного, здорового процесса возвращения к реализму во всех странах, борющихся с фашизмом. В качестве официальных военных художников и американцы и англичане привлекали реалистов. В тот период Генри Мур создал свои самые реалистические произведения — портреты шахтеров в забое и лондонцев, прячущихся в метро во время бомбежки. И у нас, в Австралии, народ с радостью приветствовал возрождение реалистического искусства.

Однако сразу же после окончания войны, когда распалась коалиция стран, боровшихся с фашизмом, возник маккартизм в США и началась «холодная война», правящие классы Америки повернулись спиной к реалистическому искусству и начали энергично поощрять различные формы абстракционизма.

Художники «действия» и ташисты были первыми, кого американцы начали экспортировать. Картины мастеров демократической, реалистической традиции стали исчезать со стен американских художественных галерей, чтобы освободить место для полотен европейских и американских абстракционистов. Реалистические произведения не включались в собрания американских картин, предназначенные для выставок в Англии, в Западной Европе, в СССР, странах Азии.

Примеру США стали следовать и другие страны, в особенности те, что находятся под американским влиянием. Для художников реалистического направления обстановка в этих странах становилась все более и более враждебной. Подобная атмосфера царит последние пятнадцать лет, особенно последнее десятилетие, и в моей родной стране. Используются все средства и каналы, чтобы дискредитировать реализм, оттолкнуть от него молодежь. В результате дело художественного образования оказалось серьезно подорванным. Нормальный язык искусства и искусствоведения заменен новым, варварским языком, который, в представлении любого культурного человека, имеет мало общего с духом искусства. Как писал в одном английском журнале художественный критик Дерек Хилл: «Чтобы навязать ошеломленной публике новые, совершенно непонятные ей художественные формы, некоторым критикам для описания и оценки этих форм пришлось изобрести новый язык».

От этого щедро субсидируемого абстракционистского потопа больше всего пострадали такие понятия, как гуманизм в искусстве и роль разума в творческом процессе, вследствие чего катастрофически снизился технический и эстетический уровень искусства.

Что же считает своим долгом сказать нам г-н Нелло Поненте на страницах роскошного альбома «Современные тенденции»?

«Когда мы говорим о живописи «действия», мы имеем здесь в виду нечто специфически американское». И дальше: «Расцвет американского искусства наступил тогда, когда всякая интеллектуальная деятельность, всякий поиск свободного разума рассматривались, из-за неудачного стечения политических обстоятельств (маккартизм и «холодная война».— *Н. К.*), как деятельность, подрывающая устои государства». «Американское искусство характеризуется прежде всего отсутствием какого бы то ни было руководящего органа, каких бы то ни было теоретических или общеинтеллектуальных принципов»,— пишет Поненте.

Обратите внимание, как вместе со старыми кистями и тюбиками из-под краски Поненте выбрасывает на помойку и великий творческий разум человека и гуманизм художника. Их заменяют истерия, транс, автоматизм.

«Когда я пишу картину, я не сознаю, что делаю»,— заявил Джексон Поллок критику Розенбергу, изобретателю термина «живопись действия».

То, что раньше считалось (и сейчас считается у художников-реалистов) актом творчества, превратилось в акт насилия над холстом, красками, над самим образом.

«Меня интересует не эстетика, а сила»,— заявил голландский художник Карл Аппель корреспонденту «Тайм», который привел это заявление в статье, посвященной недавней выставке Аппеля в Нью-Йорке.

Нелло Поненте пишет о Де Кунинге и Поллоке: «Де Кунинг продолжает трансформировать действительность... подвергая ее насилию, которое переворачивает и перекраивает установленный порядок... (какой бы смысл в это ни вкладывать.— *Н. К.*)... и если агрессия Поллока направлена против материала, которым художник работает, агрессия Де Кунинга, не менее грубая, направлена на сам образ и окружающее его пространство». Поненте пишет также о «конвульсиях, от которых содрогается вся живопись последних лет».

Художник-абстракционист немецкого происхождения Вольс, картины которого высоко котируются у американских торговцев, сказал о своем творчестве: «Главная моя цель — свести на нет значение Человека». Американец Марк Ротко стремится к уничтожению всех «препятствий», стоящих между художником, идеей и зрителем, и считает этими препятствиями «память, историю и геометрию».

Меня уже мутит от этих цитат, но я должен был показать, чем изо дня в день живет «искусство» и «искусствоведение» самого модного буржуазного авангардизма. Эта чепуха находит подражателей везде, где сильно американское влияние, и в Австралии, которая могла бы гордиться своими реалистическими традициями, и в особенности в ее крупнейшем городе Сиднее, преобладают сейчас именно такие воззрения.

Джексон Поллок, модернистское творчество которого представляет собой наиболее законченное выражение реакционного духа США, был, по утверждению биографов, болезненно чувствительным и застенчивым человеком. Мне кажется, что его искусство — яркий пример полного разложения личности и творческой индивидуальности в условиях монополистического капитализма. Отчуждение личности ведет либо к циничному признанию всего, что предлагает общество, к духовной коррупции и конформизму, либо к алкоголизму и психическим заболеваниям. Иногда к тому и к другому. Поллок был хроническим алкоголиком, и его гибель в автомобильной катастрофе, по мнению друзей, была очень похожа на самоубийство. Покончил жизнь самоубийством абстракционист Ахил Горки и художник Де Стейл. Успех не принес им счастья. Как писал английский критик Джон Бергер в своей книге «Прочная красная»: «Башня из слоновой кости превратилась в обитую войлоком палату психиатрической больницы».

Последнее слово абстракционизма — это жалкие тряпки и доски, на которых прибиты или приклеены пробки от пивных бутылок, консервные банки, битое стекло, рогожа, куски штукатурки. Подобные «произведения» просто наводнили в последнее время наши картинные галереи. Но исторически неизбежно, что жизнь абстракционизма будет коротка, и образ этой мусорной кучи как бы ставит на нем клеймо: «Идет к гибели».

В Австралии стало модным и другое антиреалистическое направление — «мифотворчество». Художник берет какой-нибудь эпизод или анекдот из австралийской истории, из того, что называется у нас «Австралиана», и делает сюжетом своей картины, имитируя наивное детское восприятие, неискушенный детский примитивизм, он создает полотна, где полуреалистические существа и образы соединяются часто с непонятными, расплывчатыми, совершенно нереалистическими формами. Расчетливо используя эти элементы, художники стремятся вызвать ощущения нереальности, фантастической мечты, сновидения — ощущения, характерные для детски непосредственного восприятия действительности. Для наших правящих классов подобное искусство, к тому же еще отмеченное печатью одобрения английской буржуазии, представляет большую притягательную силу, и они щедро вкладывают в него капитал.

Ведущим живописцем этого направления, и в настоящее время самым известным за пределами страны австралийским художником, является Сидней Нолан. Вместе с другими «мифотворцами» «Австралианы» он пользуется сейчас огромным успехом в Лондоне.

Большинство этих художников (Бойд, Блэкмен и др.) — выходцы из Мельбурна. В их произведениях, хотя и присутствует конкретная тема (в этом они отличаются от абстракционистов-беспредметников), выражена она суррогатом реалистических форм. Сидней Нолан приобрел широкую известность не своими наиболее сильными работами, такими, как картины пораженных засухой степей и выжженной солнцем пустыни Центральной Австралии, а «историческими» циклами, вроде цикла о Неде Келли.

Нед Келли — герой австралийского народа — родился в семье бедных ирландских эмигрантов и с молоком матери впитал вековую ненависть ирландцев к английскому империализму. Семья Келли жила неподалеку от Гленрована в северо-восточной части Виктории. Нед стал «справедливым разбойником», и сказания о его подвигах послужили могучей духовной силой в борьбе народа против богатых и власть имущих, примером классовой солидарности. В них есть что-то от легенд о Робин Гуде: история Неда Келли — это повесть о храбрости и мужестве, неравный бой с неблагоприятными обстоятельствами, своего рода демократическая легенда.

Нолан создал серию картин, изображающих различные эпизоды саги о Неде Келли, выполнив их в нарочито инфантильном стиле, всячески обыгрывая в качестве символа знаменитую железную кольчугу Неда, изобретенную им для отражения вражеских пуль. Именно за полнейшее отсутствие реализма и какого бы то ни было революционного духа эти картины так полюбились буржуазии, которая в свое время, игнорируя широкий общественный протест, с удовольствием казнила Неда в мельбурнской тюрьме. (Ему не было и тридцати лет.) И вот представленная в фантастически-живописных красках, рассказанная как бы невинным ребенком, история Неда Келли выглядит забавной и вполне приемлемой. Она принесла Нолану целое состояние. Если бы Нолан изобразил все это реалистически, его картины были бы несомненно заклеймлены как «пропаганда», что обычно и делается в отношении художников, стоящих на позициях социалистического реализма.

Нолан — самый что ни на есть «сюжетный» или «иллюстративный» художник в том смысле, что большинство его картин связано с каким-нибудь рассказом, анекдотом, мифом или легендой. Он даже не преминул соединить в один образ Неда Келли и Иисуса Христа и приклеить их к венгерским событиям 1956 года. А вот когда социалистические реалисты пишут картины, посвященные миру, или рисуют жизнь и

борьбу трудящихся классов, и делают это к тому же в реалистической манере, от них отмахиваются как от «иллюстративных» художников, а их творчество объявляется «пропагандой». Несмотря на огромные усилия буржуазного мира раздавить реалистические традиции и направить искусство в любое русло, кроме реалистического, в Австралии, как и в большинстве других капиталистических стран, упорно продолжает пробивать себе путь сильная животворная струя реализма. В статье, опубликованной в сентябрьском номере журнала «Иностранная литература» за прошлый год, я уже обращал внимание читателей на ряд молодых одаренных художников, отказавшихся служить антиреализму и паясничать в цирковом балагане абстракционизма и мифотворчества.

В США такие великолепные художники, как Гроппер, братья Сойерс, Рокуэлл Кент, Рефрежье, Чарльз Уайт, Джозеф Хирш, и целый ряд других продолжают отстаивать чистоту и художественную целостность своего творчества и высоко несут знамя прекрасных демократических традиций американского реализма. В Мексике великий Сикейрос возглавляет могучую школу реалистов, посвятивших свое творчество народу, отстаивающих искусство, ответственное перед народом, и создающих замечательные фрески на стенах общественных зданий.

Среди художников Калифорнии, которые в течение многих лет следовали по пути абстракционизма, поднялось серьезное движение против него. Они, как и выдающийся английский скульптор Эпстайн, осознали его ограниченность, поняли, что его возможности быстро исчерпываются, и вернулись, каждый по-своему, к фигуративному и реалистическому искусству. Возглавил это движение покойный Дэвид Паркс.

Реалистическое искусство, отражающее действительность в специфических для каждого народа национальных формах, существует и во всех европейских странах, в странах Америки и повсюду в Азии, и чем ближе оно к повседневной жизни народа, тем оно ярче и значительнее.

Художники-реалисты черпают силы в народе, как Ренато Гуттузо и сильная реалистическая школа в Италии. Иногда это искусство настолько значительно, что враги не в состоянии его игнорировать, они вынуждены, хотя и сквозь зубы, отдавать должное художникам демократических традиций.

Вспомним, однако, стихи Некрасова, процитированные недавно премьер-министром Хрущевым:

> Он ловит звуки одобренья
> Не в сладком ропоте хвалы,
> А в диких криках озлобленья.

Вот как мы, реалисты, относимся к похвалам, расточаемым нам в капиталистических странах.

В начале статьи я говорил, что реалистом в искусстве сделала меня жизнь. Жизнь — удивительное зрелище, художнику надо только смотреть и видеть. Еще в детстве я, помню, часто до того увлекался происходящим вокруг, что забывал об играх. Я был одновременно зрителем и актером — так происходит со всяким художником в жизни. Сколько я себя помню, всегда больше всего меня привлекали люди: их внешность, фигура, походка, черты лица, краски. Я считаю красоту человека — высшей в природе красотой, а искусство, воспевающее эту красоту,— величайшим из искусств. Красоту человека нельзя увидеть в абстракции, а лишь в самой жизни, причем духовная красота не менее важна, чем физическая, часто она придает физической красоте особые краски.

Мудрое лицо старца, отражающее огромный жизненный опыт и цельность характера, силу и доброту, прекрасно, даже когда от его физической красоты остались лишь печальные следы. Как хорошо понимал это Рембрандт! И как часто мы встречаем в жизни лица, озаренные такой внутренней красотой! Гораздо чаще среди простых людей труда, чем в среде правящих классов, развращенных условиями жизни

К искусству и к коммунизму я пришел одновременно. В пятнадцать лет мне пришлось бросить школу, так как родители были больше не в состоянии содержать меня. Поступив на работу, я начал посещать вечерние классы рисования при Национальной художественной галерее. Здесь расширился мой интеллектуальный кругозор, здесь я впервые познакомился с идеями марксизма.

С работы, дававшей фунт стерлингов в неделю, меня вскоре уволили за то, что я возглавил делегацию молодых рабочих, предъявивших претензии хозяину. Увольнение вызвало трения в семье, и мне пришлось уйти из дома. Приобщившись к огромной армии безработных тридцатых годов, я на собственном опыте узнал, какова капиталистическая действительность. Демонстрации безработных, стычки с полицией, удары дубинок, битва за свободу слова, аресты, борьба против выселения людей, не имеющих возможности заплатить за квартиру, а позже массовое движение против угрозы фашизма и войны — все это вместе взятое формировало во мне реалистические взгляды на жизнь, разрушало иллюзии, распространенные в мелкобуржуазной среде, к которой принадлежали мои родители.

Мое воображение волновали репродукции картин, пронизанные боевым пролетарским интернационализмом, работы советских художников конца двадцатых — начала тридцатых годов, немецкое и американское искусство. Такие произведения казались мне прямым выражением социальных противоречий, жизненными и современными по духу. Они помогли мне не только в практике классовой борьбы, но и в формировании эстетических взглядов, основанных на реализме и философском материализме.

Я стал коммунистом в 1931 году и примерно в то же время принял участие в

создании рабочего Художественного клуба, где были выставлены мои первые рисунки, посвященные жизни безработных.

В художественных кругах Мельбурна царило тогда брожение, отражавшее крушение иллюзий и разочарование в ценностях капиталистического мира; беспокойство и протест вызывало засилие дешевого натурализма господствующих школ, в особенности коммерческий подход к искусству. В руках бездарных подражателей стали вырождаться славные традиции австралийской пейзажной живописи, заложенные Робертсом и Стритоном.

В поисках выхода художники обращали свои взоры к работам зарубежных коллег: одни — к постимпрессионистам и парижской школе, другие — к более социальному искусству рабочего класса. В эти годы зародилась у нас и самая передовая форма реализма — социалистический реализм, хотя как самостоятельное направление в искусстве он обрел подлинную силу в Австралии только к началу второй мировой войны, когда национальный кризис дал толчок развитию всего реалистического искусства. Это развитие было приостановлено в послевоенные годы: под американским нажимом австралийская буржуазия создала в стране атмосферу «холодной войны».

Я так подробно рассказывал об антиреалистических направлениях потому, что, мне кажется, некоторые молодые советские художники полностью не осознают, насколько эти антиреалистические направления отражают утрату духовных ценностей, расшатывание моральных устоев буржуазии, до какой степени эти направления связаны с ее интересами.

Капиталисты как огня боятся реализма, потому что им страшно посмотреть в глаза реальной действительности. Их искусство, как и всякое искусство любого периода загнивания общественного строя, отражает бегство от реальности.

Рабочий класс, наоборот, должен быть реалистом; понимание общественных процессов, которым вооружил его марксизм-ленинизм, дает ему возможность смотреть на действительность оптимистически.

Культура мира, в котором я живу и работаю, больна, тяжело больна, она отравлена ложью и бациллами разложения. Чем чаще я смотрю вокруг, тем больше мне хочется настоящего большого искусства, большого по мысли, по отношению к жизни, по своим художественным обобщениям, пронизанного гуманизмом.

Занимаясь всю жизнь графикой, карикатурой, плакатом, я прекрасно понимаю разницу между ними и живописью. Я также хорошо сознаю пустоту и никчемность натурализма, фотографического отражения жизни, лишенного идей и идеалов, способного лишь к безжизненной имитации или, в лучшем случае, к созданию оптической иллюзии реального. Такое показное искусство — плод посредственности, ограниченного, банального ума, лишенного художественного чутья и таланта. В подобных картинах и скульптурах начисто отсутствует критическое восприятие жизни и природы, и нужны они только стремящимся к наградам и богатству льстецам, которые в изобилии встречаются на Западе и, к сожалению, кое-где обнаруживались в свое время и в среде советских художников.

Но, как и советские художники, я убежден, что наше время требует искусства, живо отражающего действительность, искусства широкого взгляда на жизнь, полного любви, восхищения всем лучшим, что есть в человеке, искусства страстного и идейного. Жизненный опыт убеждает меня в том, что такое искусство может существовать только на базе реализма.

Я в равной степени нетерпим к художникам, которые сводят все богатство и многообразие реализма к единственному требованию — сюжетности, и к тем, кто полагает, что достаточно прогрессивной темы, чтобы создать произведение искусства, да еще социалистического реализма. Горький неоднократно говорил, что невыразительное, нехудожественное воплощение может скомпрометировать любую, самую важную тему. Каким бы вдохновляющим ни был лозунг, он еще не искусство.

Мне кажется, что произведению искусства нельзя навязать извне так называемую «современность» стиля. Во все времена это неуловимое качество возникало и возникает сегодня как неотъемлемое свойство художественного произведения, в котором языком или изобразительными средствами своего времени правдиво рассказывается об эпохе.

Я всегда стремился к тому, чтобы меня понимали простые люди, и прежде всего рабочие. Если художественная форма мешает мне выразить идею, эта форма для меня непригодна.

Величайшая награда для художника-реалиста видеть, что люди, для которых он трудится, понимают его, что ему удалось отразить отношение к жизни, что он нашел форму выражения их чувств.

Многие художники в нашей стране видят свою цель в том, чтобы обогатить реалистические традиции австралийского искусства реализмом рабочего класса, социалистическим реализмом.

НАШИ ГОСТИ

МЕСТО И ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ

(Джон Брейн и Алан Силлитоу в редакции «Иностранной литературы»)

Каково место писателя в обществе, каковы его роль и долг в современном мире?

С этими вопросами мы обратились к двум известным молодым английским писателям Джону Брейну и Алану Силлитоу, некоторое время назад побывавшим в редакции «Иностранной литературы». Оба они пишут о своих современниках, их герои — выходцы из рабочего класса Англии.

Джон Брейн — автор известного советским читателям романа «Путь наверх». Последняя книга Алана Силлитоу — «Ключ от двери» — заканчивается печатанием в этом номере журнала.

Говорит Джон Брейн:

— Основной тенденцией в английской литературе последних лет, мне кажется, является стремление к реализму. С некоторых пор северные, промышленные районы Англии стали объектом изображения в литературе и искусстве. Если раньше героями книг были буржуа и описывалась главным образом центральная часть Англии, то теперь в произведениях английских писателей все чаще можно встретить людей труда или тех, кто в нашем обществе не нашел себе места в жизни. Советские читатели уже знакомы с такими романами и пьесами в переводах. Эти произведения отличаются от прежних не только своей тематикой, своими героями, изображаемой

средой, но и манерой, в которой они написаны. Я бы сказал, что это книги с плотной сердцевиной, а не волокнистым мясом...

В драматургии это движение к реализму начал Джон Осборн своей пьесой «Оглянись во гневе». Близка по духу к Осборну и пьеса Шейлы Делани «Вкус меда». Я бы сравнил ее с лучшими образцами драматургии О'Кейси, в которых необычайно остро чувствуется заинтересованность писателя в народных судьбах.

Авторов подобных книг и пьес в Англии обычно причисляют к «сердитым молодым людям» из-за их отвращения к напыщенности и снобизму. Но дело не в «сердитости» «сердитых» (сам этот термин — как уже много раз говорилось — просто выдуман журналистами), а в тех изменениях, какие происходят в английской литературе. Вот, скажем, Арнольд Уэскер — это драматург, который берет на себя больше обязательств перед обществом, чем кто-либо другой из писателей его поколения. Его трилогия «Корни», «Я говорю о Иерусалиме» и «Ячменный суп с курицей» — произведения социальные, реалистические. Они имели большое значение для английской литературы и театра. Одна из драм Уэскера называется «Кухня» — ее действие развертывается в кухне большого отеля. Подобные герои с их подлинными чувствами, стремлениями, надеждами никогда раньше не появлялись на английской сцене. Пьесы, которые я назвал, пользуются очень большой популярностью у английского зрителя и находят у него живой отклик.

Мне самому хотелось бы создать целый мир героев, в образах которых отразились бы наши дни, нечто вроде «Саги о Форсайтах» нашего времени. Конечно, не знаю, смогу ли я когда-нибудь осуществить этот замысел.

Когда я кончил писать «Путь наверх», у меня не было чувства, что я прощаюсь со своими героями. Я все время ощущал, что их жизнь продолжается за пределами книги. И особенно интересно было знать, что будет чувствовать Джо Лэмптон, когда добьется успеха. Будет ли он доволен, достигнув того, к чему так стремился.

«Жизнь наверху» — так называется продолжение первой книги. Минуло десять лет с тех пор, как Джо прошел «путь наверх» и добрался до «места наверху».

У Джо и Сьюзен двое детей, он занимает довольно высокую должность в фирме своего тестя — внешне это вполне благополучный дом. Но постоянно он чувствует себя пришельцем в этом доме, постоянно помнит, что продался ради денег и житейского благополучия...

Я убежден, что до тех пор, пока писатель не будет интересоваться судьбами других больше, чем своей собственной, он не станет по-настоящему большим писателем. Одна из главных его задач — находить и показывать индивидуальные особенности людей, то, что отличает их друг от друга. Но особенности людей подмечаются и журналистами, а так называемая большая литература имеет дело прежде всего с теми чертами, чувствами, мыслями, которые характеризуют людей с точки зрения их общественных связей.

Поездка в вашу страну многое дала мне в этом плане, она обогатила меня как писателя. Конечно, прежде всего я люблю свою родину, но после нее я больше всего полюбил Советский Союз. И не только из-за радушия всех тех, с кем я встречался и кто принимал меня с открытым сердцем, но главным образом потому, что я нашел в вашей стране искренних, горячих и веселых друзей.

Говорит Алан Силлитоу:

— Первейший долг писателя, в моем представлении,— это как можно лучше писать. Второй его долг — писать о людях, изображать этих людей в реальном мире, в их самых непосредственных связях с жизнью и отражать эту жизнь в своих произведениях правдиво и искренне. Разумеется, это не исключает фантазии, художественного воображения писателя. Нет! Фантазия — это один из самых необходимых составных элементов творчества.

Писатель — и в особенности современный,— мне кажется, должен рассказывать о тех людях, которых до сих пор в литературе мы встречали редко; тем самым он поможет этим людям узнать себя, обрести веру в себя, в свои силы и возможности, завоевать уважение к себе. Если писатель своим произведением помогает человеку понять себя и других людей, живущих рядом, то он поможет ему понять и людей другой национальности, другой страны, а это чрезвычайно важно именно для современного писателя. В самом деле, если люди станут лучше понимать друг друга, им легче будет отстоять мир на земле. Конечно, все это не легко и не просто, но, во

всяком случае, это путь, помогающий сохранению мира.

Что касается писателей Англии, то я бы разделил их на две категории. Иные считают, что у писателя есть лишь один долг — это долг перед своим искусством. Другая же категория писателей — это обычно авторы молодые, которые осознают свой долг не только перед искусством, но и перед обществом, в котором они живут.

Перу писателей этой второй группы принадлежат произведения, с появлением которых несколько лет назад в Англии началось движение, ставшее примечательным событием в современной английской литературе. Это «Счастливчик Джим» Кингсли Эмиса*, «Спеши вниз» Джона Уэйна и пьеса Джона Осборна «Оглянись во гневе».

Появление этих двух романов и пьесы «Оглянись во гневе» еще раз показало, что протест может быть облечен в художественную литературную форму, а произведение — написано писателем с определенной политической позиции.

В книгах, которые я назвал выше, авторы не стремились создать образ нового мира, а изобличали гнилость устоев и форм существующего ныне в Англии общества. Ибо для того, чтобы создать что-то новое, лучшее, надо сначала распороть швы старого, показать порочность его основы. Однако на этой стадии и задержалось литературное движение в Англии: обнажая недостатки, порочность существующего ныне положения, писатели не указывают путей построения нового общества. Очевидно, положение будет оставаться на этой стадии до тех пор, пока не возникнет новое движение, которое укажет этот путь. Я не могу, разумеется, предсказать и определить, родится ли это новое движение из того, что существует сейчас, или оно возникнет как нечто совершенно иное.

Сказанное мной вовсе не означает, что те же самые люди будут работать в том же направлении. Нет, движение продолжается, а люди в нем меняются.

Легко впасть в ошибку, не оценив достаточно серьезно значения этого движения. Дело в том, что до появления так называемых «сердитых молодых людей» литература у нас была в состоянии паралича, она не развивалась. В большинстве своем писатели создавали произведения с позиций «искусства для искусства», и вдруг произошел скачок, и литература будто врезалась в гущу социальных событий.

В последние годы появились признаки, позволяющие думать, что, начав с протеста «сердитых», реалистическое направление набирает силу и может стать самым важным явлением нашей литературы. В области драматургии оно очень ярко представлено в пьесе, которая шла всего шесть недель и в финансовом отношении успеха не имела. Пьеса называется «Танец сержанта Макгрейва», автор ее Джон Арден. В целом тему этой пьесы можно определить как отношение различных людей к миру — ее острие направлено против войны. Ее удельный вес, пожалуй, не меньший, а больший, чем драмы Осборна, так как пьеса «Оглянись во гневе» проникнута несколько туманным «протестом вообще», а произведение Ардена имеет совершенно определенную антивоенную направленность.

В этом же плане мне хотелось бы упо-

* «Счастливчик Джим» Кингсли Эмиса опубликован в №№ 10, 11, 12 журнала «Иностранная литература» за 1958 г.

мянуть о пьесах Арнольда Уэскера. Они появились позже, чем «Оглянись во гневе», и в них сильнее намечено положительное начало. Уэскер в своих трех пьесах попытался раскрыть проблему построения социализма в английском обществе.

Появились и романы такого же направления; правда, их непосредственное влияние на развитие литературы не столь очевидно, как это можно отметить в драматургии. В этой связи хотелось бы упомянуть о произведениях Джона Брейна и Дэвида Стори, которые изобличают пороки нашего общества, но не говорят о том, как избавиться от них, как исправить это общество.

Романы и пьесы этого направления в значительной мере оздоровляют английскую литературу наших дней; несомненно также их оздоровляющее значение для общества в целом.

Говоря о себе лично, хочу выразить надежду, что и дальше буду писать о простых людях — моих соотечественниках, писать реалистически и, насколько это в моих силах, художественно, хотя, конечно, это самое трудное. Писать художественно, приносить людям радость и пользу своим искусством — моя мечта.

В ближайшем будущем я надеюсь закончить несколько книг. В их число входит книга стихов. Я также надеюсь написать книгу о моем пребывании в Советском Союзе. Это будет книга репортажей. Поездка в СССР — одно из самых интересных путешествий в моей жизни. Я видел здесь то, чего никогда и нигде раньше мне не приходилось наблюдать. Я встретил массу необычайно интересных людей. Меня поразил невиданный размах строительства в Сибири. Незабываемы мои поездки в Иркутск и Братск. Вся атмосфера жизни и созидания в Сибири чрезвычайно вдохновляет. Братская ГЭС и плотина — это величайшее творение ума и рук человека, какое я когда-либо видел. А новый город Братск, который строится сейчас, будет красивейшим городом в одном из чуднейших и живописных мест на земле. Здесь природа еще не укрощена, и то, что русская молодежь эту природу обуздывает, подчиняет себе, делает ее еще прекраснее. Я надеюсь, что мне удастся снова посетить Братск и встретиться с людьми, с которыми я там познакомился. Мне было отрадно слышать, как всюду, куда бы я ни приезжал в вашей стране, люди говорили о мире, что мир им нужен, чтобы строить свою прекрасную жизнь. Это находит непосредственный отклик в моей душе, так как я всегда считал мир самой важной проблемой нашего времени.

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Игорь Неверли. Лесное море. Роман. Перевод с польского М. Абкиной. Предисловие А. Марьямова. Редактор М. Конева. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963. 540 стр.

ОГНИ НА СОПКАХ

Прозрачные и холодные таежные реки, над которыми куполом сомкнулись вершины огромных деревьев, сырой полумрак зарослей, осенний пожар красок, следы на звериной тропе, шорохи... Мне пришлось несколько лет прожить в тайге. Мне знаком и дорог тот мир дикой природы, о котором мастерски и с любовью рассказал польский писатель Игорь Неверли в романе «Лесное море». Умение видеть и слышать жизнь лесных дебрей и вод, умение живописно передать своеобразие того края, в котором действуют герои его книг,— характерная черта таланта этого художника.

Но тишина и величественный покой маньчжурской тайги нарушаются не только рычанием тигрицы, охраняющей своих детенышей, а пятна крови — это не всегда следы борьбы двух хищников. На глухие таежные тропы проникла история двадцатого века.

Маленькая колония поляков, предки которых еще в царское время были сосланы на чужбину, оказывается вовлеченной в национально-освободительную борьбу китайского народа против японских захватчиков. Гибнет семья поляков Доманевских, случайно узнавшая тайну производства японцами бактериологического оружия. Казнен доктор Ценгло, оказавший помощь китайским партизанам. Бежит от расправы в тайгу смешной и добрый преподаватель истории польской гимназии.

В сердце юноши, сжавшемся от беспредельного горя при виде убитой матери, нет сначала никаких иных чувств, кроме бессильной ярости, желания отомстить. Неизвестные люди по непонятным причинам увели отца, убили мать, сожгли дом... В конце книги Виктор Доманевский знает не только подробности семейной трагедии, для него четко определилось лицо врага.

Юноша стал другим. Он стал сильнее теперь потому, что борьба в едином строю с товарищами — китайцами, русскими, поляками — одарила его всеми сокровищами ума и сердца его друзей. Много друзей он нашел, а потом потерял: один за другим гибнут в боях честные и мужественные солдаты. Он нашел свою необычайную любовь и тоже потерял ее: убита японцами девушка китаянка Ашихэ, отважный боец революции Трагически погиб предводитель партизан Сребroголовый, и эта смерть унесла не только легендарного командира, но и посеяла сомнения в смятенном сердце молодого человека, которые он потом с трудом преодолел.

Герой социально активный — центральная фигура произведений И. Неверли. Но если, к примеру, в известной советскому читателю книге «Парень из Сальских степей» писатель воспел уже сложившийся, цельный характер русского офицера, проя-

вившего себя героически в тяжких условиях гитлеровского лагеря уничтожения, то в «Лесном море» автор поставил перед собой иную задачу: показать сложный, а нередко и болезненно-мучительный процесс формирования характера в момент острого столкновения антагонистических сил.

Именно острота и обнаженность противоречий способствуют быстрейшему и прочному воспитанию гражданского самосознания Виктора Доманевского. Навсегда сохранит он чувство беспредельного уважения к чистоте души, товарищеской верности и мудрости простого человека, китайца Третьего Ю; ненависть и твердое желание уничтожить захватчиков принесет герою «знакомство» с капитаном японской разведки Кайматцу; веру в любящее сердце оставляет после себя нежная Ашихэ; презрение вызовет у него судьба слабого и безвольного Алсуфьева, бывшего царского офицера. Лесное, таежное море, край, в котором невиданными красками цветут цветы и прячутся травы, продлевающие жизнь человека,— разве место на такой земле страшным лабораториям Пинфана?

Надо было пройти через боль пыток и горечь потерь, испытать великое счастье любви, почувствовать благородную ненависть к врагу, чтобы этот наивный, немного сентиментальный юноша подошел к пониманию передовых идей века. Вот, затерянный в тайге, которая шепчет ему о безмерности судеб, дел и страстей человеческих, он в глубине мрака ищет бога, ищет какого-нибудь знамения, луча света и надежды. И всю душу, всю боль свою вкладывает он в утреннюю молитву — слезные слова муки и беспомощности: «Смилуйся, всесильный боже, яви милосердие и могущество свое...» Много раз еще он увидит себя беспомощным и слабым. Не однажды страх за свое личное счастье и безопасность продиктуют ему неверное решение и он захочет «жить своей повседневностью», «как всякая тварь здесь, в тайге...» Но нигде, даже в лесном море, невозможно спрятаться от борьбы, происходящей в мире. Нельзя жить одной любовью: придет враг и убьет твою любовь. Держа на руках мертвую Ашихэ, Виктор Доманевский уже готов многое передумать и пересмотреть.

В тайге партизанские отряды подают друг другу сигналы кострами, зажженными на вершинах сопок. «Вот далеко-далеко на севере замерцала золотая искра. И в противоположной стороне, где лежит озеро Цзинбоху, сверкнула такая же... Бескрайняя тайга во мраке заиграла огнями. Это сопки сообщали вершинам Чанбайшаня последние новости, а вершины через лысую седловину передавали эти вести на озеро, кому-то, кто подтверждал огнями, что он на страже, что он все слышит».

Когда читаешь рассказ о том, как поляк Доманевский сражается вместе с китайцами за независимость Китая, а русские солдаты освобождают от фашистских палачей его дорогую истерзанную Варшаву, когда узнаешь о подвигах советского офицера, воевавшего в китайском партизанском отряде, и о самоотверженности польских патриотов в боях под Ленино и в Берлине, за Тобрук и Монте-Кассино — думаешь о кострах в лесном море: вспыхивали сигнальные огни, и патриоты всех стран поднимались, чтобы не дать пройти фашизму. Идея интернационализма — традиционная тема польской литературы. Это также одна из постоянных тем в творчестве Игоря Неверли. Его герои объединены общностью идеалов, за которые они воюют.

Виктор Доманевский уже хорошо понял, *против кого* он борется. Ему предстоит понять, *за что* отдала жизнь его любимая — коммунистка Ашихэ, девушка, дежурившая на одной из сопок. Она не зажжет больше костра. Кто-то должен занять ее место, место сигнальщицы революции. Кто-то, приняв сигнал, должен подтвердить, что «он на страже, что он все слышал».

Верим, что в рядах коммунистической молодежи, строящей самое справедливое общество на земле, трудится и этот польский юноша.

ЛЕНИНА ИВАНОВА.

МИР ИНДЕЙСКОЙ СКАЗКИ

Перебрав на прилавке несколько книг, вы наверняка оживитесь при виде небольшого томика в черной глянцевой суперобложке. Так празднично разбросаны на этом фоне разноцветные буквы — желтые, красные, зеленые, синие — и так самозабвенно приплясывает за частоколом букв босоногий флейтист в соломенном колпаке, что, еще не прочитав заглавия, вы понимаете: речь пойдет о вещах необыкновенных, сказочных.

А если вы все еще колеблетесь (легенды и сказки индейцев Латинской Америки — специалистам это, конечно, интересно, ну, а, так сказать, рядовому читателю?) — перелистайте книгу, посмотрите на рисунки. Хотя бы на этого самоотверженного кролика, который украл огонь у ягуара и отдал его людям. Держа в передних лапках раскаленный уголек, он даже губу закусил — вот-вот начнет, как человек, перебрасывать его с ладони на ладонь! — а в кроличьем глазе — и решимость, и какой-то веселый ужас перед собственной дерзостью... И тут уж вам обязательно захочется прочесть этот сборник.

О работе художника обычно пишут в самом конце рецензии, если вообще пишут. Я решаюсь нарушить эту традицию. Дело не только в том, что все иллюстрации Н. Альтмана необычайно выразительны и — это немаловажно — каждая из них выполнена в манере, близкой искусству того народа, которым создана та или иная сказка.

Легенды и сказки индейцев Латинской Америки. Составление, вступительная статья и примечания Э. Зиберт. Москва—Ленинград, Гослитиздат, 1962. 302 стр.

Дело и в том, что художник в этой книге — пожалуй, в большей степени, чем автор полезного и содержательного, но все же суховато, по-академически написанного предисловия — выступает как чуткий и вдумчивый истолкователь индейского фольклора, активно помогающий читателю войти в неведомый мир, понять и полюбить его.

А как огромен и увлекателен этот мир! Он простирается от Огненной Земли до Мексики, от незапамятных веков до наших дней. Коренные жители Америки — охотники и рыболовы, земледельцы, строители древних цивилизаций — создавали его, запечатлевая в легендах свои представления о жизни, свой трудовой и социальный опыт, свои заветные мечты. Великое умение удивляться, могучее воображение, чувство неразрывного единства с природой породили все эти сказки и легенды, в которых любые чудеса мироздания находят объяснение в сфере человеческой практики, а звери, птицы и насекомые живут, словно люди, и умеют говорить на их языке.

Животные в сказках наделены человеческими характерами (олень доверчив и наивен, обезьяна хвастлива и хитра, ягуар свиреп и туповат) и в то же время остаются самими собой; их повадки и приметы схвачены зорко и точно.

Читая сказки, мы как бы приникаем к истокам поэтической образности. Пылающая ветка превращается в огненно-рыжий лисий хвост (сказка индейцев чако). В луне карибы видят испачканное сажей лицо человека, поднявшегося на небо. Покрытая вечными снегами вершина горы Иштлаксихуатль представляется астекам женщиной в белом одеянии, а курящийся по соседству вулкан Попокатепетль — воином с пылающим факелом в руках.

Чем ближе к нашим дням, тем сильнее звучит мотив людского неравенства. Вот мудрая и горькая сказка сапотеков «Голодный крестьянин, бог и смертный час». Бедняк крестьянин украл цыпленка, сварил похлебку и только было собрался за нее приняться, как появился незнакомец, который стал просить его поделиться едой. Начинается долгий спор, в конце концов незнакомец открывается крестьянину: он — бог, его повелитель. «Ну теперь-то уж наверняка ты не получишь от меня ни кусочка,— отвечает крестьянин.— Ты плохой защитник бедных. Ты даешь все только тем, кто тебе нравится. Одним — поместья, дворцы, кареты, лошадей, а другим, таким, как я,— ничего. Ты никогда не дал мне даже вдоволь поесть. Вот и я не дам тебе цыпленка».

Где социальный протест, там и сатира. В сказке индейцев племени тоба рассказывается о лисе, выдавшем себя за миссионера. Самозванца разрывают на части. Но все дело в том, что от подлинного миссионера лис ничем не отличается — он так же проповедует, так же распоряжается, так же обманывает людей. Какая же разница между лисом и католическим проповедником? Сказочник молча ухмыляется: сами соображайте.

В нашей литературе высказывалось мнение, согласно которому сказки далеких народов следует преподносить читателю в «очищенном» виде. «В ряде случаев, переводя и обрабатывая африканские и азиатские сказки,— с явным неодобрением пишет А. Адалис,—литераторы соблазняются темой мифологической—идолами, тотемами, табу и т. п. Описывают своеобразие обычаев, ритуальные пляски, жертвоприношения, всяческую «загадочность».*

Мне кажется, что, справедливо выступая против одностороннего увлечения экзотикой, А. Адалис впадает в противоположную крайность. Как можно обойтись без «мифологической темы», знакомя читателей с фольклором таких народов, у которых мифология и сегодня продолжает питать искусство? Сохранит ли сказка свою самобытность, если изгнать из нее описание своеобразных обычаев? И таким ли уж противопоказанным сказочному жанру качеством является... «загадочность»?

Сборник сказок и легенд индейцев Латинской Америки рассказывает о мужестве, доброте, трудолюбии, верности. Он сосредоточивает внимание читателя на таких чертах, которые являются общими для всех народов, но делается это не в ущерб своеобразию. Составитель поступил вполне правильно, включив в книгу индейские мифы (без них многие легенды остались бы непонятными), не отказавшись от сказок и легенд, основанных на тотемистических представлениях, не убоявшись и некоторых сказок, исполненных мрачной и дикой поэзии — как, например, сказка индейцев шеренте о

* Предисловие к сборнику «Сказки, о которых стоит подумать». Москва, «Знание» 1962.

юноше, влюбившемся в звезду. Перевод сказок и легенд осуществлен не с индейских языков, а с тех европейских, на которых они были впервые записаны исследователями. Тем не менее переводчикам в большинстве случаев удалось донести непосредственность и свежесть народной интонации. Все это и делает наше путешествие в мир индейской сказки таким интересным и плодотворным.

Л. ОСПОВАТ

Наша улица. Турецкая новелла XX века. Перевод с турецкого. Ответственные редакторы и составители Н. А. Айзенштейн, Л. О. Алькаева. Предисловие Л. Алькаевой. Москва, Издательство восточной литературы, 1962. 336 стр.

ЧИТАЯ ТУРЕЦКИЕ НОВЕЛЛЫ

Время, когда Турция была грозой для Европы, и время, когда эта страна превратилась — как говорили тогда — в «больного человека», о разделе наследия которого спорили и грызлись между собой империалистические державы, были в одинаковой степени бесплодными для турецкой прозы, именно прозы, потому что у турецкой поэзии есть чем гордиться.

Буржуазная революция 1908 года и свержение султаната и халифата пробудили турецкую литературу, она перестала быть подражательной. (Турецкие прозаики в основном следовали французским образцам: в лучшем случае — Доде, Мопассану, а в худшем — бульварным романам.) Появляются произведения, в которых звучит патриотическое чувство, произведения, обличающие реакционеров-фанатиков, турецкие писатели обращаются к жизни простого народа, жизни крестьян и рабочих, они с негодованием, а порой и сатирически изображают бытие паразитических слоев общества, стамбульских нуворишей, самодовольных буржуа, карьеристов-чиновников. Внимание турецкой литературы все больше привлекают процессы, которые происходят в жизни страны.

Сборник «Наша улица» вмещает новеллы современных турецких писателей. Это прозаики старшего и младшего поколений, и прочитав их новеллы, можно узнать многое о жизни и быте народа Турции.

Некоторые новеллы покажутся скорее очерками, с фотографической точностью рисующими борьбу за существование, тяжкую жизнь бедняков, из-за куска хлеба вынужденных продавать своих юных дочерей. Но какая глубокая правда заключена в них! Вот рассказ Орхана Кемаля «Две девочки». Детская проституция изображена здесь как бытовое явление, без авторских комментариев, просто и страшно, как жизненный факт. Скупыми словами рассказано о забастовке на хлопковой фабрике, об аресте ее вожаков.

Самим Коджагёз, известный турецкий писатель, автор изданного у нас романа о турецкой молодежи «Возвращение десяти тысяч», представлен пятью рассказами, из которых, пожалуй, самый сильный — «Смерть Старого вола» *, хотя он повествует лишь о том, как Старый вол по брюхо завяз в топи и живым был растерзан шакалами. Есть что-то символическое в этом рассказе и особенно в заключительных словах хозяина Старого вола. «От ярма-то он уж во всяком случае избавился...»

И тут же рядом рассказ, просто названный «Сделка» — родители продают за три мешка пшеницы дочь. И отец-дровосек счастлив, когда покупатель добавил ему еще ослика, который привез мешки.

Один из самых одаренных турецких писателей, трагически погибший от руки убийцы, Сабахаттин Али, автор вошедшего в сборник рассказа «Враги». С большим мастерством раскрывает писатель психологию труса и подлеца, который предал своего школьного товарища — «заклятого врага общества», скрывавшегося от полиции.

А сколько горькой иронии в рассказе Ильхана Таруса «Могила поэта Хальвети» о том, как предприимчивый делец Халиль-бей нажился на сооружении мавзолея знаменитому поэту.

---

* Рассказ был опубликован в «Иностранной литературе» № 9, 1961.

Есть в сборнике и два рассказа Азиза Несина, известного нашим читателям сатирика. Но на этот раз, как мне кажется, рассказы отобраны не совсем удачно. У писателя есть более острые и забавные произведения.

«Наша улица». Так названа книга. Люди разной судьбы и писатели разной индивидуальности проходят перед нами, и мы как бы видим жизнь страны, ее народа. Именно этим и интересен этот сборник.

ЛЕВ НИКУЛИН.

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

КНИГА О ГЕРОИЧЕСКОМ ФЕВРАЛЕ

Theun de Vries. Februari. Roman uit het bezettingsjaar 1941. Amsterdam, Uitgeverij Pegasus, 1962.

Трехтомная эпопея «Февраль» Тойна де Фриса стала значительным явлением в литературной жизни Голландии. Писатель поставил своей целью рассказать о большой забастовке в оккупированном гитлеровцами Амстердаме зимой 1941 года.

Историческая по своему содержанию книга де Фриса, поднимающая вопросы антифашистского Сопротивления в годы второй мировой войны, глубоко современна, политически актуальна.

Писатель обратился к трагическим событиям сороковых годов под непосредственным впечатлением сложной противоречивой обстановки сегодняшней Голландии, где поднимаются волны протеста против превращения страны в кладовую для хранения оружия НАТО, где тысячи юношей и девушек участвуют в «антиатомном марше» по крупнейшим нидерландским городам. Активный участник Сопротивления, узник фашистского концлагеря, писатель не мог оставаться равнодушным, наблюдая на улицах Амстердама неофашистских молодчиков в зеленых беретах, мечтающих о создании «Европейской империи».

«Февраль» построен как хроника. В нем 28 глав по числу дней в феврале. В двух первых книгах—«Чужая воля» и «Вне закона»—описаны события 24 дней, третья книга — «Восстание» — срывает с календаря последние четыре листка.

Тойн де Фрис изобразил жизнь оккупированного немецкими фашистами Амстердама широко и разносторонне. Он рисует сложное переплетение классовых, политических, личных интересов.

Вместе с автором романа читатель посещает доки и верфи портового города, входит в его магазины, конторы, на фабрики, заглядывает в скромные квартирки рабочих, в спортивные залы, в родильный дом, становится свидетелем трагедии, которая развертывается за колючей проволокой устроенного оккупантами в центре Амстердама еврейского гетто. Вслед за демонстрантами мы проходим по мостовым, направляемся вдоль каналов, огибаем площади, скверы Амстердама. Названия городских кварталов — Амстердам-север, Амстердам-юг, улиц — Розенграхт, Марниксштрассе, Бинненгоф приобретают отныне особый внутренний смысл, ибо они воспринимаются не просто как улицы и городские кварталы, но как священные места, где пролилась кровь трудового народа, выступившего против террора гитлеровцев.

Подлинные герои романа — рабочие, служащие, трудовая интеллигенция. Некоторые из них коммунисты. Коммунистическая партия Нидерландов, находившаяся с первого дня оккупации в глубоком подполье, сумела организовать рабочий класс, поднять его на всеобщую стачку, сумела добиться единения различных партий под знаменем общего дела. Рядовые члены компартии Рейн Фальк, Яспер Тиннеканне, Зебальд де Райкер, Яап Бранденбург, Виллем Хартгерс поддерживают тесную связь с боевым подпольным ядром коммунистического руководства. В укромных местах были установлены стеклографы, на которых печатались антифашистские листовки, воззвания партии. Свежие листки, еще не просохшие от краски, передавались связным, и уже через несколько минут их отправляли по назначению. Живое слово коммунистов мчалось в тендере паровоза, его проносили в сумках почтальонов, в хозяйственных мешочках, привязанных к велосипедному седлу, в детских колясках.

Вопрос о политическом престиже коммунистической партии, о той роли, которую она сыграла в годы оккупации, приобретает исключительно важное значение в наши дни, когда гаагское правительство отвергает мудрое предложение коммунистов о нейтралитете Голландии, когда именно компартия выступает инициатором борьбы за безатомную Голландию.

Де Фрис показал в романе подлинное лицо тех, кто в годы второй мировой войны предавал свой народ, кто ради сохранения капиталов пресмыкался перед оккупан

тами. Обобщенный образ такого предателя — крупный фабрикант Ян Таф, типичный квислинговец. Связанный деловыми интересами с верхушкой капиталистического общества, Ян Таф с самого начала войны стремится войти в контакт с оккупантами. Но свои корыстные цели этот беспринципный делец маскирует ницшеанскими декларациями о неизбежности разделения общества на «господ» и «рабов».

Сложнее фигура одного из королей амстердамской биржи Якоба Саффира. По своей классовой психологии Саффир ничем не отличается от Яна Тафа, он тоже готов сотрудничать с оккупантами, чтобы сохранить свой роскошный особняк, свои доходы. Но Саффир еврей, и это ставит его в особое положение. Он чувствует себя представителем гонимой расы и, казалось бы, полон искреннего желания помочь своим единоверцам. Однако стремление спасти свою жизнь, свое социальное положение оказывается сильнее всех других чувств, и Саффир становится орудием в руках нацистов.

Нельзя без гнева читать, как гитлеровские молодчики издевались над своими жертвами (глава «Вне закона»). Но писатель не ограничивается показом зверств фашистов, он стремится раскрыть и сложные идейные противоречия между различными слоями еврейского общества. Капиталисту Саффиру он противопоставляет доктора Менделса, известного в Амстердаме хирурга. Конфликт между Саффиром и Менделсом, который приводит к полному разрыву между ними,— это борьба между узким национализмом и высоким гражданским сознанием. Для Менделса главным является то, что он гражданин Нидерландов, и поэтому он считает себя участником общенациональной борьбы голландского народа против оккупантов. Арест и концлагерь навсегда обрывают благородную деятельность Менделса.

Бесчинства фашистов переполнили чашу народного терпения. Как один человек, поднимается рабочий класс Амстердама на забастовку в знак протеста против насильственной отправки рабочих в Германию, против еврейских погромов. Стачка быстро выходит за ворота фабрик, за пределы доков, верфей, к ней примыкают служащие, ремесленники.

Действие романа, которое в первых двух книгах текло плавно, иной раз даже нарочито замедленно, становится динамичным. Сильное впечатление производит описание стачки на бирже. Это был первый в истории ее существования день, когда сотрудники биржи, солидные, хорошо одетые господа, с тросточками и зонтами в руках, вышли на улицу и влились в колонны демонстрантов

По улицам Амстердама шли сотни тысяч женщин, юношей, мужчин, а рядом бежали мальчишки, наигрывая на губных гармошках популярные народные мотивы. Но вот смятение, первые выстрелы. Оправившись от изумления (подумать только: бастовать в стране, оккупированной «высшей расой»!) «зеленые» (немецкая полиция носила зеленые мундиры) ринулись на разгром демонстрации.

«Убийцы, мы не боимся вас!» — воскликнул старый рабочий Эверт Локхорст и преградил дорогу полицейской машине. Но машина сбила старика и проехала по нему, «словно это был не живой человек, а обрывок бумаги».

Фашисты задушили стачку. Многие из ее участников были убиты во время уличных столкновений, приговорены к длительным срокам заключения, иные умерли, не выдержав пыток в застенках гестапо, наиболее «опасных» (а это были коммунисты) предали казни. И все же народ не только не потерпел поражения, но одержал большую морально-политическую победу. Недаром немецкие власти строжайшим образом запретили амстердамским газетам и радио сообщать о стачке. Они боялись — и не без основания,— что волна протеста прокатится по другим городам страны.

Роман «Февраль» подводит нас вплотную к тем событиям, которые известны любому жителю Голландии. После февральских боев забастовали рабочие Утрехта, Заандама и других районов страны. Ни один из членов голландского вспомогательного корпуса нацистов не смел показаться в своем черном мундире в одиночку на улице — его ждала пуля патриота. Героический февраль стал застрельщиком партизанского движения, которое развилось в стране в последующие годы.

Роман-эпопея «Февраль» не единственное произведение современной голландской литературы, в котором говорится о всеобщей февральской стачке. Но если в книгах буржуазных писателей она — один из эпизодов жизни оккупированного города, то писатель-коммунист поставил стачку в центре своей эпопеи. Высокий подъем народных масс он показал не как стихийный героический порыв отдельных смельчаков, а как организованное коммунистической партией целеустремленное выступление прогрессивных сил нации.

Роман заканчивается драматической сценой в родильном доме. Здесь в ожидании ребенка лежит молодая женщина Хельма де Райкер. Читатель встречается с ней впервые в прологе романа: Хельма холодным февральским вечером спешит домой, и на перекрестке на нее едва не налетает немецкая полицейская машина. В это мгновение ребенок, которого она носила под сердцем, вдруг затрепетал... Ее муж, водитель трамвая Зебальд, был вскоре арестован как один из организаторов февральской стачки. Однако ему удалось увидеть новорожденного сына: врач-акушер, рискуя жизнью, провел его в родильную палату, но здесь Зебальда настигли гестаповцы.

Этой концовкой писатель как бы говорит: жертвы были не напрасны, они принесены во имя жизни и свободы будущих поколений.

И. ВОЛЕВИЧ.

ЗАРЯ РАССЕИВАЕТ МРАК

Nordine Tidafi. Le toujours de la Patrie. Tounis, SNED, 1962

«Поэт-борец, поэт — певец революции»,— так назвал Нордина Тидафи известный алжирский писатель, поэт и общественный деятель Анри Креа в своем предисловии к книге стихов Тидафи «Дни родины». Это первый поэтический сборник молодого писателя, вышедший в прогрессивном тунисском издательстве СНЭД.

Нордин Тидафи писал свои стихи в разгар революционных событий в Алжире, и поэтому его сборник — гимн революции, восставшему народу, призыв к беспощадной войне с угнетателями, протест против тех мук и страданий, которые выпали на долю алжирского народа.

Сборник состоит из двух больших частей, из которых первая дала название всей книге — «Дни родины». Одна за другой встают картины родной для Тидафи земли, образы его соотечественников — то, что возникает в душе поэта, когда произносят слово «Алжир».

Оливковые деревья, без которых невозможно представить алжирскую землю, извилистые уэды, пересыхающие в летнюю жару, знойный ветер сирокко, прохладные сахарские ночи, караваны верблюдов на юге, соломенные хижины бедняков... Читатель словно проходит перед полотнами художника-пейзажиста, любовно рисующего родную землю. Здесь стихи Тидафи спокойны и неторопливы. Это стихи — раздумья, размышления поэта, его воспоминания. Манера письма несколько меняется, когда поэт переходит к образам людей из народа Здесь та же теплота и сердечность, но она окрашена душевной болью, грустью, состраданием к людям, которых так долго угнетали, к тем, кто еще не разогнул спину и не видел «солнечного блеска свободы».

Вот арабская служанка. Поэт рисует ее натруженные руки, их поблекшую кожу «осеннего цвета», ее печальные глаза, большие и стыдливые, ее покорное безмолвие. Для этой несчастной и униженной женщины поэт находит неожиданное сравнение: «она как белая хризантема, как цветок, украшающий землю...» Вот портрет батрака, чьи руки не знают устали, а тело — отдыха, вот рыбак, пастух, кочевник-бербер, бедная крестьянская вдова, нищий философ, ребенок-калека. Печальный и мудрый рассказ маленького чистильщика обуви Али, этого алжирского Гавроша, о безрадостной жизни, о друзьях-бедняках завершает галерею образов простых алжирцев, близких и дорогих сердцу автора.

Народная Алжирская Республика родилась в тяжелых боях и тяжелых испытаниях, и поэт, горячо и страстно веривший в победу революции, воспевает героическую борьбу народа за свои права, за свое счастье. Вторая часть сборника называется «Кровь народа». В стихотворении «Пролог», открывающем эту часть, поэт как бы подводит итог предыдущим размышлениям о жизни своего народа: «У них было отнято все... У моего народа не было земли, его родной земли, взрастившей его...» Черная ночь колониализма «задушила радость и песни, она залила поля слезами горя, она предала Историю, Справедливость и Мудрость» («Тиран»). И поэт обращается к соотечественникам: «Откройте же двери, идите к свету, идите друг к другу, соедините руки, сбросьте оковы, разрушьте царство мучений и смерти!.. Это ваш первый путь, ваш великий путь и единственный путь...»

Пусть каждый сын Алжира почувствует себя частицей целого, частицей своего народа, ведь народ «начинается в каждом из них» («Предок»).

Многострадальная земля смотрит на них с надеждой, и пусть на знамени их борьбы будет начертано: «Человек, мир, свобода» («Пусть»).

«Пусть родина моя скинет с себя покровы ночи и засверкает золотом» («Хартия»).

Тема восставшего народа, сражающегося за свое отечество, звучит все сильнее и сильнее. «Когда народ в беде, надо брать в руки ружье и не бояться крови — она прольется за свободу и счастье»,— эти слова произносит простая алжирская женщина, гордая своим сыном, который стал партизаном («Мать»). Поэт гневно говорит о предателях родины, «гнусных наймитах колониалистской полиции». «Я хочу связать их черные, грязные руки, я хочу вырвать из этих рук всех невинных и оклеветанных, вырвать из рук смерти и вернуть моему народу...» («Предатель»).

Поэт славит героев алжирской революции, которых не сломили ни пытки, ни мучения, ни тюрьма Барберусс. Песни о муджахиде — борце армии Национального освобождения, о раненном в бою солдате, о приговоренном к смерти, о Джамиле Бухиред звучат торжественно и призывно. Они зовут к новым подвигам, к новым свершениям:

Идите вперед, мои братья!
Партизаны вас ждут.
Своим подвигом вы спасете
Отечество.
Вы — песня, которую споет народ!

(«Амируш»)

«Заря рассеивает мрак». Эти слова Поля Элюара стали названием новой серии публикаций тунисского издательства СНЭД. И не случайно серия эта была открыта книгой Нордина Тидафи «Дни родины».

С. ПРОЖОГИНА.

ВАЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Hans Koch. Marxismus und Ästhetik. Zur ästhetischen Theorie von Karl Marx, Fridrich Engels und Wladimir Iljitsch Lenin. Berlin, Dietz Verlag, 1961.

За последние годы в социалистических странах появились новые исследования, посвященные разработке марксистско-ленинской эстетической теории. Среди них следует отметить большую работу немецкого ученого Ганса Коха «Марксизм и эстетика».

Книга эта — логическое продолжение предыдущих работ Ганса Коха: исследования «Вклад Франца Меринга в марксистскую теорию литературы» (1959) и боевых статей по вопросам эстетики, в первую очередь таких, как «Политика, литературоведение и позиция Лукача» и «Теория и политика у Георга Лукача» (1957).

«Полемика вокруг живой литературы и искусства ставила классиков марксизма, которые всегда были противниками абстрактной «теории вообще», перед настоятельной необходимостью изложить свои эстетические взгляды. И хотя эти высказывания чрезвычайно разбросаны, все они — составные части единой большой концепции». Эти слова формулируют не только ведущую мысль книги. Они являются одновременно и обоснованием методологии автора, стремящегося не только интерпретировать многочисленные высказывания Маркса, Энгельса и Ленина по вопросам литературы и искусства, но и показать ту «единую большую концепцию», которая вырастает из этих «составных частей». Г. Кох делает это не «абстрактно», а исходя из задач идейной борьбы современности, сочетая теоретическое исследование с анализом конкретного литературного процесса.

Среди других работ, посвященных эстетическим взглядам классиков марксизма, книга Ганса Коха отличается полнотой — это видно уже по первому разделу, где дается краткая характеристика источников и введение в проблематику книги. Во втором разделе рассмотрены такие важнейшие проблемы, как взаимоотношение эстетики и жизненной практики, роль объективного и субъективного факторов в художественном творчестве. Читатель воочию убеждается, насколько лживы утверждения тех буржуазных ученых, которые пытаются доказать, что марксизм якобы проходит мимо специфики искусства.

Детальное исследование эстетической сущности искусства (третий раздел книги) и исторического развития взглядов на искусство автор убедительно подкрепляет анализом выдающихся достижений литературы и живописи прошлого. Он рассматривает давшее миру классические образцы искусство древних греков и эпохи Возрождения. Ганс Кох опирается в своих выводах на творчество немецких писателей — Гёте, Шиллера, Гейне, Томаса Манна, так же как и на творения великих мастеров мировой литературы — Диккенса, Бальзака, Льва Толстого.

Заключительный раздел работы посвящен проблемам реализма и партийности литературы и искусства. Здесь, как, впрочем, и в других разделах, большое внимание уделено творчеству основоположника социалистического реализма Максима Горького и В. Маяковского — поэта, «революцией мобилизованного и призванного». Автор вновь и вновь обращается к художественной практике Иоганнеса Р. Бехера, проложившего в немецкой литературе путь социалистическому реализму.

Детально разбирая работу В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», Ганс Кох раскрывает ту огромную роль, которую играют ленинские положения в формировании нового, социалистического искусства. Г. Кох закономерно приходит к выводу, что «общественно-исторический процесс... в рамках всего нашего общества объективно приводит к социалистическому реализму».

Много ценных наблюдений читатель найдет в главах, посвященных разоблачению идейных основ декаданса, утверждению реализма как метода, в главах о диалектической связи свободы творчества и партийности художника.

Мысли Ганса Коха плодотворны, всегда интересны, хотя и не всегда бесспорны. Но бесспорно, что эти мысли, даже тогда, когда они вызывают возражения, продвигают нас к созданию всесторонне обоснованной теории искусства социалистического реализма. Последовательно развивая принцип партийности литературы, книга Ганса Коха отстаивает основные завоевания передовой эстетической мысли. В острой идеологической борьбе наших дней она наносит удар по колеблющимся и маловерам, помогает художникам найти их подлинное место в жизни народа

С. РОЖНОВСКИЙ

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

В Болгарии вышел сборник произведений К. И. Чуковского под названием «Люди и книги».

(Еженедельник «Литературни новини»)

В венгерском издательстве «Кошут» вышла брошюра, в которую, как сообщает бюллетень «Тайекоэтато», включены речи Л. Ф. Ильичева о роли литературы и искусства в строительстве коммунизма.

Избранные стихи и проза Владимира Маяковского выпущены издательством «Эдитер франсе реюни». Составитель, переводчик и автор вступительной статьи — Эльза Триоле.

Книга Дмитрия Фурманова «Чапаев» вышла в пражском издательстве «Наше войско» в переводе Франтишека Пишека.

Недавно журнал «Дипика», издающийся в Бомбее на английском языке, познакомил своих читателей с рассказом «Двадцать шесть и одна» М. Горького, творчество которого очень популярно в Индии.

В редакционном предисловии к рассказу журнал тепло отзывается о Горьком, подчеркивая, что «его симпатии всегда были на стороне угнетенных классов общества, жизнь которых он запечатлел в своих произведениях».

В США вышел роман Константина Федина «Города и годы».

Недавно в Мюнхене (ФРГ) в издательстве «Курт Деш» вышел большой сборник «Русская проза с 1917 г. до настоящего времени». Сборник содержит 42 произведения: новеллы, рассказы, отрывки из романов. В предисловии использованы письма М. Горького. Наряду с известными авторами — такими, как М. Шолохов, В. Маяковский, И. Бабель, В. Иванов, В. Катаев,— в книге представлены новые для Западной Германии имена: Д. Гранин. А. Яшин, Н. Евдокимов и другие.

В австрийском издательстве «Глобус-ферлаг» вышли произведения советских авторов: Даниила Гранина «Искатели» и Николая Погодина «Янтарное ожерелье».

Амстердамское издательство «Муссольт» выпустило сборник рассказов И. Бабеля в переводе Ч. В. Тиммера. В издательстве «Нелиссен» готовится к выпуску роман Г. Бакланова «Мертвые сраму не имут».

Итальянское издательство «Гуанда» выпустило большой сборник стихов Анны Ахматовой.

В Венгрии вышла «Антология современных марийских писателей».

Государственный издательский институт Польши ПИВ выпустил сборник рассказов советских писателей С. Антонова, В. Лидина и других. Еженедельник «Нова культура» поместил обширную рецензию на этот сборник Янины Прегер, озаглавленную «Новый гуманизм советской прозы».

Галина Николаева — одна из самых популярных в ГДР советских писательниц. Наибольшим успехом пользуется у немецких читателей ее роман «Битва в пути».

Недавно в издательстве «Культур унд фортшритт» вышла книжка Галины Николаевой «Рассказы бабки Василисы про чудеса».

В варшавское издательство «Искры» выпустило книгу научно-фантастических рассказов советских писателей «Альфа Эридана».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРИЯ

РАСТУТ ПОШЛИНЫ НА КНИГИ

Газета «Фольксштимме» сообщает о том, что австрийские финансовые органы решили повысить на три процента пошлину на ввозимые из-за границы книги. Поскольку четыре пятых книг, продаваемых в Австрии, в том числе и произведения известных австрийских писателей, поступают в страну из-за границы, то и цены на австрийском книжном рынке также повысятся.

Австрийские книготорговцы протестуют против такого решения властей и отмечают, что культурные ценности в Австрии будут в результате повышения пошлин почти так же высоко облагаться налогами, как и спиртные напитки. «Известно при этом,— пишет «Фольксштимме»,— что западногерманские бульварные и реваншистские издания не облагаются столь высокой пошлиной, как действительно ценная литература».

АЛЖИР

«ДАЙТЕ НАМ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ»

В городах Алжирской Республики непрерывно растет число кинотеатров. Немалую помощь в кинофикации молодой республики оказывают Советский Союз, Венгрия и другие социалистические страны.

Недавно в густонаселенном квартале города Алжир открылся один из нескольких десятков новых небольших кинозалов, носящих здесь название «сине-поп». Многочисленным зрителям был показан документальный фильм об освободительной борьбе алжирского народа. Затем демонстрировался советский кинофильм «Павел Корчагин». Как сообщает алжирская пресса, советский фильм шел под непрерывные аплодисменты зрителей. Фильм «Павел Корчагин», отмечает рецензент газеты «Альже репюбликэн»,— это шедевр революционного кино. Он близок алжирцам и потому имел заслуженный успех. «Нам надоели картины о ковбоях и полицейских. Дайте нам революционные фильмы»,— требовали зрители.

АНГЛИЯ

АНТИВОЕННАЯ ПОСТАНОВКА ДЖОАН ЛИТТЛВУД

В текущем сезоне ни одна театральная постановка в Англии не вызвала столько восторженных отзывов, как сатирический антивоенный спектакль «Ах, какая великолепная война!», идущий в «Тиэтр Ройал» в Стратфорде. Его постановщица, Джоан Литтлвуд, считается одним из талантливейших режиссеров Англии.

Пьеса написана Чарльзом Чилтоном, но, по единодушному мнению всех критиков, блеск и выдумка, с какими поставлена пьеса, делают Джоан Литтлвуд ее соавтором. Сама же она, скромно считая, что в театре все зависит от актеров, от их вдохновения и импровизации, потребовала, чтобы в тексте программ было указано крупным шрифтом: «ЭТА ПЬЕСА НАПИСАНА ЧАРЛЬЗОМ ЧИЛТОНОМ И ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ СПЕКТАКЛЯ».

Постановка осуществлена в форме сатирической музыкальной комедии. В тексте использованы документы первой мировой войны. Автор включил в спектакль песни тех времен, газетные заголовки.

Спектакль состоит из отдельных номеров-скетчей, разоблачающих международный империализм и милитаризм, фабрикантов оружия и поставщиков обмундирования для армии, обогащавшихся на мировой бойне и пожинавших обильную жатву в виде обагренных кровью прибылей. Актеры разыгрывают скетчи на фоне экрана, где непрерывно демонстрируются кадры из кинохроник первой мировой войны. Бойня на земле Франции, горы гниющих трупов на полях сражений, чудовищные условия окопной войны, раненые, изувеченные люди, сожженные дотла деревни, трупы, трупы, трупы — все это проходит перед глазами зрителей, в то время как на сцене показывают парадную

Сцена из спектакля «Ах, какая великолепная война!» в стратфордском «Тиэтр Ройал».

(Еженедельник «Обзёрвер»)

муштру, «благотворительные» балы, где развлекаются отсиживающиеся в тылу генералы и спекулянты; заседания директоров корпораций, обсуждающих возможности тайных поставок оружия и боеприпасов врагу. Деньги, как говорится, не пахнут, и военным фабрикантам нет дела до того, что молодежь стран-союзниц будет гибнуть от оружия, с большой выгодой поставляемого немцам торговцами смертью. Такова беспощадная и неприглядная правда истории, показанная на сцене Джоан Литтлвуд.

«После заключительной сцены,— пишет Кэннет Тайнен в «Обзёрвер»,— хочется пойти на штурм Букингемского дворца и поджечь Найтсбриджские казармы».

Необходимо, чтобы театр, пишет еженедельник «Трибюн», совершил гастрольную поездку по всей Англии и чтобы спектакль этот увидело как можно больше людей.

БИРМА

КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

Всебирманская конференция писателей, состоявшаяся недавно в Рангуне, продемонстрировала рост творческой активности писателей, повышение интереса к жизни народа.

В работе конференции приняло участие свыше 600 писателей, поэтов и наблюдателей — представителей крупнейших творческих организаций страны: Ассоциации писателей Бирмы, Клуба бирманских писателей, Клуба поэтов, Ассоциации бирманских писательниц, Общества по распространению литературы.

Участники конференции говорили о необходимости создания произведений разных жанров для народа. Многие выступления касались вопросов литературного мастерства, развития литературной критики, улучшения материального положения писателей.

БОЛГАРИЯ

ПРОТИВ ПРОНИКНОВЕНИЯ БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ

Болгарские писатели единодушно выступают против проникновения в литературу упаднической идеологии Запада. Еженедельник «Литературен фронт» печатает высказывания писателей в связи с выступлением Тодора Живкова на встрече с деятелями культуры.

«Мы за литературу социалистического реализма,— говорит писатель Андрей Гуляшки,— против уныния, против пессимизма в литературе, против освещения жизни «со стороны задворков», извращений и безразличия — этого троянского коня буржуазной идеологии, кое-где протаскиваемого в нашу социалистическую крепость».

Работники ЦК БКП встретились с деятелями литературы и искусства и вместе с ними обсудили вопросы идеологической работы. «Участники встречи,— пишет «Литературен фронт»,— высказали волю и решимость продолжать борьбу против

Этими рисунками болгарский художник-карикатурист Т Пиндарев откликнулся на выступления деятелей литературы и искусства против проникновения буржуазной идеологии Вверху. «Троянский конь Запада». На нижнем рисунке изображена сценка в ателье абстракциониста Натурщица говорит незадачливому художнику «Раз вы воспринимаете меня абстрактно, то я сразу же ухожу ..»

(Еженедельник «Народна култура»)

всяческих проявлений буржуазной идеологии в нашей жизни, работать над созданием высокоидейных и высокохудожественных произведений в литературе и искусстве, помогающих формированию нового человека, служащих народу в его героической борьбе за построение коммунизма».

ВЕНГРИЯ

«ДРУЗЬЯ ПОЭЗИИ»

В литературной жизни Венгрии произошло примечательное событие: создано общество «Друзья поэзии». Цель создания общества сформулирована в обращении книжного бюллетеня «Тайекозтато» к писателям и читателям. Ее можно выразить одной фразой — пусть крепнут связи поэтов с читателями и поэзии с жизнью. Создание общества открывает широкие возможности для приобщения читателей к современной поэзии, для формирования у них высоких эстетических вкусов.

Членом общества «Друзья поэзии» может быть каждый, кто по-настоящему любит поэтическое творчество. Но у того, кто станет членом общества, появятся и обязанности, например: внимательно следить за всем новым в поэзии...

Поэт Ласло Геребьеш сказал об этом начинании: «С радостью приветствую создание общества «Друзья поэзии». Желаю обществу успехов в работе, уверен, что у этого движения большое будущее...»

Представитель читателей рабочий Петер Силади так выразил свои мысли: «Очень люблю стихи. Каждый новый томик стихов, каждый вечер поэзии вызывают у меня огромное чувство радости, поэтому я горячо приветствую создание общества «Друзья поэзии», ведь оно поможет нам узнать много интересного. И еще мне хочется сказать молодым поэтам: поддержите это начинание! Каким образом? Хорошими и искренними стихами».

ВЬЕТНАМ

КОНГРЕСС ПИСАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ

«Литература и искусство Вьетнама твердо стоят на позициях социалистического реализма, сохраняя при этом свой национальный характер,— заявил председатель Ассоциации литературы и искусства товарищ Данг Тхай Май на III Национальном конгрессе этой организации.— В этом кроется одна из основных причин больших успехов, достигнутых вьетнамским народом в области культуры».

Товарищ Данг Тхай Май рассказал, что наряду со старыми, имеющими вековые традиции видами искусства успешно начали развиваться и новые для Вьетнама: кино, цирк, кукольный театр.

Литература и искусство стали достоянием народа. Значительно возросли за последние годы тиражи книг; количество зрителей, посещающих театры и кино, исчисляется десятками миллионов. К художественному творчеству приобщаются простые труженики. Так, писатели собрали много воспоминаний бывших солдат и офицеров Народной армии.

Бурно развивается за последние годы культура национальных меньшинств.

Большое распространение получили среди трудящихся Вьетнама переводы произведений классиков и современных мастеров культуры Советского Союза и других социалистических стран.

«Литература и искусство,— отмечается в резолюции конгресса, на котором присутствовало более шестисот делегатов, представителей нескольких поколений деятелей литературы и искусства Вьетнама,— помогает строительству социализма в стране, борьбе за национальное воссоединение и способствует укреплению дружбы между народами Вьетнама и других стран».

Конгресс избрал новый Исполнительный комитет Союза писателей и работников искусств Вьетнама в составе 52 человек во главе с Данг Тхай Маем.

К конгрессу была приурочена большая художественная выставка, где были представлены работы лучших мастеров страны.

ГАНА

ПЛАНЫ ГАНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

Как сообщает газета «Ганиэн таймс», в Аккре начато строительство новой большой киностудии. В связи с этим глава национальной кинокорпорации Дж. Ампиа-Квофи рассказывает на страницах газеты о ближайших планах ганских кинематографистов.

Вначале в Гане будет налажен регулярный выпуск документальных фильмов, посвященных политическим, экономическим и социальным изменениям в стране, затем — хроника культурной жизни и, наконец, будут предприняты попытки экранизации рассказов из жизни народа. Так будут подготовлены основы для создания ганских полнометражных художественных фильмов.

«Корпорация возлагает большие надежды на наших писателей,— заявил Дж. Ампиа-Квофи,— и ждет от них рассказов о жизни народа. Ганские писатели должны откликнуться на наш призыв, чтобы мы могли достигнуть поставленных целей».

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ВМЕСТЕ С ПАРТИЕЙ

Союз прогрессивной немецкой интеллигенции «Культурбунд» активно бо-

рется за проведение в жизнь решений Социалистической единой партии Германии, разработавшей программу социалистического строительства в республике. Как сообщает газета «Берлинер цейтунг», «Культурбунд» недавно выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что видит свою задачу в том, чтобы помогать партии в области духовной и культурной жизни страны, в ведении постоянной пропаганды и разъяснении принципов социалистического гуманизма.

Особое внимание «Культурбунд» будет уделять разоблачению реакционной буржуазной идеологии.

ОСТРОВ СВОБОДЫ ГЛАЗАМИ ДРУГА

Известный немецкий писатель Герберт Отто три месяца провел на Кубе, «исколесил ее вдоль и поперек», многое повидал, многое узнал, стал очевидцем интересных событий. Обо всем этом он написал в книге «Республика страсти», которая недавно вышла в издательстве «Фольк унд вельт» вторым, расширенным изданием. Книга богато иллюстрирована фотографиями автора. Свои репортажи Герберт Отто посвятил тем, «кто сражался за революцию в июле 1953 года, и тем, кто сражался на Плайя-Хирон, тем, кто отразил атаки американских агрессоров, и тем, кто сейчас строит новую жизнь,— героическому, свободному народу Кубы».

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

«УБОЙНЫЙ СКОТ»

Большой шум в западногерманской прессе вызвал сценарий телевизионной постановки «Убойный скот» молодого немецкого писателя Кристиана Гейслера, проживающего в Мюнхене. И «Франкфуртер альгемейне цейтунг» и гамбургская «Цейт» в один голос выступили против автора и его пьесы, где в острой сатирической форме критикуется политика правящих кругов боннской республики и показано отношение к ней многих ее граждан.

Реакция прессы свидетельствует о том, что автор попал своим произведением в цель, разоблачив перед молодежью Западной Германии опасный курс боннского правительства. Неминуемая катастрофа ожидает всех граждан Западной Германии, утверждает автор, если нынешним реваншистам не будет своевременно оказано активное сопротивление. Через все произведение проходит мысль о необходимости единства всех прогрессивных, антимилитаристских сил.

Сюжет пьесы прост, но символичен. В ультрасовременном, комфортабельном вагоне собрались пассажиры экспресса дальнего следования. Поезд несется с бешеной скоростью, приближаясь к конечной станции. В очень удобном вагоне люди все же чувствуют себя как-то неуютно, что-то здесь явно не так. Это ощущение появилось сразу после несколько необычного отправления, когда было объявлено, что в хвостовую часть поезда вход категорически запрещен. Потом по радио непонятным военным кодом начались передачи каких-то команд. Выяснилось, что телефон отключен, затем пассажиры узнали, что окна открывать нельзя, что двери заперты, а тормоза не работают. Оказалось, что поезд проскочил мимо трех станций, на которых были предусмотрены остановки...

Как же ведут себя пассажиры?

Они в панике. Пастор произносит речи о необходимости выстоять до конца, кто-то бьется в истерике. Люди теряют голову, впадают из одной крайности в другую, и лишь проводник невозмутим. Он все время твердит одно и то же: «У меня имеются инструкции, все в порядке».

И только три человека решаются на активное сопротивление, отказываются безропотно мчаться навстречу опасности: это молоденькая секретарь-машинистка и двое мужчин — Кольнер и Ганзен. Под нажимом пастора эти двое капитулируют, и девушка остается в

В одном из художественных салонов Кёльна недавно демонстрировались «рисунки» шимпанзе и гориллы. Карикатурист «Штутгартер цейтунг», которому, видимо, надоели абстракционистские выверты, в связи с этой выставкой решил зло посмеяться над современными модернистами. Подпись под карикатурой гласит: «Мои ли это произведения? Н-е-е-т! Это произведения моих коллег - людей».

(Газета «Штутгартер цейтунг»)

одиночестве. На конечной остановке ее уводит полиция... В горячих, взволнованных словах девушки — предупреждение. Она говорит своим попутчикам: «Почему вы не задаете вопросов? Спрашивайте! Спрашивайте! Спрашивайте! Почему вы не хотите ничего знать? О боже, почему вы не хотите жить?» Это — обращение ко всем гражданам Западной Германии, ко всей ее молодежи.

Немецкий еженедельник «Зонntаг», печатая отрывки из сценария, в своем комментарии пишет: «Убойный скот» — сильная пьеса».

ГРЕЦИЯ

РОМАН НИКОСА КАТИФОРИСА

Новый роман Никоса Катифориса «Когда мы долбили небо» повествует о годах оккупации Греции итальянскими и немецкими фашистами. Его герой, бедный учитель, от имени которого ведется рассказ, отправляется из Афин в провинцию, чтобы раздобыть пропитание для своей семьи. Он видит вокруг страдания народа, голод, разруху, террор. Учитель встречает своего школьного приятеля Андреаса и богатого торговца Карнавалоса, которые готовы на любые компромиссы с совестью, а может быть, даже на сотрудничество с врагом — лишь бы выжить в тяжелые годы. Герой романа, всегда старавшийся быть честным, попадает в тюрьму, где томятся греческие патриоты, мужественно сражавшиеся против оккупантов. В этой одиссее скромный и робкий учитель приходит к мысли о необходимости вместе с народом бороться за свободу родины.

Греческий критик Статис Дромазос в статье, опубликованной в газете «Авги», положительно оценивает роман Никоса Катифориса, отмечая, что писателю удалось прекрасно показать маленького человека в период оккупации, раскрыть его внутренний мир.

ДАНИЯ

КНИГА О БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА

В датской художественной литературе важное место занимают произведения, рассказывающие о днях немецкой оккупации Дании и о героической борьбе датского народа против фашизма.

К этим произведениям, в первую очередь, относится замечательный роман Ганса Шерфига «Фрюденхольм», вышедший в конце прошлого года в издательстве «Гюльдендаль» (сообщения в «Иностранной литературе» № 4 и 5, 1963).

Совсем недавно увидела свет книга Иенса Иенсена «Они пришли с Юга», которую пресса единодушно отметила как одно из наиболее интересных и значительных произведений датской литературы последних лет.

Действие книги происходит в небольшом ютландском городке, жители которого — народ медлительный и спокойный. Книга рассказывает об этих людях, об их страхах и сомнениях, об их мужестве и героизме. Непосредственные участники событий — члены одной рабочей семьи. Главный герой — мальчик-подросток, вставший в ряды борцов за освобождение родины.

Ганс Шерфиг в рецензии, помещенной в газете «Ланд ог фольк», пишет: «Повествование захватывает и волнует, покоряет тонким юмором и изяществом. В книге есть и любовная линия, полная поэзии и красоты... «Они пришли с Юга» — превосходная книга, язык ее точен и лаконичен. Драматические события романа очень впечатляющи, но не бьют на внешний эффект и не грешат излишней сентиментальностью. Мне кажется, что книга займет достойное место в датской литературе».

Книга иллюстрирована известным датским художником Херлуфом Бидструпом.

ИНДИЯ

По совершенству формы и богатейшей технике танец масок «чау» относят к первым пяти лучшим классическим танцам Индии. Среди традиционных танцевальных стилей «чау» наиболее близок национальному балету, а маски свидетельствуют о древнейшей культуре танца. Однако долгие годы он был незаслуженно забыт, хотя о нем написано немало исследований. На фестивалях и концертах в крупных городах он бывал изредка представлен лишь сольными номерами. Недавно в Дели впервые с полной программой этого танца выступила Сарайкельская танцевальная труппа «чау». Пресса высоко оценила искусство творческого коллектива. На снимке: персонаж танца «чау» — Ардхнаришвар

(Журнал «Линк»)

РОСТ КИНОПРОМЫШЛЕННОСТИ

Первые выпускники Мадрасского института кинотехники, основанного три года назад, уже защитили свои дипломные работы. В Индии существует еще один институт, готовящий кадры для кинопромышленности,— в городе Пуна. Однако, как отмечает журнал «Хинду уикли ревью», оба эти института пока не в состоянии полностью обеспечить нужды растущей кинопромышленности Индии необходимым количеством кинооператоров и технических специалистов.

ИРЛАНДИЯ

СБОРНИК КОРОТКИХ РАССКАЗОВ БРАЙЕНА ФРИЛА

Газета «Айриш пресс» дает высокую оценку сборнику коротких рассказов писателя Брайена Фрила, вышедшему под названием «Давайте позабавимся». Этот первый сборник Брайена Фрила, по мнению критики, характеризуется большим художественным мастерством, которым «мог бы гордиться любой из маститых ирландских писателей».

В рассказах, написанных с теплотой и юмором, показаны в основном труженики, скромные, простые ирландцы — люди свободолюбивые и мужественные, отзывчивые и вспыльчивые, подчас грустные, подчас веселые.

В некоторых рассказах звучат и трагические нотки. Таков, например, с пафосом написанный рассказ «Погонщик скота», в котором воспроизведен горячечный бред умирающего в больнице погонщика скота. Ему мерещатся бесконечные дороги, по которым он всю жизнь ходил со своими стадами. Газета отмечает также как один из лучших рассказ о людях труда — «Сборщики картофеля».

Небезынтересен в связи с этим заключительный абзац рецензии на сборник рассказов Брайена Фрила, опубликованной в «Айриш пресс»: «Это смелый писатель. Один из немногих, кто решился попытать счастья, зарабатывая себе на жизнь пером,— довольно рискованная ставка в мире, где возможностей выдвинуться становится все меньше и меньше».

ИСПАНИЯ

ФРАНКИСТСКАЯ «ДЕМОКРАТИЯ» В ДЕЙСТВИИ

В актовом зале мадридского Инженерного училища состоялся вечер памяти великого поэта Антонио Мачадо. Почтить память поэта, умершего в изгнании двадцать четыре года назад, пришло несколько сот студентов. В начале вечера были прочитаны отрывки из произведений Мачадо, а также стихотворение «Поэт и смерть», посвященное, как известно, памяти Гарсиа Лорки, убитого франкистами в Гранаде. Затем слово было предоставлено известному современному поэту Испании Габриэлю Селайе, который рассказал собравшимся о жизненном и творческом пути Антонио Мачадо. Когда Габриэль Селайя заявил, что Мачадо и другие прогрессивные деятели того времени стремились изменить социальные условия, от которых и поныне страдает Испания, его выступление было прервано взрывом аплодисментов и одобрительными возгласами публики.

Селайя представил студентам поэта Анхеля Гонсалеса, лауреата конкурса имени Антонио Мачадо, который проводился во Франции. Однако Анхелю Гонсалесу не суждено было обратиться к собравшимся. Дирекция училища не разрешила продолжать вечер и предложила студентам покинуть зал.

ИТАЛИЯ

ДИСКУССИЯ О ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО РОМАНА

Совет Европейского сообщества писателей на своих заседаниях в Риме (10—13 мая) принял решение — провести в начале августа в Ленинграде сессию, посвященную проблемам современного романа. Решение, единогласно принятое представителями Италии, СССР, Франции, Польши, Югославии, Англии, Испании, Швейцарии, свидетельствует о жизнеспособности Сообщества, о связи его деятельности с живыми проблемами творчества. Судьбы современного романа тесно связаны с путями развития большого реалистического искусства. Художественная практика наших дней опровергает досужие разговоры о «кризисе» и «обреченности» романа. Верно заметил итальянский писатель Пратолини: «Сегодня роман может быть либо реалистическим, либо вообще не существовать».

Об интересе к сессии в Ленинграде говорят уже ставшие известными имена участников, представляющих литературы большинства стран Европы. В частности, на ленинградскую сессию предполагают приехать Артур Лундквист и Жан-Поль Сартр, Васко Пратолини и Михай Бенюк, Фридрих Дюрренматт и Ингеборг Бахманн, Ангус Уилсон и Джузеппе Унгаретти... Ожидается приезд пятидесяти писателей из-за рубежа.

Встреча в Ленинграде — первое начинание созданного в 1958 году Европейского сообщества писателей, проводимое в Советском Союзе.

ТЕЛЕРОМАН ЭДУАРДО ДЕ ФИЛИППО

Драматург, режиссер и актер Эдуардо Де Филиппо, стремясь донести свое искусство до самого широкого зрителя, столь же активно, как некогда в кино, работает ныне для телевидения. После постановки серии телеспектаклей по своим комедиям, в которых он исполнял главные роли, Эдуардо начал работать в новом для него жанре телероманa. Он написал для телевидения роман «Пеппино Джирелла», рассчитанный на шесть телепередач.

Действие телероманa происходит в наши дни в Неаполе. Главные роли: двенадцатилетний Пеппино Джирелла (играет его Джузеппе Фуско — сынишка швейцара дома в Неаполе, где живет автор) и его отец Андреа — перебивающийся случайными заработками безработный (эту роль исполняет сам Де Филиппо). Судя по первым передачам, это, как отмечает критика, остро социальное, гуманное произведение в духе итальянского неореализма, которое дает широкое полотно народной жизни. Произведение Де Филиппо резко отличается от обычных сентиментальных и по-театральному ус-

ловных телеинсценировок «знаменитых» романов.

Обращение Эдуардо де Филиппо к новому жанру вызывает большой интерес у телезрителей и критики, которая отмечает, что этот роман «с продолжением» представляет собой новый тип произведения, еще не свободный от многих недостатков, но заслуживающий самого серьезного изучения и ставящий важные проблемы новых художественных средств, нового литературно-телевизионного «языка».

КАНАДА

САТИРА НА «АМЕРИКАНСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

В театральной жизни Торонто за последнее время выдвинулось «Финское театральное общество «Торонто», поставившее одноактную фантастико-сатирическую пьесу «Самый великий человек в мире». Авторы ее — члены этой талантливой драматической труппы. Пьеса повествует о современном американце, который полетел на Луну и вернулся обратно, разочарованный тем, что лунные жители, селениты, не пожелали принять «американский образ жизни».

Пьеса бьет по наиболее уродливым сторонам жизни в США—расизму, «охоте за ведьмами», демократии доллара. По словам газеты «Кенэдиен трибюн», пьеса разоблачает стремление правящих и милитаристских кругов Америки проводить в жизнь политику, угрожающую безопасности народов всего мира. Острый и занимательный спектакль нашел живой отклик зрителей.

КИТАЙ

НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Пекинское издательство выпустило в свет четыре новые книги китайских писателей. Среди них вторая часть романа «Судьбы поколения» Оуян Шаня, которая называется «Жестокая борьба». В ней показано столкновение революционных сил с силами контрреволюции после 1927 года. Герой первой части романа, Чжоу Бин, закаленный в революционных битвах, становится руководителем крестьянской борьбы в провинции Гуандуи.

Книга Линь Чана «Буря над Тайханшанем» повествует о долгих годах борьбы крестьян против японских захватчиков.

Идейный разброд в среде национальной буржуазии и влияние на нее новых явлений в жизни страны показаны писателем Чжоу Эр-фу во второй части романа «Утро Шанхая».

КУБА

ШАГИ КУБИНСКОГО КИНО

Как заявил вице-президент Кубинского института искусства и кинематографической промышленности Хулио Гарсиа Эспиноса в интервью газете «Юманите», до революции кубинской национальной кинематографии практически не существовало. Не было ни студий, ни лабораторий, ни технических специалистов. Кубинцы снимали только киножурналы для иностранных фирм. Несколько фильмов, снятых при участии киностудий Мексики и США, носили чисто коммерческий характер.

После победы революции, благодаря помощи кинематографистов социалистических стран, Куба создала свои национальные кадры киноработников. Сейчас в республике постоянно работают в кино 600 специалистов.

Один из лучших кубинских кинематографистов, Томас Гутьеррес Алеа, сказал далее Эспиноса, сделал фильм «Двенадцать стульев» по одноименному роману Ильфа и Петрова. Место действия этого фильма перенесено на Кубу.

Интересует ли кубинцев кино? Разумеется. Но на Кубе сейчас всего 500 кинотеатров, причем большинство из них находится в Гаване. Поэтому Институт организует поездки кинопередвижек по стране. Благодаря этому некоторые кубинцы в отдаленных уголках острова впервые в жизни увидели кино.

Как обстоит дело с импортом кинофильмов? Ввиду отсутствия иностранной валюты Куба почти не покупает фильмов в капиталистических странах. Обычно зарубежные фильмы не дублируются, так как чтение субтитров доставляет удовольствие многим зрителям, которые лишь недавно научились читать.

В настоящее время, продолжал Эспиноса, кубинские кинематографисты работают над киножурналами, документальными фильмами и над «народной энциклопедией» — серией научно-популярных фильмов. Это вклад кинематографистов в дело повышения национальной культуры.

Каковы планы кинематографистов Кубы на будущее? Совместно с работниками советского кино снимается фильм «Я — Куба». Хорхе Фрага работает над фильмом «В эти дни», в котором рассказывается история кубинской учительницы, добровольно отправившейся учить людей в отдаленную деревню. Музыкальный фильм ставит Эдуардо Манет.

Сам Хулио Гарсиа Эспиноса собирается снимать фильм о своих современниках.

ЛИВАН

КНИГИ ПИСАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

В Бейруте, по сообщению журнала «Аль-Адиб», вышла в свет повесть старейшего ливанского писателя Михаила Нуайме «Последний день». Тот же журнал пишет о появлении нового дарования—о двадцатидвух-

летней ливанской студентке Риме Наджиб Алам ад-Дин, перу которой принадлежит изданная недавно в Бейруте повесть «От весны к лету». Молодая писательница — автор нескольких опубликованных в журналах новелл.

ЛИВИЯ

РОСТКИ ЛИВИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Как сообщает газета «Тараблюс аль-Гарб», в Ливии насчитывается уже немало профессиональных литераторов.

Молодые новеллисты Ливии выступают за создание реалистической ливийской прозы и уже достигли в этом некоторых успехов.

Одно из серьезных препятствий на пути молодой ливийской литературы—слабое развитие полиграфии. Поэтому книг в стране издается пока еще немного.

К ведущим ливийским литераторам, по мнению газеты, следует прежде всего отнести писателей Али Мустафу аль-Мисрати, Мухаммеда Бен Масуда и Омара аль-Баруни, критика Халифа Мухаммеда ат-Талиси. Газета упоминает имена и писателя Мустафы Баайю, писательницы - новеллистки Заимы аль-Баруни.

В ливийской литературе есть произведения на исторические темы, многочисленные рассказы, в том числе юмористические, критические и литературоведческие работы.

МАРОККО

ЮБИЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА

Как сообщает арабская печать, министерство просвещения Марокко выпустило «Золотую книгу» об университете аль-Каравийин, посвященную 1100-летию со дня основания этого старейшего в мире учебного заведения. Книга включает исследования, а также речи и стихи, прочитанные во время празднования юбилея университета.

МЕКСИКА

РАССКАЗЫ ЭМИЛИО КАРБАЛЬИДО

До последнего времени Эмилио Карбальидо знали только как талантливого драматурга. Широкую известность получили такие его пьесы, как «Часовщик из Кордовы», «Медуза», «Росальба и ключарь» и многие другие.

Недавно мексиканское издательство «Фондо де культура экономика» выпустило сборник рассказов этого молодого писателя.

Как отмечается в рецензии, опубликованной в еженедельнике «Политика», в основу рассказов положены бесхитростные истории, события, конфликты из повседневной жизни. Герои Карбальидо — простые люди из различных штатов страны, и прежде всего Веракруса, родины писателя.

Реалистически написанные рассказы Эмилио Карбальидо представляют собой, по оценке рецензента, значительное явление современной мексиканской литературы.

НИГЕРИЯ

ПЕРВЫЕ КНИГИ

Проблема печатания книг продолжает оставаться чрезвычайно актуальной для писателей Нигерии, ранее целиком зависевших от вкусов заокеанских издателей. Вот почему таким важным событием в культурной жизни страны было создание в Лагосе издательства «Африкен юниверситиз пресс».

Издательство приступило к выпуску книг по общеобразовательным вопросам, а также литературных произведений, созданных нигерийскими писателями.

Первые книги, выпущенные новым издательством, уже появились в книжных магазинах страны. Среди них — «Занимательные африканские рассказы», написанные по мотивам народных легенд популярным нигерийским писателем Киприаном Эквенси; «Хроника Абуджи» А. Хассама и М. Найби, рассказывающая легендарную историю города Абуджи, расположенного в центральной части Нигерии; «Размышления», сборник прозаических и стихотворных произведений крупнейших нигерийских писателей — Чинуа Ачебе, Киприана Эквенси и других.

ОАР

РОМАН НАГИБА МАХФУЗА

Писатель Нагиб Махфуз работает сейчас над новым романом, который будет носить название «Путь». По словам критика газеты «Аль-Гумхурия», новое произведение писателя привлечет большое внимание читателей ОАР.

ПАКИСТАН

ЗА ПОДЛИННО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Любительские театральные коллективы продолжают играть значительную роль в культурной жизни страны. За истекший год любительские труппы поставили свыше ста пьес. Среди них — комедия Н. В. Гоголя «Ревизор», пьесы Ибсена и других писателей-классиков, произведения современных драматургов. Спектакли шли на английском языке, на бенгали.

Однако, как вынужден признать журнал «Пэкистан куотерли», дела в театральной жизни обстоят не так блестяще, как это может показаться: пакистанские авторы создают мало

самобытных пьес, лишь некоторые из них достойны того, чтобы их показывали на сцене. В стране нет должным образом организованной театральной школы, постановки пьес осуществляются в таких условиях, которые требуют от каждого артиста любительской труппы, режиссера или рабочего сцены почти героических усилий.

Большинство самодеятельных трупп распадается уже после одного-двух спектаклей. Лишь немногие коллективы, главным образом те, которые ставят пьесы на английском языке, существуют длительное время.

Одним из них является любительская труппа «Театральное общество Карачи», созданная молодым, но уже широко известным в Пакистане режиссером и артистом Зиа Мехеддином. Подобно другим видным деятелям пакистанского театра, Мехеддин ратует за постановку спектаклей для народа на его родном языке.

В своем выступлении на ежегодном собрании «Театрального общества Карачи» Зиа Мехеддин сказал: «Теперь я с горечью понял, почему в адрес нашего общества так часто раздаются упреки: наша работа кажется непонятной и чуждой окружающим, так как мы не ставим пьес на языке урду».

«Герой фатерланда» в июньском номере журнала «Иностранная литература».

Еженедельник «Нова культура» посвятил специальный номер творчеству Кручковского. В нем были опубликованы неизвестные рассказы писателя, фрагменты повести о пребывании польских офицеров в фашистской неволе, а также наметки пьесы, герой которой — партийный деятель.

Другой польский еженедельник, «Жице литерацке», опубликовал отрывок из недавно обнаруженной неоконченной повести «Эмигранты». Кручковский работал над ней в первой половине 1939 года и намеревался посвятить ее жизни польских шахтеров в Бельгии.

В последние месяцы жизни Леона Кручковского Государственный издательский институт Польши готовил к выпуску сборник его пьес. Писатель, будучи уже тяжело больным, принимал деятельное участие в подготовке этого сборника, куда вошли шесть основных его пьес: «Возмездие», «Немцы», «Юлиус и Этель», «Посещение», «Первый день свободы» и «Смерть губернатора». Это дало право издательству, уже после смерти Кручковского, написать в примечании к сборнику: «Содержащиеся здесь произведения мы отдаем в руки читателя в той форме, которую окончательно придал им автор».

Весьма ценными для тех, кто изучает творчество выдающегося драматурга, будут вышедшие в последнее время исследования и воспоминания о Леоне Кручковском. Так, в Издательстве школьной литературы, в «Библиотеке полонистики», вышел труд под редакцией профессора Якубовского «Леон Кручковский». А в журнале «Вармия и Мазуры» директор Ольштинского театра Александр Севрук рассказал читателям о творческой и общественной деятельности Кручковского во время их совместного пребывания в гитлеровской неволе.

РУМЫНИЯ

ПОЭТ ЧИТАЕТ СВОИ СТИХИ

Эту пластинку еженедельник «Газета литерарэ» называет «озвученным изданием» Аргези. «Семнадцать стихотворений, написанных на протяжении трех десятилетий, дают представление слушателю о поэтическом мире этого величайшего из живущих ныне румынских поэтов»,— пишет еженедельник.

Стихи — от «Завещания»

ПОЛЬША

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ЛЕОНА КРУЧКОВСКОГО

Исполнился год со дня смерти выдающегося польского драматурга-антифашиста Леона Кручковского. Творчество писателя всесторонне изучается, причем активную работу проводит вдова писателя Ядвига Кручковская.

В архиве писателя найдены малоизвестные и вовсе еще не публиковавшиеся произведения. Одно из них — первая пьеса Леона Кручковского — было опубликовано под названием

Сцена из спектакля «Герой фатерланда» Леона Кручковского в Национальном театре в Варшаве.

(Еженедельник «Политика»)

из раннего сборника «Нужные слова» до «Вечерней песни» в одной из последних книжек стихов «Листья» — читает сам поэт. В его манере исполнения, как утверждает «Газета литерарэ», нет ничего от декламации: простота ее заостряет точность и ясность творческой мысли Аргези. «Тихий, почти слабый голос, отсутствие излишних модуляций тембра и тона лишь подчеркивают удивительную силу слова и поэтического образа»,— пишет в заключение еженедельник.

На той же пластинке записана краткая характеристика творчества Тудора Аргези, принадлежащая Михаилу Раля.

СИРИЯ

НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СИРИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Арабская печать сообщает о новых книгах сирийских писателей, подготовленных к изданию или уже вышедших в Бейруте, Дамаске и Алеппо.

В Бейруте в этом году вышли из печати роман маститого сирийского прозаика Фадыля ас-Сибаи «И расцвела печаль», а также первый сборник рассказов начинающего литератора Валида Ихлясы. Там же выходит повесть алеппского литератора Жоржа Салима «В изгнании» и антология «12 алеппских рассказов», составленная Фадылем ас-Сибаи. «Ожидается,— пишет журнал «Аль-Адиб»,— что этот сборник будет одной из интереснейших литературных новинок сезона».

В Дамаске издан сборник рассказов Мурада ас-Сибаи «Первая искра». Дамасский новеллист Аднан ад-Даук подготовил к печати два сборника рассказов и роман «Глубокая рана», писательница Халиджа Джаррах — повесть «К тебе», поэт Мухаммед аль-Магут — сборник стихов «Комната с миллионами стен».

В Алеппо вышел поэтический сборник Сами аль-Каяли «Вино и поэзия».

США

ТЕ, КТО ПОМНИТ ХИРОСИМУ

В Нью-Йорке вышла книга под названием «Дети атомной бомбы. Заветы мальчиков и девочек Хиросимы». В ней собраны воспоминания японцев, которые были детьми, когда Хиросиму объяло испепеляющее атомное пламя.

В 1945 году автор книги доктор Арата Осада, бывший ректор университета в городе Хиросима, собрал больше двухсот описаний трагедии Хиросимы у оставшихся в живых детей в возрасте от четырех до двенадцати лет. В Японии эта книга, содержащая по-детски безыскусные описания атомной бомбардировки, выдержала восемнадцать изданий. «Бывший президент Трумэн,— пишет в предисловии к американскому изданию книги Бертран Рассел,—както поведал миру, что его никогда не мучит совесть за то, что он отдал приказ о бомбардировке Хиросимы. Возможно, если он прочтет эту книгу, его спокойствие будет поколеблено».

...Японец, учившийся тогда в пятом классе школы, так описывает роковой для Хиросимы день: «Я до сих пор слышу плач, рыдания и стоны, вижу ребенка с обожженным лицом, распухшим до невероятных размеров, вижу, как он идет, пошатываясь, среди бушующего пламени. Вижу старика, у которого сходит с лица и с тела кожа, как кожура с картофеля; он шепчет молитвы и падает на землю... У меня волосы встают дыбом, когда я это вспоминаю. Так, вероятно, выглядит ад...»

По мнению редакции газеты «Чикаго дейли ньюс», книга «Дети атомной бомбы» — памятник всем жертвам Хиросимы и предостережение людям на будущее.

РАБОТА НАД БИОГРАФИЕЙ ХЕМИНГУЭЯ

Как сообщает журнал «Ньюсуик», профессор Принстонского университета Карлос Бэйкер работает над составлением биографии Эрнеста Хемингуэя. В основу биографии великого американского писателя положены материалы многочисленных интервью с его друзьями, а также недругами. Используются письма Хемингуэя.

Жена писателя Мэри Хемингуэй, которая работает над биографией совместно с профессором Бэйкером, заявила: «Эрнест никогда ничего не выбрасывал, я разбираю оставленные им бумаги, их, наверно, миллион».

По расчетам Бэйкера, биография выйдет в свет не ранее 1967 года.

ТУНИС

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Арабская печать сообщает, что в Тунисе появился новый литературный журнал «Аль-Ильхам» («Вдохновение»), который будет печатать художественную прозу.

ФИНЛЯНДИЯ

КНИГА ВЫДАЮЩЕГОСЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЯТЕЛЯ

Недавно в Хельсинки вышла пятая по счету книга руководителя Рабочего театра города Тампере Эйно Салмелайнена «Двойная упряжка». Она появилась в витринах книжных магазинов страны в день, когда отмечалось 70-летие ее автора. Как и все предыдущие произведения известного режиссера — «Собирался стать попом, а попал в театр», «За науку приходится платить», «Восторги и поражения», «Рассказы про театр»,— новая книга посвящена театру.

В «Двойной упряжке» Салмелайнен говорит о Тампере, как о «ведущем театральном городе страны». Более тридцати лет своей жизни Эйно Салмелайнен отдал работе в театрах этого индустриального города Финляндии: он руководил Городским театром и Рабочим театром. Последний

Популярный в Финляндии роман Вяйне Линна «Здесь, под Полярной звездой» инсценирован многими театрами страны, фрагменты спектакля были показаны по финскому телевидению. На снимке сцена из спектакля «Здесь, под Полярной звездой» в городском театре Ювяскюля.

(Газета «Кансан уутисет»)

Салмелайнен называет «придворным театром рабочего класса» и «одним из ведущих театров страны».

По словам рецензента газеты «Кансан уутисет» Майю Савутие, в «Двойной упряжке» читатель найдет много интересного о финском театральном искусстве. Салмелайнен показывает эволюцию национального театра, развитие художественного вкуса зрителей, роль театральной критики, а также влияние реакции тридцатых годов на финский театр. Особенно тщательно рассматривает он деятельность обоих театров города Тампере, которые, несмотря на все различия, являются двумя культурными центрами, «двумя рысаками в одной упряжке». Однако, отмечает автор книги, коллективу Рабочего театра свойственна большая сплоченность, умение блестяще ставить массовые сцены, с большим творческим подъемом работать над постановками, что и делает его ведущим театром города.

Кроме того, пишет рецензент, в книге Салмелайнена отражена тяга растущего пролетарского центра к культуре.

ФРАНЦИЯ

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА ЗОЛЯ

Недавно умерший сын Эмиля Золя и Жанны Розро доктор Жак-Эмиль Золя, врач по образованию, в последние годы жизни принимал деятельное участие в проводившейся во Франции и за границей работе по изучению литературного наследия своего отца. Несколько месяцев назад Жак-Эмиль Золя передал Анри Гийемену письма своего отца к жене, относящиеся к 1898—1899 годам, и просил их опубликовать. «По моей вине это не было сделано при жизни Жака-Эмиля Золя,— пишет в еженедельнике «Леттр франсез» Анри Гийемен.— Я не перестаю упрекать себя за такое опоздание. Так пусть по крайней мере эта статья в «Леттр франсез» будет данью уважения его памяти».

«Леттр франсез» публикует письма Эмиля Золя и комментарии к ним Гийемена. Как известно, в 1898 г. Золя вынужден был уехать в Англию, так как за активное участие в защите Дрейфуса ему грозило тюремное заключение.

В своих письмах Золя рассказывает о семейных делах, о своем одиночестве в чужой стране, о материальных трудностях, высказывает радость по поводу приезда в Англию детей и беспокойство за жену, которая устала от борьбы за него, сообщает, что творческая работа идет успешно.

Узнав о том, что он приговорен к уплате штрафа в сумме 40 тысяч франков, Золя в письме от 14 августа пишет: «...Все это наполняет мое сердце негодованием и возмущением. Я решил, что вернусь во Францию только тогда, когда там восторжествует справедливость. Как я уже писал, дети приехали в четверг вечером... Надо сказать, что они очень устали, так как накануне, чтобы не привлечь внимания соседей, которые все время были настороже, им пришлось покинуть Верней в 6 часов вечера и уйти через лес почти без вещей».

...30 августа 1898 г. подполковник Анри сознался, что единственная имевшаяся против Дрейфуса улика была сфабрикована им самим. 31 августа Анри был найден в камере мертвым.

Получив от доктора Лара телеграмму, в которой было одно слово «Победа», Золя писал 1 сентября: «...ночью я не мог заснуть. Утром не мог сесть за работу. Французские газеты я должен был получить только вечером. Кончилось тем, что я поехал на велосипеде в ближайшую деревню, чтобы купить местные газеты, где мне с трудом удается разобрать несколько слов. Таким образом я узнал лишь приблизительно, что произошло. Но я еще не знаю подробностей. Я живу в волнении, которое ты должна понять».

В день рождения писателя, 4 апреля 1899 г., жена прислала ему корзину роз. Золя взволнован, но ему очень тяжело: «...после почти девятимесячного изгнания все еще быть здесь, вдали от родины, чувствовать за своей спиной постоянно растущую ненависть. Я хотел только справедливости, и вот, нет такого оскорбления, которое бы мне не бросили в лицо...»

Наконец 2 июня Золя узнал, что дело будет пересмотрено: «...все это мне кажется сном! Предвижу, что́ будет за суматоха. Но мы будем вместе и вместе будем бороться, если потребуется...»

Спустя три дня Золя вернулся в Париж.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПОЭТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ

С каждым годом в Чехословакии растет число любителей поэзии. Чехословацкие поэты, среди которых немало молодых, начинающих, оправдывают надежды своих читателей: только за 1962 год в республике вышло два с половиной десятка поэтических сборников.

О наиболее выдающихся стихотворных произведениях рассказал Ян Трефулка на страницах журнала «Хост до дому». Он считает, что основное направление поэзии последних месяцев в Чехословакии — стремление к синтезу, желание широко охватить жизнь, наконец, большой жизненный оптимизм. Прежде всего сказанное относится к поэтическим сборникам: «Одна жизнь» Вилема Завады, «Романсы для трубы» Франтишека Грубина, «Двадцатидвухлетний» Яна Скацела, «Звезда Ипсилон» Иржи Шотолы, а также к последним стихам Ивана Скалы.

«Поэзия, которой удается проследить стремления человеческих сердец, постигнуть динамику духовной жизни своих современников и изменения в ней в наши дни,— пишет Ян Трефулка,— поэзия, которая способна изобразить внутренний мир человека как сферу пересечения прошедшего, настоящего и будущего и передать это в конкретных образах, наконец, поэзия, которая точно, индивидуально и цельно выражает мысль автора,— такая поэзия всегда является поэзией идейной, гражданской и политической».

О ТВОРЧЕСТВЕ КАФКИ

В Либлице состоялась двухдневная конференция писателей и литературоведов, посвященная творчеству Франца Кафки. С докладом о литературном наследии Кафки выступил чешский критик Пауль Рейман, много занимавшийся немецкой и австрийской литературами.

Из зарубежных гостей в конференции приняли участие Эрнст Фишер (Австрия), Анна Зегерс, Клаус Хермсдорф и Гельмут Рихтер (ГДР), Роже Гароди (Франция), Роман Карст (Польша).

ЮГОСЛАВИЯ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПИСАТЕЛИ

Газета «Борба» сообщает результаты анкеты, проведенной недавно издательством «Стварност» среди югославских читателей. Список из двадцати наиболее популярных книг начинается известным романом Иво Андрича «Мост на Дрине». В нем значится также роман «Война и мир» Льва Толстого.

Единственным поэтом среди популярных писателей оказался, по данным анкеты, Добриша Цесарич, который сказал корреспонденту «Борбы»: «Простая форма для меня — лучшая из всех возможных форм, если она включает все существенные элементы поэтического восприятия. Лишние слова не нужны».

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ВЫНУЖДЕНЫ ЗАМОЛЧАТЬ

«102 литератора Южно-Африканской Республики — прозаики, поэты, публицисты — вынуждены молчать»,— сообщает прогрессивный южноафриканский журнал «Файтинг ток».

Специальный пункт недавно принятого закона о цензуре дает возможность министру юстиции ЮАР налагать запрет на устные или письменные заявления тех деятелей литературы, которые выступают против режима расовой дискриминации. Ничего из того, что они скажут или напишут, не может быть опубликовано в ЮАР или даже процитировано. Запрещен ввоз в страну их книг, изданных за границей. На основании нового закона южноафриканские издатели, осмелившиеся опубликовать их произведения, подлежат заключению в тюрьму.

Журнал «Файтинг ток» призывает писателей Южной Африки и всего мира выразить свой протест в связи с новым наступлением реакции на свободу слова и свободу личности и рекомендует им отказаться от продажи своих книг в стране апартеида, от постановок своих произведений в театрах, кино и концертных залах ЮАР.

В ТРАУРНОЙ РАМКЕ...

«Мы говорим до свидания, но мы вернемся» — под таким заголовком вышел последний номер «Спарка» — единственного прогрессивного еженедельника в Южно-Африканской Республике.

На первой полосе — взятое в траурную рамку название еженедельника. Здесь же помещены портреты пяти мужественных редакторов «Спарка», которые несмотря на гонения, штрафы и аресты боролись против террора властей и остались верны делу борьбы за свободу народа. Один из них — Брайан Бантинг, главный редактор «Спарка», был награжден Международной премией журналистов за участие в борьбе против расовой дискриминации. Сейчас он и его жена содержатся под домашним арестом.

Помещая сообщение о том, что правительство ЮАР

Обложка последнего номера «Спарка», полученного редакцией нашего журнала.

запретило «Спарк», газета «Берлинер цейтунг» пишет: «Конечно, они вернутся... никто не может сломить этих отважных мужчин и женщин, никто не может остановить освободительную борьбу народа Южной Африки».

ЯМАЙКА

НЕТ НИЧЕГО ОТРАДНОГО...

Недавно вышедший роман ямайского писателя В. С. Найпола «Обыкновенный случай», по словам журнала «Уэст индиен ревью», показывает, что его автор «прирожденный романист, необычайно своеобразный писатель, герои которого глубоко индивидуальны — они живут и дышат на страницах книги».

Вместе с тем журнал с горечью отмечает, что в романе, как и во многих других произведениях, отражающих жизнь Ямайки, «не только не показано ничего отрадного в нынешнем положении страны, но и нет никаких надежд на улучшение в будущем».

ЯПОНИЯ

ИСТОРИЯ РОМАНА МАЦУМОТО СЭЙТЁ

Роман Мацумото Сэйтё «Глубокое течение», вышедший отдельной книгой в конце прошлого года, произвел в Японии впечатление разорвавшейся бомбы. Крупный японский писатель Ким Даль Су пишет в связи с этим в газете «Акахата»:

«Я был потрясен, прочитав роман Мацумото Сэйтё «Глубокое течение»... Его следует назвать политическим романом. Оказывается, в ведении специальных органов, находящихся в Нью-Йорке и Токио, существует какой-то таинственный «международный фонд». Он возник после окончания войны на Тихом океане и служит сейчас американскому империализму и правящим кругам Японии для утверждения своего господства над народами стран Азии. Сделав ведущей нитью своего романа поиски этого «международного фонда», Мацумото разоблачает реакционные силы сегодняшней Японии».

Роман «Глубокое течение» печатался в журнале «Бунгэй сюндзю», причем последние его главы появились на страницах журнала в декабре 1961 года. Однако отдельным изданием книга вышла лишь через год — факт беспрецедентный в отношении такого популярного в Японии писателя, как Мацумото. В чем же причина?

«Роман Мацумото «Глубокое течение»,— пишет на страницах «Акахаты» Такаги,— с меньшим основанием, чем остальные его произведения, может быть назван романом. Это скорее документальная повесть, в которой использованы новые, нигде не публиковавшиеся прежде секретные материалы, разоблачающие тайные связи американской и японской реакции. Именно поэтому редакция журнала «Бунгэй сюндзю» подверглась сильному нажиму со стороны определенных кругов, требовавших прекратить печатание романа. В этом же кроется причина того, что такое острое и безусловно интересное произведение вышло отдельным изданием лишь в конце 1962 года».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА (род. в 1893 г.) — болгарская поэтесса, лауреат Димитровской премии и Национальной премии Мира, автор сборников стихотворений «Вечная и святая» (Вечната и святата», 1927), «Звезда моряка» («Звезда на моряка», 1932), «Пять звезд» («Пет звезди», 1953) и др. Стихотворение «Валентине Терешковой» получено редакцией в рукописи.

ЭДМУНДО ДЕСНОЭС — EDMUNDO DESNOES (род. в 1930 г.) — кубинский писатель и журналист. Роман «Возвращение» (в подлиннике «No hay problema») — первая книга писателя — написан в 1961 году.

Гравюры в тексте романа взяты из книги «Kubanische revolutionäre Graphik», выпущенной издательством «Verlag der Kunst» (Дрезден, ГДР, 1962 г.)

БЭГЗИЙН ЯВУУХУЛАН (род. в 1929 г.) — монгольский поэт, автор двух поэтических сборников. Высшее литературное образование получил в Советском Союзе. Стихотворение «Огонь» получено редакцией в рукописи.

ДЭНДЭВИЙН ПУРЭВДОРЖ (род. в 1933 г.) — монгольский поэт, ему принадлежат стихотворные сборники «Весенняя песня», «Пять звезд». Стихотворение «На вокзальной площади» переведено с рукописи.

ЧОЙЖИЛЖАВЫН ЛХАМСУРЭН (род. в 1919 г.) — монгольский поэт и прозаик, лауреат Государственной премии. Начал печататься в 1938 г., автор поэтических сборников «Гурваи-сайхал» и «Прекрасная страна Китай», сборника рассказов «Девушка с цветами». Стихотворение «Дети наши» печатается с рукописи.

МИШИГИЙН ЦЭДЭНДОРЖ (род. в 1932 г.) — монгольский поэт и переводчик, автор книг «Сокровищницы жемчуга», «Пестрая история». Перевел на монгольский язык некоторые произведения Горького, Тагора, Есенина. Стихотворение «Сергею Есенину» получено редакцией в рукописи.

ЧОЙЖИЛЫН ЧИМИД (род. в 1927 г.) — монгольский поэт, лауреат Государственной премии. Автор ряда поэтических сборников, переводчик Шекспира, Пушкина, Л. Толстого, Маяковского, Ли Бо. Публикуемое в этом номере стихотворение прислано редакции в рукописи.

КАРОЙ САКОНИ — SZAKONYI KAROLY (род. в 1931 г.) — венгерский писатель Начал печататься в 1958 году. До этого в течение нескольких лет был рабочим-строителем Публикуемые рассказы взяты из первого сборника писателя «Среди облаков» («Közepütt vannak a felhök», 1961).

АНТАЛ ГИДАШ — HIDAS ANTAL (род. в 1899 г.) — венгерский поэт и прозаик. Перу Гидаша принадлежат многочисленные сборники стихов, а также переводы советских поэтов на венгерский язык.

Статья о Маяковском получена редакцией в рукописи.

ГУГО ГУППЕРТ — HUGO HUPPERT (род. в 1902 г.) — австрийский поэт, переводчик и критик. Долгое время жил в Советском Союзе, сотрудничал в журнале «Интернациональная литература». Автор нескольких сборников стихов, книги очерков «Знамена и крылья» («Flaggen und Flügel», 1938), переводов и многочисленных работ о Маяковском. Статья «Глашатай коммунистической культуры» была напечатана в журнале «Нейе дейче литератур» № 4, 1955 г. Мы печатаем выдержки из этой статьи, просмотренные автором для нашего журнала.

ЛОРЕЙН ХЭНСБЕРРИ — LORRAINE HANSBERRY (род. в 1930 г.) — негритянская писательница. Ее пьеса «Изюминка на солнце» («A Raisin in the Sun», 1959) была опубликована в журнале «Иностранная литература» № 11 за 1959 год.

Публикуемый материал взят из журнала «Freedomways» № 1 за 1963 год.

НОЭЛ КУНИХЭН — NOEL COUNIHAN (род. в 1915 г.) — австралийский художник. Его статья об австралийской живописи была напечатана в № 9 «Иностранной литературы» за 1962 г. Статья «Почему я реалист» получена в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский.** Технический редактор **В. Л. Шачнев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 07704. Сдано в производство 14/V-63 г. Подписано к печати 15/VII-63 г. Бумага 70×108 1/16 = 9,0 бум. л. + 1 вкл.; печ. л. 24,66 + 1 вкл. Зак. 945

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС
70391